

КУЛЬТУРА ПОВСЕДНЕВНОСТИ

НАТАЛИЯ ЛЕБИНА

СОВЕТСКАЯ  
ПОВСЕДНЕВНОСТЬ:  
НОРМЫ И АНОМАЛИИ

ОТ ВОЕННОГО КОММУНИЗМА К БОЛЬШОМУ СТИЛЮ



Наталия Лебина

СОВЕТСКАЯ  
ПОВСЕДНЕВНОСТЬ:  
НОРМЫ И АНОМАЛИИ  
ОТ ВОЕННОГО КОММУНИЗМА  
К БОЛЬШОМУ СТИЛЮ

Новое Литературное Обозрение  
Москва 2015

[mirknig.com](http://mirknig.com)

УДК 930.85(47+57)" 192/195"

ББК 63.3(2)6-75

ЛЗЗ

Редактор серии Л. Оборин

**Лебина, Н.**

ЛЗЗ Советская повседневность: нормы и аномалии. От военного коммунизма к большому стилю / Наталия Лебина. — М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 488 е.: ил. (Серия «Культура повседневности»)

ISBN 978-5-4448-0253-3

Новая книга известного историка и культуролога Наталии Лебиной посвящена формированию советской повседневности. Автор, используя дихотомию «норма/аномалия», демонстрирует на материалах 1920—1950-х годов трансформацию политики большевиков в сфере питания и жилья, моды и досуга, религиозности и сексуальности, а также смену отношения к традиционным девиациям — пьянству, самоубийствам, проституции. Основной предмет интереса исследователя — эпоха сталинского большого стиля, когда обыденная жизнь не только утрачивает черты «чрезвычайности» военного коммунизма и первых пятилеток, но и лишается достижений демократических преобразований 1920-х годов, превращаясь в повседневность тоталитарного типа с жесткой системой предписаний и запретов.

УДК 930.85(47+57)"192/195"

ББК 63.3(2)6-75

В оформлении обложки использована работа  
Л. Блок (группа «Россия»). Материя. 1998. Холст, масло.

© Н. Лебина, 2015

© ООО «Новое литературное обозрение», 2015

[mirknig.com](http://mirknig.com)

## О ТОМ ЖЕ 15 ЛЕТ СПУСТЯ (ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ)

Моя книга о нормах и аномалиях в жизни советского города вышла в 1999 году<sup>1</sup>. За прошедшее время изменилось многое. Историческая антропология уже не считается новым направлением отечественной исторической науки. Более того, история повседневности стала ныне модной темой. Издательство «Молодая гвардия» создало серию «Живая история» и в ее рамках тиражирует произведения под названиями, начинающимися с заклинания «Повседневная жизнь...». О популярности и востребованности данных по историко-антропологической проблематике свидетельствует и почти пятнадцатилетнее существование, с 1995 года, в крупнейшем в России историческом иллюстрированном журнале «Родина» специальной рубрики «Российская повседневность», которую я вела совместно с журналистом Т.О. Максимовой.

Сегодня можно говорить о формировании целой когорты исследователей, сосредоточивших свое внимание на проблемах повседневной жизни населения России, в частности, в советский период. Это маститые историки и представители сопредельных гуманитарных дисциплин Т.Ю. Дашкова, С.В. Журавлев, Е.Ю. Зубкова, Н.Н. Козлова, М.Г. Меерович, И.В. Нарский, И.Б. Орлов, Е.А. Осокина, П.В. Романов, Т.М. Смирнова, И.В. Утехин, Е.Р. Ярская-Смирнова и другие ученые, среди которых много талантливой молодежи. Несмотря на явный рост



интереса к изучению истории повседневности, методологическая основа этого научного направления и сегодня не слишком внятна. Еще в 2003 году петербургский историк М.М. Кром отметил отсутствие в науке «универсального, на все случаи пригодного понятия "повседневность"»<sup>2</sup>. Судя по данным вышедшей в 2010 году книги И.Б. Орлова об исторических и социологических аспектах советской повседневности и обзорной статье О.В. Бригадиной, никакого терминологического единства нет и по сей день<sup>3</sup>. Но в практике исследований чаще всего под повседневной жизнью понимается некий синтез элементов материальной и духовной культуры, изучение таких проявлений человеческой обыденности, как жилище, одежда, питание, частная жизнь и т.д. И здесь будет уместно процитировать слова выдающегося русского ученого Л.П. Карсавина: «Материальное само по себе в своей оторванности неважно. Оно всегда символично и в качестве такового необходимо для историка во всей своей материальности. Оно всегда выражает, индивидуализирует и нравственное состояние общества, и его религиозные и эстетические взгляды, и его социально-экономический строй»<sup>4</sup>. Подчеркивал важность знания «простой жизни» и Ю.М. Лотман, считавший, что без понимания ее «мелочей» не может быть истинного понимания истории в целом. Ученый предлагал путь познания прошлого через повседневный быт, что, по его мнению, должно было помочь осмыслению и истории государств, и истории войн, и истории идей. «Быт, — подчеркивал Ю.М. Лотман, — это обычное протекание жизни в ее реально-практических формах; быт — это вещи, которые окружают нас, наши привычки и каждодневное поведение. Быт окружает нас как воздух, и, как воздух, он заметен нам только тогда, когда его не хватает или он портится. Мы замечаем особенности чужого быта, но свой быт для нас неуловим — мы склонны его считать "просто жизнью", естественной нормой практического бытия»<sup>5</sup>. Но и в данном случае необходимо использовать некий методологический

инструментарий. В противном случае, как справедливо отмечает М.М. Кром, «история быта сведется опять к описательности, к импрессионистическим картинкам или к механической сумме отдельных явлений той или иной эпохи»<sup>6</sup>.

В своей книге, вышедшей в 1999 году, я взяла на себя смелость предложить использовать в качестве методологического подхода к изучению советской повседневности дихотомию «норма/аномалия», которая не только существует в сфере обыденной жизни, но и применяется как метод построения разнообразных научных конструктов. В естественных науках для физических и биологических объектов существует так называемая адаптивная норма. Она отражает допустимые пределы изменений, при которых целостность той или иной системы не нарушается. В области же общественных отношений действуют определяющие пределы и меры допустимого поведения и деятельности людей, а также общественных групп и организаций социальные нормы<sup>7</sup>. Чаще всего они устанавливаются и охраняются государством, а следовательно, являются обязательными для всех лиц, находящихся в сфере его действия, и получают отражение в официальных государственных актах — законах, указах, постановлениях. Это так называемые нормативные суждения власти — детализированные правила поведения, в которых четко закрепляются юридические права и обязанности участников общественных отношений. Для обеспечения их выполнения применяются меры государственного принуждения. Внегосударственные организации также устанавливают определенные внутренние правила поведения, которые можно назвать нормализующими суждениями, не имеющими юридической силы.

Одновременно в любом обществе существуют правила поведения, формально нигде не закрепленные. Это нормы морали, обычаев, традиций. Они связаны с господствующими представлениями о норме и патологии, складываются в результате их многократного повторения, исполняются в силу

привычки, ставшей естественной жизненной потребностью человека. Правила такого рода составляют скелет ментальности населения, в свою очередь тесно связанной со стилем его повседневной жизни. Поведенческие стереотипы личности в значительной мере формируются под влиянием быта. И в то же время особенности и формы обыденной жизни человека являются выражением присущих ему социально-культурных представлений, восходящих к историческим устоям общества. Таким образом, вопрос о норме и аномалии тесно связан с исторической антропологией. Сегодня эта ситуация очевидна прежде всего применительно к изучению истории советской повседневности. Побудительным мотивом проведения анализа повседневности в контексте теории девиантности является стремление к концептуализации проблем советской повседневности.

Для россиянина с 1917 года слово «норма» приобрело особый семиотический смысл. Закрепленные юридически и реально действующие в повседневной жизни, нормализующие суждения власти оказывали серьезное воздействие на ментальность, порождая новые разновидности дихотомии «норма/аномалия». О.В. Бригадина справедливо отмечает: «Общество выстраивало систему оценки поведения, определяя одни его стереотипы как норму (комфортное поведение), другие как девиацию... Характер соотношения нормы и девиации был связан прежде всего с изменением ценностных ориентиров общества, а также с усилиями власти по закреплению определенных желательных моделей — стандартов»<sup>8</sup>. Выявление подобных государственных практик лишней раз доказывает правомочность использования в качестве методологической основы изучения советской повседневности теории отклоняющегося поведения. В 1999 году я довольно подробно излагала принципы этой теории, появление которой связано с именем Э. Дюркгейма, а дальнейшее развитие — с именем Р. Мертона. Однако спустя 15 лет мне представляется нецелесообразным это делать. Ныне сведения о девиантологии входят в вузовские

курсы по социологии и социальной антропологии. Это же относится и к теории штампов Г. Беккера, с помощью которой возможно рассматривать процесс превращения нормы в патологию и обратно<sup>9</sup>. В 1999 году я осмелилась назвать подобный процесс, развивавшийся в пространстве российской повседневности, инверсией, что не встретило понимания в историческом сообществе. Однако ныне об этом уже пишут многие отечественные исследователи. А.Н. Медушевский, например, отмечает, что «в условиях большевистской революции девиация сама стала нормой поведения, привела к превращению подпольной субкультуры революционной организации в официальное право и установлению доминирования неофициальных криминальных норм над формальными правовыми»<sup>10</sup>.

И все же через пятнадцать лет, несмотря на то что за прошедшие годы написаны и изданы книги и статьи по иным проблемам социальной истории России XX века<sup>11</sup>, я хочу еще раз вернуться к проблеме норм и аномалий в советской повседневности. На это есть несколько причин. Прежде всего, моя книга стала, как это ни помпезно звучит, библиографической редкостью. Зато предложений «скачать и читать» множество, что, на мой взгляд, свидетельствует о востребованности текста, и не только в научной среде. Мне представляется, что свой читатель найдется и у новой книги о нормах и аномалиях.

Однако мое возвращение к уже затрагивавшимся проблемам вызвано и желанием расширить временные рамки повествования. Проявление дихотомии «норма/аномалия» в повседневной жизни предполагается рассмотреть, не ограничиваясь периодом 1920-1930-х годов. В новом варианте книги затронуты проблемы норм и аномалий повседневности периода военного коммунизма, а также эпохи послевоенного сталинизма. Расширение хронологических границ во многом связано с необходимостью осмысления понятия большого стиля. Имеющее на первый взгляд отношение к сфере архитектуры, искусства и литературы, оно все чаще используется для



изучения авторитарных и тоталитарных режимов как объектов историко-антропологического описания<sup>12</sup>. Будучи калькой с классического определения образного строя архитектуры, изобразительного и прикладного искусства Франции второй половины XVII столетия, эпохи Людовика XIV, советский большой стиль, связанный с эпохой сталинизма, демонстрировал могущество некой почти абсолютной власти, ее пышность и помпезность, под его воздействием формировалась специфика повседневности, ее нормы и аномалии. Бытовые реалии большого стиля, зародившиеся в конце 1930-х годов, получили специфическое развитие после окончания Великой Отечественной войны в рамках имперского сталинизма. Одновременно я постараюсь осветить и не поднятые в книге 1999 года вопросы (подробнее см. в главе 1 части I).

Как человек пока еще здравомыслящий, я стараюсь учесть в новом тексте не только современные достижения коллег, которые за эти 15 лет написали достаточное количество трудов, в той или иной степени связанных с проблемами повседневности, но и важные замечания, мелькавшие в разного рода рецензиях. В первую очередь это касается языка книги: он по возможности облегчен. Я стараюсь в меру своих способностей позаботиться о «читабельности» текста, придав ему жанр фундированных исторических очерков, основанных на использовании часто впервые вводимых в научный оборот документов, извлеченных из фондов архивов (см. Примечания). Кроме того, в новом варианте книги будет широко использоваться такой вид исторических источников, как литературно-художественный нарратив, созданный в 1920-1950-х годах. Попутно замечу, что для облегчения языка книги я буду использовать следующие синонимы понятия «норма»: стандарты, устои, каноны, регламенты — и понятия «аномалия»: отклонения, патологии, девиации.

И наконец, самая веская причина возвращения к проблеме повседневности в контексте дихотомии «норма/аномалия». Советская власть просуществовала более 70 лет. Но означает

ли это, что повседневная жизнь все эти годы была действительно советской, то есть полностью определяемой воздействием нормативных и нормализующих суждений власти партии коммунистов и реалий социалистической экономики? Что скрывается под термином «советскость» применительно к структурам повседневности и можно ли считать практики обыденности, быта в условиях централизованного планового хозяйства и однопартийной политической системы, гарантировавшей господство коммунистической идеологии, нормой? Конечно, эти проблемы необходимо рассматривать в рамках всего периода существования СССР. Однако мне представляется, что корректным в данном случае будет и проведение исследования, выявляющего черты «советскости» как нормы или аномалии городской повседневности (ведь именно ее стилистика в XX веке определяла закономерности культурно-бытового развития общества в целом), на материалах 1920-х — середины 1950-х годов. Одновременно следует сказать, что модель повседневной жизни городского населения будет построена без учета специфики быта в период Великой отечественной войны, системы ГУЛАГа и отдельных национальных республик. И все же перечисленные ограничения не помешают восстановить основные характеристики дихотомии «норма/аномалия» в ее антропологическом контексте. Хронологические рамки книги будут охватывать, по сути дела, три периода истории советской государственности: военный коммунизм, новую экономическую политику и время сталинизма. Рассмотрение бытовых реалий в пределах более чем тридцати лет даст возможность приблизиться к пониманию феномена советской повседневности, а также ее характеристик в контексте сочетания элементов нормы и аномалии.

Завершить свое предисловие к новой книге я хочу словами благодарности многочисленным доброжелательным читателям моего первого сочинения о нормах и аномалиях, а также моим агрессивным критикам. Суждения и тех и других побудили

меня к продолжению исследований. Огромное спасибо издательству «Новое Литературное Обозрение», а, главное, редактору серии «Культура повседневности» Льву Оборину за терпение, внимание, заинтересованное отношение к тексту, завидную работоспособность и за приобщение к суждениям молодых российских интеллектуалов о советском прошлом.

ЧАСТЬ I.  
НОРМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
(ПРЯМОЕ НОРМИРОВАНИЕ  
ПОВСЕДНЕВНОСТИ)

Государство, созданное большевистской партией, было основано на строго нормированном централизованном распределении. Правда, теоретики социализма утверждали, что вопрос нового общества состоит не в том, «как распределять, а в том, как производить», а «всякое распределение предметов потребления есть всегда лишь следствие распределения самих условий производства»<sup>1</sup>. Однако зарождение новой государственности происходило в экстраординарных условиях Первой мировой войны, и частично распределительные нормативные суждения новой власти были развитием уже существовавшей ситуации карточного снабжения населения (подробнее см. в главе 1). После же революционных событий осени 1917 года «нормы» распространились не только на продукты питания, они стали действовать в жилищной сфере, в области обеспечения предметами быта. «Нормирование по-советски», таким образом, затронуло трех «китов», на которых зиждется повседневная жизнь человека вне работы и политики: питание, жилье и одежду.



## ГЛАВА 1. КУЛЬТУРА ЕДЫ И НАСЫЩЕНИЯ: ДИСЦИПЛИНИРУЮЩИЕ ФУНКЦИИ

Сытость и голод — традиционная дихотомия, в которой первое понятие всегда является нормой, а второе — патологией. И большинство социальных революций ставят перед собой задачу накормить голодных, которая осуществляется в контексте культурно-бытовых норм конкретного общества. К началу XX века в России сформировались основные признаки городской культуры еды. Во-первых, горожане, в отличие от сельского населения, приобретали продукты в магазинах и на рынках, находясь в полной зависимости от организации торговли. Во-вторых, основная масса жителей городов питались дома, насыщение обеспечивалось за счет индивидуального приготовления пищи в домашних условиях. В-третьих, в крупных городах начала формироваться сеть общественного питания (рестораны, кухмистерские, столовые, трактиры). В это же время в европейской культуре в связи с ростом городского населения происходил переход к быстрому и хорошо отлаженному снабжению питанием, к серийному приготовлению пищи. Теряла свою значимость не только кухня домашняя, но и старая ресторанная.

Так во всем мире стал формироваться рационалистический стиль еды.

В предреволюционной России эти тенденции прослеживались пока слабо, но не заметить разницу в крестьянско-пролетарских привычках в еде и во вкусовых приоритетах

буржуазного гастрономического эстетизма было невозможно. Дихотомия «голод/сытость» усложнялась, однако относительно четкое и согласованное функционирование всех трех составляющих городской культуры еды (системы приобретения продуктов, домашней кухни, сети заведений общественного питания) позволяло в целом сохранять в социальном пространстве адаптивную норму, связанную с обеспечением населения пищей. Вступление России в Первую мировую войну неминуемо повлекло за собой изменение структур повседневности, системы распределения, а следовательно, и ментальных норм. Деформации подверглась привычная практика приобретения продуктов. К 1917 году в России сложилось некое подобие карточной системы. С лета 1917 года властные структуры начали активно внедрять в повседневную жизнь горожан так называемое «коллективное питание по карточкам», реальной формой которого стали общественные столовые. Они в первую очередь осуществляли распределительные функции. Искажению подверглись и нормы вкусовых приоритетов разных слоев российского населения. Косвенным свидетельством этого являются публикации в городских газетах начиная с 1915 года рецептов дешевых блюд, которые можно приготовить из небольшого количества продуктов. С приходом к власти большевиков патологизация структуры обеспечения горожан едой усугубилась.

Сразу оговорюсь, что в книге о нормах и патологиях, изданной в 1999 году, распределительные нормы в сфере питания не рассматривались вообще. Действительно, многие вопросы нормирования продуктов питания уже тогда были подробно и обстоятельно освещены в блестящих монографиях и статьях Е.А. Осокиной. За прошедшие 15 лет появились исторические исследования, затрагивающие и систему торговли продуктами, и развитие сети советского общепита. Это в первую очередь работы Е.Д. Твердюковой. Интересны и работы социальных антропологов и представителей иных научных дисциплин,

анализирующих феномен советскости в контексте практик потребления, — Е.А. Добренко, И.В. Глущенко, С.А. Кириленко, И.В. Сохань, М.Ю. Тимофеева и др. И все же я осмелюсь предложить свое видение дисциплинирующего смысла продовольственных норм и процесса формирования особого «советского вкуса» как важной составляющей культуры повседневности в целом.

### *Вкус к необходимости*

Новая государственная система в условиях нарастания продовольственного кризиса с успехом использовала уже наработанные ранее приемы нормированного распределения. Однако распределительные нормы лидер большевиков предполагал использовать как инструмент политического принуждения. Еще в октябре 1917 года В.И. Ленин отмечал: «Хлебная монополия, хлебная карточка... являются в руках пролетарского государства, в руках полновластных Советов, самым могучим средством учета и контроля... Это средство контроля и принуждения к труду посильнее законов конвента и его гильотины»<sup>2</sup>. В ноябре 1917 года — судя, правда, по источникам мемуарного характера — Ленин и вовсе заявил примерно следующее: «Хлеба у нас нет, посадите буржуев на восьмушку, а если не будет и этого, то совсем не давайте, а пролетариату дайте хлеб»<sup>3</sup>. Летом 1918 года эта идея обрела форму нормативного суждения: Коллегия Наркомпрода 27 июля предложила «немедленно ввести классовый паек»<sup>4</sup>.

По решению коллегии Наркомпрода все население разделялось на трудовое и нетрудовое. Первое в свою очередь состояло из четырех категорий: 1) лица, занимающиеся тяжелым физическим трудом; 2) лица также физического, но не тяжелого труда, больные и дети; 3) служащие, представители свободных профессий, члены семей рабочих и служащих;

4) владельцы предприятий, торговцы и прочие. Четвертая категория получала хлеба в восемь раз меньше, чем первая. В основу выраженной дифференциации обеспечения продовольствием была положена идея классового деления общества; одновременно беременные женщины получали пайки наравне с рабочими физического труда. Однако такого деления оказалось недостаточно, чтобы обеспечить голодное население. Распределительная система большевиков «совершенствовалась» по мере внедрения в повседневную жизнь принципов военного коммунизма. В апреле 1920 года СНК РСФСР утвердил проект декрета о введении трудового, или бронированного, пайка, которым предлагалось поощрять рабочих за успешный труд. Разнообразие норм распределения росло и умножалось. Сосуществовали «особый» паек для рабочих топливной промышленности и «академический» — для ученых, паек для кормящих матерей, «красноармейский», «медицинский» и т.д.

Приход большевиков к власти осложнил и без того непростую ситуацию в рыночной торговле. Рынки играли накануне 1917 года огромную роль в повседневной жизни горожан. Новая же власть воспринимала крестьян, торгующих своей продукцией, как «паразитов на теле трудового населения». В городах в годы Гражданской войны велась борьба с уличными продавцами, а заодно и с рынками. В Петрограде, например, в 1919 году торговать разрешалось лишь на 9 из 40 имевшихся базарных площадок, а летом 1920 года решено было закрыть и эти девять<sup>5</sup>. Власти проявляли настойчивое стремление к ликвидации публичных мест частной торговли и потому, что население не должно было замечать резкий контраст между нормами карточного снабжения и количеством продуктов, имевшихся на рынках.

Как инструмент реализации норм распределения использовали большевики и систему «коммунального питания». Уже 27 октября 1917 года в декрете СНК «О расширении прав городских самоуправлений в продовольственном деле»

отмечалось: «Городское самоуправление... имеет право превратить рестораны и трактиры в общественные столовые, работающие под руководством и контролем города...»<sup>6</sup>. С августа 1918 года в рамках действия большевистского нормативного акта — декрета ВЦИК РСФСР «Об отмене частной собственности на недвижимости в городах» — аномалией стало существование частных ресторанов, кафе и трактиров<sup>7</sup>. В Петрограде, например, специальным распоряжением Петрокомпрода все эти заведения подлежали ликвидации уже с 15 ноября 1918 года<sup>8</sup>. В условиях карточного распределения и натуроплаты основная масса горожан принуждена была пользоваться пунктами коммунального питания. В Москве летом 1919 года в таких заведениях кормилось около миллиона человек. В Петрограде в 1920 году насчитывалось почти 700 общественных столовых. Власть, настойчиво пытаясь превратить в норму систему коллективного питания, использовала ее и как инструмент реализации своих социальных предпочтений. При большевиках распределение носило выраженный классовый характер, и это предопределило вид аномалий, явившихся результатом его использования при решении продовольственного вопроса.

Карточки спровоцировали появление аномальной бытовой практики, основанной на поиске стратегии выживания, — «пайколовства». Возросшая в условиях нарастающей инфляции значимость натуральной части оплаты труда заставляла городских обывателей пристраиваться к местам распределения наиболее «весомых» пайков. Современники вспоминали: «Самым характерным в нашей жизни времени военного коммунизма было то, что все мы, кроме наших обычных занятий, таскали пайки. Пайков существовало большое разнообразие, надо было только уметь их выуживать. Это называлось "пайколовством"»<sup>9</sup>. Дело часто доходило до курьезов. Например, в Петрограде в 1918-1921 годах «милицейский паек» можно было получить за организацию культурно-просветительной



студии для милиционеров, а паек матери, кормящей грудью, — за чтение акушеркам лекций по истории скульптуры. «Пайколовство» быстро распространилось и по другим городам Советской России. Летом 1921 года одна из челябинских газет опубликовала фельетон. Его авторы выделили несколько категорий «пайкистов». Пайкист-философ, казалось, вообще не думал о пайке, он лишь напоминал о нем вскользь и только начальнику хозяйственного отдела. Существовала категория «рассеянных» пайкистов, не замечавших, что они получают сразу несколько пайков. Были еще «коллекционеры», имевшие и красноармейский, и академический, и совнаркомовский паек, а также «спортсмены», гонявшиеся за количеством. А «глупым пайкистом» считался обыкновенный обыватель, надеявшийся на справедливость в системе распределения<sup>10</sup>. Реакция власти на «пайколовство» носила в основном внеюрисдикционный характер. В Советской России разрасталась сеть ревизионных органов, пытавшихся отслеживать «законность» предоставления пайков и продовольственных карточек. Но общий хаос не позволял наладить эту работу.

Более нетерпимо большевики отнеслись к «мешочникам» — еще одной социальной аномалии, порожденной запретом на частную торговлю и на закрытые рынков<sup>11</sup>. Традиционно под мешочничеством понимают некую форму самоснабжения населения в условиях развала хозяйственных связей и нормального товарообмена. Сопутствующими обстоятельствами появления «мешочников» становятся продовольственный кризис и товарный голод. Большинство филологов и историков относят слово «мешочник» к временам Гражданской войны. Известный специалист в области истории русского языка А.М. Селищев ставил его в один ряд с понятиями «дензнаки» и «комбеды», возникновение и существование которых ограничивается периодом 1918-1922 годов. Однако еще до прихода большевиков к власти население страны начало втягиваться в практику самостоятельного добывания

пищи и промышленных товаров, которые перевозились, как правило, в мешках. Причиной этого процесса во многом явилось введение хлебной монополии. Гражданская война усугубила ситуацию.

Для горожан крестьяне-мешочники представляли мощный канал получения продуктов. Однако не менее распространенными были и поездки жителей городов в деревни, где они меняли вещи на муку, картофель, сало и т.д. При этом горожанина в толпе легко было узнать по необычной таре — чемодану. Их звали «чемоданщиками». За продуктами ездили все: рабочие, учителя, профессора, артисты. Современники вспоминали, что совершенно неприспособленные люди «научились... торговать, ездить на буферах, на крышах вагонов»<sup>12</sup>.

Распределительная система эпохи Гражданской войны породила и еще одну аномалию — изменение культуры еды и в определенной степени вкусовых ориентиров населения, что неизбежно в ситуации масштабных социально-экономических изменений<sup>13</sup>. Самым важным в еде становилось элементарное насыщение. Горожане не только страдали от нехватки пищи, но и питались тем, что еще несколько лет назад казалось вообще несъедобным. Но это была, если так можно выразиться, индивидуальная инициатива. На властном же уровне идею накормить всех голодных большевики осуществляли с помощью примитивных форм коммунального питания, организаторы которых не могли и не стремились решить вопрос вкусовых качеств еды. Ассортимент блюд большевистских заведений коммунального питания был в 1918-1920 годах нищенским. К.И. Чуковский осенью 1919 года записал в своем дневнике: «Обедал в Смольном — селедочный суп и каша. За ложку залогом — 100 рублей»<sup>14</sup>. З.Н. Гиппиус в дневниковых записях, относящихся к лету 1919 года, фиксировала выдаваемый в общественных столовых «суп с воблой»<sup>15</sup>. Сын известного русского философа Н.О. Лосского Б.Н. Лосский вспоминал, что

его маленький брат не знал, что бывает белый и черный хлеб, и никак не мог понять, что делать с маленькой пшеничной булочкой, так как не воспринимал ее как пищу<sup>16</sup>.

Одновременно отрицание наиболее радикально настроенной частью большевистской верхушки буржуазной культуры порождало негативное отношение власти и к «буржуазному вкусу» в еде. В первую очередь это относилось к ритуалистике питания. П. Бурдые подчеркивал: «Способ подавать и есть пищу, расположение блюд и приборов... цензура всех телесных проявлений удовольствия от еды (таких, как шум или спешка) и, наконец, требование рафинированности самих кушаний. .. — это всецелое подчинение стилизации сдвигает акцент с субстанции и функции на форму и манеру, отрицая тем самым грубость и материалистичность акта еды и съедаемых вещей, что равноценно отрицанию фундаментальной материалистической вульгарности тех, кому доставляет удовольствие простое наполнение себя пищей и напитками»<sup>17</sup>. Не случайно М.А. Булгаков вложил в уста Полиграфа Полиграфовича Шарикова следующие слова, произнесенные во время обеда в адрес доктора Борменталья и профессора Преображенского: «Вот все у вас, как на параде... салфетку — туда, галстук — сюда... а так, чтобы по-настоящему, — это нет. Мучаете сами себя, как при царском режиме»<sup>18</sup>.

Власть подкрепляла антибуржуазность новых ритуалов питания и на визуальном уровне. Это касалось, в частности, практик создания особой «советской» посуды. Известно, что в начале XX века фарфор российского производства входил уже в состав традиционных предметов домашнего обихода горожан не только высшего, но и среднего слоя. Производство посуды, как ни странно, сумело сохраниться и в условиях Гражданской войны. Уже осенью 1918 года на предприятии стала изготавливаться посуда, которая, по словам А.В. Луначарского, должна была «со всем изяществом выразить идею и чувства людей трудовых»<sup>19</sup>. В быт горожан вошел так называемый

агитационный фарфор. На тарелках сначала размещали только лозунги, наиболее популярными из которых были: «Кто не работает, тот не ест» и «Пусть, что добыто силой рук трудовых, не поглотит ленивое брюхо»<sup>20</sup>.

В первые годы существования советского государства большевистский дискурс в сфере питания объективно приобретал выраженную антибуржуазную направленность. Это соответствовало преобладавшему в складывающейся пролетарской культуре характерному для крестьянской традиции восприятию пищи как сугубо насыщающей инстанции. Одновременно на уровне нормализующих суждений культивировалась мысль о значимости вкусовых пристрастий как своеобразного индикатора противостояния классов. Знаковый смысл для характеристики раннебольшевистских ориентиров в области питания носили строки:

Ешь ананасы, рябчиков жуй,  
День твой последний приходит, буржуй.

Граждане страны Советов против своей воли становились приверженцами того, что Бурдые называл «вкусом к необходимости», который власть пыталась представить как некую норму повседневности. В начале декабря 1920 года СНК, пока еще руководствуясь принципами политики военного коммунизма, принял декрет «О бесплатном отпуске населению продовольственных продуктов». Декрет начал действовать с 1 января 1921 года. Жители российских крупных городов, и прежде всего Москвы и Петрограда, оказались на грани настоящего голода. Таким образом, военно-коммунистические нормы распределения, обеспечивавшие существование коммунального питания и одновременное уничтожение свободной торговли, а также укрепление феномена «вкуса к необходимости», способствовали развитию своеобразных новых норм, связанных с культурой питания и носящих патологический характер.

Ситуация могла измениться лишь благодаря введению новой экономической политики, которая явилась способом наиболее рационального перехода российского общества от войны к миру, отказа от чрезвычайщины в быту, возвращения к традиционной, нормальной стилистике повседневности.

### *Белые булки нэпа*

Началом новой экономической политики традиционно считают принятое X съездом партии большевиков в марте 1921 года решение о замене продразверстки продналогом, вызывающее ассоциации в первую очередь с продовольственным вопросом. Естественно, что население ждало от грядущей реформы — нэпа — прежде всего перемен в повседневной жизни, в том числе улучшения питания, которое должно было приобрести не нормированные, а нормальные традиционные черты культуры еды.

Не случайно 4 марта 1921 года, в разгар Кронштадтского мятежа, ускорившего отказ от военно-коммунистической доктрины, в частности, и в сфере повседневности, петроградский историк-архивист Г.А. Князев записал в своем дневнике: «Теперь скоро булки будут, — так думают многие наивные люди. И ждут, как в феврале 1917 г., что с переменой правительства все сразу лучше будет... и булки будут»<sup>21</sup>. Однако и булки, и все остальное, с чем ассоциировалась мирная жизнь, появились нескоро. Несмотря на замену продразверстки продналогом, голод разразился в Поволжье и на Урале. Страдали от недоедания и жители крупных городов. Дневниковые записи и сводки о политических настроениях свидетельствуют о полуголодном существовании в 1921 году и рабочих, и служащих, и интеллигенции. Поэт М.А. Кузмин отмечал в дневнике: «27 марта. Обед был скверный. Голодновато»; «7 июня. Ели, ели и плохо. Какое-то тухлое масло. Овсяная каша, как жеваная. Везде смех



и анархия, голод, чума и т.п.»; «7 июля. Пошли отыскивать хлеб»; «2 августа. Впроголодь»; «10 августа. В доме ничего нет, только молоко»; «21 августа. Ели картошку с американским салом, от которого скоро меня начнет тошнить»; «1 октября. Хлеба нет нигде»<sup>22</sup>. Те же настроения присутствуют в дневнике уже упоминавшегося Г.А. Князева: «16 апреля 1921 г. Опять плохо питаемся. Еле ноги таскаю. По утрам с трудом встаю»<sup>23</sup>. Органы политического контроля зафиксировали летом и осенью 1921 года стойкое недовольство граждан продовольственной политикой власти. «Ужасно, голод вернулся, 18-й год опять — одни селедки»; «Вот наша пища — селедки и невская вода»; «Недавно варили суп с тюлениной, но этого уж граждане не вытерпели и устроили скандал» — это выдержки из перлюстрированных писем петроградцев в 1921 году<sup>24</sup>. Еще медленнее ситуация менялась в провинции. В сводках челябинского губчека за 1921 год констатировалось: «Население вступает в фазу абсолютной голодовки, так как суррогаты, овощи и скот, бывшие первостепенным продуктом питания, в большинстве случаев съедены»<sup>25</sup>. Одновременно власть медленно и во многом неохотно, но все же формировала пласт нормативных суждений, направленных на улучшение обеспечения населения продовольствием. В конце мая 1921 года СНК принял декрет «Об обмене», разрешив тем самым торговлю излишками продуктов не только на рынках, но и в закрытых помещениях. Еще почти через два месяца, в конце июля 1921 года, появилась инструкция СНК о разрешении открывать такие заведения в первую очередь в Москве и Петрограде. Уже 17 августа 1921 года архивист Князев зафиксировал в дневнике: «В городе открываются лавки, их уже десятки, сотни. Продается все, что угодно, даже лимоны...»<sup>26</sup>.

Но ситуация со свободной продажей населению крупных городов продуктов питания стала меняться в лучшую сторону лишь в начале осени 1921 года, когда была разрешена, наконец, свободная торговля хлебом. Мемуаристика и художественная

литература 1920-х годов наполнены описанием бойкой торговли именно хлебобулочными изделиями. Солидарны друг с другом две бывшие россиянки, в годы Великой Отечественной войны оказавшиеся вынужденными эмигрантками, позднее ученые-филологи: жившая до 1925 года в Поволжье Е.А. Скрябина и псковитянка В.А. Пирожкова. Скрябина вспоминала, что в Нижнем Новгороде в начале нэпа поражали «частные булочные с прекрасными калачами и другими произведениями кулинарного искусства, от которых глаз совсем отвык»<sup>27</sup>. «Время НЭПа для меня, ребенка, — отмечала Пирожкова, — было связано с булочной (в Пскове. — НН7.)... где были такие пышные булки, вкусные пирожные и такая же пышная, как эти булки, булочница...»<sup>28</sup> Изобилие поразило и эмигранта К. Борисова во время его недолгого визита в Москву в 1923 году. В известной до революции Филипповской булочной на Тверской, по его словам, были «хлеб черный, рижский, полубелый, ситный простой, ситный с изюмом, булки всех видов, чуть ли не двадцать сортов сухарей, баранки, пирожки, пирожные»<sup>29</sup>. Хлебом, который лежал в основе традиционно русского питания, стали торговать и в кооперативных магазинах. Новая экономическая политика послужила толчком для их развития. В Ленинграде, например, в руках кооперации в середине 1920-х годов находилось почти две трети хлебопекарен. Современники вспоминали о «кирпичике» из белой муки, на нижней корке которого отчетливо выступали четыре крупные буквы «ЛСПО» — Ленинградский союз потребительских обществ.

Постепенно в свободной продаже стали появляться и другие продукты, в первую очередь благодаря восстановлению традиционных звеньев торговых сетей в городах — частных магазинов и лавок, а также рынков. Городской обыватель в массе своей воспринимал это как привычную норму. А.П. Платонов так описывал впечатления героя своего романа «Чевенгур» (1926-1929) Дванова, возвратившегося в родной город в разгар нэпа:

«Сначала он подумал, что в городе белые... Около вокзала — на базе губпродкома — висела сырая вывеска с отежшими от недоброкачественной краски буквами. На вывеске было кратко и кустарно написано:

"ПРОДАЖА ВСЕГО ВСЕМ ГРАЖДАНАМ.  
ДОВОЕННЫЙ ХЛЕБ, ДОВОЕННАЯ РЫБА,  
СВЕЖЕЕ МЯСО,  
СОБСТВЕННЫЕ СОЛЕНИЯ"

Под вывеской малыми буквами была приписана фирма: "Арду-лянец, Ромм, Колесников".

Дванов решил, что это нарочно, и зашел в лавку. Там он увидел нормальное оборудование торговли, виденное лишь в ранней юности и давно забытое: прилавки под стеклом, стенные полки, усовершенствованные весы вместо безмена, вежливых приказчиков вместо агентов продбаз и завхозов, живую толпу покупателей и испускающие запах сытости запасы продуктов»<sup>30</sup>.

Частник, быстро сориентировавшийся в новой ситуации, активно проявлял себя на потребительском рынке продуктов питания. Уже весной 1922 года наряду с булочными и кондитерскими стали открываться гастрономические, мясные, рыбные и прочие специализированные магазины и лавочки. К концу 1924 года петроградская губернская конференция РКП(б) вынуждена была отметить, что «частная торговля расположилась в Ленинграде во всех районах и охватывает своими щупальцами весь наш рынок»<sup>31</sup>. В провинции долгое время индивидуальный предприниматель нередко был главной фигурой в деле обеспечения населения едой. В Сибири, например, в середине 1920-х годов на каждые 10 тысяч жителей приходилась 31 частная лавка и только 5 кооперативных. При этом частник не гнушался использовать еще дореволюционную практику отпуска продуктов в долг своим постоянным покупателям;

его магазины прельщали внешним видом витрин и режимом работы, удобным прежде всего для покупателя. В Иркутске, например, в 1924 году отдел местного хозяйства попытался ввести для всех торговых точек обязательный двухчасовой перерыв. Это вызвало бурю возмущения и потребителей, и хозяев<sup>32</sup>.

Ощущение возврата к дореволюционным нормам приобретения продуктов в городах еще больше усиливалось за счет возрождения рынков. К середине 1920-х в Ленинграде, например, было уже 43 рынка и базарных площадки. Наиболее крупные из них находились в Центральном районе. Это знаменитые Сенной, Апраксин, Мальцевский, Кузнечный, Андреевский и многие другие рынки. После запустения и разрухи времен военного коммунизма рыночные здания находились в плачевном состоянии, но за несколько лет нэпа они были постепенно восстановлены. Иногда это делалось за счет муниципальных средств, иногда на деньги арендаторов. В Москве бурно торговали на Сухаревском рынке, несмотря на то что в 1924 году его перенесли на новое место. Московская пресса периода нэпа часто описывало изобилие продуктов на «Сушке»: «Пройдите по продуктовым рядам. Молочные продукты: снежно-белая сметана, янтарный сыр, масло неуловимых оттенков белизны и желтизны. Знали ли вы, что яйца, собранные в таком большом количестве, могут создать симфонию оттенков и размеров? И свежее парное мясо меняет цвет рубина на гранат, а жир его светится каплями жемчуга. А груды овощей? Зелень лука и пурпур редиски, сотни оттенков зелени — какой художник нарочно подбирал эти тона? Вы видели зарезанную курицу? Но разве вы знали, что сотни их, сложенные вместе на прилавке, создают фантастическое геометрическое тело, дышащее живой теплотой?»<sup>33</sup> Менее цветист, но более реален в описании уже киевского базара в 1925 году был белый эмигрант, ярый монархист В.В. Шульгин, тайно посетивший СССР в разгар нэпа. «Так я попал на второй базар, — отмечал мемуарист. — Этот был крытый. Тут больше продавалось всяких вкусностей.

И мяса, и хлеба, и зелени, и овощей. Я не запомнил всего, что там было, да и не надо, все есть»<sup>34</sup>.

Рыночная торговля играла значительную роль в обеспечении горожан продуктами. В Ленинграде, например, даже в 1927 году 47% молока, потребляемого жителями города, поставляли молочницы, торговавшие на рынках<sup>35</sup>. И это несмотря на то обстоятельство, что с 1922 года обыватель мог уже позволить себе при приобретении продуктов выбирать между рынком, государственным магазином и кооперативом. Потребительская кооперация в годы нэпа развернула целую сеть торговых организаций в городах. Историк И.М. Дьяконов вспоминал о Ленинграде 1926 года:

«Во всех помещениях магазинов, что побольше, прочно утвердились районные кооперативы. У нас на Петроградской стороне, куда ни кинь взор, видишь синие вывески с большими белыми буквами, подведенные красным:

Петрорайрабкооп.

А по бокам, на вертикальных вывесках, покупателю обещают "мясо, рыбу, зелень, дичь" или "гастрономию, бакалею, колониальные товары"»<sup>36</sup>.

Кооперативная, государственная и частная торговля находились в состоянии постоянной войны друг с другом. К этому побуждала необходимость выживать в условиях конкуренции. Способы конкурентной борьбы использовались самые разнообразные, вплоть до доносов. Сама же власть часто меняла свою тактику в течение нэпа. Ее нормативные суждения находили свое выражение в урезании денежного и товарного кредитования частной торговли, в увеличении налогов и установлении жесткого контроля над деятельностью частных торговцев. Можно обнаружить и любопытные нормализующие документы, демонстрирующие приоритеты идеологических



структур в сфере обеспечения населения продуктами питания. Так, в августе 1924 года бюро ЦК ВЛКСМ разработало специальный опросник для проверки политико-бытовой ориентации комсомольцев, у которых, в частности, выясняли: «Где ты должен покупать продукты — в государственном магазине, в кооперации или у частного торговца? Что важнее для нас — развитие кооперации или частной торговли?»<sup>37</sup> Однако в реальной повседневности создавалась норма свободного выбора места приобретения продовольствия. Нетрудно догадаться, что тот же процесс развивался в годы нэпа и в области приобщения населения к питанию в общественных заведениях. И хотя такие практики не были всеобъемлющими в российской городской действительности до революции, наличие их культурного следа новая власть пыталась развить и использовать в своих целях, тем более что домашняя кухня в раннебольшевистском дискурсе расценивалась как некая патология и рассадник буржуазных ритуалов еды.

### *Общепит и Нарпит*

С введением нэпа стала быстро сворачиваться система коммунального питания. Являясь на самом деле способом распределения, она не могла существовать в условиях возрождающихся товарно-денежных отношений. К июню 1921 года количество коммунальных столовых с их жалким ассортиментом в Петрограде, например, сократилось в шесть раз<sup>38</sup>. Почти одновременно власти разрешили открытие частных заведений общественного питания. Число их стремительно росло. В середине 1920-х годов даже в таком сравнительно небольшом городе, как Петрозаводск, работали частные рестораны «Триумф» и «Маяк», а также заведение в Летнем саду. Они отличались высокими ценами, так как облагались большими налогами, часть которых в 1925 году была использована

на содержание карельских студентов, обучавшихся в Москве и Ленинграде<sup>39</sup>. И, конечно, особенно активно сеть частных заведений общественного питания росла в Москве и Петрограде. В городе на Неве уже в 1923 году работало 45 ресторанов. В большинстве своем это были небольшие заведения, часто украшенные забавными вывесками. Немецкий философ В. Беньямин, посетивший Москву зимой 1926-1927 годов, писал в своем дневнике: «13 декабря. Здесь, как и в Риге, существует прелестная примитивная живопись на вывесках... Перед турецким рестораном две вывески, как диптих, на которых изображены господа в фесках с полумесяцем за накрытым столом»<sup>40</sup>. Обилие довольно приличных заведений общепита поразило Беньямина. На страницах его короткого дневника часто встречаются описания то кондитерской, где «подают взбитые сливки в стеклянных чашах» и безе, то французского кафе в Столешниковом переулке, то облицованного деревом зала гостиницы «Ливерпуль»<sup>41</sup>. Информацию такого характера можно встретить и в заметках Шульгина, побывавшего в Киеве, Москве и Ленинграде в 1925 году. Он также обратил внимание на то, что именно частные заведения общественного питания в СССР стали институтами, где сохранялись и развивались традиции отношения к еде как к эстетическому удовольствию. Зайдя в один из ленинградских ресторанов, Шульгин будто на мгновение оказался в дореволюционном Петербурге: «Я вошел в знакомый вестибюль, посмотреть на аквариум, в котором плавали, очевидно, те же самые рыбки, что и десять лет тому назад, по крайней мере мне показалось, что узнал одну стерлядку. И поднялся в кабинеты. Гражданин лакей весьма предупредительно провел меня в оставленную для сего комнату. Через несколько минут собрались все, кому полагалось, принесли закуски и карточку, причем лакей, как и в бывалое время, почтительно-уверенно склонившись, ласковым басом уговаривал взять то или это, утверждая, что сегодня "селянка очень хороша"»<sup>42</sup>. В меню частных ресторанов

названия блюд, как и до революции, писались по-французски: тюрбо, суп а-ля тортю, каша а-ля рюсс. Эту деталь подметил писатель Ю.П. Герман в романе «Наши знакомые», первая редакция которого была создана в середине 1930-х годов.

Индивидуальные предприниматели создали и сеть доступных столовых и прочих заведений, где горожанин мог поесть вне дома. Хорватский писатель М. Крлежа, побывавший в Москве в 1925 году, отметил много мест, где за небольшую цену предлагали обеды из трех блюд с неким выбором (на первое — суп-пюре, щи или говяжий суп с приличным куском мяса; на второе — рыбу или жаркое с салатом; а на третье — шоколадный крем или мороженое). Почти такую же картину писатель наблюдал в Вологде. Там в одном из трактиров в меню значилось шестнадцать наименований супов!<sup>43</sup> Помня о традициях дореволюционных трактиров, хозяева их и в середине нэпа готовили там, как правило, без особых затей, но вкусно. Художник В.И. Курдов вспоминал такое заведение, работавшее на территории одного из рынков в Ленинграде. Там «кормились мясные лавочники и разный рыночный люд. Заходили и мы, бедные студенты, съесть миску жирных щей или вкусного-превкусного супа гороха с кусками свинины». Хозяин по прозвищу Полкан мог дать студентам по стакану чая бесплатно и даже накормить в долг<sup>44</sup>.

Броские, но немногочисленные частные институты «пищи и вкуса» могли накормить очень небольшую часть городского населения, а их созидательная функция заключалась лишь в сохранении традиции отношения к еде как к некоему эстетическому удовольствию. Это не соответствовало общемировой практике рационально организованного питания. В целом, в СССР эти тенденции не прошли незамеченными. Но процесс внедрения в советскую повседневность новых норм обрел выраженный политический оттенок. Сначала появление каждого нового частного заведения общепита с явным сарказмом комментировала советская пресса. Сатирический журнал

«Красный ворон», например, в 1923 году писал, что для нэпманов в новом году будут открыты новые рестораны — «На дне Мойки», «Фонарный столб», а реклама у этих питейных заведений будет такая: «Все на фонарный столб»<sup>45</sup>. Затем уже на уровне нормализующих суждений власти в качестве аномалий стали рассматриваться как сами рестораны, так и их посетители. Тон был задан на II пленуме ЦКК РКП(б), проходившем в октябре 1924 года и посвященном вопросам партийной этики, а конкретнее, нормам поведения коммунистов в быту. Участие в «совместных с нэпманами обедах» и посещение ресторанов грозили моральным разложением, разрывом с пролетарскими массами и т.д.<sup>46</sup> Знаковым является то обстоятельство, что в госсекторе, связанном с общественным питанием, слово «ресторан» вообще не употреблялось. Так, в справочнике «Вся Москва» за 1927 год «Гранд Отель», «Европа», «Савой», «Прага» именуется образцовыми столовыми МОСПО<sup>47</sup>. Неудивительно, что большинство городского населения по-прежнему редко посещало рестораны — в частности, и из-за боязни получить своеобразный ярлык девианта, носителя элементов нэпманского разгула. В.В. Вересаев, автор романа «Сестры» (1931), вложил в уста комсомолки Нинки Ратниковой следующую фразу: «Никогда не была в ресторанах, не хочу туда. Буржуазный разврат»<sup>48</sup>. Непривычная обстановка, особый интерьер, одежда посетителей подобных заведений настораживали. «Пролетарскую массу» к тому же раздражал и «иностранный дух», столь традиционный для дореволюционных заведений общепита в крупных городах. Так, летом 1927 года на заседании пленума Ленсовета в ряду прочих замечаний в адрес системы общепита в Ленинграде было высказано и следующее: «Я хотел сказать, что в столовых надо бросить французский диалект — он нам не подходит. Это мелочь, но эти мелочи до сих пор продолжают, до сих пор еще пишутся на карточках на французском диалекте названия кушаний: сегодня а-ля-фуршет, шницель по-венски, суп а-ля-тюрбо и т.д.»<sup>49</sup>

Действительно, частные заведения общепита не просто не соответствовали идеологическим нормам новой власти. Зажатые в тиски налогов, они не могли справиться с организацией массового питания горожан вне дома. Именно поэтому в начале 1923 года решено было создать структуру, способную не только конкурировать с частником, но и проводить в жизнь идею рационализации быта в целом и питания в частности. Так появилось паевое кооперативное товарищество «Народное питание» (Нарпит), в уставе которого была сформулирована задача предоставления «городскому и промышленному населению улучшенного и удешевленного питания...»<sup>50</sup>. Сеть нарпитовских столовых развивалась довольно быстро. В отличие от частных ресторанов и трактиров, заведения Нарпита были освобождены от налогов и имели льготы при оплате аренды помещений. К марту 1924 года существовало 37 столовых в Москве, Ленинграде, Туле, Калуге, Ярославле и даже в городах Сибири. Осенью 1924 года эти заведения обслуживали по 118 500 человек в день, а через год — по 273 650 человек<sup>51</sup>.

Власть явно пыталась сконструировать некие нормы, создавая систему Нарпита, заведения которой должны были стать полигонами «революционализации» питания и вкуса. Несмотря на то что большинство горожан в годы нэпа питались дома, домашняя кухня в ряде нормализующих суждений представлялась как некая аномалия, тормоз на пути построения нового общества и рассадник буржуазных ритуалов еды. Общественная же столовая, по мнению теоретиков питания 1920-х, считалась «наковальной, где будет выковываться и создаваться новый быт и советская общественность»<sup>52</sup>. Предполагалось, что общие столовые смогут нивелировать последствия стесненности жизни в коммунальных квартирах, став одновременно и культурными учреждениями, в которых рабочие и работницы будут разумно и полезно проводить свой досуг. С подкупающей серьезностью они писали: «Рабочая семья принимает пищу там, где развешены пеленки, где

проплеван пол. Принимать пищу в непроветренной комнате, насквозь прокуренной, полной грязи, — значит проглатывать вместе с пищей всякую пыль и вредные микробы и получать от пищи лишь ту малую долю пользы, которую она могла бы дать, если бы ее принимали в чистом хорошо проветренном помещении»<sup>53</sup>. Вместо проветривания и уборки помещений, а также предоставления семьям горожан достаточного по площади жилья предлагалось перенести прием пищи в общественные столовые. Некоторые из этих теоретических посылок усилиями Нарпита удалось провести в жизнь.

Цены в нарпитовских столовых были невысокими, и первоначально их появление вызвало положительную реакцию населения. В официальных документах можно встретить довольно восторженные отзывы о начале деятельности новых форм общепита, противостоящих частнику<sup>54</sup>. Но относительная массовость заведений Нарпита не гарантировала ни ассортимента блюд, ни качества их приготовления, ни уровня обслуживания. В печати то и дело появлялись жалобы посетителей. Рабочий Кудрявцев, письмо которого редакция ленинградского журнала «Гигиена и здоровье рабочей семьи» в 1925 году опубликовала почти полностью, так рисовал картину обеда в одной из нарпитовских столовых: «Премия за "образцовый" беспорядок вполне заслуживает столовая им. Урицкого на Васильевском острове. Подавальщицы бегают среди публики, как угорелые, и обливают всех супом. В проходах страшная толкотня. Все окутано табачным дымом. Нередко слышна отборная ругань. Тарелки и ложки всегда грязные»<sup>55</sup>. Неудивительно, что в середине 1920-х годов была популярна шутка: «Я, брат, завидного здоровья человек. Я седьмой год в столовых обедаю»<sup>56</sup>.

В начале 1927 года Всесоюзное совещание по общественному питанию провозгласило необходимость огосударствления этой сферы и превращения ее в самостоятельную отрасль государственной промышленности. В условиях нарастающей проблемы нехватки продуктов нереальным становилось

существование как частных, так и кооперативных заведений общепита. Сменившее Нарпит в 1931 года Главное управление по народному питанию носило сугубо государственный характер.

Таким образом, ни частники, ни служащие кооперативной организации не справились с приобщением населения к питанию вне дома на новых принципах рационализма, уже господствовавших в мире. Скорее нормой, соответствующей общецивилизационным урбанистическим тенденциям в культуре еды, стали фабрики-кухни, которые, как ни парадоксально, возникли уже в годы нэпа. Предприятия для массового производства готовых блюд появились в Европе и в США уже в начале XX века. В России эту идею попытались осуществить большевики, окрасив свое начинание в политические тона. Весной 1925 года в Иваново-Вознесенске была открыта первая фабрика-кухня. Многие процессы приготовления пищи, а также мытье посуды и нарезание овощей и хлеба там выполняли машины. В условиях первой фабрики-кухни не удалось реализовать то, что идеологические структуры считали наиболее важным, — культурно-воспитательный процесс. Однако в дальнейшем при разработке планов фабрик-кухонь считалось необходимым, кроме помещений для приготовления и приема пищи, проектировать и своеобразные комнаты отдыха. Большинство этих принципиально новых заведений общественного питания открывалось в зданиях, построенных архитекторами-конструктивистами. Во многих фабриках-кухнях они смогли реализовать принцип «функция плюс динамика». Один из теоретиков советского общепита 1920-х годов А.Б. Халатов писал об иваново-вознесенской фабрике-кухне: «Она замечательна не только тем, что она является первой во всем Союзе, что она доказала свою жизнеспособность и необходимость, что она знаменует собой новый индустриальный этап в развитии дела общественного питания, что она создает в процессе механического приготовления обедов новые слои работников общественного питания. Она замечательна и не только тем, что



согласно записи делегации в книге посетителей — эта фабрика "считается большим достижением по строительству социализма и нового быта", — или, что "фабрика-кухня действительно взрывает старый быт, дает хорошее, вкусное и здоровое питание". — Эта фабрика-кухня еще примечательна тем, что она явилась и еще поныне является *школой общественного питания*<sup>57</sup>.

Индустриально-технологический характер подобных заведений в целом соответствовал настроению всеобщего обобществления быта, которое оказалось созвучным устремлениям масс. Вероятно, в иной социальной ситуации фабрики-кухни смогли бы превратиться в учреждения быстрого питания, столь популярные ныне во всем мире. Однако в советской действительности они скорее были «знаком беды» — грядущих трудностей с продовольствием, которые на рубеже 1920-1930-х годов, на исходе нэпа, стали ощущать и жители крупных городов СССР. На подсознательном уровне агрессивный монополизм фабрик-кухонь почувствовал Ю.К. Олеша. Его роман «Зависть», написанный в 1927 году, отражает чувство страха перед уже развернувшейся в советских условиях переделкой индивидуальной личности в массового советского человека. И во многом инструментом этого становились фабрики-кухни, в масштабах которых стиралась грань «вкусного» для одного и «невкусного» для другого.

*«...Начали лучше питаться  
и почувствовали в себе душу» (А. Платонов)*

Ликвидация фиксированных норм распределения продуктов с введением нэпа, равно как и существование разных видов учреждений общественного питания, стали маленькой буржуазно-демократической революцией в сфере вкусовых приоритетов городского населения, которые сложились под влиянием условий Гражданской войны и военного коммунизма.

Сформировавшийся внесоциальный «вкус к необходимости» постепенно уступал место более традиционным для горожан приоритетам в области еды. Нормальная пища стала появляться даже на столах у той категории населения, которая в годы Гражданской войны вообще могла быть лишена карточек. Е.А. Свиньина, вдова бывшего члена Госсовета генерала А.Д. Свиньина, по своему происхождению попадала в разряд «бывших» людей и поэтому в период военного коммунизма продуктовый паек получала по самой низкой категории. С наступлением нэпа эта почти семидесятилетняя женщина вынуждена была сама зарабатывать себе на пропитание, и тем не менее в августе 1924 года она писала родственникам в Париж: «Уже корок не ем от черного хлеба, а отдаю их воробьям и собакам на улице... Зелень недорога, и я этому рада, потому что, как ни голодала, а все же обед из общественных столовых в прошлом всегда был для меня кошмаром, эта мутная, грязная жижа, это омерзительное пшено, этот хлеб из трухи... и восхитительно омерзительная вобла. Слава Богу, все это уже сгнуло, будь оно проклято — это дикое время... У нас уже есть возможность даже таким, как я, иметь хлеб ежедневно свежий и сколько надо для утоления голода, картофель, огурцы доступны; мы не давимся пшеном, не гложем селедочные головки от чужих пайков, не скоблим вонючую воблу. Она куда-то исчезла — и едим человеческую пищу...»<sup>58</sup>.

Действительно, к концу 1924 года в полтора раза по сравнению с 1921-м возросла калорийность питания рабочих, в два раза увеличилось ежедневное потребление мяса и в четыре раза — сахара<sup>59</sup>. В нарративе, свидетельствующем об эпохе нэпа, фигурируют подробные описания огромного количества сластей, появившихся очень быстро в магазинах, лавочках и на открытых лотках. В. Бенъямин в дневниковой записи от 1 января 1927 года отмечает: «1 января. <...> Я бы хотел написать о "цветах" в Москве... слащавых сахарных клумбах на тортах. Но есть и торты в форме рога изобилия, из которого сыплются

хлопушки или шоколадные конфеты в пестрой обертке. <...> есть еще сахарная вата, витые леденцы, которые так приятно тают на языке, что забываешь о жестоком морозе»<sup>60</sup>. «Если говорить о памяти вкусовой, — вспоминал Д.А. Гранин, — то лучше всего помнится вкус сластей тех лет. Сидели бабки с корзинками и продавали самодельные сласти. Во-первых, маковки, варенные в меду, во-вторых, тянучки. Их и впрямь можно было вытягивать в длинную коричнево-сахаристую нить... Постный сахар, мягкий, всех цветов радуги. Шоколадные треугольные вафли. Их почему-то называли "Микадо". В кондитерских магазинах имелись помадки, пастилки, цветные лимонные корочки, с...» Были еще разных цветов прозрачные монпансье в круглых жестяных коробочках»<sup>61</sup>. Сравнительно легкие технологии производства сластей помогли сначала частникам, а затем и кооперативным и государственным предприятиям быстро наладить производство разнообразных лакомств. С 1922 года население Советской России познакомилось с изделиями кондитерской фабрики имени П.А. Бабаева, ставшей крупнейшим производителем карамели, ириса и монпансье. Предприятие явилось преемником традиций «Товарищества А.И. Абрикосова и Сыновей», бывшего «Поставщика Двора Его Императорского Величества». Кондитерские продукты выпускала в 1920-х и фабрика «Красный Октябрь», до революции известная как мастерская Т. фон Эйнема по изготовлению конфет и шоколада. Уже в период нэпа сласти получали непривычные, но созвучные времени названия. В 1924 году советские граждане смогли отведать серию карамелек «Наша индустрия», обертки которых были разрисованы тракторами, паровозами, автопугами. Портреты председателя ВЦИК М.И. Калинина, наркома иностранных дел Г.В. Чичерина и других государственных деятелей украшали фантики конфет под названием «Пролетарская».

Иллюзия счастья и благополучия, создаваемая обилием сладкого, дополнилась и относительной доступностью мороженого в годы нэпа. Д.А. Гранин вспоминал: «Летом появлялись

тележки с мороженым. В тележках, среди битого льда, стояли бидоны с розовым, зеленым и кофейным мороженым. Его намазывали на формочку и зажимали в две круглые вафельки. На вафельках красовались имена: Коля, Зина, Женя..»<sup>62</sup>. О мороженом вспоминал и петербургский историк И.М. Дьяконов: «Меня в то время из продуктов интересовали главным образом сласти — конфеты и карамели... мороженое, продававшееся угрюмым разъездным частником с голубой тележки. Впрочем, мороженое нам не разрешалось: в газетах описывались случаи отравления из-за плохо луженых формочек»<sup>63</sup>. Следует отметить, что мороженое в годы нэпа традиционно входило в список недоброкачественных продуктов. Случаи отравления им оказались настолько частыми, что в 1924 году в Ленинграде, например, власти были вынуждены принять специальное постановление о приготовлении мороженого и торговле им. Постановление определяло требования к посуде (только медная), льду (чистый обмытый) и киоску, в котором осуществлялась продажа. Он не должен был стоять ближе чем в 20 метрах от выгребных ям и извозчицких стоянок. Однако постановление дело не поправило, и спустя два года сатирический ленинградский листок «Пушка» ернически предлагал использовать мороженое наряду с пирожными со взбивным кремом для борьбы с крысами и мышами<sup>64</sup>. Вероятно, из-за отсутствия холодильников (как домашних, так и промышленных) мороженое не стало все же символом вкусовых пристрастий эпохи нэпа.

Своеобразно развивалось отношение городского населения к мясу — традиционной составляющей российского меню на любом социальном уровне. Сначала после пайкового распределения восторг населения вызывали возродившиеся колбасные лавки. Г.А. Князев писал в своем дневнике 16 апреля 1922 года: «В колбасных у Сопетиных\*... покупатель "валил"

Два магазина на Васильевском и один на Большом проспекте Петроградской стороны.

весь день. <...> Окорочка покупались и целиком»<sup>65</sup>. Мясные деликатесы стали возвращаться в городскую повседневность в дни обильных застолий, привычных для крупных религиозных праздников. Художник В.И. Курдов вспоминал о пышном праздновании в 1926 году Пасхи в семье знаменитого живописца Б.М. Кустодиева: «В назначенный день и час пришли к Кустодиевым... в центре стола лежал на блюде огромный копченый окорок»<sup>66</sup>. Позднее рынки и магазины стали заполняться свежим мясом, которое уже продавалось по сортам. Кроме первого и второго сорта существовало и так называемое «кошачье мясо» — то есть низкосортное, годящееся лишь для животных. Об этом мясе вспоминали и И.М. Дьяконов, и В.С. Шефнер.

Новый вкус ассоциировался с появлением в продаже мяса кроликов. И хотя истинный расцвет кролиководства пал на совсем голодные годы первых пятилеток (см. ниже), тушки маленьких зверьков горожане могли видеть на прилавках уже во второй половине 1920-х годов. Не случайно вечерняя «Красная газета» в ноябре 1926 года совершенно серьезно призывала горожан быть осмотрительными при покупке кроликов — на поверку они могли оказаться кошками<sup>67</sup>. О наличии кроличьего мяса в меню горожан свидетельствует и известный сюжет из романа «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова, рассказывающего о жизни в СССР в 1927 году. «Проклятые обыватели города N», правда, оказались консервативными и не захотели покупать кроликов, которых принялся разводить предприимчивый отец Федор.

Лозунги «Мясо — вредно» и «Тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу», которые каждый относительно культурный человек знает благодаря произведениям Ильфа и Петрова, на самом деле не литературный вымысел, а исторические реалии конца 1920-х годов. Черным юмором отдает письмо рабочего В. Петрова, опубликованное в журнале «Гигиена питания» в 1927 году. Он принял лозунг о системе жевания как руководство к действию, и вот что в результате получилось:

«После применения способа тщательного пережевывания у меня уменьшился сон: сплю сейчас от 6 до 7 часов, а раньше спал от 10 до 11 часов. Затем получил вкус, особенно в черном хлебе. Пищи ем в два раза меньше, чем прежде, и ем тогда, когда мне хочется, и, что интересно, отбросы получаются гораздо круче и меньше»<sup>68</sup>. В ситуации нехватки продуктов в конце 1920-х достижения Петрова по «сокращению принимаемой пищи» в два раза были, несомненно, важны для государственной системы. Однако вряд ли «укрепление» и «сокращение отбросов» организма положительно сказывались на здоровье.

И все же относительный либерализм нэпа позволил ввести в норму традиционные признаки городской культуры питания, в которой преобладающими были буржуазные элементы определенного наслаждения вкусом. Этому способствовала и возрожденная в условиях нэпа дореволюционная практика домашних обедов. Хозяйка за вознаграждение готовила еду для нескольких человек, не желавших пользоваться услугами общепита. Информацию о системе домашних обедов в 1920-е годы сохранили мемуары и художественная литература. В рассказе Л.И. Славина, опубликованном в «Красной ниве» в 1927 году, упоминаются обеды, которыми за умеренную плату потчует жильцов окрестных коммуналок бывшая фрейлина княгиня Бловиц: «Там были блюда все тяжелые, с кашами, с капустой, пахнувшей тяжко, как разваренное белье»<sup>69</sup>. В «Двенадцати стульях» аналогичным бизнесом занимаются отец Федор с женой. Встречается описание общественного питания в домашних условиях и в мемуаристике. Литератор Э.Л. Миндлин вспоминал, что в Москве в 1923 году на каждом шагу можно было увидеть вывеску «Домашние обеды». Сотрудники журнала «Огонек», в котором мемуарист в то время работал, во главе с М. Кольцовым «обыкновенно обедали в "средних" домах, где за большим круглым столом прислуживала сама хозяйка и ее молодые дочери...»<sup>70</sup>. Как правило, во всех случаях в домах подавалась традиционная

для российского горожанина еда с обязательной сервировкой, что подчеркивало буржуазный характер вкусовых приоритетов населения в условиях нэпа.

Дореволюционные ориентиры в области еды поддерживались и кулинарными книгами. Они публиковались в основном частными издательствами и носили информационный характер, без выражения каких-либо общественных приоритетов<sup>71</sup>. Существовали, правда, и издания, которые отражали общий уровень организации кухонного хозяйства в советской стране, а именно давали советы по специфике приготовления пищи на керосинках, примусах, обычной дровяной плите<sup>72</sup>. В целом, несмотря на периодические кризисы, характерные для нэпа, в 1920-х годах шел процесс возвращения к нормам потребления и вкусовым ориентирам предреволюционного времени. Это выражалось в восстановлении привычных путей приобретения продуктов в городской среде, в сосуществовании разных заведений общественного питания, в стабилизации пищевых предпочтений населения.

### *Заборные книжки, карточки, орсы, торгсины...*

Переход к форсированному построению социализма сопровождался возвращением к государственному регулированию распределения продуктов питания. В мирных условиях власть решила на возобновление карточной системы, к которой российское население ранее приобщалось лишь в военное время. Слово «норма» вновь приобрело конкретные характеристики, сформированные при помощи четких нормативных суждений власти.

Начиная с 1928 года, опасаясь взрывов социального недовольства, местные власти стали самостоятельно принимать решения о введении нормированного снабжения. Центральные власти не успевали за инициативой снизу. Первые хлебные



карточки появились в 1928 году, а во всесоюзном масштабе они стали циркулировать лишь с середины февраля 1929-го. Тем не менее «заминки» с хлебом ощущали и жители крупных городов. Московский учитель с дореволюционным стажем И.И. Шитц писал в своем дневнике о нехватке именно хлеба в Москве уже летом 1928 года. В декабре, по свидетельству того же Шитца, «хлеб отвратительный. Черный еще можно есть, а "белый" — никуда, он серый и какой-то отвратительной закваски»<sup>73</sup>.

Ситуация с продовольствием осложнялась, и к весне 1929 года карточки были введены повсеместно, однако распределительная система была строго ранжированной. Вне государственного снабжения оказались не только крестьяне, но и часть городского населения, так называемые «лишенцы». Населенные пункты были разделены на четыре списка в зависимости от уровня «индустриальное™», то есть количества промышленных предприятий. Существовали города, которые входили в так называемые особый и первый списки. Их население составляло 40% от числа всех тех, кому полагались карточки, а потребляли эти люди около 80% распределяемых продуктов и товаров. Внутри городов было несколько категорий карточек. Иными словами, ленинградский рабочий получал больше продуктов, чем, например, его товарищ по классу в Пскове. Эта сложная иерархия затронула даже детей. Государственное снабжение носило избирательный характер<sup>74</sup>. Кроме того, карточная система в значительной степени подрывала существование привычных каналов приобретения пищи, породив некие иные, носящие экстраординарный характер. Своеобразный процесс инверсии нормы в аномалию можно наблюдать на примере развития в советских условиях феномена «заборных книжек».

Это словосочетание существовало в русском языке и до прихода большевиков к власти. Так именовали документ, по которому в лавках при некоторых фабриках и заводах

можно было в кредит приобрести (забрать) товар. В советское время заборные книжки возродила система кооперации. В кооперативных магазинах, которые население считало государственными, продукты питания и предметы ширпотреба продавались в первую очередь членам (пайщикам) данного кооператива. Они получали именные членские (кооперативные) книжки, где был указан размер паевого взноса, а иногда и фиксировались покупки. Когда товаров было достаточно, услугами магазина мог воспользоваться любой человек. В условиях нехватки продуктов питания, и прежде всего хлеба, уже в начале 1928 года многие кооперативные организации полностью отказались от обслуживания людей со стороны. Торговые точки в тисках товарного кризиса превращались в замкнутые сообщества, через которые государство легко могло осуществлять нормированное распределение. В членские книжки теперь постоянно заносили ассортимент и количество приобретенных товаров. Следующим шагом стало введение ограничений продаж внутри кооператива. Это называлось нормированным «отпуском товаров в одни руки». В конце 1920-х годов население стало отождествлять заборные кооперативные книжки с карточками.

В январе 1931 года власти официально подтвердили родство карточек и заборных книжек. Наркомат снабжения СССР принял постановление «О введении единой системы снабжения трудящихся по заборным книжкам в 1931 году». Вопросы обеспечения даже той небольшой части населения, которая считалась большевиками социально ценной, государство стремилось переложить на плечи предприятий. Они должны были выдавать своим служащим для приобретения продуктов и товаров в строго определенных магазинах заборные книжки. Эти документы администрация часто использовала как средства контроля и принуждения. Два раза в месяц, иногда и чаще, в книжках ставился штамп о выходе на работу. Без него получить что-либо в магазине было

невозможно. При увольнении с предприятия человек и вовсе лишался «заборных документов» до получения новых на новом месте работы. «Иерархия карточного потребления» отражала иерархию социальной структуры советского общества конца 1920-1930-х годов. Усиленные пайки имел небольшой круг военной, культурной и научной элиты. И, конечно, в самом привилегированном положении находились представители власти<sup>75</sup>. Карточки на хлеб были отменены в январе 1935 года, а на мясо, жиры, сахар и т.д. — лишь осенью 1935 года.

В период нормированного распределения из обихода почти исчезло привычное слово «магазин». На некоторое время свою функцию обеспечения населения продовольствием утратили рынки: некоторые, как знаменитая московская Сухаревка, были ликвидированы. Лишь после завершения насильственной коллективизации сельского хозяйства власти решили вернуться к системе рыночной торговли. В СССР появились так называемые колхозные рынки, работа которых регламентировалась указом СНК СССР от 20 мая 1932 года «О порядке производства торговли колхозов, колхозников и трудящихся единоличных крестьян». На рубеже 1920-1930-х годов горожане были вынуждены приобретать, а точнее, получать продукты питания по заборным книжкам в закрытых распределителях (ЗК) и в системе отделов рабочего снабжения (ОРСах). На эти организации власти, согласно постановлению Политбюро ЦК ВКП(б) от 15 декабря 1930 года, возложили решение ряда вопросов обеспечения промышленных рабочих. Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 4 декабря 1932 года значительно расширило права заводоуправлений в деле снабжения тружеников промышленного производства. ОРСы должны были обеспечивать реализацию устанавливаемых внутри предприятий пайковых норм. Это отнимало массу сил у фабрично-заводской администрации и отвлекало самих рабочих от производственного процесса. Современник отмечал: «Среди прочих дел в мои обязанности входит раздача

продовольственных карточек рабочим. Ежемесячно я раздаю 4-5 видов карточек: хлебно-продуктовая, индустриальная, карточка в столовую, дополнительного снабжения и, иногда, ударная. Все эти карточки должен при себе иметь рабочий, чтобы получить ту долю продукта, которую милостиво дарит ему "его правительство"<sup>76</sup>. Но правительственные структуры не видели иного способа снабжения рабочих.

Распределительные нормы способствовали появлению разнообразных практик выживания, многие из которых инициировались самой властью. Такой характер носило, в частности, обращение советских граждан в систему Торгсина — Всесоюзного объединения по торговле с иностранцами. Так называлось учреждение при Наркомате торговли СССР. Его функции сводились к продаже иностранным гражданам товаров, продуктов, а также антиквариата. С осени 1931 года Торгсин открыл сеть магазинов, где граждане СССР могли приобрести недоступные в условиях карточной системы вещи, а главное, продовольствие. Для этого в Торгсин сдавалось золото. Это могли быть старые золотые монеты, ювелирные украшения, предметы домашнего обихода: золотые ложки, блюда, вазы — и церковная утварь. Изголодавшиеся горожане понесли в Торгсин последнее, спрятанное на «черный день», с явным желанием. Ведь параллельно государство объявило кампанию по изъятию золота у населения для нужд индустриализации. Людей нередко помещали в знаменитые «парилки» — комнаты без вентиляции, где можно было только стоять, тесно прижавшись друг к другу. После нескольких дней в «парилке» люди отдавали золото добровольно. Позже в Торгсине стали принимать драгоценные камни, серебро, картины. Взамен выдавались так называемые деньги Торгсина, на которые там же и приобреталось все необходимое. Небольшая часть горожан расплачивалась и валютой, полученной переводом из-за границы. Деньги поступали в Госбанк и обменивались для торгсиновских операций на весьма невыгодных для граждан

условиях. Но нехватка продуктов заставляла людей пользоваться услугами Торгсина. Петербурженка С.Н. Цендровская, чье детство пришлось на 1930-е годы, вспоминала: «Когда открылись Торгсины, где все можно было купить на золото, родители снесли туда папино обручальное кольцо с рубином и мамины серьги. Больше никаких золотых вещей в нашей семье не было... Попробовали мы тогда хорошей белой булки и еще какие-то продукты удалось купить»<sup>77</sup>. Примерно такую же ситуацию можно обнаружить в дневниковых записях будущего известного питерского историка А.Г. Манькова. В конце февраля 1934 года юноша описал семейный обед, который стал возможным лишь после того, как «мать свезла в Торгсин одну серебряную столовую ложку и получила за нее крупы, масла и хлеба. У нас теперь на пятерых осталось три ложки. Положим, мы никогда все пятеро сразу не питаемся»<sup>78</sup>. В период голода 1933 года обороты сети торгсиновских магазинов достигли огромных размеров. Обыватели покупали самые элементарные вещи, и чаще всего хлеб. Писатель В.П. Астафьев вспоминал, что в 1933 году в обмен на золотые серьги его родственники получили пуд муки, бутылку конопляного масла и «горсть сладких маковух»<sup>79</sup>. На деликатесы, которые описывал М.А. Булгаков в романе «Мастер и Маргарита», — шоколад в золотистых обертках, розовую лососину, керченскую отборную сельдь — средств не хватало. Государство продавало продукты по завышенным ценам. В 1933 году торгсиновский сахар был на 300% дороже того, что отправлялся на экспорт. Система Торгсина просуществовала до начала 1936 года.

Более приземленной была еще одна бытовая практика периода нормированного распределения продуктов, овеществленная в предмете под названием «авоська». Это слово — несомненный неологизм советской эпохи, порожденный продовольственным дефицитом. «Авоськой» с конца 1920-х годов стала называться плетеная из ниток, тонкой бечевки или су-тажа сетчатая сумка. Питерский поэт В.С. Шефнер вспоминал,

что такое название — материальное воплощение постоянной мысли советского человека: «авось удастся принести в ней домой что-нибудь такое, чего по карточкам не выдают»<sup>80</sup>. В 1930-е годы многие язвительно именовали «авоську» «напраской», намекая на то, что поиски продуктов в советских условиях — это напрасные хлопоты<sup>81</sup>.

Распределительные нормы конца 1920-х — начала 1930-х годов — продукт аномальной ситуации в обществе — стали причиной возникновения поведенческих норм, носивших патологический характер. В первую очередь это феномен блата. Расшифровку этого понятия можно найти ныне в большинстве толковых словарей современного русского языка. Однако ни в одном из словарных изданий филологического характера не указано время возникновения «блата». Единственной точкой отсчета здесь может быть то обстоятельство, что в «Толковом словаре русского языка», изданном в 1935 году, слово «блат» уже наличествует. В более ранних изданиях его нет. Время появления «блата» можно определить и по воспоминаниям. В.С. Шефнер пишет: «В те годы (начало 30-х. — Я.Л.) вползло в быт словечко "блат", появились "блатмейстеры", то есть ловкачи, которые по знакомству добывали себе все, что хотели»<sup>82</sup>. С начала 1930-х годов на страницах советских сатирических изданий, прежде всего журнала «Крокодил», появляются публикации, высмеивающие стремление людей доставать самое необходимое через связи и знакомства — по «блату». Внешне забавными кажутся стихи поэта В.И. Лебедева-Кумача под названием «Блат-нот», опубликованные в третьем номере журнала «Крокодил» за 1933 год. В них фигурировал «блокнот» со следующими записями: «Приятель Петра (санаторий)», «Ник. Ник. (насчет харчей)» и т.д.<sup>83</sup> И таких примеров множество. Это позволяет отнести появление «блата» к началу 1930-х годов — пику развития распределительной системы в СССР. Суть этого феномена советской повседневности заключается в том, что большинство населения не верило в официальные

государственные механизмы регулирования товарообмена и иных социально-экономических отношений<sup>84</sup>. Блат — это важная часть стратегии выживания советского человека в условиях хронического дефицита и мнимого равенства. Можно смело назвать блат нормой повседневности, сложившейся именно на рубеже 1920-1930-х годов под влиянием нормированного распределения в первую очередь продуктов питания. Эта норма успешно просуществовала в сфере культуры питания и после отмены карточек в 1935 году, и в условиях карточной системы 1941-1947 годов, и в период имперского сталинизма в послевоенные годы. При этом «доставание по благу» — не единственная патологическая норма, существовавшая в сфере снабжения населения продуктами.

В период Великой Отечественной войны власти успешно использовали такие институты, как привилегированные закрытые распределители. А в марте 1944 года СНК СССР принял постановление о развертывании сети коммерческих продовольственных магазинов — государственных учреждений, предназначенных для той категории населения, которая могла позволить себе приобретать продукты без карточек и по высоким ценам. Уже в апреле 1944 года коммерческие структуры появились в Москве, летом — в Ленинграде, Киеве, Горьком, Свердловске и Челябинске, а в 1946 году они действовали в 131 городе СССР<sup>85</sup>.

### *«Песня о сое»*

Смена вектора политического и экономического развития страны на рубеже 1920-1930-х годов отразилась и на пищевых ориентирах городских жителей. Они в массе своей не испытывали голода, как это было, например, в Петрограде в 1918-1920 годах. В.С. Шефнер вспоминал: «Строго говоря, голода в Питере тогда (в годы первой пятилетки. — Н.Л.)



не было. На карточки прожить можно было. То был не голод, а недоедание. Судьба как бы тренировала, подготавливала нас к блокаде — Великому Голоду»<sup>86</sup>. Такого же мнения придерживается и мемуаристка В.А. Пирожкова, описывая ситуацию в Пскове после свертывания нэпа: «Появились продуктовые карточки, скучный серый хлеб. Но настоящего голода на севере не было»<sup>87</sup>. Москвич И.И. Шитц фиксировал в дневнике не голодное существование жителей столицы, а очереди, неважное качество продуктов, скудный ассортимент<sup>88</sup>. Нормой становилось весьма однообразное и маловкусное питание. Будущий историк А.Г. Маньков записывал в дневнике 1 апреля 1933 года: «Обед состоял из тарелки совершенно не масленых кислых щей с мелкой костлявой рыбешкой. Два небольших кусочка хлеба. На второе кофе без молока и сахара»<sup>89</sup>. С.Н. Цендровская вспоминала о том же времени: «Помню, маме на работе продавали немного молока, она варила щи и забеливала их молоком. Пшенная каша, круглый черный хлеб, яблочное повидло — вот повседневная наша еда в то время». Конечно, речь не шла об элементарном насыщении, как в эпоху военного коммунизма. Но в то же время в начале 1930-х годов властные структуры пытались сформировать определенные пищевкусные ориентиры основной массы населения в условиях нормированного распределения.

В связи с нехваткой продуктов питания на государственном уровне в годы первой пятилетки получили поддержку идеи вегетарианства. Советские теоретики рационального питания активно стали советовать возмещать недостаток жиров употреблением «жиров из кедровых орехов, сои, арбузных семечек, тыквы», а белков — горохом, бобами, чечевицей, шпинатом, щавелем. Настоятельно рекомендовалось вводить в общественную и домашнюю кухню новые культуры: физалис и корни одуванчика<sup>90</sup>. Но в представлениях власти фаворитом советского беззубойного питания стала соя. Весной 1930 года был создан научно-исследовательский институт

при Академии сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина, сотрудники которого, судя по информации газеты «Правда», уже летом 1930 года разработали рецепты 100 блюд из сои<sup>91</sup>. Государство строило грандиозные планы по выращиванию не слишком привычной для России сельскохозяйственной культуры: в 1930-е годы предусматривалось засеять соевыми бобами 300 000 га, а в 1931 году — уже 1 000 000 га<sup>92</sup>. Осенью 1930 года в Москве и Харькове прошла целая серия показательных обедов в системе общепита, на которых повара продемонстрировали около 130 соевых блюд: суп, борщ, котлеты, голубцы, пудинги, кофе, сыры, творог, кондитерские изделия. Соя должна была стать неким гарантом вкуса и всеобщей сытости. Подобную роль спустя 30 лет в СССР попытались отвести кукурузе. Прямых свидетельств отношения горожан к соевым деликатесам обнаружить пока не удалось. Но известно, что остроловы эпохи первых пятилеток с удовольствием подсмеивались над правительственной панацеей в эпоху нехватки белка и жиров. У Ильфа и Петрова в фельетоне «Когда уходят капитаны», написанном в 1932 году, в качестве образца литературной халтуры фигурировало «драматическое действие в пяти актах» под названием «Соя спасла», представленное как «собственность Института сои»<sup>93</sup>. А журнал «Огонек» в 1930 году напечатал «Песню о сое» со следующими словами:

Нынче главный лозунг мой:  
«Больше сей и больше Сой».  
Будем жить теперь не ноя:  
Нам придет на помощь Соя!<sup>94</sup>

В один ряд с соевыми бобами в борьбе с нехваткой пищи, по замыслу власти, должны были встать и кролики, пик разведения которых пришелся именно на годы первых пятилеток. Летом 1934 года СНК РСФСР принял специальное постановление «О развитии кролиководства», хотя в нарративе описание

использования шкурок, а главное, мяса, непривычного для России, датируется самым началом 1930-х годов. В апреле 1930 года в «Огоньке» появляется очерк, автор которого прямо заявляет: «Почти весь кролик может быть утилизирован. Но главным направлением для нас должно быть мясо-шкурковое»<sup>95</sup>. Героиня произведения Ю.П. Германа «Наши знакомые» Антонина с явным удовольствием приобретает на маленьком базарчике копченого кролика («в тот год было и такое», отметил писатель), чтобы подкормить чем-нибудь питательным себя и своих друзей<sup>96</sup>. На государственном уровне издавались брошюры о секретах приготовления кроличьего мяса<sup>97</sup>. Попутно следует заметить, что в 1920-1930-х годах появилось много кулинарных книг, которые помогали хозяйкам готовить в условиях явной нехватки продуктов, рассказывая, например, о блюдах из сои, картофеля, солонины<sup>98</sup>.

Трудно сказать, нравился ли сугубо диетический кролик горожанам в качестве замены менее полезных, но более традиционных говядины, свинины, баранины, курятины и гусятины. Источники сохранили явное недовольство исчезновением привычных продуктов из рациона. Сотрудники ОГПУ в 1928 году фиксировали в спецдонесениях появление лозунгов на тему еды. Так, на ленинградском «Красном путиловце» были обнаружены два плаката: один с портретом В.И. Ленина и подписью «Долой Ленина с кониной», а второй — Николая II с призывом «Давай Николая со свининой»<sup>99</sup>. Появились анекдоты не только о новых формах (например, заочном) питания, но и о его содержании. В.С. Шефнер вспоминал о шутовском предложении устранить из русского алфавита букву М, с которой начинаются слова «мясо», «масло», «молоко»<sup>100</sup>. С.Н. Цендровская вспоминала случай из своей школьной жизни, произошедший в 1931-1932 годах: «На уроке биологии проходили тему "домашние животные и птицы". Учителю надо было продемонстрировать кости скелета курицы. Она обратилась к классу с вопросом: "Кто дома ест курицу и может принести все кости

после обеда?" Из сорока человек только одна ученица подняла руку и обещала принести косточки в класс. Эта девочка была из очень состоятельной семьи...»<sup>101</sup> Действительно, многие мясомолочные продукты были редкостью в рационе в целом неголодающих горожан. Однако власть активно продолжала поиски пищевых заменителей. По предложению Ленинградского НИИ общественного питания в пищу попытались ввести дельфинье и тюленья мясо, зобную железу и семенники<sup>102</sup>. И нередко лабораториями по внедрению подобных новшеств становились учреждения общественного питания. Так, к XV годовщине Октябрьской революции трест общественного питания Ленинграда решил провести конкурс на лучшее новое блюдо. Основная задача участников сводилась к изобретению «до сих пор не существовавших в кулинарной номенклатуре блюд из таких продуктов, как вобла, тюлька, хамса, соя»<sup>103</sup>.

К началу 1930-х годов сеть общественного питания в российских городах также претерпела серьезные изменения. В первую очередь они были связаны с ликвидацией частных ресторанов, трактиров, кафе и др. Затяжной продовольственный кризис, безусловно, способствовал развитию системы общепита. Власти по-прежнему говорили о ее огромной роли в переустройстве быта. Весной 1930 года был проведен смотр столовых, названный в прессе «решительным переходом в наступление на домашние индивидуальные формы питания»<sup>104</sup>. Но на самом деле институты общественного питания, как и в годы Гражданской войны, превратились в механизм нормированного распределения со строгой отлаженной иерархией. В большинстве учреждений существовали закрытые столовые. В Ленинграде, например, на 1 января 1931 года функционировало 348 таких заведений, что составляло почти 70% от числа всех столовых города<sup>105</sup>. Уровень питания в них напрямую зависел от норм пайкового снабжения конкретной социальной группы населения. Интересен феномен «ударных обедов», которые были введены в практику фабрично-заводской

повседневности для стимулирования производительности труда. Для ударников производства на предприятиях либо открывали отдельные столовые, либо ставили специальные столы в общих помещениях. Сесть за стол ударника можно было только при наличии специальной «ударной книжки». Современники фиксировали: «10 ноября 1933. У нас на заводе открыли новую столовую для ударников... Ее смысл и конечный результат — усилить разграничение людей на правых и виноватых, усилить распри и междоусобицы, и без того огромные. Урезали половину площади от общей столовой, отгородили стеклянной перегородкой, все внутри выкрасили масляной красной краской, повесили на окна занавески, поставили маленькие столики, накрытые белыми салфетками. На окнах и на столиках — живые цветы. Лампы в фигурных абажурах. Пускают туда очень и очень не многих и в первую голову руководящих работников. Обеды лучше. Одним словом, "ресторан". Кличка эта уже бытует. Оттого, что от общей столовой урезали площадь, в ней стало грязнее, много теснее. В то время как рабочие кишат в ней как пчелы в улье, либо быстро пожирая пищу, либо стоя в очереди в ожидании, когда освободятся места за узким длинным загаженным пищей столом, рядом, за перегородкой, крашенной масляной краской, и с занавесками за отдельными столиками сидит несколько десятков человек, выделенных бог весть по какому признаку. И в то время как в общей столовой едят суп с макаронами или голые кислые щи, а на второе макароны с сахаром (реже с маргарином), в "ресторане" — мясной обед, а если макароны, то с коровьим маслом»<sup>106</sup>.

Более демократичными выглядели советские фабрики-кухни, получившие особое развитие в начале 1930-х. И в научном, и в общественном дискурсе прочно и справедливо укрепилась оценка строительства фабрик-кухонь как способа реализации идей о тотальном вовлечении женщин в производство. Это подтверждается не только опубликованными

публицистическими материалами известных в 1920-1930-х годах советских теоретиков питания, но и документами, извлеченными из архивов. На местном уровне практические работники всячески подчеркивали значимость новых форм общественного питания для женской эмансипации. Председатель Леннарпита незадолго до ликвидации этой организации, на заседании пленума Ленсовета в июне 1930 года, говорил: «Насущная необходимость — освободить женщину, для того чтобы ее бросить в первую голову в промышленность. Положение такое, что привлечение свободной рабочей силы из деревни требует большого жилищного строительства, а женщина-работница, которая составляет громадную массу и которая занята в настоящее время плитой, очередями и прочими непродуктивными делами, может дать колоссальный прирост заводского пролетариата. Я считаю, что это одна из основных причин — почему нам нужно с колоссальной энергией взяться за более широкое развитие дела общественного питания»<sup>107</sup>.

Не менее интересна и другая сторона деятельности фабрик-кухонь, а именно их роль в создании системы быстрого питания, которое было уже распространено в мире, и даже попытки реализации принципов валеологического подхода к пище, который можно свести к лозунгу «Вкусно и полезно». Принципиально новые для российской действительности учреждения общественного питания продемонстрировали возможности механизации многих трудоемких процессов приготовления пищи. Л.А. Кассиль писал в 1929 году: «Здесь все делается машинами. Машины — кухарки, машины — повара, машины — официанты, машины — судомойки, машины — кондитеры, — громадный штат машин... Жаркое готовится на больших плитах, питаемых нефтью... Готовое кушанье подъемником подается наверх, в обеденные залы. Требование сверху передается по телефону, имеющемуся у каждого подъемника. Наверху — блистательная чистота, уютная вместительность, щедрый разлив света... Отслужившие тарелки собираются

в нескольких пунктах зала, здесь с них сбрасываются в люки для отбросов объедки, а сама тарелка кладется в решетчатую качающуюся люльку конвейера и опускается в нижний этаж. Там она принимает кипятковую ванну, проходит горячий осушитель, чтобы через минуту снова вынырнуть на верхнем этаже в блеске своего фарфорового целомудрия»<sup>108</sup>.

Механизация процесса приготовления пищи требовала особой рецептуры блюд. Лишенные индивидуальности, свойственной домашней и хорошей ресторанной еде, они тем не менее должны были быть питательными, съедобными и пригодными для приготовления в больших объемах с использованием кулинарной техники. На практике это оказалось непростым делом. На заседании Ленсовета в июне 1930 года, где специально обсуждался вопрос о строительстве очередной фабрики-кухни, прямо заявлялось, что для нового начинания нет нужных кадров. «Это узкое место, — отмечал представитель Леннарпита. — По всему союзу осталось 6000 поваров. Я не хочу эту профессию ставить низко, она по сравнению со всеми другими кадрами рабочего класса должна занять свое место, но все же мы должны помнить, что повара — это люди старого покроя, остались от старого времени, когда готовили порции в ресторане, в кабаке. Они рассчитывали только на то, сколько после этого будет выпито пива или водки для хозяина. Вот с какой точки зрения оценивался товар. Побольше поперчить, посолить, чтобы больше выпили. Теперь общественное питание требует других поваров. Надо людей, которые знали бы, что двадцатикопеечный обед, который отпускается, должен быть хорошо приготовлен»<sup>109</sup>.

Трудности с изготовлением «массового» обеда решались за счет использования только двух кулинарных технологий: варки и тушения. Неудивительно, что в меню фабрик-кухонь были супы, каши, тушеные овощи с подливами, изделия из рубленого (молотого мяса). Это позволяло широко использовать в советском быстром питании и сою, и кроликов, и даже



тюлень мясо. Во всяком случае, на упомянутом выше заседании Ленсовета в 1930 году часть практических работников, поваров старой школы, привлеченных к работе на Выборгской фабрике-кухне, пытались протестовать против употребления малопригодных, с их точки зрения, продуктов, которые они именовали «дрянью». Однако под давлением обстоятельств все же приходилось заменять свинину соей, а судаков — соленой тюлькой<sup>110</sup>. Художественная литература содержит сдержанную, но вполне четкую информацию о меню фабрикухонь. В романе «Золотой теленок» Ильфа и Петрова можно прочесть: «В большом зале фабрики-кухни, среди кафельных стен, под ленточными мухоморами, свисавшими с потолка, путешественники ели перловый суп и маленькие коричневые биточки»<sup>111</sup>. Отсутствие комментариев по поводу состава биточков, отличительной чертой которых был избран лишь цвет, позволяет предположить разнообразие их ингредиентов. И все же нельзя не отметить эффективность деятельности новых заведений общепита.

Фабрики-кухни появились в Москве, Ленинграде, Баку, Ташкенте и других городах СССР. Это был уже не эксперимент, проведенный на исходе нэпа, это была почти система, почти норма. Карточки на продовольствие, введенные государством, настоятельно требовали новых методов распределения продуктов, и появившиеся учреждения общепита оказались удачным ходом. Индустриализация промышленности породила и индустриализацию еды. Так, московские и ленинградские фабрики-кухни в начале 1930-х годов производили до 60000 обедов в день, пятую часть которых доставляли на расположенные неподалеку предприятия. Прогрессивным с точки зрения мировых тенденций явились и начинания по производству полуфабрикатов, которые действительно облегчили домашний труд по приготовлению пищи. Но в целом фабрики-кухни не оправдали надежды на полное переустройство домашнего хозяйства. Таким образом, индустриализированные формы советского

общепита не выполнили возложенной на них общественно-политической задачи, но справились с проблемой распределения и приобщения населения, хотя и на достаточно нищенской основе, к мировым практикам быстрого питания. Даже пресловутая соя в данном контексте может рассматриваться как элемент валеологического подхода к еде. И с этой точки зрения у фабрик-кухонь могло быть неплохое будущее. Однако очередное изменение социально-экономической ситуации в середине 1930-х прервало процесс европеизации и демократизации вкусовых ориентиров населения. Одновременно в среде формирующейся сталинской элиты, которая обеспечивалась продуктами в закрытых распределителях и столовых, начали складываться явно буржуазные привычки питания<sup>112</sup>.

*«О вкусной и здоровой пище...»*

С отменой карточной системы началась перестройка снабжения населения и системы общепита в контексте общей концепции большого стиля. Еда во властном дискурсе в годы довоенного сталинизма стала представляться не только как способ насыщения, но и как источник удовольствия. Это нашло яркое отражение в кулинарных книгах конца 1930-х годов. В 1939 году после большого перерыва были изданы кулинарные рецепты знаменитой Елены Молоховец. Этот факт носит, несомненно, знаковый характер. Долгое время бытовало мнение, что со дня смерти Молоховец и до 1991 года ее книги не переиздавались в СССР<sup>113</sup>. На самом же деле власти сочли возможным в конце 1930-х годов довести до сведения советских людей знания о вполне буржуазных приемах приготовления и сервировки пищи. Любопытно отметить, что за десять лет до того, в 1929 году, в советской официальной периодике можно было прочитать следующее: «Прославленная книга Молоховец, о которой принято говорить улыбаясь, в сущности не так

безобидна, как принято о ней думать... В течение полувека она вбивала в головы молодых хозяек основы домашнего самоуправления. Твердый корешок брюхастого тома служил крепким корнем старой семьи. Житейские, моральные и кухонные рецепты в обилии сыпались с 1500 страниц. Каждая штука была нафарширована в ней откровенно-черносотенными идейками, борщ заправлен мелконарубленными монархическими сентенциями, пельмени начинены благочестием, подлый мешанский душок сквозил в аромате изысканных кушаний...»<sup>114</sup>.

Новая парадигма социального развития советского общества, основанная для поддержки разросшихся слоев коммунистической элиты, предусматривала и изменение повседневной жизни, в частности норм культуры пищевого потребления. Не закреплённые в официальных властных решениях, они проявлялись в нормализующих суждениях власти, к которым можно отнести и кулинарные книги. В 1939 году вышла в свет «Книга о вкусной и здоровой пище» под редакцией О.П. Молчановой, Д.И. Лобанова и М.О. Лившица. Представляя собой символ большого стиля в сфере питания, весомый элемент советской мифологии, издание использовалось как инструмент социальной демагогии<sup>115</sup>. «Книга о вкусной и здоровой пище» являла собой смесь буржуазных представлений об эстетике еды с пролетарским стремлением к плотной тяжеловесной пище, что характеризовало властный дискурс в сфере питания и после Великой Отечественной войны. Пища должна была быть высококалорийной и объемной. Своеобразный «краткий курс кулинарии» — «Книга о вкусной и здоровой пище» — неоднократно переиздавался в сокращенном виде. Незадолго до смерти Сталина, в 1952 году, появилась полная послевоенная версия «Книги о вкусной и здоровой пище», изданная с учетом «последних достижений науки о питании и пищевой промышленности». Однако идейная направленность сочинения о том, как надлежит питаться в социалистическом обществе, не изменилась. Это издание являлось регулятором

потребностей, предназначенным для воспитания одобренных властью вкусовых приоритетов<sup>116</sup>. Авторы «Книги о вкусной и здоровой пище» уверяли, что «советская пищевая индустрия с каждым днем все в большей мере удовлетворяет непрерывно растущий спрос нашего народа на пищевой продукт», производя очередные системные симулякры<sup>117</sup>.

В 1936 году нарком пищевой промышленности А.И. Микоян призывал врачей-диетологов забыть, наконец, утверждение профессора Мечникова, «что-де простокваша самая лучшая пища»<sup>118</sup>. Власть была заинтересована в рекламе разнообразных деликатесов. Так создавался визуальный образ не только благополучия повседневной жизни, но и ее определенной роскоши. В 1930-1940-х годах в СССР повсеместно можно было увидеть плакат художника А.А. Миллера, снабженный следующим текстом: «Всем попробовать пора бы, как нежны и вкусны крабы». Существовала и реклама разных видов черной икры: зернистой, паюсной и пастеризованной. Известны по меньшей мере два подобных плаката: оба датированы 1952 годом и созданы художниками А.П. Андреади и Ю.М. Цейровым<sup>119</sup>. Икра представляла собой откровенный симулякр времени сталинского изобилия. Неудивительно, что в нарративе, в особенности мемуарном, продуктовый достаток эпохи Сталина ассоциируется именно со свободной продажей классического русского деликатеса. Ленинградка О.П. Филиппова, в конце 1930-х годов — хирургическая медсестра, рассказывала интервьюерам на рубеже XX и XXI веков: «Так, мы, бывало, на обед, пока операции нет, идем в... магазин, купим бутербродов с игрой, помазаны были. Жили мы хорошо, маленькие зарплаты были, и все равно нам хватало»<sup>120</sup>. Наличие изысканных продуктов создавало иллюзию доступности деликатесов всем слоям городского населения. Артист П.В. Меркурьев, сын знаменитого питерского актера В.В. Меркурьева и режиссера И.В. Мейерхольд, запечатлел в своих мемуарах ассортимент популярного ленинградского

гастронома в начале 1950-х годов: «Чего там только не было. Какходишь с угла — направо рыбный отдел. Икра, рыба всякая: и холодного, и горячего копчения, и вяленая, и соленая»<sup>121</sup>.

Как и в годы нэпа, важное место в официальных пищевкусовых ориентирах стали занимать сладости. Власть уделяла большое внимание налаживанию кондитерского производства, осознавая значимость наличия в свободной продаже конфет, печенья и прочих сахаросодержащих продуктов, создающих устойчивое ощущение сытости и изобилия. Советская официальная пресса с завидной регулярностью сообщала о достижениях и новых разработках советских кондитеров. «Фабрика им. Самойловой выпустила образцы 11 новых сортов шоколадных конфет и 5 сортов штучного шоколада», — писала «Ленинградская правда» в январе 1935 года<sup>122</sup>. А уже 1 марта газета сообщала: «Конфетные фабрики Ленинграда перевыполнили февральский план. 1-я конфетная фабрика выпустила 1712 тонн конфет и бисквитных изделий, против 1598 тонн по плану. В феврале фабрика вырабатывала 70 сортов конфет и бисквитов, освоив два новых сорта высококачественных конфет — "трюфеля" и "тянучка". Третья конфетная фабрика изготовила 3650 тонн твердой карамели и ириса, против плана в 3542 тонны. 30% всей продукции фабрики составляют изделия высших сортов — "лобстер", "Петергоф", "радуга", "крем де-какао" и т.д. Ириса выпущено 50 тонн». В 1936 году только в Ленинграде работало 6 кондитерских фабрик, выпускавших продукцию 67 наименований. Самыми дешевыми были цукатные карамельки, самыми дорогими (более чем в 11 раз дороже цукатных) — конфеты «Чернослив в шоколаде»<sup>123</sup>. О «сталинских» сладостях с удовольствием пишут и мемуаристы. Уже упоминавшийся П.В. Меркурьев описывал и кондитерский отдел, «где был любимый зефир бело-розовый, и пастила, и потрясающе вкусные "тянучки" сливочные — коричневые, розовые, бежевые...»<sup>124</sup>. В целом официальные властные представления о пищевкусовых ориентирах с середины 1930-х годов были

отражением тенденции внешней гламуризации повседневности в СССР. В реальности же и после отмены карточек эпохи первых пятилеток и периода Великой Отечественной войны снабжение даже больших городов не отвечало потребностям здорового и достаточного питания населения<sup>125</sup>.

Стремление к навязчивой демонстрации изобилия ощущалось и в системе общественного питания, ставшего одной из витрин эпохи большого стиля<sup>126</sup>. Вопрос о полной ликвидации домашней кухни во второй половине 1930-х годов власти уже не поднимали. С отменой карточной системы исчезла необходимость в использовании учреждений общепита как инструмента распределения и началась их реорганизация. В Ленинграде, например, уже в апреле 1935 года президиум Ленсовета принял постановление «О перестройке сети общественного питания». В документе подчеркивалась необходимость быстрее превращения «части столовых закрытого типа в открытые»<sup>127</sup>. Предполагалось, что общедоступные заведения общепита будут не только снабжать горожан едой в обеденные перерывы, но и, как указывалось в решениях пленума Ленсовета от 15 июня 1935 года, «обслуживать рабочих и их семьи также во внерабочее время и в выходные дни»<sup>128</sup>. Внешне подобная своеобразная попытка привить западную культуру питания вне дома и включить эту практику в структуру городского досуга напоминала годы нэпа. Власть, как казалось, сконструировала определенные нормы отношения к посещению горожанами заведений общепита. Ни рестораны, ни столовые, чайные и закусочные не считались социальной аномалией городской повседневности, так как все, в отличие от 1920-х годов, являлись учреждениями государственными. Однако властные и идеологические структуры стремились все же обнаружить патологические черты в деятельности институтов общественного питания. Они оказались втянутыми в водоворот Большого террора, апогей которого пришелся на вторую половину 1930-х годов — время расцвета большого

стиля в СССР. Любому нарушению санитарно-гигиенических норм в столовых и ресторанах придавалась политическая окраска. В Ленинграде в конце зимы 1937 — весной 1938 года была проведена громкая политическая кампания по ликвидации вредительства в системе общественного питания, в ходе которой были осуждены и приговорены к высшей мере наказания руководители Леннарпита и Горвнупиторга. Официальная риторика в данном случае была достаточно типичной для всех процессов борьбы с вредительством, однако нельзя не отметить ее определенную специфику, связанную с проблемами организации питания и доведенную до абсурда. Так, протокол заседания Ленсовета от 19 февраля 1938 года о мерах по ликвидации последствий деятельности «врагов народа» в общепите зафиксировал следующие убийственные доводы, свидетельствующие о вредительстве: «Мы имеем сейчас попадание посторонних предметов в пищу, причем это не случайное попадание. Это вражеская вылазка, здесь действует рука врага народа... Известен случай, произошедший 9 января в столовой при Технологическом институте... когда... вражеская рука подложила в тарелку с супом студенту сваренную, обделанную (так в источнике. — Я.77.) крысу»<sup>129</sup>.

Вредителям была вменена в вину и сама идея коммерциализации предприятий общественного питания, а проще — идея превратить все ранее закрытые столовые в доступные заведения нередко ресторанного типа. Подобная свобода доступа широких масс к питанию вне дома не соответствовала новым властным нормам — на этот раз в сфере тендерной политики. Появившиеся во второй половине 1930-х годов нормализующие, а затем и нормативные суждения были направлены на стабилизацию патриархального семейного уклада, в основе которого лежит, в частности, незыблемость процедуры приготовления пищи в домашних условиях. Развитие же ресторанного бизнеса, если выразиться современным языком, являлось лишь рекламным ходом: власть создала масштабный



симулякр роскошной жизни в СССР даже в системе заведений общественного питания. Это отчетливо видно на примере судьбы «американок», которые появились в СССР с отменой карточек. В начале 1935 года «Ленинградская правда» писала: «В разных районах города открываются шесть закусочных-американок»<sup>130</sup>. Они пользовались успехом у горожан: в «американках» можно было поесть и выпить пива после работы и в выходной. Однако во время борьбы с «вредителями в системе общественного питания» закусочные были закрыты. Справедливости ради следует сказать, что в конце 1930-х для обычных граждан открылись двери ресторанов, имевших еще до революции блестящую репутацию, типа «Националя» в Москве и «Метрополя» в Ленинграде. В это же время появились заведения общепита, продукция которых долгие годы составляла гордость советского кулинарного искусства, например кафе-магазин «Норд» в городе на Неве. Питерский искусствовед М.Ю. Герман вспоминал: «Тогда (в конце 1930-х годов. — Я.Я.) надо было спуститься на несколько ступенек, пройти сквозь весь магазин, сквозь невыносимо сладкий запах лучших в городе пирожных от "Норда", чтобы открыть низкую дверь в кафе. Маленькие столики, крытые стеклом поверх зеленого сукна, многочисленные фарфоровые белые медведи, низкие потолки. Какие лакомства! "Кофе с огнем", например. Не слишком вкусный напиток, но он пылал (политый сверху спиртом) и вызывал безудержное счастливое волнение...»<sup>131</sup>. Во время войны магазин «Норд» и кафе приостановили работу, но возобновили ее уже в 1946-м, а в 1948 году в ходе борьбы с космополитизмом получили новое имя — «Север».

После отмены карточной системы периода Великой Отечественной войны общедоступные рестораны возобновили свою работу. К началу 1950-х годов в крупных городах шла уже довольно бурная ресторанная жизнь, но присущая в основном представителям привилегированных слоев сталинского общества. Ресторанно-банкетная составляющая сталинского гламура

предполагала роскошную кухню. Современники вспоминали о таких деликатесах в ресторане при гостинце «Европейская», как ботвинья с осетриной, маринованные белые грибы, «каждый как на токарном станочке выточен»<sup>132</sup>. Кухне соответствовал и интерьер: пальмы, массивная мебель, крахмальные скатерти.

Эпоха большого стиля ассоциируется с мощными тортами «рабочего», «колхозницы», «девушки с веслом» и т.д. Их намеренно воспевали художники и скульпторы. Знаменитый живописец И.С. Глазунов вспоминал, что даже в середине 50-х в Ленинградской академии художеств дипломникам и студентам давали «темник» возможных сюжетов будущих картин. «Темник, — пишет художник, — охватывал самые разные стороны жизни нашей страны, где были и такие, например, темы, как "Прибавил в весе". Имелся в виду человек, вернувшийся из санатория, который после отдыха, взвесившись на медицинских весах, обнаружил, что он прибавил в весе, к великой радости окружающих»<sup>133</sup>. Нормы телесности были напрямую связаны с представлениями о культуре питания. Согласно властному дискурсу эпохи большого стиля, пища должна была быть высококалорийной, объемной и доставляющей удовольствие. Подобные установки соответствовали буржуазным нормам культуры еды, к которым население больших российских городов начало приобщаться еще перед событиями 1917 года. Разница заключалась в декларируемой всеобщей доступности дорогостоящих продуктов и услуг системы общепита и реалий жизни горожан в послевоенном советском обществе.

## ГЛАВА 2. ДИСКУРСЫ И РЕАЛИИ СОВЕТСКОЙ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ

К началу XX столетия в российских городах сложилась определенная структура жилья, соответствовавшая уровню развития градостроительной и коммунальной техники, а также отражавшая социальную стратификацию населения. В представлении горожанина «дом» ассоциировался с индивидуальным жилищем, наличие которого считалось нормой повседневной жизни. Бездомный человек в ментальной традиции — всегда девиант и маргинал. Размер же «дома» и его вид определялись экономическими факторами. В России существовал рынок жилья с характерными для него процессами купли-продажи и найма-сдачи.

События октября 1917 года во многом расшатали сформировавшееся в ментальности городского жителя устойчивое представление-норму — «дом». В значительной мере это оказалось связанным с введением в системе новой государственности прямого нормирования в сфере распределения жилья. Со времени издания моей книги «Повседневная жизнь советского города: нормы и аномалии. 1920-1930-е годы» появилось немало достойных научных публикаций, связанных с жилищной проблемой в СССР. Их авторы во многом уточняли и развивали целый ряд вопросов, затронутых мною. Объектом исследовательского внимания социологов и социальных антропологов стала коммунальная квартира. Этому явлению посвящены диссертация Е.Ю. Герасимовой и книга И.В. Утехина<sup>134</sup>.

В 2001 году вышел монографический сборник, посвященный проблемам жилища в XX веке. Часть статей в этом издании затрагивала и проблемы советской жилищной политики<sup>135</sup>. Заслуживают внимания работы Т.М. Смирновой, написанные на московском материале<sup>136</sup>. Появляются и исследования о «квартирных проблемах» в периферийных городах<sup>137</sup>. И, конечно, особую важность представляют книги М.Г. Мееровича<sup>138</sup>. Такой объем литературы позволяет не описывать перипетии квартирных дел в СССР в подробностях. Однако и сегодня есть детали, которые требуют уточнения. Это, например, касается истории возникновения домовых комитетов, о чем в 2012 году свежо и основательно написала А.М. Пиир<sup>139</sup>. Дискуссионным, на мой взгляд, является и смысл названия одной из книг М.Г. Мееровича — «Наказание жилищем»<sup>140</sup>. Кроме того, в большинстве исследований эксперимент с «коммунами» рассматривается в отрыве от «квартирного вопроса» в целом, что представляется не совсем верным. Именно поэтому я решила включить сюжет о «советских фаланстерах» в главу о жилье как свидетельство попыток реализации одного из определяющих положений социалистического дискурса на российской почве.

И, пожалуй, последнее. В некоторых частях нового издания этой книги мне бы хотелось сохранить конкретный петроградско-ленинградский материал, не сопоставляя его со свидетельствами о таких же явлениях в других городах. Речь идет о результатах микроисторического исследования, которое представляется наиболее эффективной методикой изучения именно жилищного вопроса<sup>141</sup>.

### *«В коммуне о(б)становка...»*

Советское прошлое, в особенности 1920-х — начала 1950-х годов, — это время эксперимента по формированию «коммунальных тел», в процессе которого невозможно отрицать важность

пространственных факторов, определяющих нормы существования (проживания) человека. Определенным образом сконструированное пространство укрепляет человеческую телесность, предоставляя ему не только защиту, но и возможности самовыражения и самоидентификации. Не случайно российский философ В.А. Подорога отмечает: «Ваша комната — продолжение вашего телесного образа и от него неотделима»<sup>142</sup>. В системе структурной антропологии жилье традиционно рассматривается как важный социальный институт, оказывающий конституирующее воздействие на человеческое тело. Эта идея близка К. Леви-Строссу, считавшему дом специфической формой социальной организации, и П. Бурдьё, утверждавшему, что *habitus* (стремление действовать определенным образом в определенной ситуации) формируется через структуру *habitat* (в данном случае жилища). В XIX веке о новых формах жилья (фаланстерах), в пространстве которого мог бы сформироваться человек будущего, много писали социалисты-утописты. На русской почве идеи создания «фаланстеров» — жилищ особого вида — приобрели популярность после появления романа Н.Г. Чернышевского «Что делать?». Более того, в России в 1860-х годах появились своеобразные коммуны, которые, по выражению А.И. Герцена, превратились в казармы отчаянья человечества<sup>143</sup>. Несмотря на этот явно неудачный опыт, большевики на первых порах попытались возродить идею коммунального проживания в специально созданных для этого домах. Однако утопическая теория вошла в противоречие с социальными реалиями. К 1917 году в большинстве российских городов существовали формы жилья, которые с определенной долей натяжки можно рассматривать как коммуны. Это рабочие казармы. Личное имущество здесь носило примитивный характер, стиль повседневной жизни также был лишен элементов приватности, а границы индивидуальной телесности размыты.

После свершения социальной революции самая обездоленная часть горожан, жившая в рабочих казармах, ожидала

улучшения своего быта. Предложить рабочим переместиться из одной казармы в другую, имеющую название «фаланстер», означало для большевистской власти с первых же дней утратить часть социальной опоры революции. Победивший класс решено было наделить весьма существенным знаком господства — квартирой. Жителей рабочих казарм начали переселять в квартиры буржуазии и интеллигенции. Первые мероприятия жилищной политики большевиков, таким образом, не соответствовали теории социализма. И все же идея «фаланстеров» не была забыта российскими коммунистами. Действительно, сначала в Петрограде, а затем и в Москве появились новые коллективные формы жилья, в определенной степени напоминающие коммуны. Здесь уже действовала витальная, охранительная функция жилищной нормы, которая могла стать государственным гарантом наличия вполне определенных границ телесности в новом обществе.

С октября 1917 года видные питерские большевики совместно проживали в здании Смольного института, где помимо административных служб размещались библиотека-читальня, музыкальная школа, Смольный детский дом (ясли), баня, столовая. К 1920 году из имеющихся в комплексе зданий Смольного 725 квартир и комнат 594 были жилыми. Здесь обитали примерно 600 человек, которых обслуживало более 1000 рабочих и служащих: медиков, поваров, истопников, слесарей, охранников и т.д. Безопасность жителей Смольного обеспечивали красноармейцы и матросы. К марту 1918 года их заменили латышские стрелки, численность которых достигла 500 человек. Лишь к концу октября 1919 года охрана Смольного сократилась до 150 человек.

Но штаб революции был не единственным фаланстером для большевистской верхушки. Значительно лучше и комфортнее жилось постояльцам в так называемых Домах Советов. Эти учреждения появились не только в Петрограде, но и в Москве. После переезда туда правительства в своеобразное

общежитие-коммуна была преобразована шикарная московская гостиница «Националь». Здесь жили В.И. Ленин, Н.К. Крупская, М.И. Ульянова, Я.М. Свердлов. Глава советского правительства вместе с женой и сестрой занимали двухкомнатный номер<sup>144</sup>. В Петрограде же большевистская элита сосредоточилась в знаменитой «Астории», образовав там 1-й Дом Советов. К весне 1918 года статус этих фаланстеров для партийной знати определился. Как подчеркивалось в одном из регламентировавших их деятельность документов, Дома Советов «имеют структуру общежитий с отдельными комнатами, общей столовой и общими кухнями, и предназначены исключительно для постоянного проживания советских служащих по ордерам, выдаваемым из отдела Управления Домами и Отелями...»<sup>145</sup>. В Доме Советов, согласно специально утвержденному положению, имели «право проживать только следующие лица: 1. Члены ВЦИК. 2. Члены ЦК РКП. 3. Члены Губкома РКП. 4. Члены Облбюро ЦК РКП. 5. Члены Губисполкома. 6. Члены Губисполкома и их заместители. 7. Члены коллегий отделов Губисполкомов». Остальные помещения предоставлялись сотрудникам ВЧК и ПВО, райкомам РКП(б), райсоветам и командированным высоких рангов. В примечании к положению указывалось: «При наличии свободных комнат допускаются ответственные работники с партийным стажем не позднее 1918 г.»<sup>146</sup>

Администрация Дома Советов брала на себя заботу о питании, бытовом обслуживании и даже о досуге жильцов, социально значимых для новой власти. В записках с просьбой разрешить тому или иному человеку хотя бы короткое время пожить в «Астории» можно было встретить такие формулировки: «Прошу поместить в 1 Доме Совета врача тов. А. Гибина. Тов. Гибин очень ценный работник... и сбережение его труда от мелких домашних хлопот по хозяйству даст ему возможность отдать еще больше сил советской и партийной работе»<sup>147</sup>.

Желающих приобщиться к благам, которые предоставлялись в импровизированной коммуналке в «Астории» — 1-м Доме



Советов, — было немало. Уже в июне 1918 года представители властных структур Петрограда вынуждены были поставить вопрос о выселении из бывшей гостиницы лиц, чей статус не соответствовал правилам заселения Домов Советов. Затем чистки стали проводиться периодически. При этом каждый раз составлялся список «бесспорно оставляемых жильцов» — первых лиц города. Правда, и в данном случае нормы распределения жилой площади были в определенной степени ранжированными. Так, наиболее крупные партийные и советские работники занимали обширные апартаменты с явным превышением санитарно-жилищной нормы: Г.Е. Зиновьев, окончательно поселившийся в «Астории» в сентябре 1920 года, имел сразу пять комнат на втором этаже. Здесь же в двух номерах разместилась его бывшая жена З.И. Лилина с десятилетним сыном. Выше этажом в трех номерах жили дочери Л.Д. Троцкого Зинаида и Нина Бронштейн. Лицам, занимавшим более низкие ступени советской номенклатурной лестницы, полагались и более скромные жилищные условия. Так, помощник Зиновьева по Петросовету А. Васильев имел всего три комнаты, а секретарь Петросовета Н.П. Комаров — одну<sup>148</sup>.

Первые советские коммуны, организованные по инициативе власти, имели четкую иерархическую структуру, на верхней ступени которой находились Дома Советов. Советским и партийным активистам, не обладавшим длительным партстажем и не занимавшим большие должности, а также некоторым представителям интеллигенции удавалось расположиться в более скромных коллективных жилищах, получивших название «отели Советов». Это были общежития комнатной системы с общими кухнями. В Петрограде отели Советов размещались в многочисленных бывших второсортных гостиницах, в так называемых «номерах».

Некое подобие коллективного жилья являли собой в 1918-1922 годах петроградский Дом литераторов на Бассейной улице и знаменитый ДИСК — Дом искусств. Он расположился

в особняке банкира С.П. Елисеева на углу Невского проспекта и набережной Мойки. ДИСК занял огромную квартиру, размещавшуюся на двух верхних этажах здания. «Сюда-то, — писал поэт Вс. Рождественский, — и перебрались все бездомные литераторы. Они без сожаления покинули свои нетопленные жилища. Петрокоммуна снабдила елисеевский дом всем необходимым для жизни»<sup>149</sup>.

Отели Советов и в первую очередь ДИСК, по меткому замечанию автора блестящей и язвительной книги «Другой Петербург», были «первым опытом перевоспитания интеллигенции путем подкормки»<sup>150</sup>. Немногочисленные и сугубо элитарные советские «фаланстеры» не имели никакого отношения к идее формирования новой коммунальной телесности. Они помогали советской бюрократии и приближенной к ней части интеллигенции выжить в экстремальных условиях. Всего летом 1921 года в Домах и отелях Петросовета постоянно проживало 800 человек. Даже в начале 1920-х годов, после перехода к нэпу со свойственными ему плюрализмом и идеей самообеспечения, в советских номенклатурных коммунах обслуживали бесплатно. Неудивительно, что многие не спешили отказываться от преимуществ жизни в этих заведениях.

Представители петроградской большевистской номенклатуры продолжали обитать в гостеприимных стенах «Астории» — 1-го Дома Советов — и через полтора-два года после формального провозглашения нэпа. Историк М.Б. Рабинович вспоминал, что в начале 1920-х годов, когда после окончания Гражданской войны он приехал в Петроград из Могилева, чтобы поступить в университет, в «Астории» по-прежнему «обитали разные ответственные товарищи»<sup>151</sup>. В 1923 году ВЦИК и СНК РСФСР специальным декретом от 12 сентября остановили разрастание числа желающих пожить в элитарных советских «фаланстерах» — Домах Советов. В документе, называвшемся «Об освобождении 36 (! — Я.Я.) гостиниц города Москвы от постоянных жильцов» указывалось на необходимость

возвращения гостиницам традиционных функций — предоставления временного жилья приезжим<sup>152</sup>. В отдельных случаях даже в разгар нэпа партийные функционеры среднего уровня, особенно не имевшие семей, пытались устроиться жить в Домах Советов. Об этом свидетельствует, в частности, запись в дневнике В. Беньямина от 15 декабря 1926 года. Он рассказывает о некоем доме на Страстной площади в Москве, который он называет своего рода огромным *boarding house* ><sup>153</sup>. Но в целом к середине 1920-х годов коллективное жильё оказалось ненужным номенклатуре, уже вполне справившейся с военно-коммунистическими трудностями быта. Тем не менее сама идея «коммунитаризма», который должен был сформировать идеальные «коммунальные тела», продолжала развиваться.

В первой половине 1920-х годов приживить «фаланстеры» на российской почве попытались комсомольцы. Чаще всего это была индивидуальная инициатива. Первые молодежные коммуны стали появляться в центральном промышленном районе России в старых фабричных казармах. Отсутствие жилья и трудности материального характера, по-видимому, были самым серьезным основанием для создания коммун в среде рабочей молодежи. Это отразил художественный нарратив, в частности роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь»: «На Соломенке (так назывался рабочий железнодорожный район) пятеро создали маленькую коммуны. <...> Достали комнату. Три дня после работы мазали, белили, мыли. Подняли такую возню с ведрами, что соседям померещился пожар. Смастерили койки, матрацы из мешков набили в парке кленовыми листьями, и на четвертый день... сияла комната еще не тронутой белизной. Между двумя окнами полочка с горкой книг. Два ящика, обитых картоном, — это стулья. Ящик побольше — шкаф. Посреди комнаты здоровенный бильярд без сукна, доставленный сюда на плечах из коммунхоза. Днем это стол, ночью кровать...

Пансион {англ.}

Все стало в комнате общим. Жалованье, паек и случайные посылки — все делилось поровну. Личной собственностью осталось лишь оружие. Коммунары единодушно решили: член коммуны, нарушивший закон об отмене собственности и обманувший доверие товарищей, исключается из коммуны... и выселяется»<sup>154</sup>. В реальной жизни все было жестче и прозаичнее, о чем, в частности, свидетельствует пример жизни в коммуне текстильщиц из Иваново-Вознесенска, возникшей в 1923 году. 10 девушек создали в одной из комнат фабричного барака некое новое объединение под названием «Ленинский закал». Посуды у коммунарок практически не было: ели из общей миски, одни туфли носили по очереди. Коммунистическим в этом нищенском существовании был лишь портрет Л.Д. Троцкого — поборника борьбы за новый быт<sup>155</sup>.

Проблемы физического комфорта, подразумевающего определенные нормы сегрегации физических тел, в первых молодежных коммунах не обсуждались, но коллективизация быта там была доведена до крайности. Об этом свидетельствуют данные ежегодных массовых освидетельствований молодых рабочих, которые стали проводиться в стране в соответствии с декретом СНК РСФСР от 13 октября 1922 года, начиная с 1923 года<sup>156</sup>. В ходе первого же из них выяснилось, что в Петрограде, например, более трети юношей и девушек, проживающих в импровизированных «фаланстерах», не имели отдельной постели. После обследования власти вынуждены были развернуть целую кампанию под лозунгом «Отдельную постель каждому гражданину, в частности, каждому подростку»<sup>157</sup>.

В небольшие коммуны по собственной инициативе объединялись студенты и рабфаковцы, вынужденные жить в общежитиях при высших учебных заведениях. Они старались совместными усилиями как-то облегчить себе трудности быта. Так поступили еще в 1919 году три студента Петроградского политехнического института. Один из бывших коммунаров вспоминал: «Каждый через два дня в третий становился дежурным

по кухне и обязан был готовить на троих обед и ужин, за всех помыть и убраться посуду. Коммуна в три раза сокращала время пребывания у плиты, позволяла разнообразить стол, вносила веселое оживление, и просуществовала она без осложнений и изменений до конца выпуска (1921 год. — Н.77.)»<sup>158</sup>. Через два года, в 1923 году, студенты уже нового набора создали коммуну, чтобы облегчить свой быт. Журнал «Красный студент» писал: «Студенческая пища буквально погибель». Именно поэтому первым шагом на пути создания коммуны стали покупка котелка и распределение обязанностей дежурных по кухне. И лишь через год коммунары начали выписывать общую газету и попытались создать маленькую библиотечку для занятий.

На сугубо материальной основе объединились в 1924 году и студенты Ленинградского института соцвоспитания, позднее ставшего частью Педагогического института. В коммуну вошло 12 человек, которые разместились в квартире эмигрировавшего за границу профессора. Жизнь коммунаров подчинялась строгому распорядку — каждый член вносил ежемесячно в общий котел строго определенную сумму денег и должен был 8 часов в сутки слушать лекции и готовиться к занятиям, а остальное время тратить на общественную работу и сугубо культурный отдых. Питались коммунары совместно. Строго следили в коммуне и за внутренним распорядком — запрещалось, например, читать учебники лежа в кровати.

Несмотря на наличие определенных правил жизни в коммунах, вопрос о нормах приватности не входил в поле дискуссии о построении внутреннего распорядка. Это особенно ярко видно на примере небольших коммун, члены которых объединялись иногда и без видимых материальных причин. Именно так поступили трое московских комсомольцев под руководством секретаря Бауманского райкома ВЛКСМ А.В. Косарева. Он сам решительно отказался жить с матерью и переселился к друзьям в барак, где, как говорили в те годы, «жилые, барахло и шамовка» были общими<sup>159</sup>. Известная писательница

В.Ф. Панова вспоминала, что ее ростовские друзья, объявив себя коммунарами, «поселились в ванной комнате какой-то коммунальной квартиры, один спал на подоконнике, двое на полу, лучшим ложем, занимаемым по очереди, была ванна»<sup>160</sup>. Подобные объединения были следствием буквального восприятия идей обобществления быта, которые вбрасывали в массы партийные и комсомольские активисты. Одна из молодежных газет писала в начале 1924 года: «Молодежь скорее, чем кто-либо, должна и может покончить с традициями отмирающего общества... Пролетарский коллективизм молодежи может привиться только тогда, когда и труд и жизнь молодежи будут коллективными. Лучшим проводником такого коллективизма могут явиться общежития-коммуны рабочей молодежи. Общая коммунальная столовая, общность условий жизни — вот то, что необходимо прежде всего для воспитания нового человека»<sup>161</sup>. В заявлениях такого типа можно заметить элементы принудительной десоматизации коммунаров. Некоторые из них заявляли: «Половой вопрос просто разрешить в коммунах молодежи. Мы живем с нашими девушками гораздо лучше, чем идеальные братья и сестры. О женитьбе мы не думаем, потому что слишком заняты и к тому же совместная жизнь с нашими девушками ослабляет наши половые желания. Мы не чувствуем половых различий. В коммуне девушка, вступающая в половую связь, не отвлекается от общественной жизни. Если вы не хотите жить, как ваши отцы, если хотите найти удовлетворительное решение вопроса о взаимоотношении полов — стройте коммуны рабочей молодежи»<sup>162</sup>.

### *Слезы социализма*

И все же в годы нэпа, с присущей ему тенденцией возвращения к традиционным нормам отношения к проблеме жилья, идеи формирования «коммунальных тел» посредством

коллективизации бытового пространства не составляли основную суть властной политики. Коммуны, своеобразные советские фаланстеры, возродились на государственном уровне лишь в конце 1920-х годов. В это время в стране развернулась политико-архитектурная дискуссия о типах рабочих жилищ, главным из которых признавался дом-коммуна. Первой и главенствующей стала мысль о том, что нового человека невозможно сформировать в условиях старых архитектурных пространств, то есть в зданиях привычной планировки. Уже в 1926 году организаторы всесоюзного конкурса архитектурных проектов поставили перед архитекторами задачу: «проникнуться новыми запросами к жилищу и возможно скорее дать проект такого дома с общественным хозяйством, который превратил бы так называемый жилищный очаг из тесной, скучной, а подчас и тяжелой колеи для женщины в место приятного отдыха. Новая жизнь требует новых форм»<sup>163</sup>. Активное включение архитекторов-конструктивистов в дискуссии о домах-коммунах позволило начать разработку принципов регламентации пространства в новых видах жилья. В 1928 году Центржилсоюз выработал «Типовое положение о доме-коммуне в жилищно-кооперативной системе», в котором, в частности, указывалось: «Лица, въезжающие в дом-коммуну, обязуются не перевозить старую мебель и другие предметы хозяйственного оборудования»<sup>164</sup>.

Этот постулат жизни в коммуне свидетельствовал о попытке разрушения привычных бытовых норм, во многом зависящих от специфического вещного наполнения пространства. Дома-коммуны должны были воплотить в жизнь идею коллективизации жилищного быта, необходимой для формирования «коммунальных тел».

Само понятие «дом-коммуна» толковалось по-разному. Часть архитекторов-конструктивистов считала, что это единый архитектурный объем, в котором должны быть объединены индивидуальные квартиры и коммунальные учреждения.



По такому принципу в Ленинграде, например, были спроектированы Бабурицкий, Батенский и Кондратьевские жилмассивы. Процесс постройки одного из них описан в романе Ю.П. Германа «Наши знакомые». В некоторых новых постройках была произведена попытка реализовать иной тип коллективного жилья, существовавший в двух формах. Первая — 2-4-комнатные семейно-индивидуальные квартиры с умывальником, подобием кухни и персональным ватерклозетом. Но уже ванно-душевой комплекс предполагался один на несколько квартир. Вторая форма жилья включала отдельные жилые комнаты, соединенные с небольшим помещением для разогревания пищи. Остальные удобства были общими и располагались в коридорах. При этом нигде не оговаривалось, на сколько человек должны были приходиться душевая точка, раковина или туалет. Здесь столь почитаемая советской системой санитарная норма (8 м<sup>2</sup> на человека) переставала действовать. Более того, считалось, что такое жилище, а по сути дела, совместное использование этих обязательных гигиенических атрибутов нормальной жизни позволит быстрее осуществить переход к более развитому коллективному быту! Именно этим руководствовались создатели проекта студенческого дома-коммуны, разработанного в Бюро научно-технических кружков Ленинградского института коммунального строительства. Проект имел название «Октябрь в быту». Предполагалось, что в здании будет проживать «одинаковое количество мужчин и женщин» «...в одинаковых условиях, не выделяясь в особые этажи или корпуса». Дом должен был состоять из двухкочных спален для супружеских пар и четырехкочных «холостых кабин». Пищу предполагалось доставлять в термосах с ближайших фабрик-кухонь, а одежду коммунары должны были хранить в «туалетно-вещевых комнатах»<sup>165</sup>. Еще в более жесткой форме идею коллективизации быта высказал архитектор Н.С. Кузьмин. Он планировал, например, сделать в доме-коммуне общие спальни на шесть человек.

Муж и жена на законном основании могли в соответствии с особым расписанием уединяться в «двухспальню» или «кабину для ночлега»<sup>166</sup>.

Проект Кузьмина пытались реализовать на стройке Сталинградского тракторного завода. Это было почти прямое, хотя и ненамеренное воплощение в жизнь социальной антиутопии «Мы» Е.И. Замятина, написанной в эмиграции, в 1921 году, и опубликованной в Англии в 1924 году. До перестройки эта замятинская книга на родине писателя не печаталась. Героям повести предлагалось творить любовь в специально обозначенное время по предъявлению розовых билетиков. И все же в архитектурных проектах домов-коммун ощущалось стремление в условиях коллективного быта сохранить границы физического тела хотя бы путем соблюдения санитарной жилищной нормы.

В годы первой пятилетки на улицах городов, прежде всего Москвы и Ленинграда, стали появляться конструктивистские постройки. Некоторые из них были предназначены для жилья и официально назывались домами-коммунами. В 1929-1930 годах в самом центре Ленинграда, на улице Рубинштейна, по проекту архитектора А.А. Оля был возведен дом-коммуна гостиничного типа, описанный поэтессой О.Ф. Берггольц: «Его официальное название "Дом-коммуна инженеров и писателей". А потом появилось шуточное, но довольно популярное в Ленинграде прозвище — "Слеза социализма". Нас же, его инициаторов и жильцов, повсеместно величали "слезинцами". Мы, группа молодых (очень молодых!) инженеров и писателей, на паях выстроили его в самом начале 30-х гг. в порядке категорической борьбы со "старым бытом"... Мы вселились в наш дом с энтузиазмом... и даже архинепривлекательный внешний вид "под Корбюзье" с массой высоких крохотных клеток-балкончиков не смущал нас: крайняя убогость его архитектуры казалась нам какой-то особой строгостью, соответствующей времени»<sup>167</sup>. В доме-коммуне архитектора Оля

в индивидуальных квартирах отсутствовали кухни: жильцы сдавали свои продовольственные карточки в общую столовую, находившуюся на первом этаже здания. Такая практика соответствовала ситуации нормированного снабжения, но оказалась обременительной уже в 1935 году, после отмены карточек. У «Слезы социализма» было множество недостатков, которые вынуждена была признать даже такая убежденная комсомолка 1930-х годов, как Берггольц: «Звукопроницаемость же в доме была такой идеальной, что если внизу, на третьем этаже... играли в блочки или читали стихи, у меня на пятом уже было все слышно вплоть до плохих рифм. Это слишком тесное вынужденное общение друг с другом в невероятно маленьких комнатках-конурках очень раздражало и утомляло». В общем, как говорили сами «слезинцы», попытка создания «фаланстера на Рубинштейна 7 не состоялась»<sup>168</sup>.

Значительно более продуманным с архитектурно-планировочной точки зрения оказался дом-коммуна, построенный в 1929 году в Москве по проекту М.Я. Гинзбурга. Предполагалось, что комплекс будет состоять из четырех корпусов: жилого, коммунального, детского и служебного. Но в реальности построили лишь два корпуса. Квартиры отличались разнообразием планировок: трехкомнатные, рассчитанные на семью с детьми, двухкомнатные — на семейную бездетную пару. Жилищно-санитарные нормы на этапе проектирования и строительства дома-коммуны строго учитывались. В помещениях на одного-двух человек место для отдельной кухни не отводилось, ее заменял «кухонный элемент» — ниша площадью 1,4 м<sup>2</sup>. Аскетизмом отличались и гигиенические удобства дома-коммуны: в основном это были душевые кабины, часто на две квартиры. Любопытно с точки зрения практик формирования коммунистической телесности наличие в доме Гинзбурга элитных апартаментов. В них поселились два советских наркома — Н.А. Семашко и Н.А. Милютин. Последний, будучи наркомом финансов, считался крупным советским теоретиком

градостроения<sup>169</sup>. Но в целом из-за недостатка средств настоящего дома-коммуны не получилось и в Москве. Более того, это направление в архитектуре было подвергнуто критике со стороны власти. В конце мая 1930 года было опубликовано постановление ЦК ВКП(б) «О работе по перестройке быта», в котором было прямо заявлено, что «проведение этих вредных, утопических начинаний, не учитывающих материальных ресурсов страны и степени подготовленности населения, привело бы к громадной растрате средств и дискредитировало саму идею социалистического переустройства быта»<sup>170</sup>.

Однако власть не оставляла идею формирования «коммунальных тел» с помощью нормирования жилого пространства и после неудачных из-за своей дороговизны проектов возведения специализированных советских «фаланстеров». Конструирование нового человека было возложено на бытовые коммуны, где обязательным условием считалось совместное проживание. Коллективизация быта вновь стала вестись подсобными средствами, но делалось это уже с государственного благословения. Перспектива жизни в бытовых коммунах, или, как их называли в документах, бытовых коллективах, в первую очередь нависла над молодыми рабочими.

Жилищное строительство перестало поспевать за бурным ростом населения. Чтобы как-то помочь молодым людям справиться с трудностями материального порядка, профсоюзы и комсомол вернулись к идеям коммун. В 1928 году комсомольская организация Балтийского завода в Ленинграде предложила открыть коммуну, так как на предприятии плохо с жильем и «есть ребята, которые живут в подвалах, на чердаках, ходят по ночлежкам»<sup>171</sup>. Такую же в целом благородную цель преследовал и ЦК ВЛКСМ, принимая в июне 1929 года постановление «Об использовании фонда улучшения быта рабочих на бытовые нужды рабочей молодежи». В постановлении отмечалось «наличие большого количества рабочей молодежи и в особенности живущих вне семей, находящихся в тяжелых

бытовых условиях жизни» и предлагалось «создавать коммуны, опираясь на финансовую помощь фонда»<sup>172</sup>.

Коммуны образовывались на основе ударных производственных бригад при заводах и фабриках. Но поселялись коммунары, как и в самом начале 1920-х годов, в совершенно не приспособленных для общего проживания помещениях: в старых казармах, красных уголках при клубах, нередко даже в комнатах коммунальных квартир. Соблюдения жилищно-санитарных норм в данном случае властные структуры не требовали. Журнал «Смена» писал о жизни в бытовых коллективах: «Всем распоряжается безликий и многоликий товарищ-коллектив. Он выдает деньги на обеды (дома только чай и ужин)... закупает трамвайные билеты, табак, выписывает газеты, отчисляет суммы на баню и кино»<sup>173</sup>. Кое-где из общей казны даже оплачивались алименты за разведенных коммунаров. Как и в начале 1920-х, в большинстве коммун доминировали аскетические принципы быта. Запрещалось, например, по собственному желанию на дополнительно заработанные деньги покупать себе вещи без санкции коллектива. Покинуть бытовой коллектив можно было, только положив на стол комсомольский билет, что влекло за собой разного рода неприятности.

Деятельность коммун носила политизированный характер. При приеме новых членов спрашивали: «Хочет ли вновь вступающий строить новую жизнь или он просто заинтересован в жилой площади?»<sup>174</sup> Молодежь ленинградского завода «Красный путиловец» в 1930 году вообще решила создать на Елагином и Каменном островах «остров коммун для воспитания в условиях нового общественного быта настоящих коммунистов»<sup>175</sup>. По воспоминаниям одного из первых строителей Сталинградского тракторного завода Я. Липкина, там тоже спешно создавались коммуны. Не участвовать в этом мероприятии было невозможно, отказ рассматривался как проявление ярого индивидуализма<sup>176</sup>. В 1930 году в стране насчитывалось примерно 50 тысяч участников бытовых коллективов<sup>177</sup>.

Однако, кроме наивного желания «перескочить к коммунистическим отношениям», ни у руководящих работников, ни у рядовых коммунаров не было ничего — ни материальных условий, ни элементарных знаний психологии. Не случайно сами коммунары писали: «Позднее, когда мы лучше познакомились друг с другом, пожили буднями, мы увидели, какие мы разные люди и как калечилась инициатива ребят из-за скороспелого желания быть стопроцентными коммунарами»<sup>178</sup>.

Официально коммуны существовали до 1934 года, а точнее, до XVII съезда ВКП(б), охарактеризовавшего движение по их созданию «как уравниловско-мальчишеские упражнения "левых головотяпов"»<sup>179</sup>. К этому времени в контексте большого стиля в СССР уже сформировались устойчивые элитные слои, которым требовались достойные условия жизни. Правда, люди, приближенные к власти, по-прежнему пытались эксплуатировать идею коллективного жилья для того, чтобы устроить себе социализм в отдельно взятом доме. В 1929-1933 годах в Ленинграде, например, развернулось строительство дома-коммуны Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев по проектам архитекторов Г.А. Симонова, П.В. Абросимова, А.Ф. Хрякова. В доме были не только жилые помещения (145 квартир по две-пять комнат) с горячим водоснабжением и ванными, но и столовая-ресторан, амбулатория, продуктовый спецраспределитель, необходимый в условиях карточной системы, механическая прачечная. После XVII съезда ВКП(б), судя по недавно обнаруженным архивным документам, планировалось построить дополнительный корпус дома-коммуны — здание на 200 квартир. Помимо них, как зафиксировано в протоколе заседания комиссии по строительству от 18 декабря 1934 года, «при доме должны быть столовая, клубный зал, читальня, детсектор, амбулатория, стационар, аптека, кооператив, гараж и т.д.» Особенно вызывающим выглядело заявление о жилищно-санитарных нормах в проектируемом доме: «Емкость каждой квартиры устанавливается по тому же принципу заселения,

что и ныне существующие дома, то есть из расчета 1 человек на комнату»<sup>180</sup>. Судьба первых жителей дома-коммуны для политкаторжан в годы Большого террора была печальной: многие из них оказались узниками сталинских лагерей.

К идее коллективного жилья как средству конструирования «коммунальных тел» власть не возвращалась, а советские фаланстеры превратились в обыкновенные общежития, испытание жизнью в которых прошли представители различных слоев населения. В большинстве случаев это были молодые люди, приток которых в города с начала 1930-х годов становился постоянным в связи с разворачивающимся индустриальным строительством. В июне 1931 года ЦИК и СНК РСФСР приняли постановление «Об отходничестве», ознаменовавшее введение организованного набора рабочей силы на фабрики, заводы и стройки<sup>181</sup>. Считалось, что ввоз дополнительной рабочей силы может осуществляться только при условии обеспечения приезжих жильем. Не случайно в решении ЦК ВЛКСМ о мобилизации 1500 комсомольцев на очередную ударную стройку осенью 1930 года указывалось: «Молодежь, изъявляющая желание выехать, обеспечивается жильем, в каменных домах постоянного типа...»<sup>182</sup>. Примерно такими же обещаниями, судя по воспоминаниям, увлекали молодых строителей и вербовщики конкретных предприятий, например Сталинградского тракторного завода. Они уверяли, что «уже к зиме 1931 года... будет выстроен социалистический город. Каждый рабочий будет иметь отдельную квартиру... комнаты будут разделены передвижными перегородками. В социалистическом городе будут клубы, гигантские бассейны... в домах будут ваннные комнаты. Комнаты будут убираться пылесосами»<sup>183</sup>. В действительности же основной массе мобилизованных пришлось жить в общежитиях барачного типа, где было по шиколотку воды и одно одеяло на бригаду<sup>184</sup>. Проблемы с жильем в начале 1930-х годов существовали на всех «ударных объектах индустриализации». Это отмечали,



в частности, участники совещания при НКТ РСФСР в феврале 1931 года, указывая, что даже в Московской области с трудом удалось обеспечить жильем половину рабочих, прибывших на новое строительство<sup>185</sup>. Сложности быта были настолько очевидны, что их отразили даже апологетические литераторы 1930-х годов. В романе В.К. Кетлинской «Мужество» (1938), посвященном строительству Комсомольска-на-Амуре, ударная стройка и ее энтузиасты проходят тяжелейшее «испытание жильем». Действительно, большинству приезжих приходилось жить в лучшем случае в фабрично-заводских бараках. В них, как, например, на Челябинском тракторном заводе в начале 1930-х годов, кроме двухъярусных нар, не было никакой мебели, отсутствовали столовые и прачечные, на 50 человек имелся всего один водопроводный кран<sup>186</sup>. Немного лучше было положение и в Магнитогорске, куда в 1931 году прибыла комиссия ЦК ВЛКСМ во главе с А.В. Косаревым<sup>187</sup>.

В Ленинграде обследование общежитий Ленжилстройтреста, Водоканализации и Жилстроя выявило безобразное состояние этих видоизмененных коммун. «Красная газета» весной 1932 года писала: «Из-за отсутствия топчанов и матрасов в общежитиях спят по двое на одной постели. Имеется много случаев, когда спят прямо на полу. Семейные и одиночки помещаются в общей комнате... на 35 200 проживающих в общежитиях 212 строительных организаций имеется всего лишь 2600 одеял...»<sup>188</sup>. Такие условия жизни в большинстве бараков выглядели аномалией даже с точки зрения ЦК ВЛКСМ. В срочном порядке было решено во всех крупных промышленных городах провести конкурсы на лучшее содержание рабочих общежитий. VII Всесоюзная комсомольская конференция в июле 1932 года постановила «систематически бороться за создание уютного рабочего жилища, за чистоту в бараках и общежитиях!»<sup>189</sup> И хотя решение комсомола носило лишь нормализующий характер, кампания «борьбы за порядок в бараках» возымела некоторый эффект. Где-то появилась

мебель, общие прачечные, столовые. Однако повседневным заботам идеологические структуры постарались придать политический оттенок. Секретарь ЦК ВЛКСМ Косарев, призывая организовать нормальные условия для жизни рабочих в фабрично-заводских общежитиях, писал: «Борьба за теплый барак — это борьба с классовым врагом и его агентурой, использующим наши слабые места во вред социалистическому строительству»<sup>190</sup>.

В контексте бытовой политики большого стиля в середине 1936 года благоустройством барако-общежитий попытались по предложению Г.К. Орджоникидзе заняться жены крупных хозяйственников и руководящего инженерно-технического состава. Парадный, печатавшийся на шикарнейшей глянцевой бумаге журнал «Общественница» публиковал статьи о том, как окультурить быт жителей барачных общежитий и ввести новые нормы организации пространства в общежитиях: «Одна кровать с другой не должны соприкасаться даже изголовьями, совершенно недопустимы общие нары. Сидеть на кроватях или хранить на них какие-либо вещи следует строго воспретить. К... каждой кровати нужно оставить свободный проход шириной не менее 0,35 метра; кроме того, вдоль кроватей должен быть общий проход шириной не менее 1,5 метра»<sup>191</sup>. В Магнитогорске удалось внедрить этот проект в жизнь. Однако в подавляющем большинстве общежитий во второй половине 1930-х годов бытовые условия были крайне тяжелыми. В Костроме, например, перед Великой Отечественной войной девушек-работниц, нанимавшихся на фабрику «Знамя труда», селили в бараки, где вообще отсутствовала мебель<sup>192</sup>. Ярким свидетельством убожества общежитического быта являются материалы обследования 1700 рабочих ленинградских общежитий, проведенного в феврале 1937 года. Участники обследования отметили: «Общежития не оборудованы в соответствии с минимальными требованиями, содержатся в антисанитарных условиях...»<sup>193</sup>. На деле это означало следующее. Руководство

фабрики «Рабочий» селило молодежь, принятую на предприятие, на территории Александро-Невской лавры. Люди жили по 80 человек в одном помещении, которое не проветривалось. Никакой мебели, кроме кроватей, не предоставлялось, белье не стиралось<sup>194</sup>. Не лучше была обстановка и в жилье для рабочих мясокомбината. Там на 46 человек имелось всего 33 койки и один водопроводный кран, отсутствовало кухонное помещение. Общежития фабрики «Возрождение», по свидетельству членов комиссии, были «уплотнены сверх всякой нормы: норма, установленная Ленсоветом на одного человека, 4,25 кв. м, а в комнате 30 метров поселены 20 чел. Им даны лишь 14 коек. В общежитии нет уборных, нет умывальников»<sup>195</sup>. По сути дела, это были настоящие петербургские трущобы, но советского образца. Здесь отсутствовала характерная для бытовых коммун насильственная, но в большинстве случаев искренняя забота коллектива о своих членах, но оставалась унижающая человека публичность быта и зачастую его полная неустроенность.

Условия повседневной жизни в трущобах формировали и соответствующие нравы их обитателей. Члены комиссии отмечали, что в общежитиях «имеет место пьянство, хулиганство, драки, прививается нечистоплотность и некультурность... нет никаких развлечений, целый день играют лишь в карты и пьют водку, процветает воровство». Люди, чуть более требовательные к условиям жизни, чем основная масса, часто впадали в глубокую депрессию. Одна из проживавших в общежитии фабрики «Рабочий» девушек заявила: «Вечный шум, гам, ругань, пропажи и упреки. За все три года, что я прожила в этом общежитии, не было ни одной интересной лекции, ни одного мероприятия, что помогло бы рассеяться и задуматься над жизнью с общественной точки зрения. Ввиду всех этих условий я бросила учиться в школе среднего образования. Огромное желание сделать много, но попадешь "домой", и приходят все, появляется озлобленность, обида за невнимание и все время хочется плакать»<sup>196</sup>.

Депрессия была еще не худшим последствием жизни в советских коллективных труппах. Писательница В.К. Кетлинская, которую трудно обвинить в нелюбви к социализму в его бытовых проявлениях, тем не менее вынуждена была заметить, что «нет местожительства более затягивающего, чем общежитие», «тут создается обособленный круг интересов и отношений, со своим кодексом чести, со своими бытовыми устоями и требованиями»<sup>197</sup>. Коммуны, которые представлялись нормой жизни в обществе социального равенства, превратились в общежития, где люди вынуждены были иногда существовать на протяжении целой жизни. Так ширилась социальная база для развития так называемой барачной субкультуры повседневности. Ее элементы постепенно проникали через язык, стиль одежды, формы проведения досуга, бытовые привычки в жизнь устойчивых слоев городского населения. Идея коммун не родилась в России и не умерла вместе с СССР. Человечество и сегодня не может решить, что является нормой, а что аномалией — индивидуализм, который чреват общественной анархией и социальным распадом, или коллективизм со свойственным ему подавлением личности и пренебрежением к ее правам. На Западе ныне популярны идеи «коммунитаризма», который должен уравновесить эгоцентрический индивидуализм и нивелирующий коллективизм, индивидуальные права и социальную ответственность<sup>198</sup>. В действительности же социалистических городов коллективное жилище превратилось в норму, нередко порождающую социальные патологии.

### *Коммуналка — нормы конструирования*

Словосочетание «коммунальная квартира» является достоянием советской эпохи, а реальная коммуналка — ее системным знаком, несмотря на то что подобная форма жилья

не была результатом претворения в жизнь важного постулата социалистической утопии о жилищных коммунах. Тем не менее целый ряд нормативных суждений власти, появившихся в первые месяцы после Октябрьской революции, способствовали формированию правовых, а позднее бытовых и ментальных норм, на основе которых сложился феномен советской коммуналки.

Фундаментом реалий жилищной политики большевиков стала идея справедливого распределения материальных благ, в число которых входила и недвижимость. Большевики явно тяготели к «жилищному переделу». Еще в «Письмах из далека» В.И. Ленин высказал мысль о необходимости использовать дворцы и квартиры, «оставленные царем и аристократией, чтобы не стояли зря, а дали приют бескровным и неимущим»<sup>199</sup>. В ноябре 1917 года появились уже первые нормы-характеристики жилья, которое могло бы подлежать разделу. В первую очередь речь шла о «богатых квартирах». Это понятие Ленин сформулировал в черновых набросках к декрету «О реквизиции теплых вещей для солдат на фронте»: «Богатой квартирой считается также всякая квартира, в которой число комнат равняется или превышает число душ населения, постоянно живущего в этой квартире»<sup>200</sup>. Социальной аномалией, согласно ленинским суждениям, было и владение «богатыми семьями» двумя квартирами. Одну из них квартировладельцы «ввиду крайней нужды, созданной войной» должны были предоставить «в пользование бедного населения»<sup>201</sup>.

На самом деле в крупных городах зимой 1917-1918 годов оказалось много свободной жилплощади. Кто-то эмигрировал, кто-то предпочел остаться в деревне после летнего отдыха, кто-то просто находился в отъезде по делам. В Петрограде, в частности, уже в конце декабря 1917 года сведения о пустующих квартирах стали собирать домовые комитеты, возникшие до октябрьского переворота как своеобразный продукт самоорганизации горожан<sup>202</sup>. Весной 1918 года появились и

способствовавшие осуществлению практики «жилищного передела» нормативные суждения. К их числу в первую очередь следует отнести постановление Петроградского совета, принятое после обсуждения 1 марта 1918 года специального доклада «О вселении рабочих и их семей в квартиры буржуазии». В документе фиксировались определенные жилищные нормы. Так, представителям «буржуазии» разрешалось иметь по одной комнате на взрослого человека и одну общую на всех детей<sup>203</sup>.

Практическая реализация провозглашенной нормы, как предполагалось, должна была осуществляться быстро и бесконфликтно. Ведь первоначально «переделу» подвергалась формально пустующая площадь. Трехмесячное отсутствие хозяев или бывших жильцов являлось оправданием для объявления квартиры «пустующей», а значит, пригодной для заселения, которое проводилось по ордерам, выдаваемым жилищными отделами районных органов советской власти. Акт, по сути дела, захвата квартир сопровождался составлением целого ряда документов, призванных узаконить действия властей в условиях отсутствия нормативных суждений по поводу права собственности на недвижимость<sup>204</sup>.

Власть явно гордилась идеей вселения рабочих в квартиры буржуазии и интеллигенции. В 1918 году, к первой годовщине Октября, по сценарию А.В. Луначарского и А.П. Пантелеева был снят фильм «Уплотнение», рассказывающий о дружбе профессора с вселенными к нему рабочими. Однако первые переселения стали лишь началом «жилищного передела», который на вполне законном основании большевики интенсифицировали с осени 1918 года, после принятия 20 августа 1918 года декрета ВЦИК и СНК «Об отмене прав частной собственности на недвижимое имущество». В России началась муниципализация жилья. Дома и строения передавались в ведение отделов коммунального (городского) хозяйства при советах рабочих депутатов. Квартиры в этих коммунальных (по признаку ведомственной принадлежности),

или, выражаясь современным языком, муниципальных, домах были автоматически коммунальными, то есть относящимися к отделам коммунального хозяйства, независимо от количества жильцов и семей, в них проживающих. Так появилось понятие «коммунальная квартира», позднее обретшее знаковую советского содержания.

После отмены собственности на недвижимость домовые комитеты, на основе которых были созданы комиссии по вселению, занялись дележом квартир, из которых их собственники или законные наниматели пока еще не собирались выезжать. Им предлагали освободить площадь для людей, «более ценных» для новой власти. Именно эта практика, по аналогии с фильмом Луначарского и Пантелеева названная «уплотнением», по мере расширения стала причиной конфликта власти и домовых комитетов. Их члены все чаще и чаще отказывались вселять пролетариев в квартиры законных владельцев. Так, в частности, поступали домкомовцы одного из бывших доходных домов Петрограда. В сентябре 1918 года комитет жильцов в этом здании возглавил известный фотограф М.Н. Наппельбаум<sup>205</sup>.

Случаи сопротивления «жилищному переделу» заставили власть задуматься над созданием послушных органов самоуправления в домах. Осенью 1918 года начался процесс преобразования домовых комитетов в домовые комитеты бедноты<sup>206</sup>. Именно с их помощью был завершен «жилищный передел» 1918-1920 годов. Комиссии по вселению одновременно описывали имущество, находившееся в квартире, и разделяли его между въезжающими. Документы, выходявшие из-под пера членов комиссий и комитетов, были до абсурда безграмотны. В описях часто можно встретить с трудом поддающиеся расшифровке слова — «биджиг мужской», «жулеп», «вязи для вязу», «кастум черный» и т.д.<sup>207</sup>

В 1919 году Наркомздрав разработал санитарно-технические нормы жилья. Они составляли первоначально 10 м<sup>2</sup> на



одного взрослого человека и 5 м<sup>2</sup> на одного ребенка и определяли возможность подселения в квартиры дополнительных жильцов. Появление жилищных норм как регулятора наделения жилплощадью не ослабило нравственного накала новой фазы «жилищного передела». З.Н. Гиппиус в своем дневнике язвительно, но точно воссоздала психологическую атмосферу актов уплотнения. Запись относится к сентябрю 1919 года. Сосед поэтессы попытался отстоять права на собственный кабинет, в который, согласно мандату комиссии по вселению, въехала рабочая семья. «Бросился он, — писала Гиппиус, — в новую "комиссию по вселению". Рассказывает: — Видал, кажется, Совдепы всякие, но таких архаровцев не видал! Рыжие, всклокоченные, председатель с неизвестным акцентом, у одного на носу волчанка, баба в награбленной одежде... "Мы шестерка!", а всех 12 сидит. <...> "Что? Кабинет? Какой кабинет? Какой ученый? Что-то не слышали. Книги пишете? А в 'Правде' не пишете? Верно с буржуями возитесь. Нечего, нечего! Вот мы вам пришлем товарищей исследовать, какой та- кой рентген, какой такой ученый »<sup>208</sup>. По свидетельству той же Гиппиус, панически боялся уплотнения даже весьма лояльный к новому режиму А.А. Блок. В сентябре 1919 года реальная угроза превращения в «Ноев ковчег» нависла над квартирой питерского писателя А.М. Ремизова. В его дневнике 7 сентября 1919 года появилась следующая запись: «Ходили осматривать квартиру от жил[илищной] комис[сии] к уплотнению»<sup>209</sup>.

Умерить рвение жилищных органов по уплотнению «буржуев» могли лишь самые высшие советские инстанции. Только в январе 1921 года, после принятия специального декрета СНК РСФСР «Об условиях, обеспечивающих научную работу академика И.П. Павлова и его сотрудников», ученому с мировой известностью удалось отбить постоянные нападки на его квартиру, где были определенные излишки площади<sup>210</sup>. Многим пришлось потесниться и получить незваных соседей. Они бесцеремонно пользовались вещами прошлых хозяев, прежде

всего мебелью. Интересы бывших владельцев квартиры и вещей во внимание практически никогда не принимались. В такой ситуации оказался в декабре 1920 года бывший царский генерал А.С. Потапов, перешедший на сторону большевиков в октябре 1917 года. Уже в декабре 1917 года он был отправлен Наркоматом иностранных дел в командировку в Китай и США. Вернувшись в Петроград, Потапов обнаружил в своей квартире новых жильцов. С трудом после вмешательства представителя Наркоминдела в Петрограде, зафиксировавшего в своем письме, что «деятельность Потапова признана Советской властью крайне полезной», генералу удалось вернуть себе часть личного имущества и недолго пожить в собственной квартире до переезда на службу в Москву<sup>211</sup>. Нередко подселенные по «уплотнению» пытались присвоить и имущество бывших собственников квартир, вынужденных продолжать жить в некогда своих апартаментах. Писательница В.Ф. Панова, чье детство и юность прошли в Ростове, вспоминала о трудностях быта, выпавших на долю ее семьи в конце 1919 — начале 1920 года: «Нас уплотнили... Мы познали все ужасы и безобразия совместного жилья. Интеллигентные люди (подселенные в ходе уплотнения. — Я.77.) даже завладели нашей мебелью»<sup>212</sup>.

Практика «уплотнения», сопровождаемая наделением неимущих индивидуальным жильем и предметами быта, не соответствовала теоретическим постулатам социализма о коллективном жилье. Утопия входила в противоречие с социальными реалиями. Новые жильцы испытывали дискомфорт жизни в непривычной обстановке барских квартир. Один из партийных активистов 1920-х годов вспоминал: «В домах на окраинах жили скученно, но в бывшие буржуазные квартиры в центре многие рабочие въезжать не хотели. В роскошных апартаментах они чувствовали себя неуютно, прежние хозяева косились, да и большие квартиры трудно было натопить, требовалось много дров»<sup>213</sup>. Первые шаги советской жилищной политики, проведенные в форме насильственного передела, не дали реального

улучшения бытовых условий горожан. К концу Гражданской войны идея полной муниципализации жилья оказалась тормозом на пути возрождения городского хозяйства. В январе 1921 года власти в контексте военного коммунизма упразднили квартплату. Это раскрепостило новых жильцов, вселившихся в бывшие «барские квартиры» благодаря «жилищному переделу». Профессор Преображенский был недалек от правды, считая, что разруха стала плодом, мягко выражаясь, утраты норм культурного поведения в быту. Городской жилой фонд превращался в настоящую клоаку. Г.А. Князев писал в своем дневнике 27 февраля 1921 года: «Как люди плохо живут сейчас. У многих квартиры залиты нечистотами. Водопроводы и уборные не действуют. Для последних отводятся пустующие комнаты. За недостатком дров сжигается последняя мебель, срываются двери, разламываются потолки... Везде грязь, мерзость запустения»<sup>214</sup>. Хаос в жилищном хозяйстве был типичным явлением для большинства городов Советской России в конце Гражданской войны<sup>215</sup>. Неудивительно, что летом 1921 года В.И. Ленин, обращаясь к Малому Совнаркому, с возмущением писал: «Наши дома — загажены подло»<sup>216</sup>.

Одновременно в городском пространстве стал реальностью зародыш некоего типа жилища, находящегося в распоряжении сразу нескольких граждан, вынужденных проживать вместе. Они не были связаны ни общей трудовой деятельностью, как в общежитии, ни недутом, как в больнице, ни возрастом, как в детском доме, ни даже преступлением, как в тюрьме. Скученность, отсутствие воды, испорченная канализация становились причинами стрессов и повышенной агрессивности. Даже самые ярые сторонники социализма никогда не считали коммунальные квартиры ячейками социалистического быта. Но все же в новых видах жилья, возникших в результате уплотнения, уже в годы Гражданской войны зарождались особые нормы поведения жителя коммуналки, зачастую порожденные нормативными суждениями власти.

### *Нэп и новая жилищная политика*

Товарно-денежные отношения, возрожденные после введения нэпа, повлекли за собой и возвращение привычных норм распределения жилья. Власть была вынуждена отказаться от идеи тотальной муниципализации и ввести «новую жилищную политику»<sup>217</sup>. В стране возникла реальная перспектива возвращения части зданий и квартир бывшим собственникам.

А к лету 1922 года были разрешены и сделки с недвижимостью, что означало признание частной собственности на жилые строения. В городах уменьшалось количество так называемых коммунальных домов. Часть муниципализированных помещений власти возвращали владельцам, сдавали в аренду желающим, появилась и возможность приобретать недвижимость в личную собственность. К середине 1920-х годов в Ленинграде, например, 5% всех жилых помещений находились в частных руках, 20% по-прежнему считались «коммунальными», а 75% принадлежали ЖАКТам<sup>218</sup>. Их появление, существование и уничтожение в 1937 году представляется иллюстрацией смены советских правовых и организационных норм в сфере жилья на хронологическом отрезке от нэпа до большого стиля.

Формально ЖАКТы — жилищно-арендные кооперативные товарищества — появились в советском государстве после принятия 19 августа 1924 года постановления ЦИК СССР «О жилищной кооперации». Однако еще в 1921 году, в процессе изменения норм жилищной политики, с ведома властей в крупных городах начали создаваться жилищные товарищества, которые сменили домовые комитеты бедноты, оказавшиеся пригодными лишь для передела квартир и имущества. В данном случае государство, предоставляя возможности для реализации общественной инициативы, прежде всего преследовало цель переложить на новые объединения жильцов обязанности по ремонту и восстановлению разрушенных и запущенных

зданий. Г.В. Цыперович, большевик, возглавлявший в начале 1920-х годов ленинградские профсоюзы, писал в журнале «Вопросы коммунального хозяйства»: «Не следует осложнять основную работу Отдела коммунального хозяйства ремонтом жилищ и квартир». Это должны были сделать, по его мнению, жилтоварищества<sup>219</sup>, число которых росло. В Москве к весне 1923 года было 8 тысяч таких объединений<sup>220</sup>. Но к лету 1924 года инициативу арендаторов и собственников квартир решено было огосударствить, что гарантировало нормативное суждение «О жилищной кооперации». Жилтоварищества были заменены ЖАКТаами. Эти организации официально получили право распоряжаться финансами конкретного дома и распределять жилую площадь в нем. Такая самостоятельность, безусловно, является лишним доказательством плюрализма бытовых практик повседневности горожан в эпоху нэпа. Правда, период реальной вольницы ЖАКТов продолжался до нового квартирного передела в 1927 году.

Советская жилищная кооперация занималась и строительством индивидуального жилья, тем самым возрождая его как норму городской повседневности. В Ленинграде, например, при Балтийском и Адмиралтейском заводах, а также при «Красном путиловце» действовали кооперативы, пайщики которых уже в 1925-1926 годах получили первые квартиры. Строящиеся малоэтажные дома были с удобствами: электричеством, водопроводом, канализацией. Но, пожалуй, главным преимуществом являлось то обстоятельство, что жилье находилось недалеко от места работы. Рабочие, по воспоминаниям слесаря Кировского завода, Героя Социалистического Труда К.В. Говорушина, получали здесь маленькие, но преимущественно отдельные квартиры<sup>221</sup>. Малоэтажное кооперативное строительство разворачивалось и в Москве<sup>222</sup>.

В годы нэпа в городах возродился институт квартирохозяев и даже домохозяев, имевших право сдавать или продавать жилую площадь. Это было признаком наличия в советской

действительности элементов нормального общества либеральной модели. Жилье можно было разыскать и на окраине в частных домах, и в центре. Петербурженка С.Н. Цендровская, описывая переезд своей семьи в город из деревни, где они жили во время голода Гражданской войны, вспоминала, что вначале пришлось обосноваться в одной комнате. Но менее чем через полгода, в начале 1924 года, «родители нашли отдельную двухкомнатную квартиру на Крестовском острове... в старом частном деревянном доме»<sup>223</sup>. Похожую ситуацию вспоминал и историк И.М. Дьяконов. Его семья вернулась в Ленинград из служебной зарубежной командировки в разгар нэпа и озаботилась поиском подходящего жилья. Дьяконов писал: «Между тем, наконец была снята квартира (тогда это еще было можно...)»<sup>224</sup>. Вновь появившиеся собственники недвижимости в середине 1920-х годов могли выбирать себе подходящих съемщиков. Приличная семья Дьяконовых, конечно, больше устраивала хозяев дома, чем прежние жильцы — «нечесанный пропойца, обихаживаемый отчаявшейся женой», расплодившие к тому же в квартире мириады блох<sup>225</sup>. Довольно легко разыскала после переезда в 1925 году из Москвы в Ленинград удобную отдельную квартиру на Большой Морской улице и Н.Я. Мандельштам<sup>226</sup>. Можно предположить, что жилье было приобретено или в крайнем случае обменено с доплатой. Квартиру купил родственник поэта Д.И. Хармса А.И. Русаков. В начале нэпа он вернулся в Петроград из Франции, куда выехал еще до революции, и открыл в доме, где жил сам, общественную прачечную и детские ясли<sup>227</sup>. Литературный нарратив 1920-1930-х годов, изобилующий описаниями жилищного передела и коммуналок, что неоднократно подчеркивалось исследователями<sup>228</sup>, отразил и вопросы купли-продажи или обмена жилья как норму жизни города в период нэпа. В романе Ю.П. Германа «Наши знакомые» обмен кухни на большую удобную комнату осуществляет моряк Леонид Скворцов перед свадьбой с главной героиней Антониной

Старосельской. А второстепенный персонаж произведения — молодой техник Голиков — и вообще «разделил свою комнату стенкой и продал отдельную часть кассирше из кино»<sup>229</sup>.

Вновь появившиеся квартирохозяева возродили традиционную практику сдачи комнат в квартирах. По подсчетам Е.Ю. Герасимовой, в эти отношения было вовлечено в 1926 году более половины населения Ленинграда<sup>230</sup>. Совместное существование людей в такого рода жилье не потребовало выработки особых норм взаимоотношений. Жизненную стратегию в данном случае определяли квартирохозяева. Они подбирали съемщиков, соответствовавших представлениям о «приличном человеке». Художник В.И. Курдов вспоминал, как после демобилизации в 1927 году искал в Ленинграде комнату по объявлению. «Чтобы не пугать никого своим солдатским видом, переодеваюсь во все чарушинское (одежду художника Е.И. Чарушина. — *Н.Л.*) — известно, что по одежке встречают, — и хожу по адресам, — пишет Курдов. — <...> Попадаю в большую богатую квартиру, где сдается комната с мебелью... Разыгрываю из себя молодого человека из "хорошего дома". Все идет как нельзя лучше, цена божеская, и я, не раздумывая, соглашаюсь»<sup>231</sup>.

Но бытовые практики нэпа постоянно корректировались идеологическими и властными структурами, не планировавшими полностью возродить нормы городской жизни, сложившиеся к началу XX века. Демунципализация охватила далеко не весь жилищный фонд. Часть домов осталась в распоряжении органов коммунального хозяйства. Жилье здесь предоставлялось по ордерам районных советов, чаще всего в соответствии с жилищными нормами, и считалось наименее комфортным. Одновременно в некоторые дома коммунального, а по сути дела, муниципального подчинения в начале нэпа стали переезжать из своеобразных элитарных фаланстеров эпохи Гражданской войны представители разрастающейся советской номенклатуры. Показателен с этой точки зрения



питерский дом на Каменноостровском проспекте (тогда улице Красных Зорь), построенный по проекту архитекторов семьи Бенуа в 1912-1914 годах. Еще в ноябре 1918 года Петроградский районный совет постановил передать это здание для заселения служащими отделов Совета<sup>232</sup>. В сентябре 1924 года комиссия Управления Объединения коммунальных домов жилищного подотдела Ленгуботкомхоза по вопросу о переводе домов на хозрасчет постановила сохранить на «смете Жил. Подотдела дом 26/28 по ул. Красных зорь ввиду его особенного политического и общественного характера»<sup>233</sup>. Позднее заселение дома взял под строгий контроль Ленинградский губком ВКП(б). Сюда в годы нэпа устремились представители питерской номенклатуры. Вначале некоторые крупные советские и партийные работники попробовали жить в коммуналках. В январе 1923 года в квартиру 23 прибыл секретарь Петроградского губернского комитета партии большевиков Григорий Еремеевич Евдокимов. Вместе с женой, сыном и сестрой он оставил скромное жилье на Большиеохтинской улице, в то время считавшейся окраиной. Через несколько месяцев в Петроград из Павлодара приехал брат партийного лидера. Почти одновременно в этой же квартире поселился еще один выходец из Павлодара, знакомый семьи Евдокимовых Лобков Николай Поликарпович с женой. Он начал служить в милиции. А в 1924 году въехали супруги Маслобоевы: муж Афанасий Васильевич, рабочий Монетного двора, жена — иждивенка. Но она была сестрой супруги Г.Е. Евдокимова, так что коммуналка походила на жилище одной большой семьи<sup>234</sup>. Лишь после приезда в Ленинград С.М. Кирова, сменившего Евдокимова на посту секретаря Ленинградского губкома ВКП(б) и постаравшегося избавиться от соратников Зиновьева, квартира 23 стала настоящей коммунальной труппой.

Сам Сергей Миронович поселился в этом доме в квартире 20 в середине 1926 года. Вообще к концу 1920-х представители советской элиты не пытались создать иллюзию

аскетического образа жизни. Жилье С.М. Кирова, которое использовали два человека — глава ленинградских большевиков и его жена, — состояло из шести комнат: кабинета, библиотеки, столовой, спальни, мастерской, комнаты для прислуги и, естественно, ванной, кухни и двух просторных холлов. Несколько скромнее жил крупный партийный работник, позднее областной прокурор Б.П. Позерн. В январе 1923 года он с семьей из 1-го Дома Советов переселился в трехкомнатную квартиру № 97 того же дома.

В годы нэпа советские властные и идеологические структуры не отказались полностью от классового принципа нормирования жилой площади. Это выразилось в системе оплаты жилья, размер которой определялся социальным происхождением и положением плательщиков. В короткий период военного коммунизма горожане вообще не платили за квартиры. Затем система внесения денег за пользование жилой площадью была возобновлена. В январе 1921 года СНК РСФСР постановил отменить квартплату для рабочих. Продолжалось это примерно год. В начале 1922 года, в условиях хозрасчета, была введена всеобщая система оплаты жилья и коммунальных услуг. Однако уже летом рабочим предоставили скидку за пользование электроэнергией и водой. За жилую площадь пролетарские семьи платили различные суммы, в зависимости от дохода главы семьи. Но в целом в бюджете рабочих затраты на жилье в первой половине 1920-х годов составляли всего 14%. В более сложном положении были представители остальных социальных слоев городского населения. Повышенный тариф охватывал так называемые «нетрудовые элементы», а также лиц «свободных профессий». Последняя формулировка выглядела довольно расплывчатой. К.И. Чуковский отразил в своем дневнике «квартирные мытарства» лица «свободной профессии». Запись относится к 27 марта 1923 года: «Вчера был на конфликтной комиссии в споре с домкомбедом, который с меня, как с лица свободной профессии, запросил

колоссальную сумму за квартиру Я простоял в прихожей весь день — очень тоскуя. Мое дело правильное — я действительно работаю во "Всемирной литературе" но у меня не случилось какой-то бумажки, которую достать — раз плюнуть, и все провалилось»<sup>235</sup>. Система квартплаты с каждым годом становилась все более дифференцированной. В 1926 году существовало уже более 10 категорий квартироплательщиков. Появились в период нэпа и лица, пользовавшиеся льготами на оплату жилой площади. В 1923 году в постановлении ВЦИК и СНК от 13 июня были определены дополнительные категории населения советского общества, имеющие жилищные привилегии. К их числу относились больные, требующие изоляции, ответственные советские работники и ученые, состоящие на учете в КУБУЧ (комиссии по улучшению быта ученых)<sup>236</sup>. В 1925 году к списку льготников прибавились бывшие политкаторжане и ссыльнопоселенцы, а еще через два года привилегии получили и некоторые представители художественной интеллигенции<sup>237</sup>.

Разрастание к концу 1920-х годов слоя льготников происходило на фоне изменения норм повседневной жизни, связанного со свертыванием нэпа. Власти стали активно вмешиваться в процессы, происходившие на рынке жилья. В конце 1926 года был принят декрет ВЦИК и СНК «О порядке выселения лиц, осужденных за покупку жилой площади, из занимаемых ими помещений»<sup>238</sup>. И хотя это касалось в первую очередь муниципального жилья, количество официальных сделок по купле-продаже комнат и квартир стало сокращаться. С 1927 года государственные органы начали регламентировать обмен жилья. Согласно постановлению СНК РСФСР от 15 ноября 1927 года «О мероприятиях по жилищному хозяйству в городских поселениях», создавались «посреднические квартирные бюро» и «бюро обмена». Обменивать площадь можно было только с разрешения домоуправления. Оно же было призвано следить за тем, чтобы сделка не имела «явно выраженного спекулятивного характера»<sup>239</sup>. При этом особое

внимание властные структуры считали необходимым уделить обменным операциям, совершаемым так называемыми «нетрудовыми элементами». Им чинились разного рода препятствия.

К 1927 году объем жилищного строительства в стране перестал поспевать за бурным ростом городского населения, во многом спровоцированным форсированной индустриализацией и насильственной коллективизацией. В городах стал остро ощущаться жилищный кризис. Самым простым выходом из него большевистским властям показалось возвращение к «квартирному переделу». Он, по сути дела, и возобновился в конце 1927 года.

### *Право на самоуплотнение*

Инструментом нового витка «квартирного передела» стал феномен «самоуплотнения». Это понятие употреблялось в советском правовом поле и ранее. Первоначально оно даже противопоставлялось «уплотнению», осуществляемому официальными органами в ходе «жилищного передела». В 1924 году, например, научным работникам было предоставлено право самостоятельно занимать освободившиеся комнаты в квартирах, где они проживали наряду с другими жильцами<sup>240</sup>. И в данном случае самоуплотнение, то есть осуществление заселения без участия властных инстанций, рассматривалось как некая социальная привилегия. Самоуплотнение как норма, появившаяся в конце 1927 года в результате принятия целого ряда правовых документов<sup>241</sup>, толковалось по-иному: владельцы или съемщики квартиры и комнаты могли вселять к себе на излишки площади любого человека, даже не родственника. Излишком считалось все, что превышало санитарную норму — 8 кв. метров. Вселенный жилец обретал право на площадь в данном жилище. Право на самоуплотнение необходимо было реализовать в течение

трех недель. Затем вопрос о вселении на излишки площади решал не ее съемщик, а домоуправление.

Эта юридическая норма имела патологический характер, выражающийся в необходимости обязательной реализации права в строго указанный срок. За исполнением постановления 0 самоуплотнении следили домовые комитеты. Их председатели докладывали о жилищной ситуации в районные советы и отделения милиции. Излишки площади являлись формальным основанием для вторжения представителей домкома и районных властей в любое жилое помещение. Насильственная реализация права на самоуплотнение, таким образом, сопровождалась контролем за всеми сторонами повседневной жизни граждан, и в первую очередь «лишенцев», то есть лиц, лишенных избирательных прав в Советской России. Право на самоуплотнение помогло осуществить наступление на квартирновладельцев, и ленинградская статистика в данном случае выглядит впечатляюще. Если в 1926 году в руках частных арендаторов находилось 699 000 м<sup>2</sup> жилой площади Ленинграда, то 1 января 1928 года — уже 374 000, а к началу 1930-х — всего 53 000<sup>242</sup>. Притеснению подверглись и ЖАКТы, особенно те, которые хотели сохранить в неприкосновенности квартиры своих членов<sup>243</sup>. Некоторые квартирновладельцы, предвидя возвращение «жилищного передела», решали самоуплотниться добровольно. Опережая решение властей, они подселяли к себе родственников или приличных знакомых. Т.А. Аксакова, дочь известного ученого А.А. Сиверса, вспоминала, как ей удалось найти в 1928 году жилье в центре Ленинграда. Хозяевам квартиры грозило самоуплотнение. По рекомендации общих знакомых они вселили к себе молодую интеллигентную женщину, с которой сосуществовать казалось проще, чем с жильцами, предлагаемыми домоуправлением<sup>244</sup>. Но далеко не всегда ситуация разрешалась так безболезненно.

В апреле 1929 года ВЦИК и СНК РСФСР издали постановление «Об ограничении проживания лиц нетрудовых

категорий в муниципализированных и национализированных домах и о выселении бывших домовладельцев из национализированных и муниципализированных домов»<sup>245</sup>. Уже в июле 1929 года людям, подлежащим выселению, вручили извещения о необходимости освободить жилплощадь. В случае неподчинения выселение происходило административным путем, что нередко приобретало трагический оттенок. Руководитель отдела коммунального хозяйства одного из районов Ленинграда, отчитываясь в Ленгорисполкоме в сентябре 1929 года, рассказывал: «Приходит участковый надзиратель выселять старика, а с ним паралич случился. Звонит мне: как быть. Говорю, конечно, не выселять. Через четыре дня старик умер. Сам очистил помещение, освободил...»<sup>246</sup>

Вся кампания по выселению лишенцев, в частности, в Ленинграде была завершена к октябрю 1929 года<sup>247</sup>. Часть «бывших» выселили в дачные местности, а большинство переместили в коммунальные квартиры. Жилищные условия многих горожан значительно ухудшились. Обследование, проведенное, например, ленинградским областным статотделом, выявило, что в 1927 году «на жилой площади муниципальных владений Ленинграда проживало 26,5 тыс. лиц с нетрудовыми доходами. Занимали эти люди 223 000 кв. м (8,3 м<sup>2</sup> на душу). В 1929 году они уже занимают 160 000 кв. м»<sup>248</sup>. Таким образом, в отношении этой части городского населения не соблюдались даже элементарные нормы расселения. Подобные притеснения, разумеется, раздражали людей. В секретных сводках ленинградского ОГПУ, поступивших в 1929 году в обком ВКП(б), была отмечена возросшая враждебность «самоуплотняемых лишенцев»<sup>249</sup>. «Бывших» особенно активно преследовали за так называемые «излишки», то есть наличие жилой площади, превышающей установленную норму. Вдова генерала А.Д. Свиньина Евгения Александровна, не имевшая возможности покинуть родину и выехать за границу к семье дочери, коротала свой век в 9-метровой комнате в большой

коммуналке. Но весной 1932 года домовый комитет решил выселить ее. В письме к родственникам Е.А. Свиньина с горечью отмечала: «они в акте поставили мне обвинение... так как я не трудовой элемент, а бывший человек, надо меня переселить еще в худшую комнату... куда же мне деваться, если даже в таком углу нельзя будет ютиться»<sup>250</sup>.

Но притеснения «бывших» не могли разрешить нараставший жилищный кризис. В ноябре 1932 года СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «Об увольнении за прогул без уважительных причин». Оно предусматривало выселение нарушителей трудовой дисциплины из ведомственных домов, принадлежащих, к примеру, заводам. Так складывалась система мер внеэкономического принуждения к труду, более страшных, чем денежные штрафы, применявшиеся в аналогичной ситуации в царской России. Основным видом жилья в советском городе становилась коммунальная квартира, в недрах которой действовали особые нормы жизни.

### *Коммунальный быт — практики и фигуры*

Внешняя атрибутика коммунальных квартир во всех городах была вполне узнаваемой. «Вороньи слободки» выделялись прежде всего видом входных дверей. Д.А. Гранин, вспоминая свое детство, писал: «...безобразными кажутся нам двери коммунальных квартир, увешанные перечнем звонков — кому сколько: три, четыре, два коротких, один длинный и так далее. Несколько почтовых ящиков, на каждом наклеены заголовки газет и фамилии владельцев. В 30-е годы такие двери воспринимались как нечто нормальное, нормальным был и быт коммуналок: множество электросчетчиков, расписание уборки мест общего пользования, общий телефон в передней и исписанные вокруг него обои, понятие "съемщик"... В больших квартирах происходили собрания жильцов, выбирали



квартироуполномоченного»<sup>251</sup>. Эту фигуру, далеко не второстепенную в советской жилищной политике, часто называли ответственным квартиросъемщиком. «Квартироуполномоченный» — основной персонаж советской трагикомедии под названием «Коммунальная квартира», появившийся сначала в немногочисленных домах-коммунах. Это произошло летом 1921 года, когда НКВД РСФСР принял совместно с Наркомздравом инструкцию «О мерах улучшения жилищных условий рабочих»<sup>252</sup>. Особое ответственное лицо должно было следить за санитарным состоянием помещения, занятого под коммуны. В 1924 году власти Москвы пришли к выводу о необходимости назначения квартироуполномоченных во всех городских домах<sup>253</sup>. Позже эта практика приобрела всесоюзные масштабы. В отдельных квартирах ответственным квартиросъемщиком становился кто-нибудь из членов семьи, и его дисциплинирующие функции носили по большей части декларативный характер. В коммуналках дело обстояло совсем по-иному. Квартироуполномоченный обязан был следить за сохранностью жилья, содействовать домоуправлению в сборе коммунальных платежей, контролировать выполнение жильцами правил внутреннего распорядка.

Фигура квартироуполномоченного обрела особое значение после 1927 года, в ситуации нового витка жилищного передела на основе права на самоуплотнение. В 1929 году, когда советские властные структуры полностью закончили муниципализацию жилья и упразднили институт квартирохозяев, появилось Положение об ответственных уполномоченных. Они становились не только гарантами правильной оплаты коммунальных услуг, но и информаторами властей о жизни соседей. Ведь правила внутреннего распорядка жизни в квартирах предписывали жильцам обязанность «своевременно представлять ответственному по квартире уполномоченному сведения о своем положении и заработке, а равно и об изменениях в этом отношении»<sup>254</sup>. Положение 1929 года в дальнейшем

совершенствовалось, но основная дисциплинирующая функция квартуполномоченного не менялась. Появление этой фигуры выражает установление прочной системы прямого нормирования жилого пространства и в физическом, и в социальном смысле. Это был представитель советской власти на квартирном уровне. Парадоксально лишь то, что эту выборную должность в конце 1920-х часто занимали бывшие квартирохозяева.

Нормы жизни в коммунальных квартирах совершенствовались. Обязательные правила ухода за жилищем и внутреннего распорядка в квартирах, датированные 1932 годом, предусматривали строгий регламент повседневной жизни. Во многом он был направлен на поддержание санитарно-гигиенических условий. Однако правила гигиены касались лишь пространства, а не личности<sup>255</sup>. Никто не задумывался о том, что тесный контакт в коммуналках отрицательно действует на физическое состояние жильцов. Одновременно нормы повседневности коммунальных квартир влияли на общественные практики. Для контроля над этим процессом в 1931 году были организованы народные суды при домоуправлениях. Им предоставлялась возможность не только порицать, но и ставить вопрос о наказании самого разнообразного уровня. Одной из наиболее действенных форм расправы с человеком, нарушавшим правила общежития, была отправка решения товарищеского суда на работу ответчику. Документальным свидетельством может служить «Выписка из протокола заседания бюро коллектива ВКП(б) Ленинградского отдела научно-технических издательств 6 мая 1933 г.». На заседании рассматривалось переданное фракцией ВКП(б) домового комитета дома № 28 по Загородному проспекту дело о систематическом хулиганстве в квартире Кондратьева В.В., члена ВКП(б) с 1930 года. Члены бюро поставили вопрос об исключении Кондратьева из партии, что могло повлечь за собой увольнение с работы<sup>256</sup>.

Однако ни наличие норм, ни даже создание нормализующих структур не спасали жильцов от бурных конфликтов,

которые провоцировал особый быт коммунальных квартир. В коммуналках формировалось чувство советского коллективизма, которым так гордилась партия большевиков. Возникавший в коммуналках на почве всеобщей нужды, он нивелировал любые личностные различия и способствовал формированию особого социалистического конформизма, свойственного стае. Ее легко было натравить и на «врагов народа», и на любого инакомыслящего или ведущего себя в быту не так, как остальные. Во многих коммуналках разворачивалась травля жильцов-интеллигентов. Но еще больше доставалось так называемым «бывшим». Достаточно привести лишь один факт, зафиксированный в следственном деле 72-летней княжны Е.В. Гагариной, приговоренной в 1935 году к высылке. Старая женщина смиренно просила руководство Ленинградского управления НКВД не разлучать ее с парализованной сестрой. Она опасалась, что соседи по коммунальной квартире попросту затравят беспомощную старушку. Жильцы в то время, когда Е.В. Гагарина была на работе, бесцеремонно заходили в комнату бывших княжон и на глазах прикованной к постели больной брали «навсегда» приглянувшиеся им вещи и съестное<sup>257</sup>. Такие случаи, по-видимому, отчасти послужили основой для принятия в 1935 году циркуляра НКВД «О борьбе с хулиганством в квартирах». Под хулиганским поведением понималось «устройство в квартире систематических попок, сопровождающихся шумом, драками и площадной бранью, нанесение побоев (в частности, женщинам и детям), оскорблений, угрозы расправиться, пользуясь своим служебным положением, развратное поведение, национальная травля, издевательство над личностью, учинение разных пакостей (выбрасывание чужих вещей из кухни и других мест общественного пользования, порча пищи, изготовленной жильцами, чужих вещей, продуктов и т.п.)»<sup>258</sup>. Действительно, жизнь в лабиринтах коммуналок в 1930-х годах была для многих трагической. И трагизм этот достиг апогея в период Большого террора.

### *Награждение жильем*

С изменением политической ситуации в стране коммунальные квартиры невольно втянулись в общий психоз доносительства. Арест одного соседа в условиях действия права на самоуплотнение сулил явное улучшение жилищного положения остальных, тем более что дефицит свободной площади в стране нарастал. Это отчетливо прослеживается именно на ленинградских материалах. Еще в ноябре 1934 года президиум Ленсовета принял решение «О порядке заселения жилой площади, освобождаемой в силу решений судебных органов». В нем говорилось: «Для удовлетворения жилой площадью демобилизованных двадцатипяти тысячников (рабочих, посланных в деревни для проведения коллективизации. — Я.Л.), вернувшихся в Ленинград лиц, награжденных орденами и др. Ленсовет постановляет... Всю жилую площадь, освобождающуюся в результате осуждения пользовавшихся ею лиц к лишению свободы и ссылке за контрреволюционные преступления... передать в распоряжение жилуправления для заселения по указанию Президиума Ленсовета»<sup>259</sup>.

«Кировский поток» репрессий косвенно продолжил освобождение площади для людей, верно служащих режиму. В феврале 1935 года по распоряжению бюро обкома и горкома ВКП(б) управление НКВД СССР по Ленинградской области провело операцию по выселению из Ленинграда «зиновьевцев», то есть людей, принадлежавших к уже давно идейно разоблаченной троцкистско-зиновьевской оппозиции. Вместе с семьями их выдворяли в отдаленные районы страны. К 20 февраля из города выселили 1120 человек, принадлежавших к семьям оппозиционеров, исключенных из партии. Освобождавшаяся жилплощадь сразу стала предметом раздора. Об этом, в частности, свидетельствует письмо заместителя начальника управления НКВД председателю президиума Ленсовета И.Ф. Кадацкому от 9 марта 1935 года: «В процессе проводимой УНКВД ЛО работы по выселению из гор. Ленинграда семей участников

троцкистско-зиновьевского подполья производится также опечатывание занимаемой ими площади, которая подлежит заселению кандидатами, определяемыми специальной комиссией...». Далее в письме сообщалось о существовании специальной печати НКВД на квартирах арестованных, которую систематически срывали представители районных жилищных отделов, стремившихся заселить освободившуюся площадь по собственному усмотрению<sup>260</sup>.

По мере раскручивания Большого террора споры за освобождавшуюся жилую площадь обострялись. В марте 1935 года в соответствии с циркуляром управления НКВД СССР по Ленинградской области от 27 февраля 1935 года «О выселении контрреволюционного элемента из Ленинграда и пригородных районов» из города было выдворено примерно 10-12 тысяч человек. Их комнаты и квартиры в срочном порядке распределялись.

«Политическая благонадежность», выражавшаяся, в частности, и в доносительстве, становилась нормой поведения и могла обеспечить улучшение жилищных условий. Власти же делали все, чтобы способствовать этому. Так, в распоряжении Ленсовета, датированном ноябрем 1935 года, указывалось на «необходимость в срочном порядке передать в исполком сведения об освободившейся жилой площади в результате высылки лиц, осужденных по "Кировскому делу"»<sup>261</sup>. В 1936-1938 годах эта практика приняла особенно широкий размах. Аресты стали нормой повседневной жизни. В доме 26/28 по Каменноостровскому (тогда уже Кировскому) проспекту с 1934 по 1938 год аресты произошли в 55 из 123 квартир. Для части жильцов несчастье их соседей оборачивалось заметным улучшением бытовых условий. В квартире 83 того же дома с 1932 года жил с женой и дочерьми И.П. Косарев. Он работал в Ленинградском областном исполкоме уполномоченным по развитию кролиководства. 7 декабря 1937 года Косарев был арестован, а уже 14 декабря его семью выселили

в коммунальную квартиру на проспект Огородникова. В бывшее жилье Косаревых через месяц, в январе 1938 года, въехали некие Напалковы-Полянские, решившие, что предыдущей квартиры им недостаточно. До этого прибывшая из Москвы для работы в аппарате обкома ВКП(б) К.С. Напалкова с мужем И.В. Полянским, сотрудником НКВД, 15-летним сыном и домработницей имели в этом же доме довольно большую отдельную квартиру. Но шанса улучшить свое жилищное положение они не упустили. У менее сановных людей были более скромные запросы — им иногда вполне хватало просто комнаты недавно арестованного соседа. Конечно, не следует считать, что аресты происходили только по доносам заинтересованных в улучшении своих бытовых условий соседей, но такие случаи бывали. Симптоматично принятое в декабре 1937 года президиумом Ленсовета постановление о необходимости «разработать порядок и организовать дело так, чтобы вся освободившаяся по каким-либо причинам жилплощадь немедленно бралась на учет районными советами для удовлетворения жилищных нужд трудящихся»<sup>262</sup>.

Однако даже геноцид собственного народа не помог советской власти разрешить жилищные проблемы. Темпы строительства сокращались. Отдельная квартира в 1930-х годах становилась, как правило, маркером социального статуса ее владельца. Нормой индивидуальное жилье было в среде партийно-советской элиты, о чем свидетельствуют материалы микроисследования трех ленинградских домов на Петроградской стороне<sup>263</sup>. В начале 1930-х годов представители высшей номенклатуры города переместились из дома 26/28 по Каменноостровскому проспекту в дом 21 по Кронверкской улице. Там было всего 25 квартир довольно большой площади, которые в 1918 году распоряжением Петроградского районного жилищного отдела отдали для заселения рабочим, рабфаковцам Политехнического и Электротехнического институтов. Люди жили по 20-30 человек в одной квартире. В 1932 году

«простые жильцы» были выселены из дома. Освободилась и шестикомнатная квартира № 12, где разместилась семья Позернов из 4 человек. Даже постоянно меняющиеся домработницы почти никогда не жили в квартире 12. Их областной прокурор устраивал в коммуналках дома 26/28 по Каменноостровскому проспекту. 9 июля 1938 года Позерн был арестован и впоследствии расстрелян в Москве. С середины лета 1938 года квартира пустовала, а ровно через месяц после расстрела Позерна, в марте 1939 года, туда въехал И.О. Сехчин, секретарь обкома ВЛКСМ, с женой и двумя дочерьми. Но через два месяца его переселили на Московское шоссе, тогдашнюю окраину Ленинграда. На жилплощади Сехчина обосновался А.Я. Ефимов, секретарь парткома УГБ УНКВД, а затем заместитель начальника управления НКВД по кадрам. С ним жили мать и две сестры. С тех пор квартира 12, судя по всему, принадлежала органам госбезопасности, и традиция эта сохранилась и в годы послевоенного сталинизма: с 1949 года здесь жил начальник следственного отдела управления МГБ А.А. Козырев, затем начальник управления МГБ Б.П. Пономарев.

### *Большой стиль: архитектура и жизнь*

В середине 1930-х годов власть уже награждала жильем не только высшую номенклатуру работников карательных органов. Хорошую квартиру имели шанс получить и пользующиеся покровительством властей деятели культуры. Так, в апреле 1935 года в доме 26/28 специально была расселена большая коммуналка для скульптора М.Г. Манизера. Жившие до него здесь люди, а их было 24 человека, получили жилую площадь в самых разных местах, но по-прежнему в коммуналках. Петербургский искусствовед М.Ю. Герман вспоминает, как в 1935 году его отец, писатель Ю.П. Герман, «стремительно обретший молодую и отчасти... случайную славу, получил



летом 1935 года квартиру в так называемой "писательской надстройке" на канале Грибоедова...». Полученное жилье — небольшая отдельная трехкомнатная квартира — явно маркировало новый социальный статус семьи писателя, до этого жившей в одной комнате коммуналки<sup>264</sup>. По воспоминаниям С.С. Гитович, в том же доме при распределении жилплощади разыгралась трагикомедия в советском стиле. Маленькая квартирka — 25 м<sup>2</sup> — на последнем этаже первоначально предназначалась для поэта Ю.А. Инге. Но он почему-то, как пишет Гитович, поскандалил и «набил морду писателю Брыкину». За хулиганство Инге жестоко наказали — квартиру отобрали и отдали Гитовичам<sup>265</sup>.

Квартира становилась инструментом социального стратифицирования, где существовала и страта «знатных рабочих». Стремление власти вознаградить и этот высший слой советского общества нередко доходило до абсурда. Например, зачинатель трудового движения, названного его же именем, А.Г. Стаханов получил в качестве поощрения не просто благоустроенную квартиру, а настоящие апартаменты со специально обставленным кабинетом. Назначение этого помещения в жилье рабочего вызывает некоторые сомнения, особенно если вспомнить, что многие представители научной интеллигенции жили в куда более стесненных условиях и, уж конечно же, без необходимого им по роду профессиональной деятельности кабинета. Шикарная квартира Стаханова находилась в маленьком шахтерском поселке. В других советских городах были свои Стахановы, Изотовы, сметанины, настоятельно требовавшие улучшения их быта. И все же относительно комфортно к концу 1930-х годов жила очень небольшая часть рабочих. В Ленинграде, например, индивидуальное жилье (квартиру или дом) имело 25% всех тружеников производства, тогда как в 1914 году — 15%<sup>266</sup>. Выделение даже в среде рабочего класса узкого слоя новой аристократии, принадлежность к которой маркировалась жилищными привилегиями, — характерная

черта большого стиля в сфере повседневности. Власть в данном случае создавала определенные симулякры благополучия народа, хотя, как известно, большая часть горожан в СССР проживала в коммунальных квартирах, ощущая на себе «блага» принципа покомнатного расселения. Немецкий писатель Л. Фейхтвангер, посетивший СССР в 1937 году, писал: «Тяжелее всего ощущается жилищная нужда. Значительная часть населения живет скученно, в крохотных убогих комнатушках, трудно проветриваемых зимой. Приходится становиться в очередь в уборную и к водопроводу»<sup>267</sup>.

Одновременно в ключе социальной политики большого стиля власть стремилась к упрочению государственной монополии в жилищной сфере. Это выразилось в уничтожении в символическом 1937 году системы советской жилищной кооперации. Согласно постановлению ЦИК и СНК СССР от 17 октября 1937 года «О сохранении жилищного фонда и улучшении жилищного хозяйства в городах», ликвидировались как ЖАКТы (жилищно-арендные кооперативные товарищества), так и ЖСК (жилищно-строительные кооперативы)<sup>268</sup>. Одновременно изменился и порядок управления домами на всех уровнях, что закрепляло организационно-управленческую вертикаль в жилищной сфере повседневности. Все жилье в городах становилось коммунальным, то есть принадлежащим государству или государственному учреждению<sup>269</sup>, что лишний раз демонстрировало могущество власти.

В то же время в официальном дискурсе, озвученном советскими архитекторами второй половины 1930-х годов, все большее место занимала интимизация жилого пространства. В передовой статье журнала «Архитектура СССР» за май 1936 года отмечалось: «В трактовке жилья должен сказаться элемент известной интимности»<sup>270</sup>. В определенном смысле это была констатация изменений представления власти о жилищных нормах. Действительно, сталинская градостроительная политика внешне базировалась на индивидуализации

жилищного пространства, но коснулось это в первую очередь и в основном привилегированных слоев советского общества.

В рамках большого стиля складывались и образцы советского жилищного строительства, становившиеся частью визуальной репрезентации эпохи сталинизма. Сталинские «высотки» и 5-7-этажные дома повышенной комфортности являются порождением советской имперской архитектуры. «Высотки» отличались помпезностью и такими декоративными деталями, как последовательно сужающиеся и увеличивающиеся в высоту ярусы<sup>271</sup>. Впервые в этом стиле был задуман гигантский Дворец Советов в Москве. Его должна была венчать огромная статуя В.И. Ленина высотой в 100 метров. Однако план по строительству Дворца Советов, утвержденный в 1934 году, не был реализован. Вместо него уже после войны в ходе реконструкции Москвы было выстроено кольцо высотных зданий с той же самой ступенчатой композицией. Решение о возведении восьми таких домов (одного 32-этажного, двух 26-этажных, пяти 16-этажных) было принято Советом Министров СССР 13 января 1947 года<sup>272</sup>. «Высотки», как писали в то время теоретики архитектуры, должны были продемонстрировать «величие сталинской эпохи, расцвет культуры, героику созидательного труда советского народа»<sup>273</sup>. Одновременно часть этих зданий представляла собой образец советского элитного жилья. Квартиры, спроектированные в пяти «высотках», различались по размеру: от 160-метровых в центральном корпусе до небольших 40-метровых в боковых крыльях. Организация жилого пространства в «сталинских небоскребах» потребовала от советских архитекторов новых градостроительных разработок — например, принципов проектирования особых систем вентиляции. Благодаря этим новшествам в зданиях удалось создать комфортный микроклимат. Однако эти нормы распространялись только на элитное жилье.

Более «приближенными к жизни» казались так называемые сталинские дома. Их предполагалось строить в СССР

начиная с середины 1930-х годов. В апреле 1934 года в специальном постановлении СНК СССР «Об улучшении жилищного строительства» подчеркивалась необходимость возводить жилые здания с высотой потолков не менее 3-3,2 м и толщиной стен не менее двух кирпичей<sup>274</sup>. Но в реальности это стало возможным лишь в начале 1950-х годов. Участники заседания Московского комитета ВКП(б) в январе 1951 года заявили: «Мы должны строить для советских людей на 100 лет, и нельзя из-за мелочей делать такие квартиры, которые бы вызывали нарекания. Они и через 100 лет должны обеспечивать трудящимся уют, покой и максимально благоприятные условия»<sup>275</sup>. В начале 1950-х в крупных городах стали строить 5-7-этажные дома. Добротные и основательные, они должны были символизировать незыблемость и вечность социалистического строя. Здания эти были основательны и снаружи, и внутри. Полезная площадь двухкомнатной квартиры там нередко достигала 55-60 м<sup>2</sup>, а высота потолков — 3-3,5 м. В Европе в то время двухкомнатная квартира для среднего класса часто не превышала 50 м<sup>2</sup>, а потолок находился на высоте 2,5 м. Правда, в шикарных сталинских домах нередко были коммуналки, но значительно более комфортные, чем в старом жилом фонде города. В «сталинках» самой большой по площади была четырехкомнатная квартира, как правило, с двумя смежными помещениями. Сюда селили не более трех семей, на которых приходилась одна ванна, один унитаз и две раковины. Занимать целые большие квартиры в «сталинках» могли лишь семьи послевоенной советской элиты.

И все же и «высотки», и «сталинки» не являлись нормой жилья в советских городах. Квартирный вопрос был усугублен последствиями Великой Отечественной войны. И неудивительно, что на большинство горожан по-прежнему распространялся принцип покомнатного наделения жилплощадью. Более того, в городах увеличилось количество людей, проживавших в помещениях барачного типа. Судя по секретной справке ЦСУ от 18 августа 1953 года, объем этого жилья

вырос к 1952 году почти на 50% по сравнению с 1940 годом, а количество «барачных жителей» увеличилось на 33%, составив 3 847 000 человек. Только в Москве в бараках в 1952 году жило 337 000 человек<sup>276</sup>. В документе, фиксировавшем итоги социальной политики послевоенного сталинизма, приведены данные о масштабах восстановления жилого фонда страны, о его благоустройстве — оснащении водопроводом, канализацией, электричеством и т.д., но нет никаких сведений о коммунальных квартирах. По-видимому, в представлении власти они являлись нормой организации приватного пространства советского человека и в период апогея большого стиля. И это в значительной мере отвечало интересам государства, строившего свою политику на принципах тотального контроля за личностью. Повседневность коммуналок лишала живущих в ней людей даже маленького кусочка скрытой личной жизни, к которой так тянется человек. Самые потаенные стороны быта становились достоянием всей квартиры. Жилище в советском обществе не являлось просто местом отдыха, потребления, довольно закрытой сферой частной жизни. Оно превратилось в социальный институт, в котором стандарты поведения во многом определялись санитарными и жилищными нормами, а также структурой жилища.

Идеология — стержень всей советской действительности — и ее материализованная реальность (санитарные, жилищные, коммунально-финансовые нормы) позволяли использовать квартиру, комнату, угол как механизм воспитания новой советской ментальности. Число коммунальных квартир в крупных городах продолжало расти. Советский Союз победил во Второй мировой войне, создал атомную бомбу, а быт «вороньих слободок» по-прежнему оставался гнетущим и унижающим для человеческого достоинства. Формирование «коммунальных тел» оказалось значительно проще осуществлять насильственными методами без соблюдения цивилизованных границ телесности.

### ГЛАВА 3. ОДЕЖДА КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНОГО ПОДЧИНЕНИЯ

Нормированное распределение как важнейшая характеристика социальной политики большевиков коснулось и традиционной составляющей вещно-бытовой сферы повседневности — одежды. Крупнейший социальный теоретик П. Бурдьё подчеркивает, что «социология должна действовать, исходя из того, что человеческие существа являются в одно и то же время биологическими индивидами и социальными агентами...»<sup>277</sup>. Действительно, личность обладает не только духовностью, она имеет тело, которое является посредником между индивидуальным и общественным.

Социальные тела располагаются в конкретном физическом и историческом пространстве. Эпоха оставляет на них, как на чистых листах бумаги, свой символический социальный код, определенный закон времени, основанный на нормативных и нормализующих суждениях. Шрамы, увечья, следы пыток, татуировки — самое яркое выражение записей такого рода. Место личности в общественной иерархии во многом определяется одеждой. Московская исследовательница Н.Н. Козлова совершенно справедливо отмечала, что «одежда может быть рассмотрена в качестве инструмента, посредством которого тела подчиняются социальному правилу»<sup>278</sup>. Таким образом, платье само по себе — определенная норма, имеющая материальное выражение и ментальное содержание. В семиотическом контексте предметы гардероба обладают

ярко выраженным знаковым содержанием, которое как бы кодирует принадлежность к той или иной социальной группе. И, конечно, выбор внешнего облика — достаточно активное выражение социальной ориентации человека и демонстрация его социокультурной принадлежности<sup>279</sup>.

Ю.М. Лотман писал: «Принадлежность к дворянству обозначает и обязанность определенных правил поведения, принципов чести, даже покроя одежды. Мы знаем случаи, когда "ношение неприличной дворянину одежды" или также "неприличной дворянину" бороды становилось предметом тревоги политической полиции и самого императора»<sup>280</sup>. Манера одеваться — одна из форм выражения подчинения нормам конкретного общества. В последнее время отечественные историки стали обращаться к изучению проблем моды. Знаковым событием можно считать появление книги заместителя директора Института российской истории РАН С.В. Журавлева, написанной в соавторстве с финским социологом Ю. Гроновом<sup>281</sup>. Правда, основная ее часть посвящена послевоенному периоду советской истории. Кроме того, авторы концентрируют свое внимание прежде всего на административно-организационной стороне развития моды СССР, в большинстве случаев игнорируя вопросы властного дисциплинирования с помощью одежды. Значительно чаще о специфике советских норм в сфере внешнего облика населения пишут авторы журнала «Теория моды» и особенно Дж. Бартлетт, недавно опубликовавшая книгу о моде в СССР и Восточной Европе<sup>282</sup>.

### *«Оставим буржуев в комнатных туфлях»*

Внешний вид уличной толпы и ее отдельных представителей являет собой систему искусственно созданных знаковых элементов, наполненных определенным смыслом. Уже осенью 1917 года на улицах крупных российских городов невозможно



было встретить ни людей, одетых в блестящие офицерские мундиры, ни нарядных дам в шляпах и кружевах. Н.Н. Берберова вспоминала: «Женщины теперь все носили платки, мужчины — фуражки и кепки, шляпы исчезли: они всегда были общепринятым российским символом барства и праздности, теперь могли в любую минуту стать мишенью для маузера»<sup>283</sup>. Мало кто из горожан стремился украсить себя с помощью одежды. Напротив, она должна была помочь затеряться в толпе, скрыть явно выраженную социальную принадлежность, а по возможности и подчеркнуть лояльное отношение ее владельца к большевикам<sup>284</sup>. Но в данном случае внешний облик толпы являлся результатом определенных стратегий выживания, выбираемых индивидуально. В эпоху военного коммунизма ситуация усугубилась под воздействием как осложнившейся хозяйственной обстановки, так и нормативных суждений новой власти.

Знаменитый английский писатель-фантаст Г. Уэллс, посетивший Советскую Россию осенью 1920 года, за несколько месяцев до введения нэпа, был поражен видом почти умирающих главных русских городов, улицы которых угнетали своей пустынной, а редкие прохожие — жалкой, потрепанной одеждой. «Люди обносились... — написал Г. Уэллс в книге «Россия во мгле». — Вряд ли у кого... найдется, во что переодеться»<sup>285</sup>.

Оборванство уличной толпы в 1918-1920 годах не удивительно. Легкая промышленность страны пришла в упадок. Даже в Петрограде, несмотря на отсутствие военных действий, полностью прекратилось изготовление гражданской одежды. Обувные предприятия в начале 1921 года производили в 7,5 раза меньше продукции, чем в 1913 году. Перестало функционировать большинство текстильных фабрик. Швейные же предприятия Советской России, объединенные в комитет «Главодежда», в основном шили обмундирование.

Экономические проблемы усугублялись политикой нормированного распределения, которая в 1918-1920 годах нашла

выражение в конфискации предметов одежды у представителей бывших имущих классов. В Петрограде, например, еще осенью 1918 года был принят специальный декрет об изъятии у нетрудовых элементов теплых вещей, якобы для нужд фронта. «Красная газета» писала: «Все должно быть отнято у тунеядствующих буржуев. Если понадобится, мы оставим их в одних комнатных туфлях, а лучшую теплую обувь и одежду отправим на фронт»<sup>286</sup>. Но часто в разряд «тунеядствующих буржуев» попадали люди, не только много сделавшие для России, но и вполне лояльные к новой власти.

Именно в такой ситуации оказался первый ректор Петербургского политехнического института, ученый-физик князь А.Г. Гагарин. В марте 1918 года он выехал из Петрограда в Москву. Сюда вслед за большевистским правительством была отправлена большая часть научно-исследовательского оборудования Научно-экспериментального физического института, где в это время трудился А.Г. Гагарин. Квартиру, в которой хранилось имущество семьи бывшего ректора Политеха, представители новой власти вскрыли и изъяли все находящиеся там предметы. Носильные вещи оказались на специальном складе. Подразумевалось, что в дальнейшем власти будут выдавать имущество со складов по карточкам, а также иногда возвращать владельцам часть жизненно необходимых им вещей. На это и рассчитывал законопослушный российский гражданин А.Г. Гагарин.

В декабре 1918 года ученый обратился в конфликтную комиссию Петросовета с просьбой выдать ему и его семье (жене и пятерым детям) конфискованные при вскрытии квартиры одежду, обувь и белье, так как «без этих предметов нельзя обходиться». Но его надежды не оправдались. На советских складах не было должного порядка. На запрос центральной конфликтной комиссии районные власти заявили: «Имущество было вывезено в склады отдела, частью (состоящее главным образом из платья) было распределено, причем установить,

кто получил со склада вещи гр. Гагарина, не представляется возможным, так как пометок на каждой вещи, кому она принадлежит, не делалось, так как склад был перегружен работой...»<sup>287</sup>. Кроме того, представители районной власти считали А.Г. Гагарина «проходимцем», о чем не стесняясь написали в официальном ответе на запрос конфликтной комиссии, а его имущество объявили «награбленным от рабочего класса» и, следовательно, не подлежащим возврату<sup>288</sup>. В подобной ситуации дефицит одежды у бывших имущих слоев населения становился своеобразной бытовой нормой. Английский журналист А. Рэнсон, побывавший в России в 1919 году, писал: «Бросается в глаза... общая нехватка новой одежды... Я видел одну молодую женщину в хорошо сохранившемся, по всей очевидности, дорогом меховом пальто, а под ним у нее виднелись соломенные туфли с полотняными оборками»<sup>289</sup>.

Не лучше бывшей аристократии выглядели в годы военного коммунизма и представители творческой интеллигенции. На встрече в доме искусств Г. Уэллсу, судя по воспоминаниям Ю.П. Анненкова, пришлось выслушать почти истерическое выступление писателя А.В. Амфитеатрова. Для социального историка оно является хотя и излишне эмоциональным, но ярким и достоверным описанием гардероба горожан того времени. Обращаясь к Уэллсу, А.В. Амфитеатров сказал примерно следующее: «Вы не можете подумать, что многие из нас, и может быть более достойные, не пришли сюда пожать вашу руку за неимением приличного пиджака и что ни один из здесь присутствующих не решится расстегнуть перед вами свой жилет, так как под ним нет ничего, кроме грязного рванья, которое когда-то называлось, если я не ошибаюсь, бельем...»<sup>290</sup>. Такими деталями наполнено большинство дневников и биографических записей деятелей искусства, литературы, науки. Сын известного философа Н.О. Лосского, покинувшего Россию в 1922 году на «философском пароходе», вспоминал, как в 1920 году мать делала его младшему братишке ботиночки

из сафьяновых обложек дореволюционных юбилейных адресов. Их когда-то подносили бабушке — бывшей директрисе женской гимназии<sup>291</sup>.

Оборванство городского населения усиливалось благодаря действовавшим в то время нормам распределения. По карточкам выдавались продукты питания, а вещи и мануфактура — по ордерам. Это слово, в переводе с французского означающее предписание, письменный приказ, было в употреблении и до социальных катаклизмов 1917 года. Существовали, например, платежные документы, называвшиеся кассовыми ордерами. В условиях советской повседневности это понятие стало обозначать в первую очередь приказ о выдаче со складов вещей. Ордера являлись неизменным атрибутом распределительной системы в годы Гражданской войны. Академик А.М. Ферсман писал в Райпродукт осенью 1920 года: «КУБУ (комиссия по улучшению быта ученых. — Я.77.) просит о выдаче... ордера на получение 3 пар носков, дюжины пуговиц и одной пары галош»<sup>292</sup>. В литературно-художественном нарративе упоминания об ордерах встречаются часто. По «ордеру от Мамонта» (Дальского\*) получает одежду во время своих метаний в Москве 1918 года Даша Телегина, героиня трилогии А.Н. Толстого «Хождение по мукам»<sup>293</sup>. Кроме социальной ранжированное™, материальное содержание ордеров часто оказывалось совершенно бессмысленным для конкретного человека. В повести «Первая девушка» (1928) Н.В. Богданова молодому парню «по ордеру, разыгранному среди служащих, достались дамские ботиночки с высокой шнуровкой на точеных каблучках»<sup>294</sup>. Еще более выразительным выглядит описание «вещевого пайка», выданного красному командиру Телегину, персонажу той же толстовской трилогии: «Здесь были вещи нужные и полезные: чулки; несколько кусочков

Мамонт Дальский (1868-1918) — известный русский актер. В 1917 году примкнул к анархистам.

материи, из которых можно было сшить платье; очень красивое батистовое белье, к сожалению, на подростка, но Даша была так хрупка и тонка, что могла сойти за подростка; были даже башмаки, — этим приобретением Иван Ильич гордился не меньше, чем если бы захватил неприятельскую батарею. Были и вещи, о которых нужно было думать: пригодятся ли они в предстоящей походной жизни? Ивану Ильичу их всучили вместо простынь на одном складе, — фарфоровую кошечку и собачку, кожаные папильотки, дюжину открыток с видами Крыма и чрезвычайно добротного матерьяла корсет с китовым усом, такой большой, что Даша могла им обернуться два раза...»<sup>295</sup>.

Хаос распределения вещей усиливался по мере увеличения размера так называемой «натуроплаты», к которой большевики, стремясь обеспечить население и продуктами питания, и товарами, прибегли уже в начале 1918 года. Разного рода выдачи в первый год существования советской власти составили почти половину заработной платы. А в 1920 году денежная часть не превышала и десятой доли заработной платы на заводах и в учреждениях Советской России. С октября 1920 года одежда и обувь стали рассматриваться как некий вид «натурального премирования». Оно носило довольно хаотический, но все же ярко выраженный классовый характер. В первую очередь власть обеспечивала вещами рабочих как наиболее привилегированную в новом обществе группу населения. Их снабжали так называемой «прозодеждой» (сокращение от словосочетания «производственная одежда»). Так с середины 1920-х годов называлось то, что ныне привычно именуют «спецодеждой». Разработкой амуниции для разного вида производств занимались известные советские модельеры и художники: Н.П. Ламанова, А.М. Родченко, В.Ф. Степанова. Однако у горожанина в эпоху военного коммунизма слово «прозодежда» ассоциировалось вовсе не с продуманной во всех деталях, удобной спецовкой. Под «прозодеждой»

понималась часть натуроплаты, выдаваемая не продуктами, а вещами. Так, в январе 1921 года Петроградский совет принял решение обеспечить пролетариев нижним бельем, назвав его «прозодеждой». Для этой цели из особых запасов пряжи на фабрике «Красное знамя» изготовили 17 тысяч трикотажных комплектов, включавших рубашки, кальсоны, панталоны<sup>296</sup>.

Удовлетворить потребности в обуви и одежде всех желающих было невозможно, и это вызывало резкие конфликты. В Петрограде, например, в начале 1921 года на многих фабриках и заводах из списков претендентов на прозодежду исключили не только служащих, но и лиц, не достигших 18 лет. Для урегулирования конфликта нуждающимся выдали по одной простыне, одному полотенцу и одной паре ботинок (последние — на троих). Недовольство рабочих ущемлением их «имущественных прав» нарастало. Аналогичные случаи произошли в Москве на заводе Бромлея, на Урале на Мотовилихе. На предприятиях начались «волынки» (особая форма забастовок конца зимы — начала весны 1921 года) и митинги. Выступавшие рабочие в основном говорили о необходимости урегулировать вопрос с выдачей одежды. Требования «свободы слова, печати и созыва Учредительного собрания» звучали реже<sup>297</sup>. Для снятия социального напряжения в конце февраля 1921 года СНК РСФСР принял постановление о сокращении привилегированных пайков и уравнивании норм снабжения руководящих кадров и рабочих. Но на практике, во всяком случае в Петрограде, ничего не изменилось. Даже в ходе Кронштадтского мятежа, по данным политических сводок, на заводах и фабриках города по-прежнему происходили волнения из-за неравномерности ордеров. В сводке, свидетельствующей о настроениях в одном из районов города в середине марта 1921 года, сообщалось: «Нарушают нормальный ход работы споры о распределении обуви и одежды, которые происходят по всем предприятиям. Это больше интересует рабочих, чем все кронштадтские события»<sup>298</sup>.

Даже после формального перехода к новой экономической политике вещевые выдачи продолжались. Так, летом 1921 года на фабриках и заводах Петрограда бесплатно распределили более 5000 пальто, 1500 курток, около 12 000 трикотажных костюмов, 19 500 блузок, 6000 пар брюк. Это, конечно, не могло коренным образом улучшить состояние гардероба рабочих. Если сравнить количество распределяемой одежды с численностью питерского пролетариата, получается, что одно пальто приходилось на 16 человек. Даже в январе 1922 года натуральная часть заработной платы — вещи и иные предметы быта — в полтора раза превышала денежную<sup>299</sup>. Как и во времена военного коммунизма, в 1921-1922 годах жители городов обменивали одежду и обувь на продукты питания на толкучках и рынках. Неудивительно, что большинство детей школьного возраста, по свидетельству К.И. Чуковского, еще осенью 1922 года считали основным местом работы своих родителей рынок — место, где взрослые проводили немало времени, пытаясь обменять остатки своего гардероба на еду.

### *Кожанка — мандат революции*

В условиях разрухи и нищеты никакая система распределения не могла обеспечить нормального существования даже «классово полноценным элементам». Ощущение неравенства в обществе усиливалось. Ведь наряду с обшарпанной массой, на улицах во всяком случае Москвы и Петрограда встречались и относительно прилично одетые люди. Это были представители новой партийно-государственной элиты. Прекрасно одетой и ухоженной выглядела М.Ф. Андреева — комиссар театров и зрелищ Союза коммун Северной области. З.Н. Гиппиус летом 1919 года записала в дневнике поразивший ее факт. В приемной Андреевой — кстати, гражданской жены



М. Горького, — часами томиясь люди, ожидавшие аудиенции, в то время как комиссар по театрам беседовала с личным сапожником о форме каблука на будущих новых ботинках<sup>300</sup>. Эпатажной роскошью отличались туалеты Л.М. Рейснер — известной журналистки, прообраза комиссара в «Оптимистической трагедии» Вс. Вишневского.

Люди, приближенные к власти, могли пользоваться услугами особых портных. К.И. Чуковский во время своего очередного визита за пайками в Петросовет в начале зимы 1920 года заметил, что секретарша одного из большевистских чиновников — «типичная комиссариатская тварь: тупая, сомнительная, но под стать принципалу: с тем же тяготением к барству, шик, high life'y. Ногти у нее лощеные, на столе цветы, шубка с мягким ласковым большим воротником и говорит она так: — Представляете, какой ужас, — моя портниха...»<sup>301</sup>.

«Разнаряженность» представителей новой власти не осталась незамеченной. Уже летом 1920 года рядовые коммунисты из разных городов стали обращаться с письмами в ЦК РКП(б), требуя прекратить развитие системы материальных привилегий для должностных лиц. Речь шла не только о продовольственном снабжении, но и о распределении одежды. Так, в сентябре 1920 года, выступая на заседании Петросовета, рабочий Обуховского завода заявил: «Товарищи, при буржуазном строе я ходил в грязной блузе, а паразит, тот, который избивал нашего брата и кровь его пил, носил галстуки и крахмалы, а теперь и наши товарищи и члены нашей организации унаследовали эти галстуки и крахмалы и сами начали чище буржуазии наряжаться»<sup>302</sup>. На одной из челябинских шахт в 1922 году администрация отняла выданные ранее забойщикам сапоги и обменяла их на лапти. В сапоги же обулись сами работники администрации. Своим женам они раздали предназначенные для работниц платья<sup>303</sup>. Жена известного экономиста Б.Д. Бруцкуса, высланного из России в 1922 году, в начале 1921-го с отчаянием записала в своем

дневнике: «Устала я страшно от недоедания и нищенской жизни. Рыскаю по городу от знакомых к знакомым в поисках какой-нибудь старой пары обуви для сына. О новой паре и думать нашему брату нельзя. Обувь раздается только коммунистам и матросам»<sup>304</sup>.

Конечно, хорошая одежда и обувь не были нормой для основной массы партийно-советской номенклатуры. Но все же она внешне резко отличалась от рядовых горожан — благодаря кожанкам. Так в годы Гражданской войны стали именовать кожаные куртки. Эта форменная одежда летчиков и шоферов времен Первой мировой войны превратилась в символ революционной моды, что сразу отразила художественная литература. Б.А. Пильняк в романе «Голый год» (1920) писал:

«В монастыре утром, в исполкоме... собирались — знамение времени — кожаные люди в кожаных куртках (большевики!) — каждый в статью, кожаный красавец, каждый крепок, и кудри кольцами под фуражкой на затылок, у каждого больше всего воли в обтянутых скулах, в складках у губ, в движениях утюженных, — и дерзании. Из русской рыхлой, корявой народности — лучший отбор. И то, что в кожаных куртках, — тоже хорошо: не подмочишь этих лимонадом психологии, так вот поставили, так вот знаем, так вот хотим, и — баста!»<sup>305</sup>

Кожанка имела ярко выраженное знаковое содержание. Она отмечала принадлежность личности к высшим слоям советского общества эпохи военного коммунизма, подчеркивала причастность человека к социальным переменам, произошедшим в России в 1917 году. Куртка из кожи ассоциировалась с привилегиями элит нового общества, что тоже ярко отразил литературно-художественный нарратив. Классический пример — эпизод из романа Н.А. Островского «Как закалялась сталь». Павел Корчагин и Рита Устинович отправляются на уездную конференцию комсомола:

«Сегодня им необходимо сесть в поезд, что было далеко не легкой задачей. Вокзал в часы отхода редких поездов находился во власти всемогущей посадочной пятерки, без пропуска посадкома никто не имел права выйти на перрон. <...>

Павел видел, что сесть обычным порядком на этот поезд не удастся, но ехать было необходимо, иначе срывалась конференция.

Отозвав Риту в сторону, посвятил ее в свой план действий: он проберется в вагон, откроет окно и втянет в него Риту. Иначе ничего не выйдет.

— Дай мне свою куртку, она лучше любого мандата»<sup>306</sup>.

Социальную значимость одежды из кожи хорошо улавливали рядовые горожане. Например, на заседании Петросовета в сентябре 1920 года звучали требования «все кожаные тужурки, галифе и фуражки отдать на фронт, в Красную армию»<sup>307</sup>. Достать кожанку — предмет вождения многих — было нелегко.

### *Гимнастерки с «разговорами» и «халат, халат»*

Распределительные нормы эпохи военного коммунизма начертали свой «закон» на коллективном теле жителей городов Советской России. И след этого закона был замечен и после перехода к новой экономической политике. Организованное распределение обуви и одежды, а по сути дела, прямое нормирование внешнего облика городского населения продолжалось до осени 1922 года. Окончание вещевых выдач можно считать реальным переходом к нормам нэпа в повседневной жизни. Однако на ментальном уровне усвоение бытовых практик новой экономической политики пока еще не произошло. Материальное положение основной части городского населения улучшалось медленно. Более того, после отмены бесплатных выдач вещей степень оборванства явно возросла. Теперь оно

вплотную коснулось и рабочих. Многие из них, судя, например, по воспоминаниям наборщика одной из питерских типографий, и в начале 1923 года «ходили в гимнастерках с "разговорами" (так называли в шутку красные поперечные клапаны), носили ботинки с обмотками, а на голове — буденовки-шлемы»<sup>308</sup>. Нередко на заседаниях фабрично-заводских комитетов обсуждались ходатайства о выдаче материальной помощи для покупки платья и обуви. Типичным можно считать заявление, поступившее в 1923 году в заводской комитет Обуховского завода. В документе отмечалось: «Из одежды у него (у рабочего. — *Н.Л.*) ничего нет, кроме того в чем ходит на работу, а на работу ходит в рваном. То, что есть, порвано и поношено»<sup>309</sup>.

Плохо была одета и основная масса вузовской молодежи. В.К. Кетлинская вспоминала о своей студенческой молодости: «В обиходе у меня были одна юбочка и две фланелевые блузки — по очереди стираешь, отглаживаешь и надеваешь в институт и на вечеринку, дома и в театр»<sup>310</sup>. Заметные трудности продолжала испытывать интеллигенция, ученые, писатели. Н.Я. Мандельштам совершенно серьезно писала: «Женщины, замужние и секретарши, все мы бредили чулками»<sup>311</sup>. Сама она к моменту переезда в Ленинград в середине 1920-х годов имела «одно пальто на все сезоны и туфли с проношенной подошвой, подшитые куском шелка от юбки»<sup>312</sup>.

О плохом состоянии гардероба горожан в первые годы нэпа свидетельствует и то, что они практически каждый день занимались починкой обуви и одежды. По данным С.Г. Струмилина, в декабре 1923 года по будним дням служащие занимались латанием дыр на своих вещах в течение 0,9 часа, а рабочие — 0,7 часа<sup>313</sup>. На различного рода развлечения они отводили значительно меньше времени. Много сил занимала и такая бытовая практика, как переделка одежды. Именно эту стратегию выживания в годы нэпа вынуждена была использовать Антонина, юная героиня романа Ю.П. Германа «Наши знакомые»:

«Ей долго не спалось. Стараясь надышать под одеяло, чтобы скорее согреться, она думала о том, как привести в порядок свое выцветшее, короткое и вытертое пальто... Вата в пальто сбилась, подкладка протерлась, какие-то дрянные лошадиные волосы то и дело вылезали наружу.

"Если кожей обшить по краям, — думала Антонина, — такой не очень толстой или даже тоненькой кожей...

А что, если не кожей? — внезапно подумала она. — А что, если воротник сделать ну хоть бы из барашка, тогда ту материю, что на воротнике, можно на обшлага пустить и так придумать обшлага, чтобы они клапанами заходили на локти, получится красиво, пожалуй..."<sup>314</sup>.

Вообще типичной чертой внешнего облика жителей городов было ношение перешитых вещей, чаще всего одежды дореволюционного образца. Д.А. Гранин писал о временах своего детства: «Вещи в ту пору жили долго, многие дремали в сундуках, пересыпанные нафталином. В начале лета их вынимали, вывешивали во двор проветриваться. Мы, дети, сидели возле них, стерегли. Чего там только не висело: тулупы, шали, шелковые платья, френчи, будто мода ничего не могла сделать с этими прочными сукнами, бостонами, плюшами, чесучовыми пиджаками, габардиновыми плащами»<sup>315</sup>. В первоначальном виде носить эти вещи было уже невозможно, они не соответствовали новому жизненному темпу города. Морально устаревшие туалеты часто перешивались на новый лад, а то, что было уже непригодно к переделке, горожане отдавали старьевщикам.

Эта профессия возродилась после того, как прекратился прямой обмен вещей на продукты и началась купля-продажа. Петербуржец П.П. Бондаренко вспоминал: «После полудня и ближе к вечеру во дворах появлялись новые люди: неторопливо заглядывая в окна, как бы прохаживаются татары, одетые в длиннополые одежды и небольшие круглые черные шапочки. Слышится привычное: "Халат, халат", — после

продолжительной паузы "позывные" повторяются... Иногда из окна кивают, и старьевщики заходят в квартиру, а выходят оттуда, неся в руках старый сюртук, поношенный фрак, шляпукотелок, цилиндр и тому подобное... Старой одежды хватало, и ее охотно брали старьевщики»<sup>316</sup>.

Примерно до 1924 года на вещевых рынках советских городов можно было найти одежду, носившую на себе еще отпечатки социальных приоритетов эпохи военного коммунизма, — в частности, кожанки. В первой половине 1920-х годов этот вид одежды был ходовым товаром. В первую очередь эти вещи даже после введения нэпа стремились приобрести начинающие партийные работники и особенно комсомольские активисты из рабочей среды. Бывшая фрезеровщица московского завода «Динамо» Е. Пылаева вспоминала, что в 1923 году «самой модной одеждой для комсомолки была черная юбка в складку, белая блузка, красный платок и кожаная тужурка»<sup>317</sup>. Знаковый контекст такой одежды очевиден и заметно усилен красным платочком, в культурной среде вызывавшим ассоциации с фригийским красным колпаком эпохи Великой французской революции. В.В. Вересаев в романе «Сестры» так писал о туалете юной работницы с резинового завода «Красный витязь»: «Бася после работы поспала и сейчас одевалась. Не по-всегдашнему одевалась, а очень старательно, внимательно гляделась в зеркало. Черные кудри красиво выбивались из-под алой косынки, повязанной на голове, как фригийский колпак»<sup>318</sup>.

Тянулись к внешней революционной атрибутике и представители средних городских слоев, желавшие таким образом приобщиться к «пролетарской культуре», и в первую очередь молодежь. Надеть кожанку для многих означало зафиксировать факт изменения своей социальной ориентации. Писательница В.Ф. Панова вспоминала некую Лялю Орлову, дочь известного в Ростове профессора-офтальмолога: «Она была настоящая тонная "барышня", но, подросши, вступила в комсомол, стала носить кожаную куртку, и буденовку

с красной звездой, и кобуру с револьвером у пояса. Куртку и буденовку она купила на толкучке, там можно было купить все — от самодельных папирос до именного оружия»<sup>319</sup>. Любопытное свидетельство восприятия кожаной куртки даже в годы нэпа как некоего мандата на привилегии встречается в дневнике молодой москвички, дочери мелких служащих. В 1924 году она писала: «Я видела одну девушку, стриженую, в кожаной куртке, от нее веяло молодостью, верой, она готова к борьбе и лишениям. Таким, как она, принадлежит жизнь. А нам ничего»<sup>320</sup>. Феномен кожанки демонстрирует определенную инертность ментальных норм в условиях отсутствия прямого нормирования и жесткого распределения одежды.

### *Время новых вещей*

Со второй половины 1920-х годов ситуация поменялась — кожанка перестала считаться модной и престижной, как и вся милитари-мода. Бывший член Государственной думы, ярый монархист В.В. Шульгин тайно посетил в 1925 году СССР. Он не хотел выделяться из толпы советских граждан и заранее продумал детали своего туалета — высокие сапоги, штаны-галифе, синяя фуражка с желтым верхом. Но каково же было его удивление, когда он заметил, что пассажиры трамвая с нескрываемым любопытством поглядывают на «комиссарского вида человека»: «Этот вышедший из моды тип, еще хранивший облинявшие заветы коммунизма, был я. О ирония судьбы»<sup>321</sup>. В 1926-1927 годах кожанка утратила популярность даже в среде молодежи, о чем свидетельствуют данные комсомольской печати. Работница московской типографии «Красный пролетарий» писала в журнал «Смена»: «Теперь, если ходить в кожаной куртке, девчата фыркают»<sup>322</sup>. А молодые текстильщицы Иваново-Вознесенска, развивая эту тему на страницах «Комсомольской правды», сообщали: «Что



иногда говорит комсомолец? Если ты в кожанке, какой к тебе интерес!»<sup>323</sup> Действительно, кожанка была символом моды в условиях неустроенности быта, вынужденного аскетизма. Падение престижа кожаной куртки как модного атрибута было признаком демилитаризации жизни.

Отказ от старых военизированных атрибутов одежды демонстрировал не только усталость от психологического напряжения военного коммунизма, но и повышение уровня жизни рядовых горожан. Одновременно хорошая гражданская одежда постепенно превращалась в норму. В. Бенямин записал в своем дневнике 7 января 1926 года: «Правда, похоже, что безразличие к одежде начинает отступать. Из униформы господствующего класса оно превращается в признак слабого в борьбе за существование. В театрах робко появляются... первые туалеты»<sup>324</sup>. Люди начали приобретать и шить себе новые вещи с новым знаковым содержанием.

В середине 1920-х часть горожан стала вновь прибегать к услугам портных. Пошивочные услуги довольно смело предлагали частники, нередко пользовавшиеся известностью еще до революции. Следует заметить, что практику обращения к бывшим модным столичным портным ввели в повседневную жизнь представители большевистской верхушки. Художник Ю.П. Анненков вспоминал: «Известный московский портной... одевавший до революции московских богачей и франтов, был поставлен во главе "народной портняжной мастерской", доступной, конечно, только членам советского правительства и партийным верхам»<sup>325</sup>. В этой мастерской был сшит знаменитый фрак для Г.В. Чичерина, в котором нарком иностранных дел выступал на Генуэзской конференции в 1922 году. Здесь же по эскизам Анненкова изготовили специальную амуницию для Л.Д. Троцкого. В ней он запечатлен художником на огромном портрете. Самым активным образом начали пользоваться услугами портных и модельеров жены представителей высшей советской номенклатуры. В середине

1920-х годов среди кремлевских дам особым шиком считалось иметь туалет «от Ламановой». Эта художница по костюмам в 1925 году получила Гран-при на Всемирной выставке декоративного и индустриального искусства в Париже за модель платья, где сочетались модный силуэт и национальный русский стиль — домотканый материал с вологодским кружевом. Модель демонстрировала писательница Эльза Триоле, сестра Лили Брик<sup>326</sup>.

Известные дореволюционные портные возобновили свою деятельность и в Ленинграде. Писатель Н.К. Чуковский вспоминал о питерском «кутюрье» Иосифе Наумовиче Слонимском — покровителе художников, возобновившем свою деятельность в годы нэпа<sup>327</sup>. Существовали, конечно, и мастера, предлагавшие услуги по доступным ценам. Многие женщины из «бывших», получившие навыки шитья при обучении в пансионах, гимназиях, а нередко и Институте благородных девиц, часто зарабатывали изготовлением одежды. С большим удовольствием брала заказы на вышивку шелковой гладью вдова генерала А.Д. Свиньина. Е.А. Свиньина мужественно боролась с нуждой. «Рукоделие, — писала она своим близким в Париж, — все время меня выручает, я вышиваю по заказу священные принадлежности: орари для диаконов, ленты, пелены, воздухи и т.д.» Этот приработок был и до начала нэпа. С возрождением мирной жизни, в конце 1922 года, Е.А. Свиньина стала получать вполне светские заказы: вышивка на платьях, шапочках, блузках<sup>328</sup>. Портновским делом зарабатывала на жизнь и мать будущей эмигрантки, позднее профессора русского языка и литературы в Университете Айовы Е.А. Скрыбиной. В первой половине 1920-х годов семья депутата Государственной думы, проживая в Нижнем Новгороде, пыталась как-то приспособиться к условиям новой жизни. Именно тогда знакомые и посоветовали заняться шитьем на заказ. «До сего времени мама, — вспоминала Елена Александровна, — шила только на меня, но мои туалеты

в детстве славились своим изяществом. Теперь был большой недостаток в хороших портнихах. Женщины опять начали хорошо одеваться». Особенно запомнилась всей семье первая заказчица, получившая прозвище «каменная баба». Мемуаристка пишет: «Пришла она в первый раз с просьбой сшить ей платье. Мать огорчилась, что первая ее клиентка такого нерасполагающего вида. Какое платье могло хорошо сидеть на совершенно квадратной, толстой и очень некрасивой женщине? Но что делать? Нельзя было сразу отказать, когда еще другой клиентуры не было. Мать принялась за работу, и, к всеобщему удивлению, на толстой Агафье платье выглядело даже довольно прилично»<sup>329</sup>.

Начинающие портные, сапожные мастера, шляпницы старались всячески завлечь заказчиков. Питерский старожил П.П. Бондаренко вспоминал: «На углах многих зданий на уровне глаз были помещены небольшие витрины, где демонстрировалась продукция мелких предпринимателей. В витрине дома № 16 по улице Герцена помещена изодранная кепка, а под ней — совсем новая. Около верхней подпись — "до ремонта", у нижней — "после ремонта" и адрес портного. Наивно, трогательно. Но действовала. Витрина на улице Софьи Перовской: пара разноцветных дамских сапожек и приглашение: "Кавказская обувь. Мастер на улице Перовской"»<sup>330</sup>.

К середине 1920-х годов новая экономическая политика дала первые результаты: в стране заработали текстильные, швейные и обувные фабрики. В 1925 году в Ленинграде, например, уже изготавливали столько же обуви, сколько в 1913 году. Горожане вновь обрели не только возможность, но и вкус к покупке одежды и обуви. 1 апреля 1925 года К.И. Чуковский, два года назад вынужденный в мороз «прыгать» по улице в летнем пальто, так как зимнее требовало серьезного ремонта, записал в своем дневнике: «Этот год — год новых вещей. Я новую ручку макаю в новую чернильницу. Передо мной тикают новые часики. В шкафу у меня новый костюм,

а на вешалке новое пальто...»<sup>331</sup>. Такие приобретения писатель смог позволить себе впервые после 1917 года.

Покупать горожане стали уже не только на толкучках, но и в магазинах, которые за короткое время появились прежде всего на улицах городов. М.Б. Рабинович вспоминал: «И всюду вывески новых магазинов, ларьков, мастерских обувных, портняжных, слесарных, перчаточных, — они заполняли собой все углы, все подъезды, все бывшие швейцарские... Это распластался НЭП, это следы его недолговечного торжества»<sup>332</sup>. В 1926 году только в Ленинграде функционировало 50 бельевых и 220 обувных лавок, а также 144 заведения по продаже готового платья. Одежду можно было приобрести как у частника, так и в системе рабочей кооперации, где действовал «рабочий кредит». Об этой форме обеспечения населения обувью и одеждой также информирует художественная литература, написанная в 1920-х годах, в частности «Собачье сердце» М.А. Булгакова:

«Филипп Филиппович во всё время насилия над Шариковым хранил молчание. Как-то жалко он съёжился у притолоки и грыз ноготь, потупив глаза в паркет. Потом вдруг поднял их на Шарикова и спросил, глухо и автоматически:

— Что же вы делаете с этими... С убитыми котами?

— На польты пойдут, — ответил Шариков, — из них белок будут делать на рабочий кредит»<sup>333</sup>.

Эллочка-людоедка, персонаж романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев», приобретает через систему рабочего кредита собачью шкуру, которая «была употреблена на отделку вечернего туалета»<sup>334</sup>. Распространение в городах Советской России в середине 1920-х пошивочных услуг, появление магазинов готовой одежды и обуви, официальной системы «рассрочки» — признаки возвращения к традиционным нормам городской повседневности и сближения с бытом стран Запада, где уже господствовала новая мода.

### *Почти как в Европе*

Серьезные изменения в принципах конструирования одежды произошли в Европе еще в начале XX века. Прежде всего, были уничтожены социальные ограничения в моде, в качестве критерия модного стиля все чаще выступала практичность одежды и обуви, ее сообразность цели. Самые выразительные превращения наблюдались, конечно, в женском костюме. В период Первой мировой войны особую популярность приобрел военизированный стиль одежды. Кожанки были в какой-то мере частью этого модного направления. Но в начале 1920-х годов стремление к ношению вещей в стиле «милитари» в Европе стало резко сокращаться. В мире распространился стиль «гарсон». Русская эмигрантка, балерина Н.А. Тихонова вспоминала: «В то время... мода требовала от дам чудом сделаться худыми и плоскими и одела их в короткие, до колена платья с талией на бедрах и декольте до пояса... Вокруг шеи дамы носили нитки жемчуга — настоящего или фальшивого — обязательно спускающегося почти до колен... Орхидея на левом плече считалась почти обязательной»<sup>335</sup>. Чтобы достичь вида женщины-дощечки, многие вынуждены были носить белье, сглаживающее грудь. Модными стали брюки-гольф, жилеты с мужскими галстуками. Женщины надевали даже смокинги. Остромодными стали ботинки на шнуровке, лиса или песец на одном плече, недлинный каракулевый жакет — сак, маленькие надвинутые на глаза шапочки. Появились и новые прически — стрижка «буби-копф», очень короткая, четко вырисовывающая форму головы, подчеркивающая мальчишеский вид.

В Советской России стиль «гарсон» ассоциировался с «нэпманским шиком» в женской одежде. Первые советские модельеры делали попытки уйти от канонов общемировой моды. В 1923 году В.И. Мухина предложила новый силуэт платья — с хрупкой, затянутой талией и очень пышной,

длинной, зауженной у шиколоток юбкой. Ансамбль дополнялся огромной красной шляпой. Трудно сказать, на кого была рассчитана такая мода, но она не прижилась среди жительниц больших и малых городов страны Советов. Зато стилю «гарсон» они следовали исправно. Достаточно вспомнить героиню рассказа А.Н. Толстого «Гадюка» (1928). Бывшая красноармейка, при нэпе ставшая совслужащей, осваивалась в мирной жизни, сменив шинель, сапоги, буденовку и юбку из зеленой плюшевой занавески на платье «шемиз», чулки телесного оттенка, лакированные туфли-лодочки, шлемовидную, надвинутую на глаза шапочку — важные атрибуты стиля «гарсон». Жители городов Советской России и в реальной повседневности старались не отставать от парижской моды. В.К. Кетлинская так описывает наряд, в который «приодели нэпманы» ее подругу для совместного похода в ресторан: «Когда Сашенька скинула пальто..., на ней оказалась длинная, ниже бедер, золотистая парчовая блуза с искусственной хризантемой на плече»<sup>336</sup>. Новый стиль украшал далеко не всех. Современники писали об уличной толпе середины 1920-х годов: «Теперешние моды не всем идут — нужны красивые ноги, грация, красивая шейка и руки — к сожалению, это редко. Большие кривые ноги, не умеющие носить обувь, грубые физиономии и резкие движения»<sup>337</sup>. Последнее жесткое замечание — лишнее свидетельство того, что одеться «стильно», «а-ля гарсон», хотели не только нэпманы и «бывшие», но и «пролетарская масса».

В мужском костюме фаворитами стали брюки «оксфорд». Так в западной моде первой половины XX века называли очень широкие брюки — «оксфордский мешок», — в которых ходили студенты Оксфордского университета. Шили этот предмет мужского гардероба из тонкого серого сукна в мелкую клетку с сизым отливом. В начале нэпа «оксфордами» комсомольские активисты окрестили почему-то узкие брюки, модные у эдвардианцев — английских денди. «Обтянулись "оксфордами" и

фокстроты наяривают», — писала о нэпманах газета уральских комсомольцев «На смену»<sup>338</sup>. мода на настоящий «оксфордский мешок» пришла в СССР в конце 20-х годов. В.С. Шефнер вспоминал реакцию его пожилой соседки на новый стиль: «Ой, и модные ребята вы стали!.. Я помню, парни узенькие брюки носили в трубочку, чем ужее — тем моднее, а нынче чем ширше — тем красившее»<sup>339</sup>.

Часть горожан имела в середине 1920-х годов в своем гардеробе и модную обувь, в частности ботинки «шимми», или «джимми», чаще всего сделанные из светлой, почти желтой кожи. Д.И. Хармс записал в своем дневнике в сентябре 1926 года: «Купил сапоги "Джим" в Гостином дворе, Невская сторона, магазин 28»<sup>340</sup>. В желтых ботинках разыскивал сокровища тещи Кисы Воробьянинова «великий комбинатор», главный герой романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». Эта обувь не только потрясла провинциальную мадам Грицацуеву, но и показалась ей особой деталью внешнего облика Остапа Бендера. Однако сотрудник газеты «Станок» не согласился с мнением брошенной Бендером «знойной женщины и мечты поэта» и заявил: «Я сам в желтых ботинках. В Москве еще двести тысяч человек в желтых ботинках ходят»<sup>341</sup>. О популярности этой обуви повествует и фольклор: молодежь во второй половине 1920-х годов вдохновенно распевала песню с такими словами:

Я Колю встретила на клубной вечеринке.  
Картину ставили тогда «Багдадский вор».  
Оксфорд сиреневый и желтые ботиночки  
Зажгли в душе моей негаснувший костер.

Одновременно в пространстве повседневности появились косметические товары, имеющие непосредственное отношение к внешнему облику человека. В 1922 году была восстановлена знаменитая фабрика Брокара. Теперь она



называлась Государственный мыльно-парфюмерный завод № 5 «Новая заря». На ее этикетках наряду с названием продукции стояла аббревиатура «ТЭЖЭ» — «Трест "Жирность"». Как писали современники, «под этим салотопенным названием кроются самые изящные продукты. Мыла всякие душистые в красивеньких бумажечках, духи в волнующих флакончиках, пудра — мечта, ну, словом, все такое, за что "жирно" платят»<sup>342</sup>. В 1925 году фабрика «Новая заря» представила на Всероссийской хозяйственной выставке духи «Красная Москва». Сам этот аромат был составлен еще в 1913 году парфюмером А. Мишелем, но тогда парфюм назывался «Любимый букет Императрицы» и посвящался трехсотлетию дома Романовых. Большевики с удовольствием позаимствовали изобретение фабрики Брокара, а запах «Красной Москвы» стал признанным советским запахом. В советских газетах 1920-х годов мелькали рекламы средства для уничтожения угрей «Адон» и пудры под таким же названием<sup>343</sup>. Популярностью пользовались крем, мыло и пудра «Имша». Конечно, косметические товары не отличались высоким качеством, во многих из них использовались вредные для здоровья соли ртути, бертолетова соль, анилиновые красители<sup>344</sup>. Но спрос на пудру, помаду, духи и т.д. по мере стабилизации жизни в СССР возрастал.

Парфюмерия и косметика, брюки «оксфорд» и ботинки «джимми», платья птичьего покроя и маленькие шляпки становились знаковыми признаками благополучия и социальной стабильности такого нового слоя населения, как нэпманская буржуазия. Ее субкультура, выраженная, в частности, и в моде, начинала представлять реальную опасность для советского государства, ориентированного на эгалитаристские идеалы. Фасоны платьев и обуви оказывали значительно большее влияние на настроения населения, нежели труды философов и политических деятелей, окрещенных представителями мелкобуржуазной стихии.

### «Онэпивание»

Еще в 1921 году В.И. Ленин отмечал, что самый решительный бой за социализм — это бой «с мелкобуржуазной стихией у себя дома»<sup>345</sup>. Однако наивысшей точки этот бой достиг лишь в конце 1924 — начале 1925 года, в момент стабилизации нэпа. В стране развернулись дискуссии о партийной этике, осуждение реально существующих практик повседневности. Пленум Центральной контрольной комиссии отметил в октябре 1924 года: «Период нэпа таит в себе опасности, особенно для той части коммунистов, которая в своей повседневной деятельности соприкасается с нэпманами. Неустойчивые элементы начинают тяготиться режимом партийной дисциплины, завидуют размаху личной жизни новой нэпманской буржуазии, поддаются ее влиянию, перенимают ее навыки, ее образ жизни..»<sup>346</sup>. Этим явлениям был присвоен политический ярлык с экзотическим названием «онэпивание», признаком которого являлось и пристрастие к «буржуазной моде»<sup>347</sup>. Идеологическое оформление социальной патологии сопровождалось появлением довольно жестких нормализующих суждений, направленных на формирование канонов внешнего вида человека, преданного революции. Известный партийный деятель А.А. Сольц, выступая в 1925 году перед слушателями Коммунистического университета имени Я.М. Свердлова, говорил: «Если внешний облик члена партии говорит о полном отрыве от трудовой жизни, то это должно быть некрасивым, это должно вызвать такое отношение, после которого член партии не захочет так одеваться и иметь такой внешний облик, который осуждается всеми трудящимися...»<sup>348</sup>. Сольц акцентировал внимание и на наличии во внешнем облике человека признаков, свидетельствующих о принадлежности к «другой партии, другим нормам»<sup>349</sup>.

Любопытно отметить, что если во времена военного коммунизма натиск на хорошо одетых людей (а это прежде всего были партийные функционеры) вели беспартийные

массы, то во второй половине 1920-х годов инициаторами гонений на «буржуазную одежду» стали сами партийные и комсомольские активисты разных уровней.

В пристрастии к хорошей одежде, а следовательно, в мелкобуржуазных настроениях — явлении аномальном — пытались обвинить Г.Е. Зиновьева в ходе партийных дискуссий 1925-1926 годов. Судя по многочисленным неопубликованным мемуарам 1932 года, принадлежащим ленинградским рабочим, их очень раздражало, что сын Зиновьева ходил «в приличном костюме». «Мы, — вспоминал комсомолец ленинградского завода имени В.И. Ленина, — нашли это нездоровым уклоном»<sup>350</sup>. В данном контексте становится понятно, почему был вынужден прибегнуть к маскировке С.М. Киров, отправленный в конце 1925 года в Ленинград, где предстоял решительный бой с Зиновьевым и «новой оппозицией». По воспоминаниям рабочих завода имени Егорова, приехавший туда на партийное собрание Киров «был в осеннем пальто, в теплой черной кепке и выглядел настолько заурядно и просто, что егоровцы даже говорили, что многие рабочие представительнее его по внешности»<sup>351</sup>. Этот нарочито пролетарский вид был своеобразным пропагандистским ходом, стремлением подчеркнуть свое единение с рабочим классом. Властные и в особенности идеологические структуры в это время активно пропагандировали аскетизм в одежде. На страницах молодежного журнала «Смена» С.Н. Смидович, заведующая отделом работниц при ЦК ВКП(б), гневно клеймила девушек, стремившихся приобретать шелковые блузки. Она заявляла, что лишь «развращенные буржуазки ласкают свою кожу прикосновением шелка»<sup>352</sup>. Эти идеи внедрялись комсомольскими активистами в бытовых коммунах, членам которых запрещалось носить туфли на каблуках. А на собраниях ячеек ВЛКСМ часто осуждалось пристрастие к галстукам и украшениям. Они считались знаковыми признаками «буржуазного разложения».

К людям, имевшим в своем гардеробе вещи явно непролетарского характера, в партийных и комсомольских организациях относились с большой настороженностью. Бывший рабфаковец 1920-х годов К.Л. Брук вспоминал, как его, члена РКП(б), исключили из университета во время чистки 1924 года лишь потому, что он носил старую студенческую форму с чужого плеча. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы получить репутацию «белоподкладочника»<sup>353</sup>. В 1928 году на общегородской комсомольской конференции в Ленинграде представителю ЦК ВЛКСМ даже был задан вопрос: «Что должен носить комсомолец и можно ли по одежде определить классового врага?»<sup>354</sup>

В качестве овеществления норм, способствующих борьбе с нэпманской модой, можно рассматривать введение в 1928 году юнгштурмовской формы — молодежной военизированной одежды. Идея ее создания принадлежала будущему секретарю ЦК ВЛКСМ А.В. Косареву, в то время возглавлявшему одну из московских комсомольских организаций. Он писал в «Комсомольской правде»: «Образец формы предлагаем московский (гимнастерка с откладным широким воротником, с двумя карманами по бокам, с двумя карманами на груди, брюки полугалифе, чулки и ремень, можно портупеля). Форма цвета темноватого хаки. Эта форма и ее фасон наиболее приемлемы, так как она не марка, прочна, дешева... удобна — не стесняет движений, проста — не криклива, изящна»<sup>355</sup>. На юнгштурмовку возлагались большие социально-экономические надежды. Она должна была решить не только проблему гардероба части молодых людей. Введение единой формы для комсомольцев выглядело как полное отрицание внешних образов бытовой культуры нэпа. ЦК ВЛКСМ считал, что форма юнгштурма «дисциплинирует комсомольцев», позволит «воспитать чувство ответственности у комсомольца за свое пребывание в комсомоле, примерность поведения у станка, на улице, дома... способствует военизации комсомола»<sup>356</sup>. Идея

формы для комсомольцев была заимствована у молодежной немецкой организации «Юный Spartak».

Как еще недавно кожанка, юнгштурмовка маркировала сопричастность человека к системе новых социалистических ценностей. В студенческой среде в одинаковых одеждах цвета хаки с ремнем через плечо ходили все комсомольские активисты. Литературный нарратив конца 1920-х — начала 1930-х годов отобразил появление новой революционной моды, искусственно созданной в мирных условиях. В романе В.В. Вересаева «Сестры» бывшая студентка Лелька, пришедшая на резиновый завод, ходит «в юнгштурмовке защитного цвета, с кожаным ремнем и портупеей...»<sup>357</sup>. Еще ярче о камуфляжных функциях комсомольской униформы писал менее известный литератор В. Трушков. В его повести «Борьба за вуз» (1929-1930) отец главной героини, бывший управляющий графским имением, презрительно называл юношей и девушек в юнгштурмовках «саранчой». Одновременно своей дочери он настоятельно советовал тоже приобщиться к новой моде: «Эх, ты, глупышка моя! Цвет хаки — *защитный* цвет. Он спас тысячи от смертей! Поняла? <...> Поступить в вуз, голубушка, та же *война!*»<sup>358</sup>

На исходе нэпа юнгштурмовка в организованном порядке возрождала нормы аскетизма военно-коммунистической эпохи и представляла собой своеобразный маркер для дихотомии «свой—чужой». Однако носили эту форму недолго. Уже к началу 1930-х годов в среде молодых дизайнеров одежды высказывались мысли о недостатках такого обмундирования: «Юнгштурм — форма для коллективных выступлений, для военной учебы и т.д. В обычных бытовых условиях отдыха и труда, не требующего спецодежды, его нельзя считать видом нового костюма, ибо в нем не соблюдены требования гигиены в отношении правильного подбора ткани и покроя. А ношение портупей, не выполняющей никакой функции в быту, следует признать не только бессмысленным, но и вредным явлением»<sup>359</sup>.

К концу 1920-х годов борьба с нэпманской модой уже не являлась приоритетным направлением идеологической работы. В результате репрессий и налоговых притеснений социальный статус новой буржуазии к этому времени резко понизился. Естественно, что и внешняя атрибутика данного общественного слоя утратила свою престижность и привлекательность. Но со сменой социальных приоритетов начались гонения на иные виды одежды. Особый смысл приобрело возникшее в первые месяцы революции выражение «А еще в шляпе!». Правда, в 1917 году оно непосредственно было обращено к «буржуям». В конце же 1920-х годов шляпа вызвала раздражение идеологических структур как предмет внешнего облика старой интеллигенции. В 1928-1930 годах большая группа, в частности, ленинградской интеллигенции была репрессирована по обвинению в причастности к «заговору академиков». Любопытную деталь, связанную с формированием негативного отношения к людям интеллектуального труда, выделил в своих воспоминаниях Д.А. Гранин. Описывая городскую толпу конца 1920-х — начала 1930-х годов, он отмечает, что до определенного времени инженера можно было легко узнать в уличной толпе по фуражке со значком профессии — «молоток с разводным ключом». Подобный головной убор напоминал «что-то офицерское, и это не нравилось, так что фуражки скоро исчезли»<sup>360</sup>. Причиной исчезновения этого форменного знака стало не столько отрицательное отношение к мундирной атрибутике вообще, сколько активное выявление в нем «несоветского содержания». Привычка носить галстук и сорочку с крахмальным воротничком могла быть истолкована как приверженность идеям буржуазного реставраторства. Здесь явно прослеживалась тенденция социальной маркировки девиаций, которая должна была способствовать появлению новой ментальной нормы. Неудивительно, что в период гонений на интеллигенцию лидер ленинградских большевиков С.М. Киров упорно избегал на людях пользоваться очками.

Нет ни одной фотографии, где бы он был запечатлен в очках или пенсне — чисто интеллигентских знаковых признаках. Тем не менее известно, что в квартире у С.М. Кирова хранились четыре пары окуляров! Он страдал возрастной дальнозоркостью и вынужден был писать тезисы своих выступлений крупными буквами, чтобы можно было разглядеть издали, не надевая очков.

*«Не облако в штанах, а штаны в облаках»*

В конце 1920-х годов принятый партией большевиков курс форсированного построения социализма вновь вернул повседневной жизни черты «чрезвычайности». В этих условиях возродились нормы классового распределения, неотделимые от нищенства рядового человека. «Великий перелом» 1929 года начался с резких перебоев в снабжении населения промышленными товарами. Их стали выдавать по карточкам (ордерам, талонам, заборным книжкам). Но даже наличие этих документов не гарантировало обеспечение горожан одеждой. Д.А. Гранин вспоминал: «Длинные очереди стояли за пальто... за сапогами, за чулками. На дефицитные товары выдавались ордера, но и по ордерам были очереди. В очереди становились с ночи. В очередях стояли семьями, сменяя друг друга»<sup>361</sup>. Память В.С. Шефнера, чья юность совпала с годами первых пятилеток, зафиксировала популярный в те годы куплет:

По ордерам, по ордерам,  
По заборным книжкам  
Тут и там, тут и там  
Галстуки, манишки<sup>362</sup>.

На рубеже 1920-1930-х годов популярным стал анекдот о разнице между Маяковским и воспетым им Моссельпромом:



«Первый дал "Облако в штанах" а второй — штаны в облаках»<sup>363</sup>. И вновь, как лакмусовая бумага, проблему дефицита выявляет художественная литература. В романе Ильфа и Петрова «Золотой теленок» Остап Бендер безуспешно пытается приодеться в провинциальном городе Лучанске:

«Магазин "Платье мужское, дамское и детское" помещался под огромной вывеской, занимавшей весь двухэтажный дом. На вывеске были намалеваны десятки фигур: желтолицые мужчины с тонкими усиками, в шубах с отвернутыми наружу хорьковыми полами, дамы с муфтами в руках, коротконогие дети в матросских костюмчиках, комсомолки в красных косынках и сумрачные хозяйственники, погруженные по самые бедра в фетровые сапоги. Все это великолепие разбивалось о маленькую бумажку, прилепленную к входной двери магазина:

#### ШТАНОВ НЕТ

— Фу, как грубо, — сказал Остап, входя, — сразу видно, что провинция. Написали бы, как пишут в Москве: "Брюк нет", прилично и благородно. Граждане довольные расходятся по домам»<sup>364</sup>.

И такие примеры не единичны. Об отсутствии брюк или о «дефицитных штанах» устами своих героев говорили, например, И.Г. Эренбург и В.А. Каверин<sup>365</sup>.

Население советских городов вновь погрузилось в эпоху нищенства и оборванства. С.Н. Цендровская вспоминала о своем школьном детстве: «Все мальчики и девочки ходили в синих сатиновых халатах... Редко кто из ребят имел шерстяное красивое платье, или теплый свитер, или рейтузы. Одевались очень плохо, особенно в 1929-1933 годах. На ногах резиновые тапки или парусиновые баретки на резиновой подошве, руки вечно красные, мерзли без варежек. Какие у нас были пальто,

уж не помню, но точно, что не купленные в магазине, а перешитые из какого-нибудь старья»<sup>366</sup>. Вновь в унижительном положении оборванцев оказалась интеллигенция. Д.И. Хармс записал в дневнике в конце ноября 1932 года: «Пытался (перед походом в филармонию. — *Н.И.*) одеться как можно лучше. Сапоги, правда, чересчур плохи, да и к тому же шнурки рваные и связанные узелочками»<sup>367</sup>. Почти те же детали встречаются в книге П.С. Романова «Товарищ Кисляков». Главный герой произведения — бывший инженер, волею судьбы ставший музейным работником, — одет в прорезиненное, порыжевшее от солнца пальто «с бубновым тузом штопки на спине», «каблуки у башмаков, съеденные с одной стороны асфальтовыми тротуарами, имели жалкий вид». Это, как не без оснований казалось Кислякову, позволяло говорить о нем: «Вот общипанный интеллигент идет»<sup>368</sup>. По-прежнему бедно одевалась и масса студенчества. В воспоминаниях Н.М. Ивановой-Романовой, в 1930-1933 годах учившейся в Ленинградском педагогическом университете, присутствует такая деталь: «Январские каникулы 1932-го. Перед каникулами я тяжело заболеваю, простудилась после бани из-за нехватки одежды на смену»<sup>369</sup>. Единственная пара белья — типичное явление в среде горожан в первой половине 1930-х годов. Неблагополучно обстояло дело и с экипировкой рабочих. В 1929 году пролетарские семьи могли купить всего лишь 1,5 пары обуви на человека в год и в среднем 17 м ткани, тратя на это 32 рубля<sup>370</sup>.

При этом следует учесть, что на фабрики и заводы вещицы ордера поступали в первую очередь. К концу первой пятилетки ситуация с одеждой ухудшилась — возросли цены даже на распределяемые товары. В 1931 году рабочие приобретали всего 13 м ткани, но уже на 40 рублей<sup>371</sup>. Петербургский историк А.Г. Маньков в своем юношеском дневнике запечатлел семейную ссору весной 1933 года. Поводом для нее был разговор о покупке галош, пара которых стоила 15 рублей. Но это пробило бы огромную брешь в семейном бюджете<sup>372</sup>.

Конечно, в обстановке вновь воцарившегося оборванства маркирование в качестве патологии каких-либо видов одежды было бы нелепым. Но возродить нормы аскетизма эпохи военного коммунизма властные структуры все же попытались. Как и в начале 1920-х годов, в «революционность» играла часть интеллигенции. В красном платочке и юнгштурмовке часто появлялась в редакциях ленинградских газет поэтесса О.Ф. Берггольц. По словам известного литературного критика Л.И. Левина, «эта девочка в красной косынке была уже дважды матерью, но твердо решила оставаться комсомолкой из-за Нарвской заставы»<sup>373</sup>. Но скорее это была поза, чем истинный аскетизм. Одновременно в официальной моде рубежа 1920-1930-х годов возобладал стереотип внешней принадлежности к эпохе индустриализации и технологизации — черт, характерных для первых пятилеток. Как писал Ю.К. Олеша, это была некая специфическая красота, возникающая «от частого общения с водой, машинами и гимнастическими приборами»<sup>374</sup>. Популярным видом одежды стали «соколки» — трикотажные футболки с цветными шнуровками. Пригодные прежде всего для занятий спортом, они тем не менее превратились в атрибут официальной моды конца 1920-х — начала 1930-х годов. Именно в такой футболке запечатлена девушка на картине А.Н. Самохвалова «ГТО» (1931).

Особый технологизм эпохи отражали и ткани — знаменитый советский агиттекстиль. Первые образцы тканей, украшенных в противовес русской текстильной продукции не цветочными, а выражено геометрическими композициями, появились еще в 1923 году. Они были изготовлены на 1-й ситцевой фабрике в Москве. А уже весной 1924 года, как писал журнал «Художник и зритель», «женщины Москвы — не нэпманки, но работницы, кухарки, служащие, поприоделись. Вместо прежних мещанских цветочков замелькали на тканях новые неожиданные броские узоры»<sup>375</sup>. Агитационный текстиль был результатом художественных поисков левых

художников-конструктивистов Л.С. Поповой и В.Ф. Степановой. Новые ткани отличались необычностью композиции и чистотой цвета. Их появление отражало модное в то время направление изобразительного искусства, которое, по словам теоретика журнала «ЛЕФ» О.М. Брига, «создается на фабриках и заводах»<sup>376</sup>. Но своего апогея «советизация текстильного рисунка» достигла на рубеже 1920-1930-х годов. Художники стали работать над созданием тканей с социально-политической заостренностью. Более того, как утверждает искусствовед К. Акинша, по инициативе идеологических структур на фабриках и заводах проводились чистки коллекции текстильных образцов. В результате в 1929-1931 годах было уничтожено около 25 000 эскизов для тканей, в первую очередь с так называемой «флоральной орнаментацией»<sup>377</sup>. «Мелкобуржуазный горошек», «мещанские цветочки», «интеллигентскую клеточку», как неактуальные, несозвучные потребностям времени, заменили ситцы с рисунками «Комсомол за работой», «Участие красноармейцев в уборке хлопка», «Коллективизация», «Военно-морской флот». Женщины вынуждены были шить одежду из тканей с изображением заводов, аэростатов, сеялок, электрических лампочек и т.д.

В большинстве традиционных культур ткани, процесс их создания и способы употребления насыщаются глубоким семантико-семиотическим смыслом. Материи приписываются определенные ритуальные функции: оберега или включения в новое пространство, соединения различных сфер существования, священного дара, маркера социального статуса, признака богатства. Эти функции, трансформировавшиеся в условиях модернизации, проявлялись и в советском культурно-бытовом пространстве. В условиях нормированной системы распределения на рубеже 1920-1930-х годов укрепилась роль ткани как некоего дара власти в отношении своего народа: отрезки материи население могло получать по карточкам и ордерам. В годы первых пятилеток на промышленных предприятиях

было введено материальное стимулирование рабочих-рационализаторов. За каждое принятое рацпредложение они получали талон с номером. В назначенный день, по воспоминаниям ветеранов одной из ленинградских фабрик, эти талоны разыгрывались в лотерею. «Каждый выигрывал на свой талон какую-нибудь дефицитную в то время вещь: костюм, пальто, ботинки, отрез материала»<sup>378</sup>. Ткани использовались в качестве вещественного премирования. В романе В.К. Кетлинской «Мужество» (1936-1938) «синяя, в полоску, как на матрасы» полушерстянка выдается ударникам строительства Комсомольска-на-Амуре<sup>379</sup>. По данным дневника московского учителя И.И. Шитца, делегаты XVI съезда ВКП(б) получили подарок — «розовую квитанцию в особый магазин ОГПУ, где в числе прочих предметов (пары обуви, двух пар белья, трех кусков мыла) фигурировали отрез на костюм — три метра и 10 метров бумази»<sup>380</sup>.

Нормированное распределение первых пятилеток, безусловно, носило дисциплинирующий характер. Благодаря ранжированной системе снабжения оно способствовало появлению вещей-маркеров, доступных социально значимым слоям городского населения. Однако в отличие от эпохи военного коммунизма они не носили выраженного «революционного» характера, как, например, кожанка. В стране начали формироваться новые элитные слои, во внешнем облике которых стали появляться черты своеобразной советской роскоши.

### *Наряд для «девушки с веслом»*

К середине 1930-х годов в контексте политики большого стиля нормализующие суждения властных и идеологических структур о капризах моды стали более лояльными. Стремление хорошо одеваться даже поощрялось. Многие партийные активистки, ярые гонительницы мешанок в 1920-е годы, стали

в 1930-х годах вполне соответствовать требованиям западной моды. Подобная метаморфоза произошла, например, с женой главы управления НКВД по Ленинграду Ф.Д. Медведя Раисой Копылянской. Максималистка-революционерка, по воспоминаниям современников, превратилась «в гранд-даму», ходила «раскрашенная, располневшая, разодетая»<sup>381</sup>.

Избавлялись от заблуждения социалистического аскетизма и комсомольские активисты. В 1934 году на комсомольской конференции завода «Красный путиловец» секретарь одной из цеховых организаций ВЛКСМ резко выступил против гонений на девушек, любивших принарядиться. «Приходит на вечер комсомолка в крепдешинном платье и над ней смеются, — с возмущением говорил комсомолец. — В каком уставе записано, что комсомолка не может явиться в крепдешинном платье? Надо нам следить, чтобы комсомолец ходил опрятно и чисто одетым, следил бы за собой. От прежнего типа комсомольца пора отвыкать»<sup>382</sup>. «Комсомольская правда», еще пять лет назад громившая любительниц лакированных туфель, в 1933 году открыла рубрику «Мы хотим хорошо одеваться!». Здесь печатались письма примерно такого содержания: «Три года замечаю, что есть и у меня охота одеться получше. Не то жениться собираюсь, не то от товарищей в цехе отстать нельзя». Автор письма жаловался на плохое качество тканей, критиковал пошив костюмов: «Надоел это чучело-фасон — неизменная тройка англезе с гаврилкой (костюм с жилетом и галстуком. — Н.Л.)»<sup>383</sup>.

Репортеры комсомольских газет и журналов к середине 1930-х годов, уловив общую тенденцию, стали «бороться» за хорошую одежду. Перемены во властных суждениях, касающиеся норм в сфере одежды, были мгновенно подхвачены социалистическим искусством в целом. По многим театральным сценам в середине 1930-х годов прошла пьеса ленинградского драматурга В.А. Соловьева «Личная жизнь». Отрицательные герои пьесы, носители явно «несоциалистической идеологии»,

одевались неряшливо и безвкусно. В качестве же образца для подражания выдвигался человек, который синтезировал «красивую жизнь» и «мировую революцию».

Ко второй половине 1930-х годов сложились основные черты властного дискурса и в отношении ткани. Это в первую очередь нашло выражение в гонениях на агиттекстиль. Сотрудник журнала «Юный пролетарий» вспоминал: «Один раз сделали налет "легкой кавалерии" на Ленодежду и швейную фабрику имени Володарского, а затем высмеяли неуклюжую, серую по расцветке стандартную одежду и модели женских платьев, таких как "гитара", "косоворотка", "трактористка". Сшитые из ситца, на подолах и рукавах они были украшены изображениями тракторов, колосьев, гаек, шестеренок и разводных ключей»<sup>384</sup>. Осенью 1933 года в «Правде» появился фельетон Г.Е. Рыклина «Спереди трактор, сзади комбайн». Автор писал: «Вот свеженький весело окрашенный ситчик... На нем нарисованы большие трактора и большие комбайны. Идешь по улице, и твои формы плотно облегает этакий колхозный сельскохозяйственный мотивчик. Встретишь на улице одетого в такое платье — спереди трактор, сзади комбайн — сразу мобилизуешь себя на уборку и борьбу с потерями. А вот неплохой ситец для нижнего белья. Тоже не беспредметная раскраска. Не какая-нибудь идеалистическая чушь. А целая картина — Турксиб. По желтоватому песку идет караван верблюдов. Вдали чернеется стадо баранов. А в центре несется паровоз. Как приятно спать в таких подштанниках. Ты спишь, а по тебе несется паровоз. Перевернешься на другой бок — пасутся бараны. Ляжешь на живот, а сверху шествуют верблюды. Лежишь и даром времени не теряешь — знакомишься с окраинами, некогда поработанными царизмом. Такой научно-популярный сон»<sup>385</sup>. Подобное нормализующее суждение вскоре преобразовалось в нормативное. 8 декабря 1933 года СНК СССР принял специальное постановление «Об ответственности за выпуск недоброкачественной



продукции». Его основные положения получили развитие в постановлении СНК СССР «О работе хлопчато-бумажной промышленности» от 17 декабря 1933 года, где прямо говорилось о «недопустимости выработки рядом предприятий тканей с плохими и неуместными рисунками под видом введения новой тематики»<sup>386</sup>. Истолкованное и как осуждение выпуска тканей с рисунками, вульгаризирующими идеи социализма, постановление помогло покончить с максималистскими устремлениями последних российских авангардистов<sup>387</sup>. В конце 1930-х годов агитационный текстиль вообще подвергся осмеянию в кинокомедии Г.В. Александрова «Светлый путь». Там была сцена обсуждения новых тканей, участники которой, набрасывая на манекен материалы, обменивались следующими репликами: «Вот образец, — произносит один из собеседников. — Дамская ткань. Сельскохозяйственная тема: трактора». — «А нет ли у вас там чего-нибудь поиндустриальнее?» — интересуется другой. «Поиндустриальнее? Вот есть нефтяные вышки. По талии можно фабрики пустить, заводы...»<sup>388</sup>

Сталинское руководство, несмотря на приоритетное развитие тяжелой промышленности, все же уделяло внимание текстильному производству, объективно поддерживая народную культурно-бытовую традицию сакрализации не столько изделия из ткани, сколько ее самой. Менее чем за двадцать лет, с 1924 по 1940 год, выработка только шерстяных тканей в СССР возросла более чем в три раза: с 33,9 до 119,7 млн метров<sup>389</sup>. При этом одной из важнейших задач властные структуры считали отказ от использования импортного сырья в ткацком деле. В число тканей-маркеров вошли натуральные материалы — бостон и габардин, из которых шились мужские костюмы и легкие пальто, и крепдешин — лидер в женской моде. Так закладывались черты сталинского гламура в одежде. Однако натуральные ткани хорошей выработки — фетиш большого стиля — были доступны немногим. Французский писатель Л.-Ф. Селин заметил после кратковременного визита

в Ленинград в 1936 году: «Воистину нужно быть гением, чтобы суметь здесь одеться... Их ткани — это настоящая пакля, даже нитки не держатся... И за это надо платить»<sup>390</sup>. Неудивительно, что даже представители сталинской номенклатуры рассматривали отрезы дорогих материалов как показатель материального благосостояния. Весной 1937 года при обыске квартиры, дачи и служебного кабинета бывшего главы НКВД Г.Г. Ягоды было изъято 194 отреза различных высококачественных тканей<sup>391</sup>.

### *Высокая мода большого стиля*

Формируя вне системы жесткого распределения тем не менее вполне определенные нормы того, как должен выглядеть хорошо одетый советский человек, властные структуры создали в середине 1930-х годов целый ряд симулякров, своеобразных ложных знаков. С их помощью укреплялась мифология повседневности большого стиля. В определенной степени к числу симулякров можно отнести и Дома моделей, появившиеся в середине 1930-х годов сначала в Москве<sup>392</sup>. Дж. Бартлетт справедливо отмечает: «Во времена Сталина появились новые способы организации социалистического общества и осуществления контроля над ним. В мире, пришедшем на смену большевистской утопии, отношение к моде изменилось. Центральное место в ней заняла парадная эстетика репрезентативного костюма»<sup>393</sup>. По описанию очевидцев, в частности итальянского дизайнера Э. Скиапарелли, образцы советской моды казались довольно странными, это была вовсе не одежда для работающих людей — простая и практичная, а настоящая «оргия шифона, бархата, кружев»<sup>394</sup>. В появившихся пока единичных советских центрах моды в первую очередь одевались представители новых элит. В 1934 году и в Ленинграде был открыт элитный магазин-ателье женской одежды на Невском, 12, вошедший в историю под неофициальным

названием «Смерть мужьям». Сначала здесь обслуживались лишь семьи крупных партийных и советских работников, а также актерская элита. Услугами «Смерти мужьям» пользовались не только ленинградки, но и москвички: А.К. Тарасова, К.И. Шульженко, Л.П. Орлова, Ф.Г. Раневская<sup>395</sup>.

К вещам, соответствующим канонам большого стиля, приобщались и «знатные простые люди», в первую очередь стахановцы, которым перед участием в мероприятиях правительственного уровня настоятельно рекомендовали «поменять имидж»<sup>396</sup>. Власть стремилась сформировать вполне определенные нормы, способствующие социальному подчинению человека советского. Старый член партии большевиков З.Н. Немцова вспоминала, что в середине 1930-х годов женщинам, собиравшимся на торжественный вечер в Кремле по случаю празднования 8 марта, было дано указание явиться на банкет «не нигилистками в строгих английских костюмах с кофточкой и галстуком, с короткой стрижкой, а выглядеть женщинами и чтобы наряд соответствовал»<sup>397</sup>. Воспоминания о вполне гламурном наряде оставила и некая стахановка, попавшая на бал в Колонном зале Дома союзов в честь передовиков производства в 1935 году: «На мне было черное крепдешиновое платье. Когда покупала его в ателье на Таганке, мне показалось, что в нем и только в нем я буду выглядеть в древнегреческом стиле. Ну, не Даная, конечно, однако свободное платье-туника, да еще вокруг ворота сборчатая пелеринка — это да!»<sup>398</sup>

Действительно, элитные слои советского общества выделялись характерными вещами-знаками. Слесарь И.И. Гудов вспоминал, что на всесоюзном совещании стахановцев в Москве в 1935 году все собравшиеся и в особенности президиум с большим интересом слушали, что намерены покупать передовики производства на заработанные деньги. Женской мечтой оказались «молочного цвета туфли за 180 руб., крепдешиновое платье за 200 руб., пальто за 700 руб.»<sup>399</sup> Эти вещи

соответствовали критериям наряда для «девушки с веслом» — выразительного скульптурного символа женственности эпохи большого стиля. Фаворитом мужской моды стал бостоновый костюм. Он аккумулировал черты сталинского гламура в повседневности. Самыми важными критериями в данном случае были добротность и солидность. Власть не только спокойно, но даже одобрительно относилась к тому, что среди ответов на вопрос главной комсомольской газеты страны о самом счастливом дне в 1934 году был, в частности, и рассказ о дне «покупки бостонового костюма за 180 рублей»<sup>400</sup>.

Конечно, подобные вещи не были доступны основной массе горожан. Всех иностранцев, посещавших города СССР в конце 1930-х годов, поражало однообразие покроя и цвета одежды советских людей. Л. Фейхтвангер в своей книге «Москва. 1937» не мог не отметить, что даже в Москве одежда горожан «кажется довольно неприглядной», а желающий быть хорошо и со вкусом одетым должен «затратить на это много труда, и все же цели своей он никогда не достигнет»<sup>401</sup>.

Это замечание как нельзя лучше отражает суть ситуации в СССР в конце 1930-х годов. В стране происходил процесс четкого размежевания видов одежды: складывались нормы внешнего вида для массы и для избранных. Распространению властных нормализующих суждений о том, как платье маркирует различные социальные группы в советском обществе, способствовало кино эпохи большого стиля<sup>402</sup>. Одновременно документальный нарратив демонстрирует характерные для основной массы горожан нехватку одежды и ее низкое качество, что составляло своеобразную норму городской повседневности в СССР.

В качестве примера стоит привести выдержки из источников личного происхождения: дневника и воспоминаний.

25-летний студент А.Г. Маньков в 1939-1940 годах сделал следующие дневниковые записи: «Перевалило уже на второй месяц, как через день я гоняюсь по магазинам в поисках либо

мануфактуры, либо просто приличных брюк! Полное безтоварье! "Выбросят" 20-30 костюмов, а очередь выстроится человек в 300... У нас лучшая в мире конституция, но нет ботинок и сапог...»<sup>403</sup>. А в конце 1980-х — начале 1990-х годов учительница-пенсионерка С.Н. Цендровская вспоминала: «В Ленинграде было плохо с обувью. Помню, чтобы купить модельные туфли, мы с подругой стояли всю ночь в Кирпичном переулке, а обувь продавали с черного входа в магазине "Shoes" (Невский П)»<sup>404</sup>. Действительно, основная масса горожан испытывала в конце 1930-х годов значительные трудности, пытаясь как-то приодеться. Реально модными, то есть широко распространенными, становились вещи весьма скромные и дешевые, например парусиновые туфли и беретки. Первые представляли собой очень популярный вид летней обуви в СССР. Верх мужских и женских туфель действительно делался из некрашеной льняной ткани — парусины. Молодые люди натирали ее для белизны зубным порошком. Неудивительно, что на танцплощадках предвоенного времени часто можно было видеть белые следы, оставленные слишком рьяными модниками<sup>405</sup>. Берет же перед Великой Отечественной войной примирил антагонизм дамской шляпы, считавшейся в 1920-е годы признаком буржуазности, и красной косынки, являвшейся символом пролетарской сознательности. Журналисты Ю.А. Жуков и М.Б. Черненко в 1934 году писали, что «берет — предел мечтаний фабричной девчонки с Уралвагонстроя»<sup>406</sup>. Популярность этого вида головных уборов у советских женщин заметила приехавшая в середине 1930-х годов в Ленинград англичанка Д. Элтон. Она вспоминала: «Я тоже носила берет, только набекрень, что привлекало большое внимание»<sup>407</sup>. Дешевые, простенькие вещи в гардеробе советских людей были реальной нормой повседневности в отличие от нормы властной, выраженной в целом наборе симулякров. Эпоха предвоенного большого стиля с помощью разных по социальному наполнению предметов не только записывала

свои законы на советских «коммунальных телах», но и соответствующим образом их маркировала.

В годы Великой Отечественной войны, как и в случае с продовольственными благами, официально действовала система жестокого распределения, которая не только нарушалась, но и успешно эксплуатировалась. Как своеобразный социальный маркер выступили в конце Великой Отечественной войны кожаные вещи. В это время, как вспоминают современники, работников наркоматов стали узнавать на улицах по пальто из светло-коричневой кожи. Они в качестве шоферского обмундирования прилагались к автомашинам, которые присылали по ленд-лизу американцы. Удобная одежда оседала в Москве, а машины отправляли на фронт<sup>408</sup>. На основе нормированного распределения, продолжавшегося до 1947 года, процветала спекуляция. Писатель Ю.М. Нагибин вспоминал, как его родственники (а женат он был на дочери знаменитого «красного директора» И.А. Лихачева), предпочитая шить и одежду, и обувь на заказ, перепродавали на Тишинском рынке вещи, полученные в закрытом распределителе<sup>409</sup>. Похожая история, но носившая уже характер «группового» нарушения этических правил системы строгого нормирования, связана с так называемыми «американскими подарками». В 1945-1946 годах в СССР стали поступать частные посылки из США. Эта была организованная и одобренная в правительственных верхах обеих стран акция. Советские властные структуры регулировали процесс распределения «американских подарков», в числе которых были в первую очередь одежда и обувь. Так, например, в декабре 1945 года СНК СССР издал специальное постановление о порядке выдачи вещей из посылок для работников железнодорожного транспорта<sup>410</sup>. Однако должного порядка в этой сфере не было. В подарках часто попадались малоценные вещи: рваная обувь, непарные чулки, сильно поношенные брюки и платья. Они выдавались в большом количестве рядовым людям, что вызывало их законное возмущение. Достойная же

одежда оставалась в распределительных инстанциях. Нагибин вспоминал, что на московских барахолках середины 1940-х годов «мордастые молодайки крикливо рекламировали новейший товар: грубо-добротные рубы, плащи и комбинезоны из американских посылок частной помощи. Предназначались они рабочим, но, как полагается, оказались в руках спекулянтов»<sup>411</sup>. Хорошие вещи из американских посылок вошли и в разряд остромодных атрибутов внешнего вида молодежи конца 1940-х. Спросом у только что появившихся «стиляг» пользовались брюки из шерстяной материи в полоску и тупоносые американские солдатские ботинки.

После окончания Великой Отечественной войны, еще в условиях действия карточной системы, властные структуры стали настойчиво возрождать нормы большого стиля в сфере одежды. Первоначально был воссоздан московский Дом моделей. Уже в 1945 году его модельеры спроектировали около тысячи образцов одежды, которые должны были внедряться в производство. Для этого московский Дом моделей одежды преобразовали в центральный (ЦДМ), а затем, в 1948-1949 годах, — в общесоюзный (ОДМ). Издаваемый им «Журнал мод», возобновленный в 1948 году, имел тираж 22 000 экземпляров и недвусмысленную стилистику пропаганды роскоши в одежде в соответствии с официальными нормами большого стиля. В других городах страны тоже стали создавать учреждения, призванные формировать вкусы и стиль населения в соответствии с общими указаниями модельеров центра. В конце 1940-х годов открылись рижский, таллинский, киевский Дома моделей. Первоначально они были очень небольшими: киевский, например, долгое время размещался в скромном трехкомнатном помещении. В 1949 году модельеры ОДМ создали уже 2500 моделей, а в 1950-м — почти 3000<sup>412</sup>. Правда, вне столицы каноны моды внедрялись медленнее. Даже в Ленинграде, где Дом моделей появился уже в 1945 году, художники ежегодно разрабатывали всего лишь по 500 новых образцов



одежды, в число которых входило также верхнее платье и головные уборы<sup>413</sup>. При своей нарочитой гламурности советская высокая мода в годы послевоенного сталинизма не поспевала за новыми тенденциями, пропагандируемыми мировыми центрами «от-кутюр». Особенно это ощущалось в мужской одежде, каноны которой в целом отличаются консерватизмом. Здесь и накануне смерти И.В. Сталина преобладал стиль, сформировавшийся еще в 1930-е годы.

Обязательной вещью для хорошо одетого по советским меркам мужчины и после Великой Отечественной войны считался солидный двубортный бостоновый костюм, как правило, черного или темно-синего цвета с широкими (40-45 см) брюками. Такой наряд — знак сталинского «благополучия» — уже во второй половине 1940-х годов за рубежом вызывал изумление. В 1945 году советский журналист С.Д. Нариньяни был командирован в Нюрнберг, где проходил процесс по делу главных военных преступников. За несколько дней до отъезда ему с группой товарищей «предложили пойти в магазин Спецторга, чтобы экипироваться для поездки за границу». Всех одели в одинаковые черные бостоновые костюмы, желтые полуботинки, «носки и рубашки цвета свежей глины». Над таким внешним видом советских людей, как писал Нариньяни народному комиссару иностранных дел В.М. Молотову, с удовольствием издевались «буржуазные журналисты»<sup>414</sup>. Некоторое разнообразие в этот сталинский шик вносила мода на гладкокрашенные рубашки из искусственного шелка или ткани под названием «зефир» очень ярких цветов — бирюзовые, желтые, рубиновые, ультрамариновые<sup>415</sup>. Все эти вещи, представлявшие собой характерные симулякры большого стиля, были дорогими, монументальными и доступными элитным слоям общества сталинского социализма. Неудивительно, что в атмосфере пропаганды подобных норм внешнего вида возникли протестные элементы бытовой культуры, воспринимаемые властью как некие аномалии. В первую очередь это выразилось

в распространении в среде в целом законопослушных граждан элементов криминальной моды, что в пространстве советской повседневности впервые было зафиксировано в годы нэпа. Среди городской молодежи стали популярны брюки-клевш, тельняшка, куртка, напоминающая матросский бушлат, шапка-финка с развязанными и болтающимися наподобие ленточек у бескозырки тесемками — вещи, причудливым образом копирующие внешний вид матросов первых лет революции. В такой криминальной моде 1920-х годов можно видеть выражение протеста как против нэпманского стиля жизни, так и против навязываемого партийно-комсомольского аскетизма. В 1930-е годы, по воспоминаниям современников, тоже «была тайная молодежная мода — походить на хулиганов»<sup>416</sup>. Для этого необходимо было иметь в кармане нож-финку, а на голове — фуражку-мичманку. Эту стоившую немалые деньги вещь производили кустарные мастерские. Носить эти фуражки было небезопасно. Обыватели считали, что человека в мичманке вполне могли задержать на улице постовые милиционеры. Внешняя уголовная романтика противопоставлялась в данном случае образцам одежды новых советских элит, отказавшихся от эстетических норм скромности во внешнем облике. Сразу после Великой Отечественной войны, по словам питерского поэта Е.Б. Рейна, вновь «цвела мода... сильно окрашенная в тона блатной романтики». Документальный нарратив помогает детализировать черты протестной моды 1940-х — начала 1950-х годов: черное, желательное двубортное драповое пальто, белый шелковый шарф, серая буклированная кепка с гибким козырьком, в разрезе воротника рубашки полосатая тельняшка, широкие брюки, почти клеши, заправляемые в сапоги<sup>417</sup>. Поражает эклектика этого модного набора — сочетание псевдоэлегантности, уголовной бравады и копирования стиля фронтовика. И здесь явно просматривается определенное неприятие принципов сталинского гламура в одежде. Однако в современном общественном, а главное, и научном дискурсе

всю славу диссидентов от моды собрали «стиляги» — социальная аномалия, отчасти сконструированная и самой властью в ходе борьбы с «низкопоклонством перед Западом».

Нормы утрированной буржуазности, которые навязывали населению властные и идеологические структуры в сфере выбора канонов внешнего облика, составляли часть мифологии эпохи большого стиля. Они во многом были порождены периодическим возвращением в советскую действительность системы карточного снабжения — как в военное, так и в мирное время. Ранжированное распределение усугубляло социальное неравенство и способствовало формированию элитных слоев населения с особым стилем повседневности.

ЧАСТЬ II.  
НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ  
(КОСВЕННОЕ НОРМИРОВАНИЕ  
ПОВСЕДНЕВНОСТИ)

В сферах повседневной жизни, где действуют механизмы распределения материальных благ, довольно легко выделяются и нормы и порождаемые ими аномалии. Однако существуют стороны быта, в которых наличие официально признанных стандартов, а соответственно, и признаваемых отклонений неочевидно. К числу якобы непосредственно не регулируемых областей повседневности часто относят свободное время горожанина, проводимое им вне строго регламентированного производственного процесса, а также тендерные отношения, и в первую очередь интимную жизнь. Тем не менее связь канонической досуга и сексуальности с ментальными установками населения несомненна, и потому так объяснимо стремление государства регламентировать и эти сферы. Косвенное нормирование в случае Советского Союза выражается в секуляризации и политизации повседневности.

Советская система, как и любая другая, создавала собственные нормы. Они были результатом отражения процессов, развивавшихся в новом обществе. И если склониться к мысли о его девиантности, то эти ценностные и поведенческие ориентиры ярко демонстрируют существование парадоксального явления — «патологических норм», восходящих как к большевистскому дискурсу, так и к специфическим практикам народной жизни. Юридически не всегда закрепленные, они были тем не менее рождены послереволюционной действительностью,

укоренились в лексике рассматриваемого времени и стали структурными элементами советской ментальности, в основе которой было заложено отрицание христианской духовности и роли религии в определении бытовых ориентиров. Сегодня проблема «церковь и советское государство» достаточно основательно изучена благодаря усилиям таких видных исследователей, как О.Ю. Васильева, А.Н. Кашеваров, М.Ю. Крапивин, М.В. Шкаровский и др. Однако бытовой аспект религиозно-государственных отношений и статус обычного права церкви в советском культурно-бытовом пространстве 1920-1950-х годов пока не стали объектом монографического изучения. Работы очень плодovitого тамбовского ученого А.А. Слезина все же лишь частично вскрывают механизм секуляризации повседневной жизни<sup>1</sup>. Именно поэтому повествование о нормах и аномалиях досуга и тендерных отношений целесообразно начать с выявления направлений процесса секуляризации быта горожан, развернувшегося в России после прихода большевиков к власти.

## ГЛАВА 1. СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ БЫТОВЫХ НОРМ

В дореволюционном российском обществе господствующие представления о нормах/аномалиях и стилистике бытового поведения определялись религией. Государственная власть в России до 1917 года большинство своих нормативных и нормализующих суждений сопрягала с постулатами православной церкви. Приоритет православной церкви в формировании ментальности населения усиливался ее тесной связью с повседневными бытовыми практиками. Переплетение истинной веры и обыденной религиозности было настолько причудливо и крепко, что позволяло до определенного момента удержать общество от решительных перемен, к которым его подталкивала разрастающаяся волна духовного индифферентизма. Исполнение религиозных обрядов даже в крупных промышленных и культурных центрах в начале XX века являлось нормой повседневной жизни.

Новая государственность с первых дней существования проявила свою атеистическую направленность. Отделение православной церкви от государства влекло за собой резкое сокращение сферы ее мировоззренческого нормализующего влияния на население. Несмотря на то что религия объявлялась частным делом каждого гражданина, декреты, повлекшие секуляризацию актов рождения, смерти, бракосочетания и развода, образования, явно затрагивали приватную сферу, тем самым превращая в аномалию привычные формы повседневной жизни, связанные с религией. Таким образом,



нормативные суждения советской власти способствовали появлению новых форм социальной патологии — религиозности истинной и обыденной — и одновременно методов социального контроля, направленных в первую очередь на элиминирование этих явлений.

Обыденная религиозность — наиболее стойкое выражение теологизированности норм повседневной жизни. Еще в 1913 году автор учебника церковного права Н.С. Суворов писал: «Массы народные могут оставаться в неведении относительно умозрительных догм вероисповедания, но крепко держаться за обряды...»<sup>2</sup>. Действительно, накануне 1917 года, несмотря на нарастающий религиозный индифферентизм, для большинства городского населения религиозные обряды крещения, венчания, отпевания были нормой повседневности. Новая власть правовым путем установила свой контроль над сферами человеческой жизни, которые ранее регулировались обычным правом церкви. С точки зрения религиозных деятелей, эта перемена составляла угрозу для общественной нравственности. «В массе православного населения секуляризация ведения актов гражданского состояния... вызвала бы немалое недоумение и во многих случаях едва ли не сопровождалась бы понижением степени религиозности отношения русских людей к событиям рождения, брака и смерти. Таким образом, в интересах религиозно-нравственной жизни народа с его темнотой и безграмотностью нужно быть очень осторожным в таком вопросе, как лишение метрик их церковного характера...» — утверждал в начале 1918 года профессор богословия Н.Д. Кузнецов<sup>3</sup>.

### *Крестить НЕЛЬЗЯ, звездить*

Крещение — первый шаг на пути определения нравственных ориентиров человека, средство обретения имени, и неудивительно поэтому, что накануне революции даже в крупных

городах 100% семей рабочих крестило свое потомство в церкви<sup>4</sup>. Нормативным решением — декретом ВЦИК и СНК от 18 декабря 1917 года «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния» — фиксация рождений изымалась из ведения церкви и передавалась отделам при городских и районных управах. Так была разрушена многовековая норма религиозного освящения одного из важнейших обрядов перехода. Документы о появлении на свет младенца или новой семьи, равно как об уходе человека из жизни, выданные церковью после декабря 1917 года, новая власть считала неправомерными, но сам факт крещения оставался существовать в приватной сфере.

В период военного коммунизма даже городское население по инерции все же продолжало обращаться в церковь при появлении в семье детей, однако с переходом к новой экономической политике крестить детей стали реже. В 1922-1924 годах в Москве, например, в церквях получили свои имена вместе с крестильными крестиками уже лишь 70% всех родившихся младенцев, а в 1928 году — уже всего 57,8%<sup>5</sup>. Примерно такая же картина наблюдалась и в других промышленных центрах. Так, в Череповце в 1925 году было крещено в церкви менее половины появившихся на свет в этот год детей<sup>6</sup>. Не отмененный нормативным путем, акт крестин тем не менее невольно превращался в некое социальное отклонение благодаря внедрению в повседневность сугубо гражданских документов, фиксирующих рождение гражданина в советской стране.

Одновременно на уровне нормализующих суждений осуществлялась попытка конструирования новых норм, которые могли бы сопровождать формальный обряд записи факта рождения младенца в загсе. В 1922-1924 годах местные партийные, профсоюзные и комсомольские организации инициировали проведение «красных крестин», или «звездин», — праздничного действия, носившего идеологически выдержанный

антицерковный характер. «Звездины» обычно проводились в заводских клубах. Родителей с новорожденными младенцами встречали руководители партийных и комсомольских ячеек — члены так называемых крестильных комиссий. Нередко на «звездины», или «красные крестины», приезжали и видные государственные деятели. Существует фотодокумент, запечатлевший А.В. Луначарского в роли «красного крестного отца». Под звуки «Интернационала» родителям дарили марксистскую литературу, чаще всего произведения В.И. Ленина, его речь на III съезде комсомола.

В ходе «звездин» по аналогии с церковным обрядом крещения давали имена, или, используя новую лексику, «звездили» младенцев. На Лысьвенском заводе (Урал) в конце 1923 года, как сообщала газета «Юношеская правда», «комсомольцы "озвездили" сразу одиннадцать человек. Все новорожденные в присутствии более 2000 зрителей... записаны кандидатами в комсомол сроком на 14 лет, то есть до 1937 года»<sup>7</sup>. Имена, получаемые в процессе «звездин», были довольно необычными. Свидетельством изменений приоритетов повседневности и ее связи с общеполитическими и культурными событиями в стране и в мире является всплеск моды на те или иные имена. Антропонимические эксперименты характерны для периодов социальных катаклизмов. Филологи фиксируют процесс возникновения и исчезновения тех или иных имен во многих христианских государствах Запада в XVII-XX веках. Эта тенденция, по сути дела, не имеет ярко выраженной коммунистической направленности. Но форма имятворчества в России в 1920-х годах, конечно, была обусловлена советской действительностью, рождавшей новые ментальные нормы. Толчком к созданию непривычных имен явилась секуляризация регистрации фактов рождения и возможность выбора имени не только из числа канонических. Других нормативных суждений власти, скорее всего, не существовало. В 1920-х годах появились дети, названные Революцией, Октябриной, Владленом,

Никленом\*, Баррикадой, Рэмом («революция, электрификация, машиностроение»), Кларой, Розой, Маратом. Это было отражением революционных событий, перемен в общественном строе, интернациональной солидарности. По-новому младенцев часто называли члены молодежных коммун, возникших в 1920-х годах. Одна коммунарка вспоминала: «Когда родился сын, "крестильная комиссия" приняла участие в выборе имени, и с нашего родительского согласия назвали новорожденного Ред, что в переводе с английского означало Красный. На плетеной кровати младенца повесили пионерский галстук и красную звездочку»<sup>8</sup>. На новые имена мгновенно отреагировал городской фольклор. В дневнике украинского общественного и культурного деятеля С.А. Ефремова, который он вел с 1923 по 1929 год, есть такой анекдот: «Справляют "звездины" над девочкой — Какое же имя дать? Предлагают "Ленинина" — очень затаскано; "Звездина" — что-то не нравится; "Октябрина" — тоже много уже их развелось; "Жовтина" — фе. "Ну, тогда пусть будет "Трибуна". — "Так тогда же на нее всякая сволочь будет лазать!" — возмутилась мать»<sup>9</sup>. Крестильные комиссии иногда «звездили» уже зарегистрированных в загсах младенцев. С 1925 года инициатива общественности стала регламентироваться циркуляром НКВД. Родители должны были зафиксировать новое, революционное имя своего ребенка в государственных инстанциях, представив документ об акте «звездения»<sup>10</sup>. Изменения в документы вносились лишь в том случае, если со времени регистрации в загсе прошло не более 3 лет.

Разновидностью красных крестин считались «октябрины» — так чаще всего называли обряд переименования взрослых людей, нередко также проходивший в коммунах. Деятельность «октябринных» комиссий в данном случае, по мнению

От «Николай Ленин» — одного из ранних вариантов псевдонима В.И. Ленина.

современников, «была продиктована фантазией и побуждением молодежи придумать в быту коммуны что-то новое. Комиссия подбирала и присуждала каждому члену коммуны новое короткое имя, отражающее совокупность индивидуальных черт и наклонностей вместо общепринятого обращения по имени и отчеству»<sup>11</sup>. Действия эти, несомненно, носили антиклерикальный характер.

Художественный нарратив 1920-х годов сохранил информацию и об индивидуальной инициативе по смене полученных при крещении имен. В повести Н. Огнёва «Дневник Кости Рябцева» (1927) есть показательный диалог подростков:

«— А ты раньше тоже в церковь ходила?

— Да, когда Дуней была, то ходила. Потом мы с отцом решили, что он будет звать меня Сильфидой, и тех пор я перестала ходить. Мать и слышать не хочет про Сильфиду: это, говорит, ведьминское имя.

Тогда я подумал и сказал Сильве, чтобы она звала меня Владленом. Она согласилась»<sup>12</sup>.

В иронической манере описан процесс антропонимических поисков эпохи 1920-х годов у М.А. Булгакова в «Собачьем сердце» в диалоге профессора Преображенского и пока еще безымянного человека-пса:

«— Как же вам угодно именоваться?

Человек поправил галстук и ответил:

— Полиграф Полиграфович.

— Не валяйте дурака, — хмуро отозвался Филипп Филиппович, — я с вами серьезно говорю... <...> Ваше имя мне показалось странным. Где вы, интересно знать, откопали себе такое?

— Домком посоветовал. По календарю искали — какое тебе, говорят? Я и выбрал»<sup>13</sup>.

Во второй половине 1920-х годов, в разгар нэпа, сконструированная норма свободной смены имен дала неожиданные результаты. Появились факты самопереименования отнюдь не из революционных соображений. Напротив, новое имя, как правило, не «простонародное», становилось признаком развивающегося мещанства. Объектом сатиры стал для В.В. Маяковского в 1927 году некий монтер Ваня, который

...в духе парижан  
себе  
присвоил званье:  
«электротехник Жан»<sup>14</sup>.

С явным осуждением писал о желании комсомольца Васи Царапкина стать Валентином Эльским и В.В. Вересаев в романе «Сестры»<sup>15</sup>. Процесс имятворчества как некой новой антиклерикальной нормы бытового поведения вновь ожил в годы первых пятилеток, при этом сильное влияние на него оказало развитие техники и науки. Именно этим можно объяснить возникновение Радиев, Сталиев, Гелиев, Ториев, Изольд (изо льда — в честь полярных открытий). Во второй половине 1930-х наблюдались факты смены, правда, не столько имен, сколько фамилий, в первую очередь политически опасных: Троцкий, Бухарин, Зиновьев. Заявления о новых паспортных данных необходимо было публиковать в газетах. Но в целом в конце 1930-х — начале 1950-х годов имятворчество почти прекратилось<sup>16</sup>. Единственный пример появления нового имени, отражающего социально-политическую ситуацию, — Мира. Отчасти это может быть связано с разнообразными инициативами власти по подъему чувства национального самосознания русского (православного по умолчанию) народа, что было характерно для культурно-бытового пространства большого стиля. Неудивительно, что на начальном этапе борьбы со стилижничеством идеологические

структуры делали особый акцент на необычных именах, которые нередко присваивали себе юные модники конца 1940-х — начала 1950-х годов<sup>17</sup>.

*«Почитать лишь... революционно-смелого отца»*

Маркирование советскими властными и идеологическими структурами акта крещения как социальной аномалии усугубляло характерный для большинства обществ конфликт поколений. И детям, и родителям предстояло пережить мучительную ломку традиционных отношений. Патриархальные связи поколений были подорваны уже в ходе Первой мировой и Гражданской войн в результате физической гибели в первую очередь глав семейств. В Петрограде, по данным 1923 года, родителей не было у 20% молодых людей, а во Владимире — у 25%<sup>18</sup>. Подобная ситуация сама по себе не способствовала укреплению внутрисемейных связей. Делегитимизация процедуры крещения младенцев уничтожала институт крестных отцов и матерей, а «октябрение» в относительно взрослом возрасте выглядело как публичный отказ от традиционных атрибутов преемственности поколений. Параллельно с принижением значимости таинства крещения на уровне нормализующих суждений в первую очередь комсомола в начале 1920-х годов всячески пропагандировалась ненужность контактов в семье. Эта идея находила отклик у молодежи. Уральский комсомолец, именовавший себя Аливером, опубликовал в 1923 году в молодежном журнале стихотворение «Что жалеть мне», где были, в частности, и такие строки:

Что жалеть, коль на клуб комсомольский  
Сменял я своих родителей, —  
Так отживший закон отцовский,  
Бойкотируем мы, победители<sup>19</sup>.

В 1924 году в том же журнале появилась редакционная статья, в которой утверждалось: «Если стоит вопрос: родители или РКСМ? Сознательный комсомолец должен ответить — РКСМ!»<sup>20</sup> Острой критике подвергалась библейская заповедь «Почитай отца твоего». Довольно широкую известность приобрели высказывания психоаналитика А.Б. Залкинда. Он много и подробно рассуждал о возможности интерпретации 10 библейских заповедей, полагая, что они вполне подходят для этических нужд социалистического государства — необходимо лишь изменить их классовую направленность. По поводу библейского положения о почитании родителей Залкинд писал: «Пролетариат рекомендует почитать лишь... коллективизированного, классово-сознательного и революционно-смелого отца. Других же отцов надо перевоспитывать, а если они не перевоспитываются, дети этически вправе покинуть таких отцов, так как интересы революционного класса выше благ отца»<sup>21</sup>.

Спровоцированный властью конфликт поколений на почве отношения к обрядам перехода усиливался посредством политических преследований и притеснений по классовому признаку. Уже первая советская конституция (1918) породила категорию лиц, лишенных избирательных прав. Их дети ощутили на себе в годы военного коммунизма особенности системы распределения продуктов и предметов первой необходимости в советском государстве (подробнее см. в части I). Классовыми признаками руководствовались и биржи труда, предоставлявшие работу в годы нэпа. В результате молодые люди вынуждены были скрывать социальное происхождение своих родителей. В 1930-х годах социальное происхождение стало причиной для приписывания человеку статуса общественного изгоя. На этой почве происходил распад семей. Он находил выражение как в сокрытии занятий своих родителей, так и в публичном отказе от них. Комсомол периодически проводил кампании очищения своих рядов от лиц «чуждого»



происхождения. В Ленинграде, например, в 1933-1936 годах из ВЛКСМ было исключено более 3000 человек за связь с «чуждыми элементами», то есть с родителями. Политическая ситуация 1930-х годов породила «эффект Павлика Морозова». Эта отчасти мифическая личность символизировала протест против власти отцов. В периодической печати того времени появлялись статьи о геройских поступках молодых людей, разоблачивших своих родителей за «преступную деятельность против социализма» и отказавшихся от них<sup>22</sup>. Свой Павлик Морозов нашелся во второй половине 1930-х годов, например, в Ленинграде. Это был комсомолец Н. Максимов, рабочий ленинградского торгового порта. Осенью 1935 года он разоблачил «шайку рвачей», в которой состоял и его отец. «Николай Максимов, — писала «Комсомольская правда», — поступил вопреки неписаным законам старой морали. Он разоблачил отца, вредившего новому обществу...»<sup>23</sup>.

В раскрученном властью механизме насильственного размежевания детей и родителей мало что изменили и знаменитая фраза И.В. Сталина «Сын за отца не отвечает», и даже Конституция 1936 года, уравнивавшая в правах всех граждан СССР. Бацилла межпоколенческой ненависти, привитая советским гражданам в 1920-1930-х годах, оказалась живучей и в контексте большого стиля. Многие молодые люди, оказавшиеся изгоями вследствие социальной неполноценности своих родителей, оборачивали свой гнев и возмущение не в сторону власти, а в сторону собственной семьи. Известна позиция крупного историка и этнолога Л.Н. Гумилева, сына двух поэтов. Безвинно репрессированный в 1938 году окончательно реабилитированный лишь после XX съезда КПСС, он писал в 1955 году о своей матери, А.А. Ахматовой: «Будь я не ее сыном, а сыном простой бабы, я бы был, при всем остальном, процветающим советским профессором, беспартийным специалистом, каких множество»<sup>24</sup>. Однако, стремясь к политизации отношений между детьми и родителями, властные структуры

не смогли спрогнозировать возможность обратного эффекта своей политики — единения семей на почве неприязни к советской системе.

Семейные связи рушились и под воздействием иконоборческой политики власти. Иконы, часто непосредственно связанные и с обрядом крещения, в городских православных домах накануне 1917 года были традиционной деталью домашнего интерьера. Секуляризация повседневной жизни при советской власти неизбежно повлияла на эту традицию, тем более что у части людей небольшие иконостасы в жилье несли не столько культовую, сколько декоративную нагрузку. Официально власть не призывала горожан ликвидировать иконы в своих домах. Но для многих людей, нашедших после прихода большевиков к власти общественную поддержку своим атеистическим убеждениям, избавление от художественных изображений святых (как визуального образа социальной аномалии) превращалось в демонстрацию антирелигиозности. Массовым это явление стало во время так называемого «ленинского призыва» в ряды РКП(б) после смерти В.И. Ленина. В начале 1924 года иконы можно было увидеть в 76% домов московских рабочих, а в начале 1925 года — в 59%<sup>25</sup>. Новый виток снятия икон зафиксирован в конце 1920-х — начале 1930-х годов. Этому способствовал Всесоюзный культпоход комсомола 1928-1929 годов, перестройка быта в ходе введения непрерывки, создание «безбожных бригад», члены которых часто жили коммунарами. В 1929-1930 годах ленинградское отделение Союза воинствующих безбожников провело опрос, участники которого написали своеобразные сочинения на тему «Автобиография безбожника». Респонденты обследования считали, что иконы, крещения и моления — «это все старомодно и многие смеются... над теми, кто исполняет обрядности на глазах других»<sup>26</sup>. Из-за икон — традиционной детали городского жилого интерьера — часто возникали семейные ссоры. Нередко в антирелигиозном порыве юноши и девушки

попросту без согласия старших сжигали изображения святых угодников. Подстрекателями здесь выступали комсомольские и партийные активисты. На областной комсомольской конференции в 1929 году С.М. Киров призвал молодежь как можно скорее распрощаться с иконами в домах. «Могут сказать: неловко обижать родителей, — заявлял большевистский лидер, — все это чепуха»<sup>27</sup>.

Усилившаяся в первую пятилетку тенденция внешней коллективизации быта ускорила формирующиеся в ментальное™ большей части городского населения представления об аномальности не только истинной веры, но и бытовой религиозности. Ее внешние проявления, в частности украшение жилища иконами, становились затруднительными в условиях коммуналки — самой распространенной формы городского жилища в 1930-е годы. Бывшая ленинградка Е.А. Скрябина вспоминала, что ее мать, уже весьма пожилая женщина, считала необходимым повесить иконы не только в собственной комнате, но и в кухне квартиры, которую семья Скрябиных делила с несколькими соседями. Новый жилец, член ВКП(б), моментально заметил эти, как пишет Скрябина, «антикоммунистические мероприятия» и потребовал снять «картинки» и «не портить комнат общего пользования, т.е. кухню, ванную и коридор»<sup>28</sup>. К концу 1930-х годов иконы исчезли из интерьеров городского жилища, хотя во многих домах где-нибудь в укромном месте хранились образа, панагии и другие изображения святых, если не как атрибуты веры, то как дань памяти прошлому семье.

Религия в ее бытовом контексте все больше и больше уходила в частную сферу обыденной жизни, о чем были осведомлены и властные структуры. В марте 1934 года представитель ОГПУ, выступая перед районными инспекторами по вопросам культов, заявил, что «некоторые служители культов на частных квартирах совершают церковные службы, как бы переходя в подполье...»<sup>29</sup>. Но скорее в подполье вынуждены

были уйти рядовые горожане, продолжавшие ощущать необходимость в исполнении религиозных обрядов и в первую очередь крещения. Скрыбина вспоминала, как в середине 1930-х годов была вынуждена по совету священника устроить на дому крестины своего маленького сына. Самой активной помощницей в организации таинства стала старушка-соседка по коммунальной квартире. Она тщательно скрывала от своих детей-коммунистов приверженность к православной вере. «Ей, — пишет Скрыбина, — доставляло большое удовольствие присутствовать на крестинах и все устраивать. Даже купель она где-то достала. Во время богослужения истово крестилась и помогала неопытной крестной матери поддерживать мальчика»<sup>30</sup>. Такое поведение с трудом можно назвать двоемыслием или проявлением двойной морали, скорее это демонстрация особой стратегии выживания в условиях новых норм повседневной жизни.

В эпоху большого стиля кратковременный период либерализации отношения власти к религии был тактическим приемом сталинского руководства. Одновременно, судя даже по разрозненным данным, власть по-прежнему контролировала исполнение религиозных треб. Так, в «Справке, составленной по данным отчетов уполномоченных Совета по делам Русской православной церкви за второй квартал 1946 г.» отмечалось, что случаи крещения младенцев в некоторых регионах составляли 75% от числа зарегистрированных фактов рождения, а кое-где и превышали их, так как родственники стали крестить и детей дошкольного и школьного возраста<sup>31</sup>. Росту числа этих явлений, конечно, способствовал сталинский церковный ренессанс, воспринятый частью верующих как возврат церковной обрядности в сферу повседневности. Но на самом деле на статусе крещения изменение государственной политики не отразилось, оно по-прежнему находилось в сфере частной жизни. Приобщение ребенка к лону церкви в младенческом возрасте не могло

гарантировать в рамках советской государственности его дальнейшего воцерковления как нормы повседневной жизни, способствующей объединению поколений. А главное, в самой острой форме межпоколенческий конфликт разразился в период критики культа личности Сталина, когда выросли люди, не приобщенные к таинству крещения и легко отмежевавшиеся от прошлого собственных отцов.

*«Не пойду я в храм венчаться...»*

Декрет ВЦИК и СНК от 18 декабря 1917 года, дезавуировавший крещение как важнейший обряд перехода, создал нормативную предпосылку для превращения в социальное отклонение и такую привычную норму российской городской повседневности, как церковный брак. Государственная политика большевиков разрушала и уже сложившиеся накануне революции 1917 года традиции внешней атрибутики городской свадьбы, связанной с таинством венчания.

В советском культурно-бытовом поле символику бракосочетания стали определять Кодексы о браке и семье, первый из которых появился в 1918 году. Он способствовал уничтожению остатков феодальных черт российской семьи, обеспечил определенную степень свободы частной жизни и реализовал сформировавшуюся уже в начале XX века общественную потребность во введении гражданского брака. Еще до кодификации советских нормативных актов о браке в России стали действовать загсы, функционирование которых в первую очередь влияло на брачную обрядность. Отделы записей актов гражданского состояния создавались при органах местного самоуправления. В 1918 году это были городские и волостные (земские) управы. Вместо церковного обряда они предлагали светскую церемонию, правила которой были максимально упрощены. В Кодексе 1918 года, правда, говорилось

о публичности заключения брака в определенном помещении, наличии предварительного заявления от будущих супругов и удостоверений их личностей. Но никаких иных указаний, регламентирующих свадебную обрядность в сфере частного, не существовало. Тем не менее нормативное запрещающее суждение власти, отрицающее легитимность церковного брака, в сочетании с хозяйственными трудностями периода войны и революции и одновременным признанием законным лишь зарегистрированного семейного союза гарантировало как существование ритуала перехода, так и его революционную простоту и аскетизм. Ни кольца, ни подвенечное платье, ни фата, ни особый наряд жениха, ни свадебное застолье не являлись обязательными признаками официальной церемонии бракосочетания.

Вопрос о ритуале свадьбы в условиях диктатуры пролетариата стал актуальным после перехода к нэпу. Нормализация сферы повседневности, связанная с отходом от военно-коммунистических принципов, и определенная демократизация многих сторон жизни российского общества в 1920-х годах отразились в первую очередь на статусе загсов. Они полностью перешли под юрисдикцию местных советов, выйдя из подчинения НКВД. Но это не изменило «постности» советского брачного ритуала, диссонирующей с условиями мирной жизни. Отсутствие «театральности» могла восполнить церковная церемония бракосочетания, предполагавшая, возможно, скромные, но вполне определенные атрибуты, сопровождавшие появление новой семьи: подвенечные наряды, обмен кольцами, напутственные слова священника. Профессор политологии Мюнхенского университета В.А. Пирожкова, родившаяся в России и попавшая на Запад в годы Великой Отечественной войны, вспоминала, что ее старшая сестра, вышедшая замуж в 1919 году, так настаивала на венчании в церкви, что ее будущий супруг, солидный сорокалетний еврей, вынужден был спешно принять крещение. Брак, впрочем, оказался

непрочным. Оставив мужу двухлетнего сына, молодая женщина сбежала с неким «красавцем-мужчиной». Размышляя о перипетиях семейной жизни сестры, Пирожкова пишет: «Отчего Таня хотела венчаться... в церкви? Оттого, что это красиво...? В таинство брака она, очевидно, не верила, так как легкомысленно разрушила свою семью и хотела разрушить еще чужую»<sup>32</sup>. Похожая ситуация описана в романе Ю.П. Германа «Наши знакомые», первый вариант которого был создан в начале 1930-х годов. Один из главных героев книги, моряк Леонид Скворцов, намеревается венчаться в церкви, мотивируя свое желание не религиозными убеждениями, а тем, что венчание «красиво и торжественно»<sup>33</sup>. По данным уральских промышленных центров, в 1917-1921 годах 90% всех браков заключалось по религиозному обряду<sup>34</sup>. В небольших городах, как, например, в Ельце, в первой половине 1920-х годов действовал даже институт свах, которых, по воспоминаниям горожан, «всегда встречали хоть каким-нибудь да угощением. Время ведь было голодное, беспокойное, да и парней мало»<sup>35</sup>. И все же на уровне нормализующих суждений свадьба по религиозному обряду, как и любая иная несоветская обрядность, маркировалась как аномалия.

Борьбу с церковными браками в начале 1920-х годов развернул комсомол. Это совпало с укреплением бытовых практик нэпа. В кампанию по осуждению церковных браков включилась комсомольская печать. В 1922 году газета «Смена» организовала специальную рубрику «За жабры». Здесь печатались сатирические заметки, бичующие прежде всего «пережитки прошлого». К их числу был отнесен брак, освященный церковью. Характерный пример лексики таких заметок можно найти в письме рабкора завода «Полиграф», напечатанном «Сменой» в сентябре 1923 года: «В коллективе завода комсомолец Степан Григорьев отличился. Зная, что комсомол ведет борьбу с религиозным дурманом, женился церковным браком. За такую любовь возьми, "Смена", этих набожных комсомольцев



за жабры»<sup>36</sup>. Примерно к этому же времени относится и публикация в московской газете «Молодой ленинец», рассказывающая о товарищеском суде над молодым рабочим Первой московской образцовой типографии. Комсомолец обвинялся в тяжком преступлении — венчании в церкви. Главный вопрос, который стремились выяснить в ходе импровизированного судебного разбирательства: «Что дороже: жена (настаивавшая на венчании. — НЛ.) или коммунистическая партия?»<sup>37</sup> В нормализующих суждениях во второй половине 1920-х годов, таким образом, четко формулировалась аномальная природа церковного брака. Неудивительно, что под влиянием антицерковной пропаганды, а главное, в ситуации нелегитимности актов «обычного права церкви» количество венчаний стало сокращаться. Так, в 1924 году в Череповце венчались чуть больше половины всех новобрачных, в Москве в 1925 году — всего 21%<sup>38</sup>. Полное отрицание религиозного освящения семьи в 1920-е годы можно зафиксировать и в студенческой среде. Юноши и девушки, приезжавшие в крупные города учиться, вступая в брак, никогда не шли в церковь. Бывшая рабфаковка Петроградского университета А.И. Ростикова вспоминала, что ее подруги и соседки по общежитию официально регистрировали браки в районном загсе<sup>39</sup>. О секуляризации законных брачных отношений свидетельствует и художественный нарратив. В романе Н.А. Островского «Как закалялась сталь» описана свадьба двух комсомольцев: «А через несколько дней... был товарищеский вечер без еды и питья — коммунистическая вечеринка в честь содружества Тали и Николая. Это был вечер воспоминаний, чтения отрывков из наиболее волнующих книг. Много и хорошо пели хором»<sup>40</sup>.

Л.Д. Троцкий, опираясь на опыт проведения свадеб по-новому, писал: «Женитьба, пожалуй, легче обходится без обрядности. Хотя и здесь сколько было "недоразумений" и исключений из партии по поводу венчания в церкви». Ниже лидер борьбы за новый быт вынужден был признать: «Не хочет



мириться быт с "голым" браком, не украшенным театральностью»<sup>41</sup>. В качестве действия, которое могло бы соперничать с церковным бракосочетанием — ритуально отлаженным, предусматривающим особые наряды жениха и невесты и другую яркую атрибутику, — были предложены «красные свадьбы». Они стали органической частью формирующихся коммунистических обрядов перехода. Инициатива по созданию и внедрению этих новых бытовых норм в повседневность принадлежала комсомолу. Как и в случае с «красными крестинами», «звездинами», «октябринами» и т.п., властные структуры придерживались политики лояльного нейтралитета, возложив ответственность за «красные свадьбы» на молодежную коммунистическую организацию. Весной 1924 года ЦК ВЛКСМ отмечал огромные, а главное, как тогда казалось, устойчивые сдвиги в быту: «Октябрины вместо крестин, гражданские похороны и свадьбы, введение новой обрядовости вместо религиозной стали в рабочей среде массовым явлением»<sup>42</sup>.

В исторических источниках феномен «красных свадеб» фиксируется как бытовая норма политизированного характера:

«После избрания президиума, в который вошли и новобрачные, секретарь ячейки РКП... делает доклад о значении красной свадьбы в новом быту. После доклада новобрачные, взявшись за руки, выходят вперед — на край сцены, за ними развеивается комсомольское знамя. Читают договор, из которого видно, что она — беспартийная работница... и он — технический секретарь ячейки РКП, коммунист... вступают в союз по взаимному согласию и обязуются жить честно, воспитывая детей честными гражданами СССР. Последнее слово покрывается рокотом аплодисментов. Здесь же подарки: от женотдела — одеяло, от заводоуправления — отрез сукна, от культкомиссии — три книжечки — "Азбука коммунизма", "Дочь революции", "Вопросы быта". После торжественной части спектакль — "Драма летчика", сильно взволновавшая рабочих»<sup>43</sup>.

В довольно четком ритуале «красной свадьбы» не предусматривались какие-либо предпочтения, касавшиеся одежды новобрачных или последующей праздничной трапезы. Лишь в отдельных случаях гости и новобрачные пили вместе чай. В художественной литературе 1920-х годов, правда, существуют упоминания об особых нарядах «красных» женихов и невест. В рассказе Н.А. Брыкина «Собачья свадьба» (1926) можно прочитать следующее: «Молодые со значками, шарфами красными опоясаны, цветы в красном, гости с черемухой, перевязанной красными ленточками...»<sup>44</sup>. Но такая детализация носит метафорический характер. Двойной метафорой выглядит и сатирическая картинка якобы «красной свадьбы» в феерической комедии В.В. Маяковского «Клоп»:

*«Присыпкин. Товарищ Баян, я за свои деньги требую, чтобы была красная свадьба и никаких богов! Понял?*

*Баян. Да что вы, товарищ Скрипкин, не то что понял, а силой, согласно Плеханову, дозволенного марксистам воображения я как бы сквозь призму вижу ваше классовое, возвышенное, изящное и упоительное торжество!.. Невеста вылезит из кареты — красная невеста... вся красная, — упарилась, значит; ее выводит красный посаженный отец, бухгалтер Ерыкалов, — он как раз мужчина тучный, красный, апоплексический... весь стол в красной ветчине и бутылки с красными головками»<sup>45</sup>.*

Одновременно ряд фольклорных источников зафиксировал отрицательное отношение сторонников и организаторов «красных свадеб» и к традиционной одежде новобрачных, и к аксессуарам, необходимым для совершения таинства венчания:

Мать венчать меня хотела  
По-старинке с кольцами.  
По-другому вышло дело:  
В клубе с комсомольцами.

Платья белого не надо  
И фата мне не нужна.  
И в платочке я нарядна,  
Комсомольская жена<sup>46</sup>.

### *Брак под надзором НКВД*

Эксперимент в сфере брачной обрядности был приостановлен принятием в 1926 году нового брачно-семейного кодекса, приравнявшего фактические браки к зарегистрированным. Частным делом стал не только вопрос о юридическом закреплении брака, но и сам брачный ритуал, выведенный из сферы публичности. Внешняя индифферентность власти, то есть отсутствие каких-либо нормативных документов, регламентирующих обрядную сторону и атрибутику гражданской церемонии бракосочетания, легко корректировалась общими постулатами советской социальной политики и жесткими контурами повседневности времени первых пятилеток. Нормированное снабжение населения продуктами питания и товарами в конце 1920-х — середине 1930-х годов осложняло не только организацию свадебных торжеств, но и обыденную жизнь. Пыльные помещения загсов, где за одним столом регистрировали и браки, и смерти, не порождали необходимости в особых ритуалах. Одновременно власть принимала ряд нормативных решений по антирелигиозной пропаганде, в которых указывалось на необходимость отстранить церковь от контроля над повседневной жизнью населения. В письме ЦК ВКП(б) «О мерах по усилению антирелигиозной работы» от 24 января 1929 года подчеркивалось: «Партийным комитетам и исполкомам необходимо поставить вопрос об использовании Загсов в целях борьбы с поповщиной, церковными обрядами и пережитками старого быта...»<sup>47</sup>

На рубеже 1920-1930-х годов из повседневной жизни горожан исчезли обручальные кольца. Их не надевали не только молодожены, но и старались не носить супруги со стажем. В эпоху «красных свадеб» отказ от колец был результатом влияния нормализующих суждений в первую очередь комсомольских организаций. Показательна фраза из протокола собрания комсомольского коллектива петроградской фабрики «Красное знамя» от 1 августа 1923 года. Комсомольцам предлагалось быть «дальше от разных ношений драгоценностей»<sup>48</sup>. Популярной в молодежной среде стала частушка со словами:

Выньте серьги, бросьте кольца:  
Вас любят комсомольцы.

В начале 1930-х у большинства семей возникла необходимость сдавать оставшиеся золотые и серебряные изделия в систему магазинов Торгсина для покупки продуктов питания. Кроме того, в 1932-1934 годах в крупных городах прошла кампания по «выколачиванию золота». Академик И.П. Павлов с возмущением писал В.М. Молотову: «Люди, которые подозревались в том, что у них есть сбережения в виде золота, драгоценностей и валюты, хотя и незначительные, если они не отдавали их прямо, лишались свободы, заключались в одну комнату и подвергались, конечно, пыткам, должны были стоять, днями и неделями голодали и даже были ограничены в свободе пользоваться уборной... А отнимут каких-то пустячков, золотой крестик, которые верующие носят на груди, серебряный подарок покойного мужа»<sup>49</sup>. Сведения из письма Павлова подтверждаются устными рассказами о специально созданных для этих целей жарко натопленных помещениях — «парилках», где арестованные стояли, тесно прижавшись друг к другу. Больше суток выдерживали немногие. Боясь попасть в «парилку», многие отдавали золото добровольно. Об этом, в частности, вспоминала литературовед Скрябина.

Ее начальник, комендант завода, неоднократно намекал молодой женщине, что ношение обручальных колец — буржуазный предрассудок и драгоценность следует сдать государству<sup>50</sup>. Чудом сохранившиеся украшения в 1930-е годы рядовые горожане старались не носить.

Казенность атмосферы, в которой советские люди вступали в брак, в годы предвоенного сталинизма усугубилась изменением ведомственного подчинения загсов. В июле 1934 года ЦИК СССР принял постановление «Об образовании общесоюзного Народного комиссариата внутренних дел СССР», в состав которого вошел и Отдел записей актов гражданского состояния, а в октябре 1934 года появился законодательный акт «Об установлении штатов органов ЗАГС НКВД и о порядке функционирования этих органов». Размещение загсов в зданиях местных отделов милиции не придало советскому обряду бракосочетания дополнительной торжественности, если не считать штампа в паспорте.

Однако во второй половине 1930-х годов в сфере нормализующих суждений власти произошли существенные изменения. В моралистической риторике формировавшегося большого стиля превалировала теперь ориентация на моногамный официальный брак и осуждение добрачных и внебрачных половых связей. В данном контексте сталинская позиция совпадала с религиозно-патриархальной. Это становилось важным в ситуации начавшегося в сентябре 1943 года государственного примирения с православной церковью, породившего надежды на либерализацию отношения власти к церковному браку. Тем не менее в условиях послевоенной повседневности власть по-прежнему следила за динамикой фактов венчания, расценивая его как социальную аномалию. Однако, как свидетельствует уже упоминавшаяся «Справка, составленная по данным отчетов уполномоченных Совета по делам Русской православной церкви за второй квартал 1946 г.», люди обращались к церкви для освящения брака значительно

реже, чем для крещения новорожденных или отпевания умерших. Венчали в среднем не более 15% новобрачных<sup>51</sup>. Скорее всего, это объяснялось относительной самостоятельностью молодых людей, вступающих в брак, независимостью их решения от желания родителей.

Кроме того, послевоенный большой стиль с выраженными чертами имперской монументальности порождал надежды на возвращение пышных свадебных торжеств. Об этом свидетельствуют художественные фильмы: «Свинарка и пастух», вышедший накануне Великой Отечественной войны, «Кубанские казаки» и в особенности «Свадьба с приданым». Фильм представлял собой экранизированную версию спектакля Московского театра сатиры по пьесе Н.М. Дьяконова, премьеры которого состоялась в конце 1949 года. Перенесенная на киноэкран, «Свадьба с приданым» стала доступна массовому зрителю и явилась своеобразной презентацией новых представлений о брачной обрядности. В фильме-спектакле, вышедшем в прокат в декабре 1953 года и сразу продемонстрированном советским телевидением, невеста появляется в специальном белом платье и в накинутом на голову тонком шелковом шарфе — аналоге фаты, а жених — в черном костюме, в белой рубашке с галстуком. Однако никаких нормативных суждений по поводу формы брачного церемониала сталинское руководство не создавало. Не существовало надежды и на легитимизацию обряда венчания.

*«Не поехать ли нам в крематорий?»*

Классическая и неопровержимая дихотомия — «жизнь и смерть» — представляет собой самое веское доказательство взаимодополнительности понятий «норма» и «аномалия». Смерть, несомненно, является нормой жизни и в то же время ее самым стабильным элементом. На протяжении всей

истории человечества мрачную торжественность обрядов, сопровождающих уход человека в мир иной, считают показателем уровня развития цивилизации. Как известно, к началу XX века христианская ритуалистика похорон в мире уже претерпела серьезные изменения: в Европе и Северной Америке появились официальные крематории. Этот факт продемонстрировал не только жесткость надвигающейся индустриальной цивилизации, но и ее рационализм, выражением которого в определенной степени стала так называемая «смерть перевернутая». Это понятие введено французским исследователем Ф. Арьесом. Он утверждает, что «с начала XX в. общество психологически готово к тому, чтобы удалить от себя смерть, лишить ее характера публичной церемонии, сделав ее приватным актом, в котором участвуют лишь самые близкие...»<sup>52</sup>. Интерпретируя идеи французского ученого, российский историк А.Я. Гуревич писал: «Общество ведет себя так, как будто никто не умирает и смерть индивида не пробивает никакой брешки в структуре общества»<sup>53</sup>. Представители постмодернистской философии, в частности Ж. Бодрийяр, отмечают, что в XX веке смерть вытесняется в пространство маргинального, полностью отделяется от жизни, несмотря на извечную дихотомию этих понятий<sup>54</sup>. В первую очередь это выражалось в рационализации обряда похорон и в изменении символической значимости огня, который в христианских представлениях доиндустриального времени никогда не рассматривался как способ погребения. В странах Европы после Первой мировой войны появляются памятники Неизвестному солдату в виде вечного огня как символа вечной памяти. Одновременно европейское революционное движение, традиции которого питали русский большевизм, рассматривало огонь как символ свободлюбивых устремлений. В ментальное™ европейцев в начале XX века эти две ипостаси огня — огонь очищающий и огонь пожирающий — спокойно сосуществовали.

В России модернизационные процессы шли медленно. К началу XX столетия в ментальности российских горожан сложились довольно четкие представления о духовной значимости, биологической сущности и социальном статусе смерти. Эти представления соответствовали качеству и пространственно-предметному контексту городской среды и определялись уровнем религиозности населения. Кончина человека регулировалась принципами обычного права, прежде всего русской православной церкви. Даже в крупных городах, например в Петрограде накануне 1917 года, 90% умерших хоронили с религиозными обрядами, а могилы были персональными. Этот ритуал считался традицией и, следовательно, нормой, закрепленной и в бытовых практиках, и в ментальных представлениях.

Одновременно в среде интеллигенции идеи модернизации и секуляризации не только бракосочетания, развода, фиксации рождения, но и погребения были уже достаточно популярны. Более того, многие интеллектуалы явно тяготели к концепциям разрушения традиционного мироустройства, своеобразному сакральному кощунству, демонстративному ниспровержению духовных символов прошлого. Популярность приобретали новые художественные формы постижения мира. В программных документах и произведениях литераторов и художников в предреволюционной России можно обнаружить явные претензии на мессианство, выдвижение идеи человекобога. Эти духовные искания, входившие в противоречие с принципами христианско-патриархальной морали, господствовавшей в царской России, прекрасно сочетались с надвигавшейся эпохой техники и рационализма. Она захватывала и сферы искусства, и пространство повседневности. На российской почве явно вызревала новая эстетика целесообразности, в системе которой немаловажная роль отводилась уничтожению всего старого, отжившего и всячески превозносилась символика огня как способ очищения от прошлого, не соответствующего ускоренному жизненному ритму индустриального общества. Определенная



часть интеллигенции была готова к смене представлений о нормах морали и, в частности, о культе смерти и памяти. Неудивительно, что сразу после событий февраля 1917 года деятели культуры и искусства, сотрудничавшие с Временным правительством, поддержали идею о том, что похороны жертв революции «должны быть всенародные, общегражданские (без церковного обряда, каковой будет совершен родственниками убитых по их усмотрению)»<sup>55</sup>. Писатель Ф.К. Сологуб писал по этому поводу: «Конечно, похороны должны быть гражданскими, вне вероисповедания, так как хоронить придется людей разных исповеданий, людей верующих и... совершенно равнодушных к вопросам религии. И в этом единении святость, в нем высшая праведность человеческой души. <...> Мы, косневшие в оковах смрадного быта, их смертью искуплены для... светлого будущего»<sup>56</sup>. Это были первые официальные гражданские похороны в России. Новое «индустриальное» отношение к смерти способствовало возникновению иных норм культа умерших и увековечения их памяти.

После прихода к власти партия большевиков стала контролировать те сферы жизни, которые ранее входили в «обычное право» церкви, — в том числе, конечно, обрядность смерти. Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 18 декабря 1917 года «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния» регистрация актов смерти изымалась из ведения церкви и передавалась местным советам. Документы, выданные религиозными организациями, считались недействительными. Кроме того, традиционное отпевание усопших разрешалось только при получении удостоверений о регистрации смерти в местных органах советской власти. Это уже само по себе нарушало обычную процедуру, сопровождавшую уход человека в мир иной, заметно ее примитивизируя. Отменялись пышные «разрядные» похороны, что неминуемо влекло за собой отказ от исполнения традиционных треб. Согласно же декрету СНК РСФСР от 7 декабря 1918 года «О кладбищах и похоронах», «все

кладбища, *крематории* (курсив мой. — Я.Л.) и морги, а также организация похорон граждан» поступали «в ведение местных Совдепов»<sup>57</sup>. Формулировка эта выглядит странной, ведь в России в 1918 году не было ни одного крематория, хотя идеи о новых обрядах (нормах) погребения были не чужды российской общественности. Не случайно еще в 1909 году специально созданная при Святейшем Синоде комиссия составила «Заметку о сжигании трупов с православной церковной точки зрения», в которой указывалось, что «самым естественным способом погребения признается предание трупов земле... предание тела близкого не земле, а огню представляется по меньшей мере как своеволие, противное воле Божией, и дело кощунственное»<sup>58</sup>.

Известно, что накануне Первой мировой войны власти Петербурга, обеспокоенные бурным ростом населения города, пытались предпринять меры по организации системы сжигания трупов. Комиссия народного здоровья при Государственной думе даже рассматривала законопроект постройки крематория. Идея была одобрена Министерством внутренних дел, но встретила сопротивление представителей Синода. Они не приняли во внимание даже сделанную в законопроекте оговорку о том, что сжиганию могли подвергаться лишь покойники тех вероисповеданий, где допускался подобный способ погребения, или при жизни выразившие желание быть кремированными.

Крематорий в России построен не был, хотя санитарно-гигиеническая потребность в нем ощущалась. Кроме того, война с ее неизбежными жертвами диктовала необходимость изменения отношения к смерти. В данном случае нельзя не согласиться с Ф. Арьесом, считающим, что увеличение показателей смертности должно способствовать появлению в ментальности населения, с одной стороны, страха перед смертью, с другой — стремления ее завуалировать, приукрасить, по возможности умолчать о ее малоэстетичных сторонах. Акт кремации в данном случае является знаковым выражением появления новых ментальных норм. В семиотическом контексте

наиболее очевидным разрушением привычной погребальной обрядности явилось предпринятое большевиками создание первого в России крематория. В.З. Паперный обратил внимание на то, что в системе ранних большевистских ценностей, именуемой «культурой 1», с характерным для нее культом разрушения, огонь и сжигание имели особое место. Крематорий, пишет Паперный, «постоянно противопоставляется кладбищу. Слово "кладбище" употребляется с негативным значением»<sup>59</sup>. Идея постройки крематория в Петрограде может быть истолкована как символический акт уничтожения старой нормы погребения. Общество подсознательно формирует свою стратегию отношения к смерти. Однако возникновение и новых практик, и новых дискурсов в этой сфере может провоцироваться нормативными и нормализующими суждениями властей и идеологических структур. Такими суждениями были в данном случае декреты большевиков о секуляризации обычного права церкви 1917 года. Провоцирующим же актом можно считать декрет Совета комиссаров Союза коммун Северной области от 26 января 1919 года о допустимости и предпочтительности кремации покойников.

Внедрение трупосжигания в России большевики рассматривали как часть антирелигиозной кампании. Журнал «Церковь и революция» в 1920 году объявил конкурс проектов первого в Советской России крематория. Систему трупосжигания большевистские лидеры именовали «кафедрой безбожия». В это же время Л.Д. Троцкий выступил в прессе с серией статей, в которых призвал всех лидеров советского правительства завещать сжечь свои тела<sup>60</sup>. Фабула появления первого крематория в Советской России заслуживает специального изложения. Ведь до сих пор в архитектурной и культурологической литературе бытует представление, что впервые учреждение по ритуальному сжиганию трупов в СССР появилось в Москве в 1927 году. Однако на самом деле новые нормы погребения, как и сама советская власть, зародились в Петрограде.

Готовность к преобразованию искусства, а затем и всего общества на новой индустриально-атеистической основе позволила уже после прихода большевиков к власти большой группе петроградских деятелей культуры и искусства принять активное участие в осуществлении ленинского плана монументальной пропаганды, частью которой явилось и строительство петроградского крематория. При Петросовете была создана комиссия, которую возглавил член коллегии Комиссариата внутренних дел Б.Г. Каплун<sup>61</sup>. В состав комиссии вошли Л.Н. Бенуа, юрист Л.А. Ильин, архитектор Д.Д. Гримм и другие. Усилиями этих людей был организован конкурс на лучший проект крематория, подразделявшийся на две части: «составление проекта печи для сжигания человеческих трупов» и «составление проекта крематориума»<sup>62</sup>. Архитектурная часть программы конкурса возведения крематория давала подробное описание всех необходимых помещений. На первом этаже предполагалось разместить: «1) Вестибюль — около 15 кв. саж. 2) Большой зал для совершения обрядов; в зале должно быть предусмотрено возвышение для певчих или оркестра — все помещения... около 100 кв. саж. 3) Два малых зала для той же цели, около 20 кв. саж. 4) Зал для урн — около 40 кв. саж. — может быть в виде галереи. 5) Две ожидальни — одна для родственников, другая для публики, поблизости к главному входу. 6) 2-3 комнаты для священнослужителей (курсив мой. — Н.Л.), каждая по 5-6 кв. саж. 7) Комната для певчих 10-12 кв. саж. 8) Ожидальная комната для носильщиков около 5-6 кв. саж.»<sup>63</sup>

Этот отрывок из программы сооружения крематория свидетельствует о тщательности подготовки конкурса и о том, что для части интеллектуалов вопрос о форме «огненного» захоронения не имел уже никакого кощунственного контекста. Постройка печи для трупосжигания казалась интересным творческим проектом, участие в котором позволяло реализовать новые представления о фиксации памяти, с одной стороны, и о современных, сугубо рациональных способах

утилизации тел умерших, с другой. К.С. Малевич в статье, опубликованной в газете «Искусство коммуны» в начале 1919 года, писал: «Сжегши мертвеца, получаем 1 грамм порошку, следовательно, на одной аптечной полке могут поместиться тысячи кладбищ». Организаторы конкурса предусмотрели и систему премирования участников: «Комиссии предоставляется право приобретения не премированных проектов по сумме последней премии (5000 р. — *Н.Л.*). Премированные и приобретенные проекты поступают в собственность Ком. Вн. Дел, остальные же должны быть взяты авторами в месячный срок после присуждения премий. Не взятые в срок поступают в собственность Ком. Вн. Дел»<sup>64</sup>. Эта практика была заимствована из дореволюционных времен. Питерский художник Ю.П. Анненков получил заказ нарисовать обложку для «рекламной брошюры» будущего сооружения. Позднее он вспоминал: «В этом веселом "проспекте" приводились временные правила о порядке сожжения трупов в "Петроградском городском крематориуме" и торжественно объявлялось, что "сожженным имеет право быть каждый умерший гражданин"»<sup>65</sup>. Уже в середине мая 1919 года Постоянная комиссия по постройке крематориума отмечала, что желание участвовать в конкурсе выразили более 200 человек и что «проявление столь большого интереса возможно объяснить лишь назревшей потребностью в осуществлении идеи кремации трупов...»<sup>66</sup>. Одновременно организаторы конкурса вынуждены были признать, что «сложившиеся обстоятельства поставили комиссию в весьма тяжелое положение: приближается срок представления конкурсных проектов, а комиссия не располагает средствами даже в размере, необходимом для выплаты назначенных премий и производства необходимых работ, которые связаны вообще с детальной разработкой проектов»<sup>67</sup>. Но какие-то первоначальные средства были, по-видимому, найдены, и конкурсные состязания продолжились. Победителем вышел И.Н. Фомин — автор проекта «Неизбежный путь». Однако

впоследствии предпочтение было отдано работе инженера А.Г. Джорогова, имевшей название «Жертва».

Но и этот проект не был полностью воплощен в жизнь. Победителю пришлось довольствоваться перестроенным под крематорий зданием бань на Васильевском острове. Очевидцы рассказывали: «Баня кое-где облицована мрамором, но тем убийственнее торчат кирпичи. Для того чтобы сделать потолки сводчатыми, устроены арки — из... дерева, которое затянуто лучиной. Стоит перегореть проводам — и весь крематорий в пламени»<sup>68</sup>. По-видимому, Джорогову не удалось воплотить все свои архитектурные замыслы — в отличие от проектировщика печи для трупосжигания, профессора Горного института В.Н. Липина. В 1921 году он издал брошюру под названием «Регенеративная кремационная печь "Металлург" системы проф. В.Н. Липина в Петроградском Крематории».

По сведениям автора брошюры, человека с техническим складом ума и весьма скрупулезного, первое сжигание было проведено 14 декабря 1920 года, хотя мемуаристы приводят и другие данные. Но для выявления социокультурного контекста постройки первого крематория точная дата начала его работы непринципиальна. Более важными представляются зафиксированные именно в мемуаристике возникшие в среде приближенной к власти интеллигенции новых бытовых норм отношения к смерти. Существуют сведения о том, что первого покойника, труп которого предстояло придать огню, торжественно выбрали в городском морге. В процедуре принял активное участие сам глава комиссии Б.Г. Каплун и приглашенные им Н.С. Гумилев, Ю.П. Анненков и некая юная особа, имя которой неизвестно. Возможно, это была балерина О.А. Спесивцева. Ю.П. Анненков вспоминал:

«В огромном сарае трупы, покрытые их лохмотьями, лежат на полу плечом к плечу, бесконечными рядами. Нас ожидала там дирекция и администрация крематория.

— Выбор предоставляется даме, — любезно заявил Каплун, обратившись к девушке.

Девушка кинула на нас взгляд, полный ужаса, и, сделав несколько робких шагов среди трупов, указала на одного из них (рука ее была, помню, в черной перчатке). <...> На груди избранника лежал кусочек грязного картона с карандашной надписью: "Иван Сидякин. Соц. пол.: Нищий".

— Итак, последний становится первым, — объявил Каплун и, обернувшись к нам, заметил с усмешкой:

— В общем, довольно забавный трюк, а?»<sup>69</sup>

Б.Г. Каплун любил «угощать» приближенных к нему людей экзотическим актом кремации — малоэстетичным и кощунственным с позиций христианско-православной культуры зрелищем. По воспоминаниям К.И. Чуковского, большевистский лидер в состоянии сплина часто говорил: «Не поехать ли в крематорий?», как прежде говорили: «Не поехать ли к "Кюба" или в "Виллу Родэ"?» Так до революции назывались самые шикарные петербургские рестораны. По свидетельствам очевидцев, обстановка в псевдокрематории была угнетающей. Тот же К.И. Чуковский писал в своем дневнике 1 января 1921 года: «Все голо и откровенно. Ни религия, ни поэзия, ни даже простая учтивость не скрашивают места сожжения. Революция отняла прежние обряды и декорумы и не дала своих. Все в шапках, курят, говорят о трупах, как о псах»<sup>70</sup>. Следует отметить, что это обстоятельство не помешало писателю взять с собой в крематорий свою юную дочь Лидию. Процедура сжигания, столь отличная от традиционного захоронения, по-видимому, влекла своей таинственностью.

По данным профессора В.Н. Липина, печь для трупосжигания проработала с 14 декабря 1920 года по 21 февраля 1921 года. За это время было кремировано около 400 усопших, причем менее 5% из них — по желанию родных или согласно завещанию. В марте 1921 года крематорий, по сути,

прекратил работу. Каплун пытался как-то исправить положение, но средств явно не хватало, а с введением нэпа угас и интерес архитекторов и инженеров к идее создания первой в России системы трупосжигания, которая просуществовала в Питере недолго. Однако если оперировать питерскими данными, то можно построить следующую гипотетическую модель. Крематорий был задуман и начал функционировать в период военного коммунизма. Действовавшая в это время жесткая система распределения была чревата насильственным навязыванием новых норм даже тех сторон повседневной жизни, которым свойственна особая инертность и традиционность. Стремление посредством создания системы кремации усопших разрушить привычный ритуал похорон можно рассматривать как следствие антирелигиозной политики власти большевиков. В ментальности основной массы населения даже такого крупного промышленного центра, как Петроград, пока еще не сложилось устойчивое понятие «извращенной смерти», свойственное для времени всеобщей модернизации.

*«Обрядность красного огненного погребения...»*

С переходом к нэпу население забыло о «всеобщем праве» быть сожженным. Кремация не стала распространенным ритуалом, сопровождавшим уход человека из жизни. Захоронения осуществлялись обычным путем, на кладбищах. Однако именно в первой половине 1920-х годов идеологическими структурами были предприняты попытки полностью секуляризировать то, что называлось обычным правом церкви, а именно ввести обряд «красных похорон». Кроме лидеров большевиков, о необходимости новых норм сопровождения человека в иной мир много писал литератор В.В. Вересаев. Выступая в ноябре 1925 года на пленуме Государственной



академии художеств он заявил: «Нельзя новых людей хоронить по-старому»<sup>71</sup>. Чуть позже в брошюре «Об обрядах новых и старых» (1926), характеризуя новые похороны без церковного обряда, Вересаев писал: «Похороны уже самых рядовых, простых граждан: какое тут непроходимое убожество, какая серость и трезвость обряда! И какая недоуменная растерянность присутствующих! Приходят люди — и решительно не знают, что им делать. Чувство, которое привело их к гробу, остается неоформленным, путей для его проявления не дается. В лучшем случае — плохенький, полулюбительский оркестр и опять — речи. Но что же можно сказать такого, что действительно бы потрясло сердце, о рядовом враче, транспортнике или металлисте? Будет набор напыщенных и преувеличенных похвал, которые будут только резать ухо своей фальшивостью»<sup>72</sup>. Литератор считал необходимым создать для советских похорон «нечто разнообразное, сложное и величественное». По сути своей эти высказывания носили антиклерикальный характер, что еще раз подчеркивает готовность части городского населения к смене привычных норм бытового поведения, связанных со смертью близких. В 1925 году без участия священников в Москве прошло 40% похорон<sup>73</sup>. Тем не менее в годы нэпа культ почитания могил внешне не был утрачен, но эта норма стала приобретать политический оттенок. На всех городских кладбищах появились специальные «коммунистические площадки», которые особенно тщательно убирались и охранялись. При этом власти нередко попирали народные представления о правилах захоронения. Прямо перед папертью Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры, например, с середины 1920-х годов стали размещать могилы крупных партийных и советских работников. Здесь в 1929 году была похоронена З.И. Лилина — жена Г.Е. Зиновьева, одна из ярых гонительниц русской православной церкви. В то же время старые захоронения приходили в упадок.

На фоне перехода к форсированному построению социализма и усилению антицерковной политики вновь всплыли идеи кремации. Уже в 1927 году в Москве, в здании Серафимовской церкви Донского монастыря, был открыт крематорий, который долгое время считался первым в России. Одно из монастырских зданий, отведенное под новое погребальное учреждение, перестроили по проекту архитектора Д.П. Осипова. Крематорий сразу превратился в одну из достопримечательностей Москвы. О нем с охотой писали в советской прессе, расценивая новую погребальную технологию прежде всего как антирелигиозный элемент убранистической культуры и способ рационального подхода к решению гигиенических проблем городов. «Крематорий — это конец мощам нетленным и прочим чудесам. Крематорий — это гигиена и упрощение захоронений, это отвоевание земли у мертвых для живых», — можно было прочесть в популярном журнале «Огонек» в 1927 году<sup>74</sup>. Филолог Ю.К. Щеглов, создавший уникальные комментарии к романам Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок», очень точно заметил: «Кремация вливается... в ежедневный дискурс, к ней вырабатывается своего рода черно-юмористический подход, и само слово "крематорий"... начинает звучать шуткой»<sup>75</sup>. Смерть человека теперь презентуется в некоем уничижительном контексте, что свидетельствует о формировании в ментальности советского человека нормы «смерть извращенная», о нарастающем пренебрежении к «отеческим гробам». Всероссийские фарсы вскрытия мощей, проведенные на государственном уровне, повлекли за собой волну актов надругательства над обывательскими могилами. К концу 1920-х годов в среде молодежи в первую очередь стала пользоваться поддержкой политика государства по уничтожению не только церковей, но и кладбищ. Опрос 1929 года зафиксировал множество предложений вообще сровнять с землей места захоронения предков, «а на месте кладбищ разбить парк... с театром, кино и культурными развлечениями»<sup>76</sup>. На фоне

подобных настроений особенно кощунственным выглядело создание «великих могил вождей», пантеонов защитников революции. В сознании западного «человека индустриального» рациональное отношение к смерти уживалось с ее строго регламентированным и постоянным культом. В Советской же России величие смерти признавалось, а сопровождение ее определенными ритуалами считалось необходимым лишь в том случае, когда из жизни уходил человек, значимый в новом обществе. Отменив традиционные для предреволюционной России разрядные похороны, большевики ввели свою иерархию погребальных ритуалов. Смерть явно окрашивалась в политические тона, что особенно активно культивировалось в период большого стиля и сопряженного с ним Большого террора.

Формальные показатели религиозности советского народа в конце 1930-х годов зафиксировала перепись 1937 года. Правда, сталинское руководство специальным постановлением СНК СССР от 25 сентября 1937 года объявило данные переписи дефектными. Ее организаторы были названы «врагами народа», «троцкистско-бухаринскими шпионами», извратившими действительную цифру численности населения<sup>77</sup>. Но даже согласно этим «искаженным» материалам, объявили себя верующими 32,6% ленинградцев, 35% мурманчан, 43,5% псковичей и новгородцев. Молодежь, безусловно, уже пропиталась чувством воинствующего атеизма. К числу религиозно настроенных, по разрозненным данным переписи 1937 года, относилось себя 8,8% 16-17-летних, 13,9% 18-19-летних, 17% 20-24-летних, 20% 25-29-летних, 25,3% 30-34-летних, 26,8% 35-39-летних ленинградцев. Но в группе лиц старше 60 лет эта цифра достигала 47,8%<sup>78</sup>. Скорее всего, отвечая положительно на вопрос о вере в бога, многие ассоциировали свою религиозность с исполнением культовых обрядов, что считалось бытовой нормой в первую очередь среди людей пожилого возраста. Они по привычке во время тяжелой болезни просили

вызвать к себе священника. Стариков чаще всего приходилось хоронить по церковным обрядам, о чем свидетельствуют документы комиссии по вопросам культов<sup>79</sup>. Бытовые практики многих пожилых горожан и в послевоенном советском обществе, на пике эпохи большого стиля, оставались связанными с религией. Для большинства стариков нормой повседневности оставалось отпевание покойных. В некоторых российских регионах эти случаи составляли 93% от всех похорон. При этом количество религиозных треб в данной ситуации возрастало. Так, в Новосибирске в первом полугодии 1945 года было зарегистрировано 1493 отпевания, а в апреле—мае 1946 года — уже 2024<sup>80</sup>. Нарастающее же безверие молодежи объяснялось изменениями бытового поведения и общего стиля повседневности, где обыденная религиозность, не говоря уже об истинной, превращалась в аномальное явление. И это отчетливо видно на примере секуляризации традиционной праздничной культуры.

*«Коммунистово воскресение — 25 октября»*

Религиозный характер бытовых практик населения в дореволюционной России проявлялся и в праздновании церковных торжеств, которые даже в крупных городах определяли ритм и приватной, и публичной повседневной жизни. Таким образом, нормализующее значение религиозных праздников придавало им весомость и в условиях провозглашенного отделения церкви от государства. Большевики, руководствуясь в первых своих социальных мероприятиях скорее буржуазно-демократическими, нежели социалистическими представлениями о свободе личности, не рискнули признать патологией все атрибуты обыденной религиозности населения. Неудивительно, что в декрете о восьмичасовом рабочем дне — одном из первых законодательных актов советской власти — фигурировали как

свободные, нерабочие дни двенадцать главнейших общепризнанных религиозных праздников. Но общегосударственных торжеств по этому поводу не проводилось. В годы Гражданской войны помпезное празднование годовщин Октября и 1 мая оттесняло традиционные для стилистики прошлой жизни религиозные торжества. Тем не менее в приватной сфере их все же продолжали отмечать даже в период военного коммунизма. Свидетельством того может являться запись 7 января 1920 года в дневнике К.И. Чуковского: «Поразительную вещь устроили дети: оказывается, они в течение месяца копили кусочки хлеба, которые им давали в гимназии, сушили их — и вот, изготовив белые фунтики с наклеенными картинками, набили эти фунтики сухарями и разложили их под елкой — как подарки родителям! Дети, которые готовят к рождеству сюрприз для отца и матери!»<sup>81</sup>

Нэп, вернувший многие нормальные бытовые практики, возродил и надежды на возможность всеобщего празднования Рождества, Пасхи и т.д. Нормативные суждения власти, в частности Уголовный кодекс 1922 года, по-прежнему подтверждали положение первых советских декретов, объявивших религию частным делом граждан. Препятствие исполнению религиозных обрядов, не мешающих общественному спокойствию, каралось законом. Неудивительно, что уже в 1921 году в Петрограде, например, когда 1 мая совпало с днем Пасхи, многие горожане, по воспоминаниям Б.Н. Лосского, предпочли большевистской демонстрации под красными флагами участие в крестном ходе, начавшемся в Александро-Невской лавре<sup>82</sup>.

Дальнейшая нормализация бытовых практик грозила возрождением ритуалов семейных и общих празднований, имеющих религиозный подтекст. Это ощущали властные и идеологические структуры. На переходном этапе от войны к миру они предприняли атаку на приватную сферу жизни горожан, пытаясь провести и здесь нормативно не оформленную,

но явно насильственную секуляризацию. Для придания привычным религиозным праздникам аномальной окраски было предпринято несколько шагов. Все они должны были оказать воздействие на ментальные представления населения, на быструю смену которых во многом надеялись большевики. Наибольшие надежды возлагались на атеистические молодежные выступления конца 1922 — начала 1923 года, явившиеся своеобразным заключительным аккордом антирелигиозной кампании 1922 года. Она связана с изъятием церковных ценностей согласно декрету ВЦИК РСФСР от 23 февраля 1922 года. Ныне совершенно очевидная политическая подоплека разграбления культовых учреждений была ловко закамуфлирована заботой о голодающих. Об этом наиболее ярко свидетельствует секретная циркулярная телеграмма ЦК РКП(б), направленная в адрес Северо-Западного бюро ЦК партии большевиков 25 марта 1922 года и подписанная В.М. Молотовым. В документе указывалось: «Политическая задача состоит в том, чтобы изолировать верхи церкви, скомпрометировать их на конкретном вопросе помощи голодающим и затем показать им суровую руку рабочего государства...»<sup>83</sup> Обращение к вопросам повседневной жизни — обеспечению населения питанием, спасению его от голода — позволило большевикам выиграть кампанию по изъятию церковных ценностей. Манипулирование обыденными нормами и ценностями, понятными грамотному и неграмотному, всегда эффективны в идеологической пропаганде. Обыденная религиозность довольно успешно трансформировалась в воинствующее безбожие при изменении бытовой ситуации, что использовалось большевиками.

Успех антирелигиозной кампании 1922 года, в результате которой в разряд аномалий попало стремление представителей духовенства сохранить в неприкосновенности высокохудожественные предметы культового обихода, открыл советские властные и идеологические структуры в их намерении объявить отклонением все формы обыденной религиозности.

В 1922-1923 годах повсеместно были проведены дни «комсомольского рождества» и «комсомольской пасхи» — целенаправленных антирелигиозных действий, развивавшихся в контексте общей жесткой по форме атеистической кампании 1922 года. Для ее продолжения издательство «Молодая гвардия» массовым тиражом опубликовало «Песенник революционных, антирелигиозных и украинских песен», «Антирелигиозный песенник» и т.д., а также специальные сценарии проведения «комсомольских рождества и пасхи». Деньги и на издания, и на сами празднества, как вспоминала в 1932 году Н.К. Крупская, дал Главполитпросвет<sup>84</sup>. Это выглядело довольно странно в условиях нэпа, когда был выдвинут лозунг строжайшей экономии в проведении даже революционных праздников. «Расточительность» властей в 1922-1923 годах объяснялась большими целями — религию и церковь, отделенные от государства декретивным путем, необходимо было отлучить и от повседневной жизни населения, от тех сфер, которые формально не подлежали государственному регулированию. На эту мысль наводит совпадение по времени письма В.И. Ленина членам Политбюро ЦК РКП(б) о порядке изъятия церковных ценностей (19 марта 1922 года)<sup>85</sup> и статьи «О значении воинствующего материализма» (12 марта 1922 года). В ней указывалось, что «массам необходимо дать самый разнообразный материал», «подойти к ним и так и эдак для того, чтобы их заинтересовать, пробудить от религиозного сна, встряхнуть их с самых разных сторон, самыми разными способами и т.д.»<sup>86</sup> Большинство лидеров РКП(б), как известно, бредило идеей внедрения на русской почве опыта французской буржуазной революции, во времена которой были распространены театрализованные антирелигиозные шествия. По их образцу, вероятно, и были задуманы «комсомольские рождество и пасха». В 1922 году в первый день Рождества (по старому стилю) на площадях и улицах многих российских городов были устроены антирелигиозные карнавалы и факельные шествия



с музыкой и песнями «антипоповского» толка. А в Царицыне (Волгограде), например, шумное антирелигиозное торжество прошло дважды: по старому и по новому стилю. В декабре комсомольцы провели карнавал около стен Илиодорского монастыря, а 6 января там же на импровизированной сцене показали спектакль по присланной из ЦК РКСМ пьесе «Бог-отец, бог-сын и К°». Представление собрало много молодежи<sup>87</sup>. Любопытно, что «комсомольское рождество» стремилось нанести удар не только по православию, но и по другим конфессиям. В Тамбове комсомольцы устроили в январе 1923 года антирелигиозное богослужение, во время которого пародировали действия священнослужителей всех религий<sup>88</sup>. В дни комсомольских антицерковных праздников на улицах городов часто звучали песни на слова Д. Бедного и В.М. Киршона. Каждый из них преуспел на поприще антирелигиозной поэзии. В знаменитых «Проводах» Д. Бедного давался конкретный совет, как необходимо расправляться с представителями духовенства в условиях советского государства:

Что с попом, что с кулаком — вся беседа:  
В брюхо толстое штыком мироеда.

Киршон, автор широко известной «Нашей карманьолы», предлагал в припеве следующий путь расправы со священнослужителями: «Живьем их всех на небо»<sup>89</sup>.

Антирождественские демонстрации в целом прошли мирно, хотя в Екатеринбурге у Златоустовской церкви комсомольцы все же подрались с верующими<sup>90</sup>. Сдержанная реакция населения, во всяком случае в крупных культурных и промышленных центрах, свидетельствовала о том, что «комсомольское рождество» не нарушило норму праздничной повседневности, ранее имевшей религиозный оттенок. Рождественские дни по советскому календарю пока еще считались нерабочими. Это обстоятельство было значительно важнее, чем неумелый



идеологический натиск комсомольцев. Ощущения патологичности празднования горожанами традиционной даты не возникло. Более того, «политизированное» веселье на улицах городов, как ни парадоксально, у части населения усиливало праздничное настроение. По форме шествия комсомольцев напоминали традиционные русские святки, также имевшие карнавальную основу и элементы кощунственного смеха. Это были присущие российской ментальности приемы осмеяния религии. Действительно, в России испокон веков сосуществовали высокий уровень веры и смеховая культура, направленная прежде всего против ханжеской святости и напускного благочестия. Народная, во многом языческая традиция святочного, как и вольного пасхального смеха, вполне уживалась с церковной культурой<sup>91</sup>.

Благополучно завершившаяся кампания дала ЦК РКСМ право продолжить свою антирелигиозную деятельность. 26 января 1923 года бюро ЦК комсомола приняло решение: «Принять постановление... об установлении 7 января "днем свержения богов" и ежегодном проведении его по СССР»<sup>92</sup>. Центральный комитет партии придерживался иного мнения. В феврале 1923 года антирелигиозная комиссия при ЦК ВКП(б) пришла к выводу о необходимости воздержаться от шумных шествий и карнавалов в дни Пасхи<sup>93</sup>. Эту идею поддержал и XII съезд РКП(б), подчеркнувший в постановлении «О постановке антирелигиозной агитации и пропаганды», что «нарочито грубые методы, часто практикующиеся в центре и на местах, издевательства над предметами веры и культа взамен серьезного анализа и объяснения не ускоряют, а наоборот, затрудняют освобождение масс от религиозных предрассудков»<sup>94</sup>.

Внешние перемены в политике властей в 1923 году, скорее всего, можно объяснить идеологической неэффективностью кампаний «комсомольского рождества», а также постепенным возвращением традиционных бытовых практик

населения, что свидетельствовало об укреплении нэпа как периода нормального развития повседневности.

Однако от идеи изжить в ментальности населения элементы обыденной религиозности властные и идеологические структуры отказываться не намеревались. Напротив, видные деятели партии большевиков Е.М. Ярославский, И.И. Скворцов-Степанов, П.А. Красиков вошли в центральную комиссию по подготовке «комсомольской пасхи» 1923 года. Они явно намеревались придать мероприятию более точно направленный идеологический характер, очистив от традиций русской смеховой культуры, которая воспринималась населением как норма, сопутствующая религиозным праздникам.

Перемена вектора в нормализующих суждениях власти нашла отражение и в документах, носящих оттенок ментальных настроений части горожан, — в резолюциях собраний комсомольцев, наиболее активно участвовавших в антирелигиозных кампаниях. Комсомольское собрание петроградской фабрики «Красный треугольник» весной 1923 года, обязав всех членов РКСМ присутствовать на «комсомольской пасхе», «ибо там будет представляться вся ложь и ненужность религии и тот вред, который она приносит», приняло тем не менее решение не закрывать сразу «все церкви, а вести агитацию через революционные кружки»<sup>95</sup>. Комсомольцы Балтийского завода на Пасху в 1923 году собрались в клубе, заслушали доклад о вреде пасхального веселья, но «организованно на улицы и в церковь не ходили и никого не разгоняли»<sup>96</sup>. В Иванове в план антипасхальных мероприятий 1923 года губком комсомола включил прежде всего доклады «Рабочий класс и религия», «Пасха Христа и Первомайский праздник», «Совместима ли наука с религией?», а не костюмированные шествия<sup>97</sup>.

Но многим, и в первую очередь молодежи, такие «наукообразные» торжества были не по душе, они выглядели как аномалия, так как не могли заменить привычных пасхальных гуляний, зрелища пышных ночных служб и приподнятого

настроения, царившего всегда в эти дни. Неудивительно, что, несмотря на запреты губернских партийных и комсомольских комитетов, в некоторых городах молодые люди все же устроили костюмированные шествия. Одновременно было зафиксировано явное прибавление молодых людей среди прихожан церкви в часы пасхальных богослужений<sup>98</sup>.

Эти факты вынудили идеологические структуры начать подготовку к Рождеству уже в ноябре 1923 года. 20 ноября ЦК комсомола принял циркуляр, где отмечалось: «Проведение клубных вечеров в канун рождества должно иметь своей главной целью отвлечение молодежи от посещения церкви». Одновременно в документе указывалось: «Противопоповские методы пропаганды естественно отходят на задний план. При проведении комсомольского рождества совершенно не должны иметь места антирелигиозные демонстрации в виде карнавалов и т.д.»<sup>99</sup> Создается впечатление, что власти опасались своеобразного обратного эффекта агитационных атеистических мероприятий, имеющих карнавально-театрализованную форму, — единения верующих и неверующих, стремящихся скрасить досуг публичными развлечениями.

В 1923 году власти начали скрупулезно придерживаться статей УК РСФСР, согласно которым препятствовать исполнению религиозных обрядов было наказуемым деянием. Тем самым демонстрировалась внешняя лояльность по отношению к религии. Крупные церковные праздники, считавшиеся по советскому календарю нерабочими днями, стали отмечаться почти официально, во всяком случае публично. Многие горожане, особенно те, чье детство совпало с годами нэпа, вспоминают шумное веселье, буквально бушевавшее на улицах и площадях города в рождественские и пасхальные дни. Старому питерцу П.П. Бондаренко больше всего запомнился праздник Вербного воскресенья: «Весенний этот праздник ожидали с нетерпением. Праздновали его за неделю до Пасхи...» Мемуарист дал пространное описание гуляний с обязательной торговлей

традиционными лакомствами, с каруселями, балаганными представлениями, особыми игрушками публичных уличных торжеств: свистульками, мячиками-раскидаями, «тешиним языком»<sup>100</sup>. Но особое внимание публики, судя по тексту Бондаренко, привлекало помещение без крыши, «что-то среднее между старинным балаганом и кукольным театром»<sup>101</sup>. Это подчеркивает устойчивое стремление горожан к ярмарочно-карнавальным зрелищам, независимо от их идеологической нагрузки.

Власти после успешного завершения кампании по изъятию церковных ценностей стали несколько спокойнее относиться к традиционным религиозным праздникам, а главное, к сопутствующим им бытовым практикам народных забав. Более того, в Петрограде, например, руководство города в 1923-1925 годах определяло место проведения общегородских праздников, прежде всего Рождества, Вербного воскресенья, Пасхи. Имелось в виду регулирование не церковных торжеств, а уличных гуляний отчасти с целью контроля за «низменными инстинктами толпы», которые, по мнению большевистских идеологических институтов, проявлялись с особой силой во время религиозных праздников. Властные и идеологические структуры формально не участвовали в организации гуляний, но и не противодействовали им, во многом смирившись с атмосферой социального «хаоса» нэпа со свойственными ей множественностью и определенной равноправностью бытовых практик.

Советские институты под влиянием процесса общей нормализации повседневной жизни приостановили активное вытеснение церкви из традиционных бытовых сфер, тем самым признав нормой праздники, имеющие религиозный подтекст. Лишь комсомол не оставил попыток внедрить новые формы быта, на фоне которых привычные церковные торжества выглядели бы патологией. В 1924 году Ленинградский губком ВЛКСМ, например, разработал «Указания к проведению клубного

вечера комсомольской пасхи». Это был целенаправленный план трансформации бытовых норм. Прежде всего предполагалось изменить пространство проведения праздников. В предпасхальные и пасхальные дни необходимо было собрать людей в клубе. «Создав уют и красиво убрав его, — указывал губком комсомола, — мы должны остановить внимание присутствующих на том, что церковь в новом быту заменяется клубом..»<sup>102</sup> Следующим шагом было противопоставление семейного быта и семейных традиций социалистическим нормам повседневности. В докладе, которым должен был начинаться любой клубный вечер, связанный с церковными праздниками, необходимо было «уделить особое внимание той борьбе, которую выдерживают рабочие подростки дома в семье за невыполнение церковных обрядов...»<sup>103</sup>

После доклада необходимо было провести голосование по следующим вопросам: «Нужны ли церковные праздники?» и «Нужно ли заменить церковные праздники революционными?» В конце вечера в обязательном порядке принималась следующая резолюция: «Наши отцы и матери доселе празднуют церковные праздники, чуждые рабочим. Они делают это по привычке. Мы, рабочая молодежь, рвем обветшалые остатки религиозного быта. Мы не верим в церковные чудеса. Вместо слепой веры мы стремимся к точному знанию и науке. Долой церковные празднества. Их место должны занять пролетарские торжества»<sup>104</sup>.

Действительно, летом 1924 года Ленинградский губком ВКП(б) предложил начать «постепенное превращение старой Троицы в новый праздник "окончания весеннего сева"»<sup>105</sup>. Идея эта была встречена многими людьми, внешне далекими от политики, с пониманием. В Ярославле на моторном (автомобильном) заводе рабочие выступили с предложением заменить праздник Вознесения днем Интернационала; Духов день — днем расстрела рабочих; Преображение — днем ликвидации белогвардейского мятежа в Ярославле; Успение — днем

пролетарской диктатуры, при условии что эти дни, обретшие новую политическую окраску, по-прежнему будут нерабочими.

Такая «беспринципная» позиция обывателя объяснялась очень просто. В 1924 году днем отдыха уже перестал считаться праздник Воздвижения, а в 1925-м — Крещения и Благовещения. Власти, искореняя религию, на самом деле сокращали объем свободного времени, что особенно сильно ощущали именно горожане. Правда, одновременно появлялись новые, революционные праздники, так называемые «красные дни календаря». К выделенным еще в 1917 году дню свержения царизма — 27 февраля — и дню пролетарской солидарности — 1 мая — прибавились день 7 ноября, день Кровавого воскресенья, день памяти Ленина, день Парижской коммуны. Однако бытовой традиции празднования «красных дат» пока не существовало, и еще не отмененные Рождество и Пасху в середине 1920-х годов отмечали практически все горожане, независимо от социального положения. Этому способствовали нормализация структуры потребления, появление возможности приготовить традиционные вкусные блюда, нарядиться в обноvy, купить подарки близким.

Горожане в годы нэпа вновь стали ходить в храмы на торжественные службы, правда, обычно не придавая этому сугубо религиозного значения. Опрос рабочих, традиционно посещавших церкви в Пасху, который провел ЦК комсомола в 1924 году, выявил следующую мотивировку походов на пасхальные и рождественские службы: «Настроение такое, что хочется куда-нибудь пойти, идти некуда, рабочие и идут в храм просто потому, что... хор хорошо поет»<sup>106</sup>. Художник В.И. Курдов вспоминал о том, как он был на пасхальной заутрене в 1926 году и, словно в детстве, вновь стоял «в толпе верующих, а теперь и просто любопытствующих людей с горящей свечкой в руке...»<sup>107</sup>.

К середине 1920-х годов возродилась и традиция обильного застолья в дни религиозных праздников. По данным журнала

«Антирелигиозник», в рабочих семьях на Пасху 1927 года с большим удовольствием ели «яйца, куличи, пасху и другие культовые продукты»<sup>108</sup>. Быстро восстановилась привычка алкогольных возлияний в праздничные дни. На улицах городов царило оживление, приправленное спиртным. К.И. Чуковский записал в дневнике 19 апреля 1925 года: «Ночь трезвонили по случаю пасхи и не дали мне заснуть... Много пьяных; женщины устали от предпасхальной уборки, еле на ногах, волокут за собой детей, а мужчины пьяны, клюют носом, рыгают. Большое удовольствие — пасха»<sup>109</sup>. Известный комсомольский публицист М. Бобрищев писал в 1928 году: «Пасхальное обжорство, пасхальная пьянка... упорно держат рабочие окраины»<sup>110</sup>.

Плюрализм периода нэпа охладил и пыл комсомола. С 1925 по 1928 год ЦК ВЛКСМ не принял ни одного решения и не издал ни одного циркуляра, направленных на компрометацию обыденной религиозности. Бытовые практики городского населения во многом оставались связанными с церковными традициями, и на ментальном уровне это считалось нормой.

### *От непрерывки к сталинской елке*

Перелом наступил на рубеже 1930-х годов. Отправным нормализующим документом очередного «штурма небес» можно считать письмо ЦК ВКП(б) «О мерах по усилению антирелигиозной работы» от 24 января 1929 года. В нем, в частности, указывалось на необходимость прежде всего отстранить церковь от контроля над повседневной жизнью населения. Центральный комитет ВКП(б) подчеркивал: «Партийным комитетам и исполкомам необходимо поставить вопрос об использовании Загсов в целях борьбы с поповщиной, церковными обрядами и пережитками старого быта...»<sup>111</sup> Религиозные обряды были отнесены к числу «болезненных антикоммунистических явлений», а по сути дела, маркированы как социальные патологии.



И вновь идеологическое наступление на религию сопровождалось вторжением в частную бытовую сферу жизни, нормы которой подвергались пересмотру. При этом превращение их в аномалию шло по сценарию начала 1920-х годов, в частности в форме замены религиозных праздников на революционные. Весной 1929 года брянский совет воинствующих безбожников выступил с предложением: «Вести законодательным вопросом (так в источнике. — *Н.Л.*) новое летоисчисление и новый год с Октябрьской революции»<sup>112</sup>.

Городские идеологические структуры, в первую очередь обкомы ВКП(б) и ВЛКСМ, летом 1929 года развернули кампанию, главной идеей которой была замена праздника Преображения 6 августа на праздник Первого дня индустриализации. В этот день рабочим предлагалось выйти на работу, что носило форму антирелигиозного протеста<sup>113</sup>. В 1929-1930 годах возобновились карнавалы и красочные шествия с антиклерикальной направленностью, нацеленные на отвлечение населения от посещения церкви в дни крупных религиозных праздников. Сохранилась информация о молодежном карнавале в Ленинграде зимой 1929 года в клубе завода «Электросила». Праздник, как предполагалось, должен был носить атеистическую направленность. Действительно, среди собравшихся встречались юноши в импровизированных одеждах священнослужителей. Однако после «безбожного» бала-маскарада многие с удовольствием отметили Рождество в семье<sup>114</sup>. В 1930 году массовое шумное торжество, как зафиксировано в документах бюро ВЛКСМ «Красного путиловца», с целью «отвлечь часть несознательной молодежи от походов в церковь на Пасху», прошло на этом крупнейшем ленинградском заводе<sup>115</sup>. Однако эффективность подобных антирелигиозных мероприятий, как и в начале 1920-х годов, была невелика. Значительно более действенным с точки зрения инверсии нормы — почитания церковных праздников — в патологию оказался общий слом ритма повседневной жизни, начавшийся в 1929 году в связи с реформой рабочей недели.



По постановлению СНК СССР от 24 сентября 1929 года «О рабочем времени и времени отдыха в предприятиях и учреждениях, переходящих на непрерывную производственную неделю» вся страна в связи с принятым правительственным курсом на форсированную индустриализацию перешла на непрерывную пятидневку: пять дней рабочих, шестой — свободный. При этом дни отдыха не совпадали у разных организаций<sup>116</sup>. При увеличении выходных сократилось число праздничных дней. Религиозные же праздники исчезли из календаря вообще. Е.А. Скрябина вспоминала: «Собираться вместе стало еще труднее. Обязательно кому-нибудь на другой день приходилось работать. Наши встречи свелись к государственным дням отдыха 1 мая, 7 ноября, Новый год<sup>117</sup>. О Рождестве уже никто не говорил...»<sup>118</sup>

На рубеже 1920-1930-х годов развернулись гонения и на праздник Нового года. В эпоху нэпа с характерным для него плюрализмом власти относились к этому празднику достаточно спокойно, отделяя его от Рождества, несмотря на наличие единого знакового признака обоих праздников — елки. Новогоднюю елку для детей в декабре 1923 года организовали даже в имении «Горки», где тогда находился безнадежно больной В.И. Ленин. Ситуация изменилась в конце 1920-х годов. В январе 1929 года ЦК ВКП(б) обратился ко всем членам партии с письмом «О мерах по усилению антирелигиозной работы». Идеологические структуры развернули мощную критику церковных обычаев, к числу которых относилась и традиция празднования Рождества. Под запретом оказалась и елка. В газетах и журналах, прежде всего рассчитанных на детей, с 1930 года стали систематически печатать антирелигиозные, а по сути дела, антиелочные произведения. В 1931 году ленинградский детский журнал «Чиж» опубликовал стихотворение «Не позволим», где были такие строки:

Только тот, кто друг попов,  
Елку праздновать готов<sup>119</sup>.

Под угрозой штрафа запрещалось устраивать новогодние праздники для детей в школах и детсадах. Прекратилась государственная торговля пушистыми деревьями. Комсомольские активисты пытались даже устраивать проверки частных квартир на предмет выяснения, не отмечают ли их владельцы традиционный и любимый праздник. По воспоминаниям Э.Г. Герштейн, работники ЦК профсоюза работников просвещения предложили «под новый год ходить по квартирам школьных учителей и проверять, нет ли у них елки»<sup>120</sup>. Многие тем не менее продолжали тайно ставить елку, тщательно занавешивая окна и побаиваясь доносов. С.Н. Цендровская рассказывала о своем детстве: «Новогоднюю елку ставили тайно. Окна занавешивали одеялами, чтобы никто не видел. Ставить елку было строжайше запрещено»<sup>121</sup>. В наиболее сложном положении оказывались люди, жившие в коммунальных квартирах. Об этом свидетельствуют автобиографические заметки Скрябиной, отмечавшей, что «если устраивали елку для детей, то старательно прятали ее, чтобы ни соседи, ни управдом ее не заметили. Боялись доносов, что празднуем церковные праздники»<sup>122</sup>.

Введение непрерывки сказалось и на Пасхе, изначально связанной с семидневной неделей. При этом отмена 21 ноября 1931 года постановлением СНК СССР скользящих выходных дней и объявление нерабочими 6, 12, 18, 24, 30 числа каждого месяца не нормализовали эту ситуацию<sup>123</sup>. Только в 1940 году указом Президиума Верховного Совета СССР была введена единая 48-часовая рабочая неделя с выходным днем в воскресенье<sup>124</sup>. Таким образом, нарушение традиционного трудового ритма, устоявшейся периодичности будней и праздников, в условиях пятилеток стало причиной исчезновения религиозных торжеств из публичной жизни. Сократилось и количество людей, посещающих церкви. Свидетельством тому служат данные своеобразного источника, относящегося к 1929-1930 годам, — «Автобиографий безбожников»<sup>125</sup>.

На вопрос о причинах отхода от религиозных обрядов большинство респондентов отвечало: «Даже не успеваю отдохнуть, не говоря уже о церкви», «В церковь не хожу, так как восемь часов работаю, а остальное время провожу за работой дома. Свободного времени нет, праздника тоже нет, все время провожу дома. Церковь не посещаю, не имею времени...»<sup>126</sup>

Возврат к карточной системе распределения продуктов также способствовал превращению традиционных религиозных практик в аномалию. Историк А.Г. Маньков, в начале 1930-х годов двадцатилетний юноша, с удивительной прозорливостью обозначил это обстоятельство в своем дневнике. Запись сделана 16 апреля 1933 года: «То, что большинство теперь не делает пасх и куличей, объясняется тем, что далеко не каждый в состоянии закупить творог, сахар и т.д., но это не значит, что в народе умерло стремление заменить хотя бы раз в год ежедневную порцию кислых щей с куском черного хлеба куском сладкого творога и порцией сдобного белого кулича. И здесь совершенно безразлично, какую форму примет это стремление, когда оно реализуется»<sup>127</sup>. Конечно, в советской распределительной системе существовали люди, пользовавшиеся значительными привилегиями. Они могли позволить по старой привычке порадовать себя традиционными праздничными яствами. Е.А. Свиньина с удивлением описывала в письме своим родственникам пасхальный стол в семье ассистентки академика Павлова, получавшей особый продуктовый паек. Избранных гостей потчевали «небывалой редкостью — окорочком... был бефстроганов из конины (вкусно и даже немного было сметаны) и пасха, довольно вкусная, редкость — дорогая. Потом кофе-суррогат с молоком (невкусно), сухарики домашние, а также куличик — сносные. Были апельсины в хрустальной вазе и корзина белой сирени от проф. Павлова, но это стояло для украшения стола и, равно как и три яйца крашеные (заплачено за каждое по 3 р. 50), конечно, этим можно было только любоваться»<sup>128</sup>. Подавляющая часть

населения города не могла позволить себе ничего подобного. Праздновать же Пасху без традиционных яств могли лишь истинно верующие люди, которых в любом обществе немного. Однако и они начали испытывать значительные неудобства, связанные с исполнением религиозных обрядов.

Со второй половины 1930-х годов, по мере формирования канонического большого стиля, маркирование праздников, связанных с верой, как социальной аномалии стало ослабевать. Конституция 1936 года, предоставившая духовенству избирательные права наравне с остальным населением, была истолкована многими как акт об истинной свободе совести и вероисповедания. Это нормативное суждение власти породило представления о том, что элементы повседневной религиозности обретут признаки бытовой нормы. Люди стали вновь публично исполнять религиозные обряды, и прежде всего это выразилось в увеличении притока в церкви в дни крупных православных праздников. В Ленинграде, например, судя по данным сводок органов НКВД, в 1937-1938 годах резко возросло количество участвовавших в торжественных богослужениях в дни Пасхи, Рождества, а также Успения и Преображения. При этом среди прихожан было немало молодых людей<sup>129</sup>.

После принятия Конституции смелее стали ходить в храмы молодые ивановские ткачихи, о чем сообщалось в постановлении ЦК ВЛКСМ об антирелигиозной работе от 8 марта 1937 года<sup>130</sup>. Власть заняла нейтральную позицию по отношению к религиозным праздникам. Правда, крестные ходы по-прежнему, как это было обозначено властью еще в 1929 и 1933 годах, можно было проводить только два раза в год — на Рождество и на Пасху — и только вокруг храмов<sup>131</sup>. Представители властных и идеологических структур, конечно, не принимали участия в церковных торжествах. Не было также и официальных народных гуляний по случаю Рождества и Пасхи. Ситуация не изменилась и после официального примирения советской власти с православной церковью в 1943 году.

Для поддержания же ощущения благополучия жизни в СССР еще в середине 1930-х годов прошла реабилитация елки. Привычно используя тактики создания симулякров, идеологические структуры предали забвению связь вечнозеленого северного дерева с религиозными праздниками. В декабре 1935 года в «Правде» появилась статья секретаря ЦК украинской компартии П.П. Постышева «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку». Партийный лидер писал: «Почему у нас школы, детские ясли, пионерские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек советской страны? Комсомольцы, пионерработники должны под Новый год устроить коллективные елки для детей. В школах, детских домах, во дворцах пионеров, в детских клубах, в детских кино и театрах — везде должна быть детская елка!»<sup>132</sup>

Полное восстановление статуса Нового года, то есть объявление его днем отдыха, произошло в 1947 году. И хотя главная советская елка для детей была впервые организована в Кремле в новый, 1954 год, уже после смерти Сталина, этот акт все еще носил на себе явные отпечатки эпохи большого стиля со свойственной ему тягой к помпезности и гламуру. Новый год перешел из сферы приватной в публичную. Это был тот редкий случай, когда власти всего лишь «очистили» праздник от клерикального содержания, восстановив его как норму повседневной жизни.

И все же религиозность во всех ее проявлениях в пространстве советской повседневности маркировалась как аномалия. Принципы христианской морали не использовались в качестве регламентирующей основы бытового поведения. Государство стремилось найти иные пути нормирования повседневности даже в таких сферах, как интимная жизнь.

## ГЛАВА 2. СОВЕТСКИЙ ТЕНДЕРНЫЙ УКЛАД: СТАНДАРТЫ И ОТКЛОНЕНИЯ

В издании 1999 года я еще была вынуждена сетовать на отсутствие в российской историографии исследований, посвященных проблемам телесности «русского патриархального», а тем более советского человека. Ныне ситуация изменилась, сформировалась когорта историков, изучающих проблемы взаимоотношений мужчин и женщин в советском обществе. О ситуации в этой сфере много пишет Н.Л. Пушкарева, и это освобождает меня от необходимости заниматься анализом современной историографии по проблемам тендера и сексуальности в 1920-1950-х годах<sup>133</sup>.

Проблемы тендерного уклада в СССР активно исследуют российские ученые: Е.А. Здравомыслова, А.А. Темкина, П.В. Романов, Е.Я. Ярская-Смирнова, Т.Ю. Дашкова, М.В. Рабжаева, Т.В. Чернова, Е.Ю. Мещеркина, М.М. Валенцова и многие другие. Социологи в целом придерживаются точки зрения, согласно которой тендерный порядок в советском обществе даже в 1920-е годы был этакратическим, то есть в значительной мере определялся государственной политикой, «задающей возможности и барьеры действий людей»<sup>134</sup>. Еще в большей мере это утверждение относится к периоду сталинизма, ко времени большого стиля, что позволяет поставить вопрос о значимости государственного фактора в определении норм и аномалий тендерного уклада и сексуальной культуры в советских условиях.

*«Пришла проблема пола...»*

Нормы частной жизни, на первый взгляд функционирующие в сугубо индивидуальном пространстве, имеют не только ментальное происхождение. В большинстве случаев они восходят к нормативным суждениям власти — разного рода законодательным актам, а также к религиозным и идеологическим воззрениям, господствующим в данном обществе. Общепринятыми, а значит, нормальными, стандартными считаются явления, не противоречащие этим установкам. В предреволюционной России личная жизнь складывалась под влиянием христианско-патриархальной традиции. Официальной нормой считались гетерогенная семья и моногамный брак, осуждение адюльтера и усложненная процедура развода, высокая рождаемость и запрет аборт, бесправность женщин и подчинение детей родителям. Эти положения казались незыблемыми, на них опиралась патриархальная крестьянская семья, на которой в свою очередь был построен не только сельский мир, но и все русское общество даже в начале XX века. Правда, в это время, как отмечает А.Г. Вишневский, конфликт между преобразующимися гражданскими институтами и декларируемыми нормами частной жизни уже был достаточно ощутим<sup>135</sup>.

В начале XX века в России наметились тенденции снижения рождаемости, ослабления экономических связей между супругами, усиления самостоятельности женщин. В крупных городах зарождалась новая буржуазная городская семья, хотя процесс этот развивался медленно и носил характер некой социальной девиации. Дихотомия «норма/аномалия» в начале XX века стала довольно отчетливой и в такой сфере частной жизни, как сексуальное поведение. Это был нарастающий процесс отрицания и осуждения прежних христианских норм половых отношений. Правда, российские сексуальные практики и ценности, по мнению И.С. Кона, в своей эволюции отставали от Запада, уже прошедшего стадию модернизации, примерно на четверть века, но стремление к свободе в интимной сфере было

зафиксировано и на русской почве<sup>136</sup>. Более того, нормативные суждения власти входили в противоречие с бытовыми практиками. В городском же менталитете постепенно возникали новые нормы, оправдывающие внебрачные и добрачные половые связи. Таким образом, можно констатировать конфликт официальных и неофициальных норм, регулирующих сексуальную жизнь городского населения накануне событий 1917 года.

В условиях новой государственности «половой вопрос» на целое десятилетие стал предметом бурных публичных дискуссий, в ходе которых высказывались не только разнообразные, но и подчас взаимоисключающие суждения, касающиеся как устройства семьи, так и сугубо интимных сторон жизни. Наибольшей скандальной известностью пользовалась точка зрения А.М. Коллонтай. Ее статьи публиковались в молодежной печати. Кроме того, популярными были и литературно-публицистические книги Коллонтай, и прежде всего «Любовь пчел трудовых». Высказываемые там идеи восходили к взглядам русских нигилистов и Н.Г. Чернышевского, рассматривавших проблему любви как нечто самоценное. Коллонтай настойчиво пропагандировала идею «крылатого Эроса» и заявляла, что «для классовых задач пролетариата совершенно безразлично, принимает ли любовь формы длительного оформленного союза или выражается в виде преходящей связи. Идеология рабочего класса не ставит никаких формальных границ любви»<sup>137</sup>. Одновременно она призывала трудовые коллективы строже и беспощаднее «преследовать "бескрылый Эрос" (похоть, одностороннее удовлетворение плоти при помощи проституции, превращение "полового акта" в самодовлеющую цель из разряда "легких удовольствий"), чем это делала буржуазная мораль»<sup>138</sup>. Тем самым уже провозглашалось право вмешательства в частную жизнь граждан, хотя Коллонтай подразумевала, что функции контроля будут осуществлять товарищи по трудовому коллективу, а не государственные органы. Скептически Коллонтай была настроена и по отношению к традиционной семье.



Еще в 1919 году она писала: «Семья отмирает, она не нужна ни государству, ни людям... на месте эгоистической замкнутой семейной ячейки вырастает большая всемирная, трудовая семья...»<sup>139</sup> Правда, в широкое и быстрое распространение этих идей самой активистке женского движения верилось с трудом. Она приписывала такие взгляды «тонкому слою пролетарского авангарда, тесно связанному с пролетарским мировоззрением»<sup>140</sup>. Право личности на свободное формирование брачной пары, явное презрение к семейным отношениям, лишенным любви и тем самым превратившимся в нравственные вериги, в повседневной жизни демонстрировали многие большевистские лидеры. Л.Д. Троцкий критиковал требование признать правомочными лишь зарегистрированные браки. Он прямо называл подобные взгляды «дремучими». В высших партийных кругах в начале 1920-х годов допускалась даже возможность полигамии. Входившая в состав Женотдела ЦК партии большевиков П.А. Виноградская называла обывательской установкой одного из членов Центральной контрольной комиссии ВКП(б), сконцентрированную в заповеди: «не живи с тремя женами». «Многомужество» и «многоженство», по мнению Виноградской, имело право на существование, если подобная организация семьи коммуниста не противоречила интересам советского государства<sup>141</sup>.

Идеи свободы в интимных отношениях в первой половине 1920-х годов пропагандировали и публицисты, печатавшиеся в журнале «Молодая гвардия». В одном из номеров за 1923 год можно было прочесть: «Социальное положение рабочего парня и девушки, целый ряд объективных условий, жилищных и т.д. не позволяет им жить вместе или, как говорят, пожениться. Да, эта женитьба — это обрастание целым рядом мещанских наслоений, кухней, тестем, тещей, родственниками, — все это связано с отрывом, мы бы сказали, от воли, свободы и очень часто от любимой работы, от союза (комсомола. — Н.Л.)»<sup>142</sup>.

Для части населения, и прежде всего молодых людей, публичные выступления партийных лидеров во многом явились оправданием довольно свободных половых отношений. Английский писатель-фантаст Г. Уэллс, посетивший Советскую Россию осенью 1920 года, констатировал: «В городах, наряду с подъемом народного просвещения и интеллектуальным развитием молодежи, возросла и ее распущенность в вопросах пола»<sup>143</sup>. Добрачные сексуальные контакты были нормой для значительной части молодежи. Журналисты «Молодой гвардии» писали в 1923 году: «У каждого рабочего парня всегда есть своя девушка... он ее, может быть, и любит, но, главное, они из одного социального камня, и им чужд этот крылатый Эрос... взаимоотношения у них простые и без всяких мудрствований — биологическое удовлетворение ему дает та же самая девушка»<sup>144</sup>. В 1922 году социологический опрос студенчества показал, что 80,8% мужчин и более 50% женщин имели кратковременные половые связи. При этом лишь 4% молодых людей объясняли свое сближение с женщиной любовью к ней<sup>145</sup>. Питерская рабфаковка А.И. Ростикова вспоминала, что в начале 20-х в общежитии Университета на Мытне часто шли бурные споры о любви и браке в новом обществе и «самым ярким нигилистом» в вопросах пола оказалась ее сокурсница, приехавшая из Ярославской губернии. Бывшая крестьянка утверждала, что «любовь — кремень для зажигалок, а дружбы между мужчиной и женщиной быть не может, это только одна видимость; в основе лежит взаимное влечение и только»<sup>146</sup>.

В ходе проводимых согласно декрету СНК РСФСР от 13 октября 1922 года медицинских обследований рабочих выяснилось, что в Петрограде, например, в 1923 году среди рабочих, не достигших 18 лет, добрачные половые связи имели 47% девушек и 63% юношей<sup>147</sup>. Почти такие же данные были получены и в результате обследований в Москве и Владимире<sup>148</sup>. Чуть позднее, в 1925 году, ленинградские медики отмечали, что молодые рабочие «являются горожанами не

только по происхождению, но и живут в городе с детства, в половую жизнь вступают рано...»<sup>149</sup>. Эти данные совпадали с материалами всесоюзного обследования 1927 года, выявившего, что в целом в стране две трети представителей пролетариата начали половую жизнь до совершеннолетия, а почти 15% — до 14 лет<sup>150</sup>. По данным 1929 года, в Ленинграде до совершеннолетия половые отношения начинали 77,5% юношей и 68% девушек. Многие молодые люди имели одновременно по 2-3 интимных партнера, причем это становилось почти нормой в среде комсомольских активистов<sup>151</sup>. Такая же ситуация наблюдалась и в небольшом текстильном городке Шуя близ Иваново-Вознесенска. В целом в провинции молодежь вела себя более сдержанно, чем в крупных городах. В Шуре в 1927 году до 18 лет половую жизнь вели 24,7% мужчин и 13,6% женщин. Зато 62% комсомольцев имели связь сразу с несколькими партнерами<sup>152</sup>. Сексуальную активность «передовых» представителей нового поколения горожан зафиксировал и художественный нарратив. Правда, современные исследователи основное внимание сосредотачивают на литературных произведениях 1920-х годов, посвященных студенчеству: «Без черемухи» П.С. Романова, «Собачий переулочек» Л.И. Гумилевского, «Луна с правой стороны» С.И. Малашкина<sup>153</sup>. Более развернутую картину дает, как представляется, роман В.В. Вересаева «Сестры», в котором описано отношение к проблемам интимности не только в среде вузовской молодежи, но и среди молодых рабочих и даже крупных партийных активистов. В уста молодой работницы Баси писатель вкладывает следующие слова: «Тебе неловко, что ты у меня "отбила" Марка? Да? <...> Неужели ты думала, я буду негодовать на тебя, приходиться в отчаяние? Милый мой товарищ! Вот если бы ты мне сказала, что нам не удастся построить социализм, — это да, от этого я пришла бы в отчаяние. А мальчишки, — мало ли их! Потеряла одного, найду другого. Вот только обидно для самолюбия, что не я его бросила, а он меня. Не ломай

дурака, приходи ко мне по-прежнему»<sup>154</sup>. Взгляды Баси вполне разделяет герой романа Марк Чугунов, крупный партийный работник, герой Гражданской войны. Он красив, непреклонен в осуществлении идей партии, отдан до конца работе, созиданию нового общества. Но одновременно это не отрицающий красоту мира Рахметов. У Чугунова прекрасная квартира, служебный автомобиль, ему доступны радости гастрономии, а в области чувств «интересны были только губы и грудь восемнадцатилетней девчонки, интересно... "сорвать цветок'...»<sup>155</sup>. И все же в романе Вересаева Марк Чугунов — вовсе не отрицательный герой, он продукт времени, воплощенная в литературном образе реальность.

Одновременно медицинские данные 1920-х годов свидетельствовали, что признание свободных интимных отношений в качестве нормы, а главное, практическая реализация этой ментальной установки влекли за собой распространение венерических заболеваний. В Ленинграде, например, в 1925 году лишь в одной городской больнице было зарегистрировано более 2000 больных сифилисом<sup>156</sup>. Венерические заболевания выявлялись и в ходе ежегодных медицинских освидетельствований подростков. На «Красном треугольнике» в Ленинграде в 1926 году более половины несовершеннолетних рабочих оказались заражены гонореей и сифилисом<sup>157</sup>.

При этом самым неприятным явлением стало, как ни парадоксально, снижение роли проституции в распространении болезней любви. Венерическими заболеваниями в восемь раз чаще, чем до революции, заражались в 1920-х годах в результате интимного контакта со знакомыми не только случайного характера<sup>158</sup>.

Лишившись привычных по дореволюционным временам мест досуга — публичных домов, — многие молодые люди заменили их «вечорками». Рабочий одного из заводов Твери писал в 1927 году в журнал «Смена»: «У нас распространены вечорки, где идет проба девушек, это, конечно, безобразия,

но что делать, раз нет публичных домов»<sup>159</sup>. Редакция журнала, конечно, осудила письмо, но у его автора нашлись сторонники. Слесарь из Ленинграда, например, считал, что девушки на такие «мероприятия» приходят сами и потому ко всему готовы<sup>160</sup>. Подобный стиль времяпрепровождения до революции считался нормой в сельской России. Известна традиция «посиделок» с обрядом «жирования», поцелуями по песне и т.д.<sup>161</sup> Однако в крестьянской среде формы сексуального поведения молодежи регулировались естественными условиями жизни, связанными с природой, — очередностью тяжелых полевых работ, половым размежеванием видов трудовой деятельности и, наконец, системой христианских запретов. В городе эти факторы утрачивали свое нормализующее значение. Неудивительно, что в городском бытовом пространстве вечеринки с выпивкой и логическим продолжением в виде случайных связей нередко имели трагические последствия. Девушка, чрезмерно увлекавшаяся «городскими посиделками», могла прослыть проституткой, а в случае отказа выполнить не присущие ей «профессиональные обязанности» подвергнуться изнасилованию, нередко групповому. Этот вид полового преступления не был характерен для дореволюционной городской среды. Тогда официальное предложение доступного женского тела намного превышало спрос. После революции ситуация изменилась. Мужчины нередко испытывали неудобства в отсутствие налаженной индустрии продажной любви. Вероятно, поэтому в 1920-е годы заметно увеличилось число фактов групповых изнасилований, часто являвшихся продолжением хулиганских действий. Хулиган из рабочей среды, как отмечали криминологи эпохи нэпа, был «весьма распушен в половом отношении. Товарищеские отношения мужчины и женщины кажутся ему дикими и смешными и он цинично нарушает эти начала нового полового быта и насилует поганит раскрепощенную женщину»<sup>162</sup>. Показательным стало знаменитое «чубаровское дело».

*«Чубаровцы», «петровщина» и свободный развод*

Поздним вечером 21 августа 1926 года в Ленинграде, в районе Чубарова переулка, выходящего на Лиговку, — известную как место флиртования женщин, торгующих собой, — группа молодых рабочих пристали к девушке и изнасиловали ее. В ходе судебного разбирательства обвиняемые в качестве оправдания заявляли, что приняли комсомолку и рабфаковку за проститутку<sup>163</sup>. Благодаря кампании в прессе и слухам о преступлении быстро узнал весь город. Е.А. Свиньина даже сообщила о преступлении в Чубаровом переулке своим родственникам в Париж. «Что-то покинули нас сверкающие морозы и русские тройки и румяные красавицы... а также добрые молодцы, — писала она в своем письме от 30 декабря 1926 года, — отважные богатыри превратились в чубаровцев, и красным девицам приходится плохо, когда эти современные богатыри идут ратью в сорок человек на одну запоздалую девицу и мнут ее и треплют, как в былое время шли на басурмана, на нечисть вражью...»<sup>164</sup> «Чубаровцы» были быстро пойманы, и с каждым днем вокруг уголовного преступления все больше раздувался политический психоз. Помощник губернского прокурора М.Л. Першин прямо заявил в прессе о том, что «состав преступления выходит за пределы статьи 176 УК РСФСР (хулиганство. — Н.Л.) и приближается к бандитизму, ст. 76». Более того, он предложил дополнить статью 176 частью 3, предоставляющей суду право применять высшую меру социальной защиты — расстрел<sup>165</sup>. Брату одного из обвиняемых Н. Кочергину в ходе судебного разбирательства приписали роль «идеолога чубаровщины», так как он осмелился усомниться в правильности предъявленного «чубаровцам» обвинения. Кочергин совершенно обоснованно предполагал, что их необходимо судить за групповое изнасилование, а отнюдь не за бандитизм. На суде упорно проводилась мысль, что «чубаровские главари» — люди социально чуждые, что они заражены «нэпманской идеологией», а их действия умышленно направлялись против комсомолки<sup>166</sup>. Суд принял очень жесткое

решение — 7 человек были приговорены к смертной казни, хотя пострадавшая осталась жива. Остальные участники преступления получили длительные сроки заключения, которое отбывали на Соловках. Чубаровцы заслуживали наказания, но политической подоплеки в их действиях не было, а была лишь половая распущенность, отягощенная хулиганством.

В комсомольской печати во второй половине 1920-х годов часто поднимались вопросы о недостойном поведении мужчин, склонявших девушек к вступлению в интимные отношения. В студенческой среде в то время обнаружилось немало случаев сексуального притеснения девушек под предлогом борьбы с «мещанскими» представлениями о половой морали. Эти эксцессы в молодежной среде, отчасти спровоцированные и публичными дискуссиями о свободе любви в новом обществе, идеологические структуры маркировали как социальные отклонения. Шумно обсуждалось в молодежной печати явление «петровщины» в рабочей среде. Новый вид социальной девиации получил свое наименование по фамилии учащегося московского ФЗУ, который убил девушку, отказавшуюся удовлетворить потребности его «свободной комсомольской любви»<sup>167</sup>. Известны были также «кореньковщина» и «тюковщина»<sup>168</sup>. В Ленинграде факты принуждения к сожителству и изнасилования стали настолько многочисленны, что в 1929 году в город прибыла комиссия ЦК ВКП(б) по расследованию случаев «нетоварищеского отношения к девушкам»<sup>169</sup>. Однако далеко не всегда женщины являлись жертвами «секс-террористов». Историк А.Ю. Рожков справедливо отмечает: «Революция раскрепостила сексуальность не только у юношей, но и у девушек, которые были активными инициаторами половых контактов»<sup>170</sup>.

Добрачные и внебрачные половые отношения в 1920-е годы были достаточно устойчивой нормой повседневной жизни молодых горожан. И все же повседневность довольно инертна, а интимные отношения и устои семейной жизни менялись не так стремительно, как хотелось части большевистских



реформаторов. Кроме того, благодаря плюрализму нэпа теории Коллонтай соседствовали с революционно-аскетическим подходом к вопросам половой морали. Наиболее ярко эта точка зрения была выражена в трудах А.Б. Залкинда. Он стремился подчинить половую жизнь личности строгому классовому контролю. Для этого психоаналитик разработал двенадцать заповедей полового поведения пролетариата, которые преследовали цель ограничить все личное, и прежде всего сексуальное, как мешающее коллективистскому и революционному. Нормализующие суждения Залкинда соответствовали высказываниям Ленина, в беседе с К. Цеткин в 1920 году отмечавшего, что пролетариат как «восходящий класс» не нуждается в «опьянении половой несдержанностью»<sup>171</sup>.

Одна из заповедей гласила: «Половой подбор должен строиться по линии классовой, революционно-пролетарской целесообразности», а другая утверждала: «Класс в интересах революционной целесообразности имеет право вмешаться в половую жизнь своих членов. Половое должно во всем подчиняться классовому, ничем последнему не мешая, во всем его обслуживая»<sup>172</sup>.

У Залкинда нашлось немало сторонников. Известный врач Л.М. Василевский в 1924 году писал: «Молодому рабочему не мешают жить мысли (об интимных сторонах жизни. — Н.77.), они его посещают редко, да и он может справиться с ними усилием воли...»<sup>173</sup>. Признанный большевистский лидер, создатель общества воинствующих безбожников Е.М. Ярославский, выступая на XXII Ленинградской конференции ВКП(б) в декабре 1925 года, активно проповедовал половое воздержание, которое сводится к «социальной сдержке»<sup>174</sup>.

Аскетические взгляды на проблему сексуальности выражали и сами молодые люди. Так, в 1925 году комсомольцы Ярославского автомобильного завода приняли решение подходить к вопросам любви только с позиции «укрепления... комсомольской организации»<sup>175</sup>. Любопытной с точки зрения



сосуществования разнообразных норм сексуального поведения является ситуация, возникшая на комсомольском собрании завода «Красный путиловец» в 1926 году. На вопрос, как молодому человеку удовлетворять свои естественные физиологические потребности в новом обществе, представитель одного из ленинградских райкомов ВЛКСМ дал безапелляционный и твердый ответ: «Нельзя себе позволять такие мысли. Эти чувства и времена, бывшие до Октябрьской революции, давно отошли»<sup>176</sup>. Аскетические нормы межполовых отношений, существовавшие в среде молодежи, также отразил литературный нарратив 1920-х — начала 1930-х годов. В вересаевском романе «Сестры» наряду с «большевистским Казановой» — Марком Чугуновым — фигурирует и рабочий парень Афанасий Ведерников, аскет, во имя идей социализма дошедший до полного физического и нервного истощения. Для него важным в любви является выбор социально значимого полового партнера. Показательна риторика объяснения Ведерникова с Лелькой после бурной интимной сцены:

«И вдруг сказал брезгливо:

— Не нравится мне, как мы с тобою крутим. Ваша какая-то, интеллигентская любовь. Для самоуслаждения. Чтоб только удовольствие друг от друга получать. Я понимаю любовь к девушке по-нашему, по-пролетарскому: чтобы быть хорошими товарищами и без всяких вывертов иметь детей»<sup>177</sup>.

Однако позиция пролетарского аскета не вызывает одобрения автора, так как выглядит неискренней и надуманной.

В целом разноголосица нормализующих суждений по вопросам семейной жизни и взаимоотношений полов не могла не породить определенной сумятицы в поведении обывателей, во всяком случае молодых людей. Оправданием свободных, ни к чему не обязывающих связей явилось и нормативное властное суждение — советское брачно-семейное законодательство,

облегчившее и демократизировавшее процедуру развода. Но сами факты расторжения брака в годы военного коммунизма все же не превратились в норму повседневной жизни, если судить по количеству разведенных в составе городского населения.

По данным переписи 1920 года, в Петрограде, например, лица, официально разведенные, составляли всего лишь 0,5% от всех питерцев, а в 1923-м — 0,9%<sup>178</sup>. Однако с переходом к нэпу число разводов стало стремительно увеличиваться. С 1920 по 1925 год в Ленинграде, например, их количество возросло в четыре раза. В первую очередь правом свободного расторжения брака пользовались молодые люди. Они, по данным 1929 года, составили 17% от всех разведенных ленинградцев и всего лишь 10% от состоящих в браке<sup>179</sup>. Более трети молодоженов не проживали вместе и трех месяцев<sup>180</sup>. Упрощенная процедура разводов болезненно отразилась прежде всего на судьбах женщин. В 1928 году Ленинградский институт охраны детства и материнства обработал 500 анкет лиц, подавших документы в органы загс для расторжения брака. Более 70% разводов совершалось по инициативе мужчины, около 20% — по требованию родителей, 7,5% — по обоюдному желанию супругов и лишь около 2% — по настоянию женщины<sup>181</sup>.

Расторгнуть брак в СССР было не только просто, но и очень дешево. За просроченный паспорт в начале 1930-х годов надо было заплатить штраф 50 рублей, а за развод — всего 6. Это породило практику фиктивных расторжений брака. Женщины «разводились», например, для того, чтобы меньше платить за ребенка в детском саду и школе<sup>182</sup>. И все же, несмотря на определенные издержки советского брачно-семейного законодательства и негативные последствия неверного толкования нормализующих суждений власти, вербализацию проблем сексуальности в публичном пространстве в годы нэпа можно рассматривать как составляющую процесса демократизации городской повседневности.

*«Быт неотделим от политики»*

С утверждением большого стиля в сфере обыденной жизни стали меняться и нормы тендерного порядка. Сначала это происходило на уровне нормализующих суждений не столько властных, сколько идеологических структур. Контрреволюционность и сексуальная активность позиционировались в решения общественных организаций, и прежде всего комсомола, как тесно связанные явления. «Быт неотделим от политики. Моральная чистота комсомольца — надежная гарантия от политического разложения», — гласили призывы, публиковавшиеся в «Комсомольской правде» к празднованию Международного юношеского дня в 1937 году. А комсомольцы ленинградской фабрики «Красное знамя» в это же время совершенно серьезно заявляли: «Враги народа немало поработали над тем, чтобы привить молодежи буржуазные взгляды на вопросы любви и брака и тем самым разложить молодежь политически»<sup>183</sup>. В условиях постоянного выявления классовых врагов подобные умозаключения нередко использовались для сведения счетов в коллективах, для раздувания семейных, бытовых конфликтов до уровня политических дел. О разрастании этого явления с тревогой говорил А.В. Косарев, выступая в декабре 1937 года на совещании комсомольских комиссий по вопросам приема и исключения из рядов ВЛКСМ<sup>184</sup>.

Во второй половине 1938 года, после завершения шумных политических процессов, «Комсомольская правда» развернула дискуссию о моральном облике комсомольца, о чести девушки, о любви в социалистическом обществе. Передовая статья задала тон: «Поведение комсомольца в быту, его отношение к женщине нельзя рассматривать как частное дело. Быт — это политика. Известны случаи, когда троцкистско-бухаринские шпионы и диверсанты умышленно насаждали пьянки и бытовое разложение»<sup>185</sup>. В редакцию газеты пошел поток писем, в которых читатели требовали активного вмешательства комсомола в личную жизнь своих членов. Комсорг одного из одесских

заводов делился опытом на страницах «Комсомолки»: «Мы решились эти вопросы смело вытащить на собрание молодежи»<sup>186</sup>.

Идеи социалистической благопристойности в рамках политики и повседневности большого стиля становились демонстрируемой поведенческой нормой. Писатель А. Жид так описывал атмосферу публичных мест в СССР: «Толпы молодежи, мужчин, женщин, повсюду выражение серьезного достоинства. Ни малейшего намека на пошлость, глупый смех, вольную шутку, игривость или флирт»<sup>187</sup>. В контексте большого стиля добрая половая жизнь официально считалась аномалией. О сексе не говорили в публичном пространстве, как это было в 1920-е годы, но его подразумевали и им, конечно же, занимались. Известный немецкий психолог В. Райх писал о ситуации конца 1930-х годов: «Советская идеология гордится "освобождением жизни и людей от эротики". Но это "освобождение от эротики" представляет собой фантастическую картину. Ввиду отсутствия ясных идей половая жизнь продолжается в болезненных, искаженных и вредных формах»<sup>188</sup>. Показное целомудрие эпохи большого стиля и соответствующая ему официальная моралистическая риторика носили традиционалистский характер. Возврат к патриархальным нормам половой морали в новых социальных условиях стал почвой для развития двоемыслия и двойных поведенческих стандартов. Показателен в этом контексте эпизод из воспоминаний В.А. Пирожковой. Мемуаристка описывает диспут о коммунистической морали, проходивший в Ленинградском университете в 1939 году. Ее возмутило высказывание одного из студентов о том, что он влюблен во всех хорошеньких девушек сразу и не собирается отказываться от удовольствий в личной жизни. Цинизм советского Казановы осудил комсорг курса, чем завоевал симпатии даже антисоветски настроенной Пирожковой. Правда, дискурсивная норма в данном случае не совпадала с практикой. Сам комсорг покинул забеременевшую от него студентку и, опасаясь общественного

порицания, спешно уехал из Ленинграда<sup>189</sup>. Ушли в прошлое и бурные дискуссии 1920-х годов о разнообразных формах брачно-семейных союзов. На иной лад настроились и советские теоретики брачно-семейных отношений. Если в конце 1920-х годов академик С.Я. Вольфсон писал, что «социализм несет с собою отмирание семьи», то в 1937 году он же объявлял моногамную семью базовой ячейкой нового общества, которая будет существовать и при коммунизме<sup>190</sup>.

В рамках большого стиля модифицировалась и законодательная база, касавшаяся вопросов приватности. Правовые нормы тендерного порядка в советском обществе стали носить выраженный этакратический характер. Это касалось и сексуального поведения. Подавление естественных человеческих чувств идеологией порождало фанатизм почти религиозного характера, находивший выражение в безоговорочной преданности лидеру. Контрреволюционность и сексуальная несдержанность, так же как и разного рода сексуальные перверсии, по мнению идеологических структур, считались тесно связанными.

Советская нормативно-регулирующая практика 1930-х годов отчетливо продемонстрировала и такой своеобразный социальный процесс, как властное приписывание девиантности определенным типам сексуального поведения. В наиболее очевидной форме это выразилось в переходе, согласно постановлению Президиума ЦИК СССР от 7 марта 1934 года, к практикам уголовного преследования гомосексуалов<sup>191</sup>. При этом нормы сталинского законодательства практически повторяли патриархально-православные положения дореволюционного российского законодательства, согласно которому преступлением считалось лишь мужеложство. Существование лесбийских сексуальных отношений власти в царской России игнорировали.

В 1920-е годы в советском уголовно-правовом поле вопрос о гомосексуальности не поднимался вообще, что свидетельствовало о либеральном характере норм тендерного порядка в новой России. Современники писали, что «этот шаг советского

правительства придал колоссальный импульс сексуально-политическому движению Западной Европы и Америки»<sup>192</sup>. Ведь в большинстве западных стран в то время гомосексуализм рассматривался как уголовное преступление. В уголовных кодексах 1922 и 1926 годов отсутствовали статьи, квалифицировавшие любые однополые отношения как некую аномалию. Официально перестало рассматриваться как отклонение и мужеложство, хотя люди, заподозренные в нем, на бытовом уровне и в практике местных органов власти подвергались осуждению и даже преследованию<sup>193</sup>. Иными словами, нормативные суждения в 1920-е годы носили более демократический характер, нежели ментальные нормы.

В контексте большого стиля, для которого был характерен этакратический тендерный порядок, изменилось и отношение к однополый любви: от либерального игнорирования гомосексуальной культуры в поле советской повседневности власть перешла к ее правовому преследованию. При этом основным удар был направлен на искоренение фактов интимных отношений между мужчинами, так как они, по мнению П. Бурдые, представляли собой нечто подрывающее привычную иерархию сексуальности с присущей ей агрессией мужского начала<sup>194</sup>. Наступление на гомосексуалов начали органы политического контроля. Во второй половине 1933 года в контексте проведения паспортизации городского населения ОГПУ спровоцировало и аресты представителей сексуального меньшинства за «притоносодержательство»<sup>195</sup>. В декабре 1933 года Г.Г. Ягода обратился к И.В. Сталину со следующей запиской: «Ликвидируя за последние годы объединения педерастов в Москве и Ленинграде, ОГПУ установило: 1. Существование салонов и притонов, где устраивались оргии; 2. Педерасты занимались вербовкой и развращением совершенно здоровой молодежи, красноармейцев, краснофлотцев и отдельных вузовцев. Закона, по которому можно было бы преследовать педерастов в уголовном порядке, у нас нет. Полагал бы необходимым

издать соответствующий закон об уголовном наказании за педерастию»<sup>196</sup>. Мужской гомосексуализм стал аномалией, что и было закреплено в статье 154-а УК РСФСР. М. Горький с гордостью писал в статье «Пролетарский гуманизм», впервые опубликованной в советской прессе 23 мая 1934 года: «...в стране, где мужественно и успешно хозяйствует пролетариат, гомосексуализм, развращающий молодежь, признан социально преступным и наказуемым, а в "культурной" стране великих философов, ученых, музыкантов он действует свободно и безнаказанно. Уже сложилась саркастическая поговорка: "Уничтожьте гомосексуалистов — фашизм исчезнет"»<sup>197</sup>.

Правовая инициатива власти по преследованию гомосексуальных отношений была логически связана с общей тенденцией возвращения в рамках большого стиля к традиционалистской модели сексуального поведения в СССР. Этому, в частности, способствовало и принятие в 1936 году постановления о запрете аборт. Женская сексуальность теперь могла реализовываться только посредством деторождения. На фоне полного пренебрежения к проблеме контрацепции властные структуры получили мощный рычаг управления частной жизнью граждан<sup>198</sup>. Однако интимные отношения вне брака продолжали быть не признаваемой властью реальностью. В ход шли индивидуальные стратегии выживания, которые известный историк Е.Ю. Зубкова маркирует как «видимое подчинение предписанной ритуальности и одновременно стремление максимально оградить собственную частную жизнь»<sup>199</sup>.

### *«Школы-уроды» и развод по-сталински*

Внебрачные связи получили распространение и в годы войны, на что власть отреагировала рядом регламентирующих инициатив. Косвенно новые нормы сексуальности зафиксировал Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля



1944 года, наметивший целый ряд мероприятий, направленных на повышение рождаемости в стране. Но одновременно признание правомочным лишь зарегистрированного брака понизило социальный статус длительного совместного, не имевшего юридического оформления проживания мужчины и женщины, а также спровоцировало его оценку как некоей аномалии. В советской действительности официально провозглашались нормы целомудрия, которым, по меткому выражению известного российского демографа А.Г. Вишневого, «позавидовала бы и викторианская Англия»<sup>200</sup>.

Немаловажную роль в формировании модели сексуального поведения советских граждан, в первую очередь горожан, сыграло введение раздельного обучения девочек и мальчиков в средней школе. Половая сегрегация детей выглядела вполне органичной в системе нравственных координат большого стиля. Идея разделения школ на мужские и женские обсуждалась на правительственном уровне накануне Великой Отечественной войны. Однако документы, регламентирующие этот процесс, появились лишь в конце 1942 года. В докладной записке «О введении раздельного обучения мальчиков и девочек в неполных средних и средних школах Союза ССР», подготовленной Отделом школ ЦК ВКП(б) и Народным комиссариатом просвещения РСФСР, четко расписывались детали предлагаемой половой сегрегации советских школьников. Особое внимание обращалось на необходимость устранения «не всегда здоровых взаимоотношений, создающихся между мальчиками и девочками при совместном обучении»<sup>201</sup>.

Советское раздельное обучение сказалось на нормах сексуального поведения молодых людей. Ученый и бард А.М. Городницкий писал: «Для нас, питомцев мужской школы, девочки были инопланетянами». Формы своих юношеских сексуальных практик он определял следующим образом: «Перебивались редкими поцелуями»<sup>202</sup>. Искусственное разделение мальчиков и девочек после совместного пребывания в детских садах,



контактов в условиях коммунальных квартир и т.д. усугубляло естественный интерес к особам противоположного пола и придавало ему обостренный характер. И.А. Бродский вспоминал о своем школьном детстве: «Помню, во время урока кто-нибудь проползал под партами через весь класс к столу учительницы с единственной целью — заглянуть к ней под платье и выяснить, какого сегодня цвета на ней трико. По завершении экспедиции он драматическим шепотом возвещал классу: "Сиреневые"»<sup>203</sup>. Одновременно система обучения, при которой в женских школах точные науки преподавались на более низком уровне, породила у молодых людей пренебрежительно-потребительское отношение к представительницам слабого пола. Поэт-шестидесятник А.Г. Найман писал о своей школьной жизни: «Действительность — вся, а не только школьная — оказывалась мужской. Женский пол был исключительно функционален... они (женщины. — Н.Л.) выглядели скорее частью пейзажа, как окна домов, или трамваи, или кустарник в сквере. Людями, публикой, той жизнью вокруг, которая всем видна без специального вглядывания, были мужчины»<sup>204</sup>.

Известный педагог В.Г. Бейлинсон, учительствовавший в условиях половой сегрегации советских школьников, отмечал позднее:

«Раздельное обучение противоестественно. Не могут целые поколения возвращаться в искусственной среде. Это обнаружили передовые люди, честные журналисты и писатели еще в дореволюционное время. Но тогда в России этот губительный порок официальной образовательной системы имел несколько сильных компенсаторов. Прежде всего, многодетные семьи и традиции активного общения с родственниками. В 1943 г., когда Сталин ввел раздельное обучение, этих компенсаторов уже не было. В стране 80% неполных семей, в которых тянут одного ребенка или двух вдовы, матери-одиночки, бабушки, а то и тетки. <...> ...изменился и педагогический состав школ.

Нормой стало — в мужских школах учителя и администраторы мужчины, в женских — женщины...

Так возникли школы-уроды. В мужских школах господствовал культ физической силы, со всеми его повадками и скотскими нравами. А в женских — лицемерие, групповщина и склочничество с болезненно повышенной сексуальной озабоченностью и среди учителей»<sup>205</sup>.

В конце 1940-х годов на фоне искаженных практик сексуального поведения молодежи и роста хулиганских проявлений, как и в 1920-х годах, увеличилось количество групповых изнасилований. В Ленинграде, например, в органы милиции с января по март 1949 года поступило 9 заявлений о посягательстве на женщин, с апреля по июнь — 12, а с июля по сентябрь — 13. В 1953 году количество половых преступлений увеличилось на 22,4% в сравнении с 1952 годом. Каждое пятое изнасилование совершалось лицами, не достигшими 18 лет, часто хулиганскими шайками<sup>206</sup>.

Стремясь к установлению в контексте большого стиля отличных от раннебольшевистских норм частной жизни, сталинское руководство со второй половины 1930-х годов решило бороться и с сумбуром в брачно-семейном законодательстве. Постановление ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 года «О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и некоторых изменениях в законодательстве о браке и семье» коснулось процедуры разводов. Для их осуществления требовался уже вызов в загс обоих разводящихся, чего не делали в конце 1920-х — начале 1930-х годов. В паспортах ставилась отметка о разводе. Людей, слишком часто расторгающих семейные узы, власти решили дисциплинировать и рублем. За первый развод необходимо было заплатить 50 рублей, за второй — 150, а за третий — уже 300.

«До сих пор брак у нас расторгался крайне легко, — утверждал в 1936 году помощник генерального прокурора СССР по судбно-бытовому сектору А.А. Сольц, — ...теперь настала пора затруднить развод»<sup>207</sup>.

Однако наиболее ярко черты большого стиля, подразумевающего существование мифа о «большой семье» как в рамках многонационального государства, так в масштабе мини-ячейки общества, проявились в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года. Он довершил превращение развода в полностью публичную процедуру. В документе, в частности, указывалось: «23. Установить, что развод проводится публично через суд. По просьбе супругов дело о разводе может в необходимых случаях слушаться в закрытом судебном заседании; 24. Для возбуждения судебного производства о расторжении брака установить обязательное соблюдение следующих требований: ...а) подача в народный суд заявления о желании расторгнуть брак с указанием мотивов развода, а также фамилии, имени, отчества, года рождения и местожительства другого супруга; при подаче заявления о расторжении брака взыскивается 100 рублей; б) вызов в суд супруга для ознакомления его с заявлением о разводе, поданным другим супругом, и для предварительного выяснения мотивов развода, а также для установления свидетелей, подлежащих вызову на судебное разбирательство; в) публикация в местной газете объявления о возбуждении судебного производства о разводе...»<sup>208</sup> Подоплекой этих мер было, по мнению крупнейшего советского исследователя проблем семьи А.Г. Харчева, желание «затруднить развод и воспитать у людей более серьезное отношение к самому акту заключения брака»<sup>209</sup>. Количественные данные о расторжении браков в стране не могли не удовлетворить власть. Так, если в 1940 году статистические органы зафиксировали 205 000 разводов, то в 1945 — всего 6500<sup>210</sup>. Указ 1944 года, безусловно сужавший сферу приватности, создавал реальные механизмы контроля над частной жизнью в целом и косвенно

регулировал нормы сексуальной морали, маркируя как социальные аномалии не только распад семьи, но и внебрачные интимные связи. Однако динамика развития бракоразводной ситуации в стране за десятилетний период свидетельствовала о том, что нормативные суждения сталинского руководства не в силах сдерживать общемировые процессы ослабления внутрисемейных связей и стремления к относительной свободе интимных отношений. В 1954 году в стране, несмотря на ужесточение брачно-семейного законодательства, было зафиксировано уже почти 115 000 разводов<sup>211</sup>, существование которых явно не вписывалось в стандарты тендерного порядка эпохи большого стиля.

*«В обстановке советских больниц...»*

Сложное переплетение норм и аномалий, последствия и особые стратегии выживания в условиях нормирования интимной жизни становятся достаточно очевидными при исследовании социальной стороны репродуктивного поведения, и в частности проблемы аборт. Проблемы деторождения традиционно считаются сферой социальной политики. Именно здесь в наибольшей мере проявляется регламентирующая и контролирующая направленность государственной заботы о приросте населения, которая нередко граничит с жестким нормированием частной жизни и сферы интимности.

В досоветской российской истории государство традиционно маркировало искусственное прерывание беременности как социальную аномалию. Уже в X-XIV веках документы фиксировали явно отрицательное отношение власти к попыткам предотвратить рождение нежелательного ребенка<sup>212</sup>. В России XV-XVII веков за регулированием размеров семьи, самым эффективным средством которого был аборт, ревностно следили и государство, и церковь. За вытравление плода

зельем или с помощью бабки-повитухи священник накладывал на женщину епитимью сроком от 5 до 15 лет.

По Уложению о наказаниях 1845 года аборт приравнивался к умышленному детоубийству. Вина за это преступление возлагалась и на людей, изгонявших плод, и на самих женщин. Аборт карался поражением в гражданских правах, каторжными работами от 4 до 10 лет для врача и ссылкой в Сибирь или пребыванием в исправительном учреждении сроком от 4 до 6 лет для женщины. Эта правовая ситуация оставалась почти без изменений до 1917 года. В предреволюционной России искусственное прерывание беременности формально проводилось только лишь по медицинским показаниям. Официально признанной нормой являлось строго отрицательное отношение к аборту, подкрепленное такими мощными инструментариями управления частной жизнью, как антиабортное законодательство и христианская традиция. Иными словами, наличествовали и нормативное, и нормализующее властные суждения, совпадающие по своей сути. Они формировали и направленность социальной политики, сосредоточенной прежде всего на увеличении народонаселения, зачастую в ущерб свободе и даже здоровью женщины.

В ментальных же нормах в начале XX века явно прослеживались изменения, связанные с нарастающим процессом модернизации. Российский городской социум и в первую очередь столичные жители явно находились на распутье, подсознательно стремясь осуществить переход к неомальтузианскому пути ограничения рождаемости в браке за счет контроля над репродуктивными функциями семьи. В российской общественности росли и настроения, связанные с концепцией сознательного материнства. Однако использование контрацептивов пока еще не стало нормой повседневности, несмотря на довольно активное рекламирование различных противозачаточных средств в столичных газетах и журналах, выходивших накануне Первой мировой войны<sup>213</sup>. Неудивительно, что

количество нелегальных аборт, как отметил собравшийся в 1910 году очередной Пироговский съезд российских медиков, нарастало в «эпидемической пропорции». Накануне Первой мировой войны, по свидетельству известного врача Н.А. Вигдорчика, жительницы Петербурга стали «смотреть на искусственный выкидыш как на нечто обыденное и доступное... по рукам ходят адреса врачей и акушерок, производивших эти операции без всяких формальностей, по определенной таксе, не очень высокой»<sup>214</sup>. Аборт становился несанкционированной нормой повседневной жизни. Женщины-горожанки, по сути дела, игнорировали официальный запрет на искусственное прерывание беременности, демонстрируя стремление к самостоятельному контролю над деторождением.

После 1905 года многие медики и юристы пытались поставить вопрос о необходимости легализации абортов, мотивируя это ростом подпольных операций, зачастую кончавшихся увечьем, а иногда и смертью пациенток. А российские феминистки, кроме этого, считали, что женщине наконец-то следует предоставить право самостоятельного выбора в решении вопроса о будущем потомстве. Все это свидетельствовало о том, что на уровне общественного дискурса суждения об аборте как о некоей социальной аномалии утрачивали свою остроту. Более того, горожане были вполне готовы к идее признания искусственного выкидыша в качестве легального способа регулирования рождаемости. Эти настроения во многом явились основанием для превращения абортной политики в сферу социальной заботы нового государства, а сам факт самостоятельного решения женщиной вопроса о прерывании беременности превращался в государственно признанную норму.

Еще до прихода большевиков к власти В.И. Ленин писал о необходимости «безусловной отмены всех законов, преследующих аборты». Он подчеркивал, что «эти законы — одно лицемерие господствующих классов»<sup>215</sup>. В данном случае лидер большевиков высказывался в духе буржуазно-демократических

представлений о свободе выбора человеком его репродуктивного поведения. Пуриганско-патриархальная модель сексуальности и репродуктивности явно входила в конфликт с общими тенденциями развития морали и нравственности в большинстве прогрессивных стран. Однако у российских социал-демократов, в особенности у представителей их крайне левого крыла, вопрос о запрете абортов обрел к тому же и антиклерикальный характер. Отделив церковь от государства и ликвидировав церковный брак, советское государство создало серьезную основу для легализации абортов в новом обществе. Дальнейшее развитие этого вопроса во многом зависело от организации системы медико-социального обеспечения абортов. И, вероятно, поэтому, несмотря на антицерковную направленность большинства своих решений в сфере регулирования частной жизни, большевики не рискнули принять законодательный акт о легализации искусственных выкидышей в первые же месяцы после прихода к власти.

В 1918-1919 годах новое государство формировало принципы своей работы в области охраны материнства и детства. Лишь весной 1920 года началось активное обсуждение вопроса о разрешении операций по прерыванию беременности. В апреле 1920 года состоялось специальное совещание Женотдела ЦК РКП(б), на котором тогдашний нарком здравоохранения Н.А. Семашко прямо заявил о том, что «выкидыш не должен быть наказуем, ибо наказуемость толкает женщин к знахаркам, повитухам и т.д... причиняющим увечье женщинам»<sup>216</sup>. Таким образом, предполагаемая абортная политика советского государства должна была носить прежде всего оздоровительный характер. Однако многие активные большевички пытались педалировать социальный аспект свободы прерывания беременности, считая, что данная операция способствует «втягиванию женщин в общественную жизнь»<sup>217</sup>. Наконец аборты в Советской России были разрешены. 18 ноября 1920 года Народный комиссариат здравоохранения и Народный комиссариат

юстиции приняли совместное постановление «Об охране здоровья женщин». Документ гласил:

«За последние десятилетия, как на Западе, так и у нас, возрастает число женщин, прибегающих к прерыванию своей беременности. Законодательства всех стран борются с этим злом путём наказаний как для женщины, решившейся на выкидыш, так и для врача, его производшего. Не приводя к положительным результатам, этот метод борьбы загнал операцию в подполье и сделал женщину жертвой корыстных и часто невежественных абортистов, которые из тайной операции создали себе промысел. В результате до 50% женщин заболевают от заражения и до 4% из них умирают. Рабоче-Крестьянское Правительство учитывает всё зло этого явления для коллектива. Путём агитации против абортотворения среди масс трудящегося женского населения оно борется с этим злом и, вводя социалистический строй и широко осуществляя принципы Охраны Материнства и Младенчества, предвидит постепенное исчезновение этого явления. Но, пока моральные пережитки прошлого и тяжёлые экономические условия настоящего ещё вынуждают часть женщин решаться на эту операцию, Наркомздрав и Наркомюст, охраняя здоровье женщины и интересы расы от невежественных и корыстных шарлатанов и считая метод репрессии в этой области абсолютно не достигающим цели, — постановляют:

1. Допускается бесплатное и свободное производство этой операции в обстановке советских больниц, где обеспечивается её максимальная безвредность.
2. Абсолютно запрещается производство этой операции кому бы то ни было, кроме врача.
3. Виновные в производстве этой операции акушерка или бабка лишаются права практики и привлекаются к народному суду.
4. Врач, производивший операцию плодозащиты в своей частной практике с корыстной целью, отвечает перед Народным Судом»<sup>218</sup>.



Советская республика стала первой в мире страной, легализовавшей искусственный выкидыш. Желающим предоставлялась возможность сделать операцию по прерыванию беременности в специальном медицинском учреждении, независимо от того, угрожает или нет дальнейшее вынашивание плода здоровью женщины. На первых порах аборт производился бесплатно. И все же в советском правовом и социально-нравственном поле операция по прерыванию беременности квалифицировалась как социальная аномалия. Аборты можно было допустить в советском обществе лишь в сопровождении мощной агитационной кампании, разъясняющей их пагубные последствия для здоровья женщины. Деятели Наркомюста и Наркомздрава были уверены, что с возрастанием успехов социалистического строительства у женщин вообще отпадет необходимость в контроле над деторождением любым способом, и прежде всего с помощью аборт. О контрацепции же как противовесе искусственных выкидышей практически никто не задумывался. Более того, некоторые большевистские публицисты считали контрацептивы элементом буржуазного разложения<sup>219</sup>. На уровне массового сознания как в дореволюционной, так и в Советской России искусственный выкидыш считался реальной бытовой нормой. Желающих провести данную операцию на законных условиях в больнице оказалось немало. С 1924 года при отделах охраны материнства и младенчества стали функционировать специальные «абортные» комиссии. Они регулировали очередь на производство операций. В 1925 году в крупных городах на 1000 человек приходилось примерно 6 аборт<sup>220</sup>. Правом «на аборт» вне очереди по советскому законодательству пользовались фабрично-заводские работницы. Ситуацию зафиксировал литературный нарратив 1920-х годов. Лелька, героиня романа Вересаева «Сестры», без малейших сомнений принимает решение избавиться от нежелательной беременности: «Ордер в консультации она как работница получила легко. Какие

причины? Одиночка: отсутствие отца»<sup>221</sup>. И все же, несмотря на наличие привилегий, лишь одна из трех желающих избавиться от беременности работниц обращалась в 1925 году к врачам. Женщины из пролетарской среды в первой половине 1920-х по старинке прибегали к услугам «бабок» и к «само-абортам» с помощью разного рода ядов.

Основным мотивом аборта была материальная нужда. По этой причине не желали иметь ребенка 60% женщин в Ленинграде и почти 70% в других промышленных городах России<sup>222</sup>. Почти 50% работниц прерывали уже первую беременность<sup>223</sup>. 80% женщин, делавших аборт, имели мужей, но это обстоятельство вовсе не укрепляло их в желании стать матерями. Напротив, статистика разводов свидетельствовала, что в пролетарских семьях беременность была причиной расторжения брака.

Женская безответственность в вопросах контроля репродуктивности, причем не только в пролетарской среде, нередко усугублялась мужским равнодушием к продолжению рода. Сексуальная распущенность многих молодых мужчин дискредитировала предоставленную советской властью женщине возможность на аборт в медицинском учреждении как норму, отражающую право самостоятельного решения судьбы будущего потомства. В середине 1920-х в среде молодежи было зафиксировано явление, получившее название «давидсоновщины» (от фамилии студентки Московской горной академии Давидсон). Ее муж, тоже студент-горняк, систематически унижал женщину, избивал ее, трижды за год вынудил сделать аборт. В результате, не вынеся издевательств и не имея сил порвать с мужем-садистом, летом 1926 года Давидсон покончила жизнь самоубийством. Ярой обвинительницей мужчин, толкавших женщин на аборт и не желавших разделять с ними трудности воспитания ребенка, выступила С.Н. Смидович, член партии большевиков с 1898 года. Она в то время работала в аппарате Центральной контрольной

комиссии ВКП(б). Критика мужского поведения велась с позиций борьбы за женскую эмансипацию. Смидович, клеймя сексуально озабоченных и безответственных мужчин, осуждала и покорных, безответных женщин, жизнь которых «была служением своему господину — мужу». Партийная активистка Смидович образовала от фамилии несчастной самоубийцы название мелкобуржуазного явления — «давидсоновщина». Оно означало «женскую слабость», «неизбежное последствие векового рабства женщины». Жалея студентку Давидсон, Смидович тем не менее призывала бороться с «давидсоновщиной» — зависимостью женщины от мужа, нежеланием уйти от личных переживаний и бытовых забот в «общественную работу». Несмотря на кажущуюся феминистическую агрессивность идеи борьбы с «давидсоновщиной», она подразумевала довольно традиционное отношение к вопросам половой морали, где активность в области секса являлась привилегией мужчин. Женщине же предлагалась жесткая альтернатива: или секс как выражение полного подчинения, или свобода без сексуальной жизни<sup>224</sup>.

До середины 1920-х властные нормативные и нормализующие суждения были направлены прежде всего на создание необходимого медицинского обеспечения свободы абортов. В 1926 году Наркомздрав запретил аборты впервые забеременевшим женщинам, а также делавшим эту операцию менее полугода назад. Брачно-семейный кодекс 1926 года утвердил право женщины на искусственное прерывание беременности. И во властном, и в обывательском дискурсе существовало понимание того обстоятельства, что уровень рождаемости не связан с запретом на аборты, несмотря на их определенную вредность для женского организма. В российских городах в 1913 году в расчете на 1000 человек родилось 37,2 младенца, в 1917-м — 21,7, в 1920-м — 13,7, а в 1923 и 1926 годах, после разрешения абортов, — 35,3 и 34,7 соответственно<sup>225</sup>. Но при всем этом власть находила способы своими нормализующими

суждениями дисциплинировать женскую сексуальность и репродуктивность в собственных интересах.

Считая аборт отклонением, советская система охраны материнства рассматривала как норму проведение искусственного выкидыша без наркоза. В художественной литературе, созданной в 1920-х годах, отразилась и эта специфика социальной политики большевиков. Школьник Костя Рябцев вкладывает в свой дневник впечатливший его рассказ «Испытание железом», героиня которого, шестнадцатилетняя работница Манька Гузикова, брошенная парнем, вынуждена прервать свою беременность. Операция проходит в заводской больнице:

«Манька скинула халат, легла куда велели, и тут же рядом с ней очутилась давешняя докторица, взяла Манькины руки, развела их в стороны, кто-то еще потянул Манькины ноги, сколько-то жуткого времени прошло, и в тело, прямо в сердце, разворачивая его и леденя, вошла невероятная, нестерпимая, несоветимая боль и жгучим, калящим своим острием засверлила все дальше и глубже. "О-о-о-о-ой!" — захотелось закричать, завывать, заорать, но Манька закусил губы, закинула голову назад, а наверху был светлый, очень высокий потолок, он был белый и беспощадный, он словно говорил: "Ну, не смей орать, лежи смирно, сама, черт паршивая, виновата". Но боль не прекращалась, она охватила все тело, боль стала живой, боль ожила и острые когти свои вонзила в Манькино тело и сверлила, сверлила, сверлила без конца, без пощады, без надежды... Потолок помутнел, улетел куда-то еще выше, и вот уже не стало видно, в глазах стала какая-то мутная, нудная пелена, и она соединилась с болью, заполнила все Манькино тело, отделила Маньку от земли, от людей, от больничной комнаты. Манька стояла одна, одна во всем мире, и осталась с ней только боль — бешеная, вьедаящаяся, разрывающая тело на куски, на части, на мелкие кусочки, и в каждой крохотке этой разорванной была все та же нестерпимая боль. Потом в сознание вошло: "Ну, когда ж

кончится? Когда? Ну, когда?!" Боль стала утихающей, замирающей, словно уходила прочь, умирала... Руки стали свободными: значит, их выпустили, значит, их выпустила докторица; значит, все кончено, можно уходить. Но боль еще держала изнутри»<sup>226</sup>.

Русская эмигрантка Т. Матвеева в изданной в 1949 году в Лондоне книге «Русский ребенок и русская жена» вспоминает свой разговор с врачом, только что сделавшим ей аборт без анестезии. На ее жалобу он «холодно ответил: "Мы бережем их (наркотики. — *Н.И.*) для более важных операций. Аборт это чепуха, женщина переносит его легко. Теперь, когда ты знаешь эту боль, это послужит для тебя хорошим уроком"»<sup>227</sup>. Многие врачи вообще считали, что страдания, причиняемые женщине во время операции, — необходимая расплата за избавление от плода.

Но ни боль, ни унижения не останавливали женщин. Вопреки прогнозам коммунистических теоретиков, по мере построения нового общества и создания образцовой советской семьи количество абортотворений не уменьшалось, а росло. В 1924 году в Ленинграде на 1000 жителей пришлось 5,5 случая официально зафиксированных абортов, в 1926-м — 14,1, в 1928-м — 31,5, в 1930-м — 33,7, в 1932-м — 33,4, в 1934-м — 42<sup>228</sup>. Естественный же прирост населения, несмотря на разрешение искусственного прерывания беременности, начал уменьшаться лишь с середины 1930-х годов. В 1934 году в Ленинграде в расчете на 1000 человек населения появилось всего 15,5 новорожденных — меньше, чем в голодном 1918-м<sup>229</sup>. В целом это была общемировая тенденция. Как известно, в наиболее развитых странах показатели рождаемости относительно невысоки. В данном случае сокращение размеров семей советских людей можно было истолковать как последствие роста общего благосостояния. И для такого утверждения находились определенные основания. С.Г. Струмилин — крупнейший советский специалист по статистике и демографии — подчеркивал, что

материалы обследований 1929-1933 годов показали устойчивую обратно пропорциональную зависимость размеров жилья и плодовитости брачных пар. Однако руководство страны к концу 1920-х явно стало ориентироваться на традиционалистский идеал многодетности, противопоставляя демографическое развитие СССР общим модернизационным тенденциям. И.В. Сталин на XVII съезде ВКП(б) назвал в числе важнейших достижений социализма бурный рост народонаселения<sup>230</sup>. И, по-видимому, в угоду ему Струмилин вынужден был заявить вопреки логике цифр, что «опыт капиталистического Запада в области динамики рождаемости для нас... не указ»<sup>231</sup>. Настораживали большевистское руководство не только уменьшение количества населения и увеличение числа аборт в стране, но и свобода в частной жизни.

Сократить количество искусственных выкидышей можно было очень просто: увеличить, как в большинстве западных стран, производство контрацептивов. В данном случае заметно расширилось бы и поле социальной работы: возникла бы серьезная необходимость не только в развитии определенной области фармацевтического производства, но и в создании системы сексуального просвещения. Но этот путь не устраивал власть. В массовой литературе по половому воспитанию практически ничего не писали о предохранении от нежелательной беременности. И это неудивительно. Достать подобные средства в Советской России было просто невозможно. Старый московский интеллигент, учитель истории И.И. Шитц, не без горькой иронии записал в своем дневнике летом 1930 года: «Даже презервативы (58 коп. за полдюжины, очень грубые и больше не дают) в очередь, правда, пока в пределах магазинов. Но что будет, когда хвост окажется на улице и домашние хозяйки начнут подходить с вопросом "А что дают?"»<sup>232</sup>. В данной ситуации аборт без наркоза являлся единственным реальным способом регулирования рождаемости и своеобразной непреложной нормой частной жизни. Однако предоставить людям

спокойно пользоваться даже этой несколько сомнительном степенью свободы советский режим начиная со времени «великого перелома» уже не считал нужным.

С 1930 года операция по искусственному прерыванию беременности стала платной. При этом, демагогически утверждая, что аборт наносит женскому организму непоправимый ущерб, государственные структуры ежегодно повышали цены. В 1931 году за избавление от нежелательного потомства, независимо от собственных доходов, женщине надо было заплатить примерно 18-20 рублей. В 1933 году плата колебалась от 20 до 60, а в 1935 году — от 25 до 300 рублей. Правда, с 1934 года цена уже зависела от уровня обеспеченности женщины. Но это мало помогало. Если «заработок на одного члена семьи» составлял от 80 до 100 рублей, то за операцию брали 75 рублей — почти четверть всех доходов среднестатистической семьи из четырех человек. Женщину, таким образом, наказывали за «своеволие» не только болью, но и рублем. Контроль приобрел вполне материализованные формы. Государство забирало «абортные деньги» в свой бюджет. В первом квартале 1935 года в Ленинграде «доход от производства абортных» (так в источнике. — Я.77.) составил 3 615 444 рублей<sup>233</sup>.

Изменение принципов социальной политики, первоначально выразившееся в повышении цен на операции по искусственному выкидышу, заставило многих женщин прибегнуть к испытанным средствам самоабортов и помощи частных врачей. В секретной записке заместителя заведующего городским здравоотделом в президиум Ленинградского совета уже в мае 1935 года отмечался «рост неполных абортных (на 75%), вызванных вне больничных условий преступными профессионалами»<sup>234</sup>. Медики, занимавшиеся охраной материнства и детства — важнейшей сферой социальной работы с населением, — забили тревогу. Их действительно волновало здоровье нации. Отсутствие контрацептивов побуждало женщин систематически прибегать к абортам. 6-8 подобных

операций — это норма для горожанки 30-35 лет. Не случайно в той же секретной записке высказывались требования не только «изменить существующую шкалу платности за производство аборта», но и систематически «снабжать все гинекологические амбулатории, консультации, кабинеты на предприятиях, аптеки и магазины санитарии и гигиены всеми видами противозачаточных средств», «наладить выпуск уже подготовленных брошюр о системе контрацепции». Одновременно авторы записки осмелились заявить, что не легализация аборт, а отсутствие жилой площади и неуверенность в будущем заставляет женщин отказаться от рождения лишнего ребенка. Об этом свидетельствовали материалы опроса 33 женщин, обратившихся в одну из ленинградских больниц с просьбой о прерывании беременности. 9 из них не могли позволить себе родить ребенка из-за сложных жилищных условий. «На площади 12 м живет 6 человек»; «С мужем развелась, но живу в одной комнате и спим на одной кровати валетом, вторую поставить негде»; «С мужем живем в разных квартирах, так как своей площади никто из нас не имеет», — вряд ли можно назвать эти мотивы мещанским и обывательским нежеланием ущемлять свои личные интересы заботами о потомстве. Но советскую идеологическую систему не могла устраивать даже та ничтожная степень свободы частной жизни, которую предоставляло постановление 1920 года о легализации абортов.

*«Навстречу многочисленным заявлениям  
трудящихся женщин»*

Незадолго до того, как сталинская конституция констатировала факт построения в СССР социализма, в контексте общей политики большого стиля постановлением ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 года аборты в стране были запрещены. В документе было указано: «Только в условиях социализма, где



отсутствует эксплуатация человека человеком и где женщина является полноценным членом общества, а прогрессирующее повышение материального благосостояния является законом общественного развития, можно ставить борьбу с абортми, в том числе и путем запретительных законов... В этом правительство идет навстречу многочисленным заявлениям трудящихся женщин»<sup>235</sup>.

Согласно новому повороту в социальной политике советской власти, по «настоятельным просьбам трудящихся» вводилась целая система уголовных наказаний за совершение искусственных выкидышей. Репрессиям подвергались не только лица, подтолкнувшие женщину к принятию решения об аборте, не только медики, осуществившие операцию, но и сама женщина. Сначала ей грозило общественное порицание, а затем штраф до 300 рублей — сумма по тому времени внушительная. Это означало, что женщина в дальнейшем должна была утвердительно отвечать на вопрос анкеты «состоял ли под судом и следствием». В советском государстве это влекло за собой явное ущемление в гражданских правах. Таким образом, забота перерастала в контроль репрессивного характера.

Это ярко проявилось и в ходе организации кампании по «всенародному обсуждению» нового проекта. Донбасские исследователи Е.В. Стяжкина и И.М. Мирошниченко детально изучили механизм организации «всеобщего одобрения» запрета абортм, подчеркнув, что «очевидное неприятие идеи тотального запрета на абортм в обществе не было принято во внимание властью, поступившей исключительно по своему усмотрению...»<sup>236</sup>.

Приняв драконовский закон об абортм, властные структуры получили еще один мощный рычаг управления частной жизнью граждан. В условиях введения уголовной ответственности за совершение искусственного прерывания беременности необходимо было обеспечить население средствами предохранения. В конце 1930-х годов на выпуске презервативов стал

специализироваться баковский завод резиновых изделий, расположенный и поныне в Подмосковье. Он превратился в монополиста в области производства этих товаров для населения, отняв первенство у ленинградского завода «Красный треугольник», который изготавливал кондомы еще в царской России. Одновременно в советской прессе конца 1930-х годов начали рекламировать контрацептивы. Журнал «Красная деревня», например, поместил в одном из своих выпусков за 1936 год на задней обложке под рубрикой «Спрашивайте во всех аптеках и магазинах "Санитарии и гигиены" Ленинградской области» информацию об имеющихся в продаже «предохранительных средствах от беременности» — «Контрацептине», «Преконсоле» и «Вагилене», а также о презервативах<sup>237</sup>. Но в целом отношение к контрацепции в советском государстве не изменилось. Оно было сродни позиции католической церкви, отрицающей любые формы регулирования рождаемости. В доказательство достаточно привести выдержки из методической разработки выставки для женской консультации. Документ датирован 1939 годом. В консультациях предусматривался текстовый плакат «Противозачаточные средства». Содержание его было следующим: «В Советском Союзе применение противозачаточных средств рекомендуется исключительно как одна из мер борьбы с остатками подпольных абортотворцев и как мера предупреждения беременности для тех женщин, для которых беременность и роды являются вредными для их здоровья и даже могут угрожать их жизни, а не как мера регулирования деторождения»<sup>238</sup>. Это отвечало общим принципам тендерного порядка эпохи большого стиля, в котором женская сексуальность могла быть реализована только посредством деторождения. Такие нормы интимной жизни устраивали политическую систему сталинизма.

После принятия закона 1936 года положение с абортами внешне улучшилось. Могло даже показаться, что искусственное прерывание беременности превращалось в отклонение от

общепринятых бытовых практик. В первой половине 1936 года в ленинградских больницах было произведено 43 600 операций по прерыванию беременности, а во второй половине того же года, после принятия закона, — всего 735. В целом за 1936-1938 годы число абортотворений сократилось втрое. Но рождаемость за это же время повысилась всего в два раза, а в 1940 году и вообще упала до уровня 1934 года. Зато нормой в советском обществе стали криминальные аборты.

По данным секретной записки ленинградских органов здравоохранения в обком ВКП(б), датированной ноябрем 1936 года, за весь 1935 год в городе было зарегистрировано 5824 неполных выкидыша, а только за три месяца 1936 года, прошедших после принятия закона о запрещении абортов, — 7912<sup>239</sup>.

Незаконные операции по прерыванию беременности проводили как профессиональные гинекологи, так и люди, не имевшие никакого отношения к медицине. В 1936 году в числе лиц, привлеченных к уголовной ответственности за производство абортов, врачи и медсестры составляли 23%, рабочие — 21%, служащие и домохозяйки — по 16%, прочие — 24%. Несмотря на преследования, подпольные абортмахиры не имели недостатка в клиентуре ни в городе, ни в его окрестностях. Спецдонесение председателю исполкома Ленсовета от 17 апреля 1941 года «О вскрытии подпольного абортария в Мгинском районе Лен. Области» зафиксировало, что «производством криминальных абортов занималась работница Назиевских торфоразработок — Морозова Мария Егоровна 35 лет, которая за последние 3 года произвела 17 абортов различным работницам вышеназванных торфоразработок, получая в каждом отдельном случае денежное вознаграждение, продовольствие и промтовары. В дальнейшем было установлено, что Морозовой помогали вербовать женщин для производства абортов работницы тех же торфоразработок... которые получали часть вознаграждения от Морозовой. Аборты производились в антисанитарных условиях путем

вспрыскивания мыльного раствора»<sup>240</sup>. Широкое распространение получила практика самоабортов, в большинстве случаев имевших страшные последствия. После принятия закона о запрете абортов количество случаев смерти женщин от сепсиса возросло в четыре раза. К счастью, бывали случаи, когда выкидыши не вызывали серьезных осложнений, и женщина, вовремя попав в больницу, оставалась жива и относительно здорова. Но закон был безжалостен: установленный факт самоаборта мгновенно фиксировался, и дело передавалось в суд. Таких ситуаций было немало. Одна из самых вопиющих отмечена в поступившем в облисполком Ленсовета 21 апреля 1940 года «Спец. донесении о симуляции изнасилования гражданки С. с целью скрытия самоаборта в Боровичском районе Лен. Области». В начале апреля 1940 года в районную больницу поступила женщина 23 лет с сильным кровотечением. Из ее рассказа врачи заключили, что она подверглась жуткому насилию. Преступники мучили ее, используя стекла от разбитого стакана, которые действительно были извлечены из половых органов пострадавшей. «Затем, — как отмечено в документе, — было установлено, что гражданка С. прибегла к симулированию изнасилования с целью совершить выкидыш на пятом месяце беременности. Дело передано в прокуратуру. Копия донесения в обком ВКП(б)»<sup>241</sup>.

Чаще всего к самоабортам и услугам подпольных абортамахов, как и до революции, прибегали молодые незамужние работницы. Однако после принятия закона 1936 года криминальный искусственный выкидыш стал нормой и в среде семейных женщин, нередко из номенклатурных слоев. Областной прокурор в секретной записке, направленной в Ленинградский обком ВКП(б) в феврале 1940 года, указывал: «Считаю необходимым довести до вашего сведения о фактах производства незаконных абортов в Лахтинском районе Лен. обл. Наибольшее число незаконных абортов в этом районе произведено женами ответственных работников. Установлены

случаи самоаборта — жена редактора районной газеты, использование услуг подпольного абортмахера — жена зав. отдела райкома ВКП(б), жена помощника райпрокурора, жена нарсудьи»<sup>242</sup>.

Запрещение аборт не дало должного эффекта. Напротив, детское население сокращалось. Причины этого были очевидны и медикам, и социальным работникам. В секретной докладной записке Ленинградского областного здравоотдела о состоянии родовспоможения в Ленинграде в 1937 году констатировалось: «Полная неподготовленность органов родовспоможения к встрече нового повышенного роста рождаемости (после закона о запрете аборт. — Я.Л.) привела к скученности и перегрузке родильных домов — факторов, повлекших повышение смертности как среди новорожденных, так и среди рожениц»<sup>243</sup>. Кроме того, многие врачи, жалея женщин, все же давали разрешение на аборт по медицинским показаниям. В 1937 году абортные комиссии в Ленинграде, в частности, выдавали разрешение на операцию по искусственному выкидышу почти половине обращающихся женщин. В том же году только 36,5% женщин, не сумевших сделать официально разрешенный аборт, родили детей. Многие просто покинули Ленинград, не оставив сведений о дальнейшей судьбе плода. А почти 20% либо совершили самоаборт, либо воспользовались услугами подпольных врачей. Во всяком случае, анализ причин выкидышей, проведенный гинекологами Ленинграда в 1938 году, показал, что 83,4% женщин вообще не могут внятно объяснить причину, по которой у них прервалась беременность<sup>244</sup>. Одновременно власти вынуждены были констатировать с осени 1936 года рост фактов насильственной смерти детей. Более 25% всех убийств в Ленинграде составляло умерщвление младенцев, при этом большинство этих преступлений совершали женщины-работницы. Новорожденных убивали штопальными иглами, топили в уборных и просто выбрасывали на помойку<sup>245</sup>. Следует отметить, что аномалия

в данном случае явилась не столько следствием отклонения в поведении женщины, сколько порождением правовой нормы. Советская нормативно-регулирующая практика эпохи большого стиля отчетливо продемонстрировала процесс властного провоцирования возникновения девиации.

Принятие закона о запрещении аборт совпало с началом Большого террора в СССР и установления тотальной слежки за населением посредством системы политического контроля. Его структуры практически с первых дней существования советской власти уделяли особое внимание именно контролю над жизнью граждан, протекающей в сфере частного пространства. Как социальная аномалия, проведение искусственного выкидыша должно было фиксироваться системой органов социального контроля. И действительно, такие органы были созданы. Ими стали социально-правовые кабинеты по борьбе с абортами, хотя первоначально эти органы задумывались как институты, призванные заботиться о здоровье населения. Согласно инструкции Наркомздрава СССР от 25 октября 1939 года, социально-правовой кабинет организовывал «регулярное, своевременное получение от врачебных комиссий по выдаче разрешений на аборт списка женщин, которым отказано в производстве аборта (не позднее 24 часов после заседания комиссии) для организации патроната»<sup>1</sup>. Формально инструкция указывала, что патронат не должен носить следственного характера, работникам консультаций не рекомендовалось вступать в разговоры с соседями и родственниками беременной женщины<sup>246</sup>. Но на практике в условиях коммуналок, общежитий, в атмосфере всеобщего доноительства ни беременность, ни криминальный аборт, ни тем более проверка государственными органами не могли пройти незамеченными. Врачи Центрального акушерско-гинекологического института в Ленинграде, больше известного как

Патронатом называлось посещение на дому.

больница имени Д.О. Отто, констатировали в служебной записке 1939 года: «При посещении на дому патронажные сестры встречают нехороший прием со стороны женщин, получивших отказ в разрешении на аборт, в особенности в тех случаях, когда беременность не сохранилась (обычное объяснение — тяжелое подняла, оступилась, заболел живот и т.п.)»<sup>247</sup>. Слежка за беременными женщинами осложняла и без того накаленную арестами и выселениями атмосферу в советском обществе.

Запрет на искусственное прерывание беременности продолжал действовать и после Великой Отечественной войны. В стране, победившей фашизм, в середине 1940-х — середине 1950-х годов функционировали подпольные абортарии, стабильно росло число криминальных абортотворений и фактов умерщвления младенцев. В газетах послевоенного времени в разделе «Происшествия» нередко можно было встретить информацию следующего характера: «Из хроники происшествий. Смерть от аборта. На лестнице дома № 72 по Набережной канала Грибоедова был обнаружен труп молодой женщины. Как показало вскрытие, смерть последовала от аборта. Виновница смерти — работница артели "Интрудобслуживание" Ф. Диденоча, систематически занимавшаяся производством абортов "домашними средствами". Преступница передается суду»<sup>248</sup>. Известный исследователь криминальных проблем в послевоенном советском обществе И.В. Говоров не без основания утверждал, что «правоохранительные органы оказались не в состоянии успешно бороться с этим видом преступности»<sup>249</sup> (то есть нарушением закона о запрете абортов). Это отчасти объясняет отсутствие систематических статистических данных о фактах искусственного прерывания беременности в стране в целом и в Ленинграде в частности после войны. Но даже неполная картина вполне впечатляет. Так, только с июня 1950 по март 1951 года сотрудники ленинградской милиции обнаружили в городе 14 подпольных абортариев. За те же девять месяцев в Ленинграде было обнаружено 27 задушенных младенцев<sup>250</sup>.



Большинство молодых семей, как и в 1930-х годах, не могли позволить себе иметь больше одного ребенка из-за отсутствия жилья и малых заработков. Мало чем помогали и скромные пенсии инвалидов войны. Это заставляло в условиях сурового закона об абортах пользоваться услугами нелегальных абортмахеров либо, как ни трагикомично это звучит, обращаться к представителям высшей власти для разрешения вопросов частной жизни. Осенью 1949 года молодая пара, где главой семьи был инвалид войны, передвигавшийся на костылях, вынуждена была написать письмо с просьбой о разрешении прервать беременность тогдашнему Председателю Президиума Верховного Совета Н.М. Швернику. В результате «по личному указанию тов. Шверника Н.М.» в порядке исключения аборт был сделан<sup>251</sup>.

Советские женщины в течение десяти послевоенных лет, до 1955 года, жили под страхом нежелательной беременности и наказания за избавление от нее. Эта ситуация, запрограммированная уже в конце 1930-х годов законом о запрете аборт, была усугублена условиями войны и изменениями в советском брачно-семейном законодательстве, прежде всего Указом 1944 года. Почти каждая женщина, фертильный возраст которой пришелся на середину 1930-х — середину 1950-х годов, имела в своей биографии историю, связанную с нелегальным абортом. Петербурженка 1925 года рождения, респондентка финской исследовательницы А. Роткирх вспоминала о событиях 1954 года:

«Саша поговорил со знакомым фельдшером. Тот, как узнал — пятый месяц, отказался, сказал, без больницы не обойтись. Потом я нашла девчонку, которая делает аборт. Велела приготовить хозяйственное мыло кипяченое. Я все приготовила, она пришла, влила это мыло и сказала: "Воздух попал, будет знобить". Так и вышло: пришел Саша и сразу все понял, что я уже готова. Знобило, поднялась температура 40, плод не идет,



и на другой день тоже. Вызвали скорую. Саша убежал — за аборт очень строго судили. В больнице сказала, что сделала аборт сама, внимания никакого, только при обходе спрашивали — не родила? Нет, пусть рожает — и все. Лежу уже три дня, температура 40, стала уже разлагаться, пошла вонь от меня, в палате стали жаловаться — не могут есть. Запах по палате. И никто ничего. Сделала сама — и выкарабкивайся как можешь. Я просила сестричку, чтобы меня перенесли в коридор. Зима, холодно, но хоть я мешать никому не буду. Сестры перенесли меня в коридор. Одна в большом холодном коридоре. Зима, одеяла тонкие. На меня наложили матрас, чтобы не замерзла. Я лежала так уже три дня, вся разлагалась. Никто не подходил. Плод давно не бился, понимала, что это конец. Утром подошла ко мне медсестра... И она сжалилась надо мной, сделала два укола в ноги, и я стала тужиться, развернулась, ухватилась за стенку кровати и родила. Потом спросила, кто там, она ответила, кусок мяса, ничего понять нельзя. Так закончились вроде мои мучения. Но это только казалось, еще две чистки, и вышла я из больницы, как говорится, тонкая, звонкая и прозрачная»<sup>252</sup>.

Следует отметить, что в художественном нарративе эпохи большого стиля проблема абортотв отражена крайне скупом и в основном в контексте властного дискурса. В романе В.Ф. Пановой «Времена года» (1953) невестка главной героини Дорофееи Куприяновой делает аборт из-за неурядиц в семейной жизни. Свекровь, понимая безвыходность положения молодой женщины, тем не менее реагирует на ситуацию довольно странно: «Дорофея спросила резко: — Какой негодяй тебе это сделал?»<sup>253</sup> Действительно, и после войны сталинское руководство не собиралось менять свое отношение к абарту, по-прежнему расценивая его как социальную аномалию, с которой предполагалось бороться в первую очередь с помощью уголовного наказания. В мае 1950 года на заседании коллегии Министерства юстиции

СССР был заслушан вопрос о «судебной практике по делам о производстве аборт». Участники заседания неоднократно поднимали вопрос о необходимости «проявить в судах больше жестокости, привлекать к ответственности и судить мужей... проводить показательные суды, в том случае если аборт заканчивался гибелью женщины»<sup>254</sup>.

Но в начале 1950-х годов количество аборт неуклонно росло даже в условиях уголовной ответственности за их осуществление. В 1950 году в Ленинграде, например, медики зафиксировали 44 600 аборт, а в 1954 году — уже 60 100. В это время произошло 43 100 и 48 400 родов соответственно. Еще более впечатляют следующие данные: в 1950-1954 годах из 243 500 аборт лишь 20,7% были сделаны по медицинским показаниям. Остальные 190 000 произошли вне больничных условий, то есть путем самоабортирования. Правда, криминальными считались 16 900 аборт, то есть чуть более 6% от общего числа. В это же время было официально зарегистрировано 533 факта смерти от искусственных выкидышей<sup>255</sup>. 81,5% женщин, решившихся прервать свою беременность, по данным 1954 года, состояли в браке, при этом многодетность не являлась причиной отказа от рождения ребенка. Напротив, у 28% сделавших аборт вообще не было детей, а 44% имели всего одного ребенка. Нежелание стать матерью регламентирующие инстанции объясняли недостатком детских учреждений — яслей и детсадов, так как большинство женщин «хочет участвовать в общественном производстве и воспитывать детей, не отрываясь от работы».

Это соответствовало основному постулату тендерного порядка эпохи большого стиля, согласно которому сексуальность могла быть реализована только посредством деторождения, а интимная жизнь должна была протекать лишь в подконтрольных государству формах.

В течение почти двадцати лет власти рассматривали аборт по самостоятельному желанию женщины как патологию.

В этом контексте модифицировались формы социальной работы в сфере репродуктивности населения: был совершен переход от заботы, комплекса медико-охранительных мер по поддержанию женского здоровья к жесткому контролю, опиравшемуся на конкретные карательно-правовые реалии эпохи большого стиля. Одновременно в условиях послевоенной повседневности население стало явно стремиться к смене кодов своей тендерной идентичности, ранее ориентированной в основном на выполнение репродуктивной функции. Навязанные властью стандарты сексуального поведения, признававшие интимную жизнь лишь в конституированных, подконтрольных государству формах, обретали патологические черты. В сконструированном сталинской властью тендерном порядке вызревало конфликтное напряжение.

### ГЛАВА 3. ДОСУГ В КОНТЕКСТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НОРМИРОВАНИЯ

Официально признанные и нередко законодательно утвержденные нормы относительно легко реализуются в областях повседневной жизни, связанных с публичным пространством. К числу же якобы непосредственно не регулируемых сфер повседневности относится свободное время горожанина, проводимое им вне строго регламентированного производственного процесса. Тем не менее связь поведения человека в часы досуга с ментальными стандартами несомненна, и потому так объяснимо стремление государства ввести нормирование и в этих сферах.

Внерабочее время всегда ассоциируется со сферой приватности, с элементами свободы и неподконтрольности. Но нормализующее вмешательство власти прослеживается и здесь. Ведь объем, структура и содержание досуга являются показателями культурных ориентиров населения, во многом влияют на его поведенческие реакции. Не случайно в обществах индустриального толка возник вопрос о регулировании досуга косвенным, но вполне цивилизованным путем — посредством законодательства о продолжительности рабочего дня. Такую же попытку осуществили и большевики, в числе первых нормативных актов которых был декрет о восьмичасовом рабочем дне. Внешне он носил буржуазно-демократический и филантропический характер. И тем не менее этот документ представлял собой своеобразное средство управления частной

жизнью, что наиболее отчетливо проявляется при рассмотрении феномена свободного времени молодых рабочих. Выбор данного слоя городского социума для демонстрации процесса нормирования сферы досуга подробно объяснен в моей книге «Повседневная жизнь советского города: нормы и аномалии. 1920-1930-е годы»<sup>256</sup>.

### *Свободное время — нормы объема*

Введенные восьмичасовой рабочий день для лиц старше 18 лет и шестичасовой для несовершеннолетних (а для 14-16-летних и вообще четырехчасовой) могли гарантировать наличие у населения 16-18 часов свободного времени. Однако эти законодательные инициативы не соответствовали реалиям Гражданской войны и военного коммунизма, когда в увеличении продолжительности рабочего дня были заинтересованы государственные структуры. Возвращение в 1921 году к нормам мирной жизни сопровождалось реализацией декларированных в 1917 году трудовых прав молодежи. Большинство нормализующих суждений того времени было направлено на создание условий для увеличения объема досуга. Уже в феврале 1921 года ВЦСПС разработал правила труда лиц, не достигших 18-летнего возраста, согласно которым юноши и девушки от 14 до 16 лет должны были работать на производстве не более 4 часов, а 17-18-летние — 6 часов<sup>257</sup>. Однако на пути проведения в жизнь этих нормативных положений стояло немало трудностей: хозяйственники в условиях хозрасчета не желали держать на предприятиях нерентабельную группу производственников. При этом 4- и 6-часовой рабочий день не хотели устанавливать не только частники и концессионеры, но и вполне лояльные к советской власти «красные директора». Комсомольская периодическая печать 1921 года была переполнена жалобами подростков

на эксплуатацию в условиях социалистических предприятий. По 7 часов работали 15-летние девушки на ивановских бумагопрядильнях, по 8 — на Саратовской канатной фабрике<sup>258</sup>. Нарушения трудового законодательства были замечены на московском заводе «Гужон» и на петроградском Северо-механическом<sup>259</sup>. В конце лета 1921 года ВЦСПС обратился с наказом к фабрично-заводским комиссиям по охране труда, отметив, что «тяжелый труд в детстве загонит рабочего в могилу и лишит нас здоровой рабочей силы взрослого человека»<sup>260</sup>.

Профсоюзы предложили целый комплекс мер по охране труда подрастающего поколения, уделив особое внимание сокращению длительности рабочего дня. Почти одновременно IV съезд комсомола выдвинул как главное направление своей деятельности «вопросы улучшения труда и быта рабочей молодежи»<sup>261</sup>. Но призывы общественных организаций не возымели должного эффекта. В 1921 году молодые рабочие, не достигшие 18 лет, трудились в среднем по 6,7 и 5,7 часа в день<sup>262</sup>. Более действенными оказались решения партийной власти. Весной 1922 года XI съезд РКП(б) указал на необходимость реализации положений декрета о восьмичасовом рабочем дне применительно к несовершеннолетним<sup>263</sup>. Решения съезда повлекли за собой появление четких нормативных суждений — принятого в 1922 году нового Кодекса законов о труде. Он закрепил для несовершеннолетних 6- и 4-часовой трудовой день, чего не было в КЗОТе 1918 года. Фиксация этой правовой нормы, подкрепленной уголовной и административной ответственностью, позволила отрегулировать вопрос о продолжительности труда молодежи как на государственных, так и на частных предприятиях. К 1925 году юноши и девушки в промышленном производстве были заняты в среднем по 5,7 и 4,4 часа, а в конце 1927 года — по 5,3 и 4,1 часа<sup>264</sup>. Эти цифры совпадали с общей тенденцией сокращения рабочего дня для людей всех возрастов, средняя продолжительность

которого составляла в 1924-1925 годах 7,5, в 1925-1926 годах — 7,4, а в 1926-1927 годах — 7,3 часа<sup>265</sup>. У молодых людей появлялись реальные возможности не только для увеличения объема досуга, но формально и для расширения приватного пространства. Однако повседневность наполнена не только производительным трудом, продолжительность которого подвергается правовому регулированию, но и сном, домашней работой, общественной деятельностью, исполнением религиозных обрядов. За вычетом затрат на эти структурные элементы свободного времени у молодых рабочих в начале 1920-х годов оставалось примерно 4,7 часа в день. Тратились они следующим образом: 1,2 часа уходило на бездеятельный отдых, 1,6 часа — на так называемое самовоспитание, то есть на чтение книг и газет, занятие в кружках и школах, посещение лекций и выставок, 1,9 часа занимали иные развлечения — прогулки, гости, карты, танцы (всего 20 видов!). В крупных промышленных городах, в частности в Петрограде, свободное время молодых рабочих (4,5 часа) распределялось несколько по-другому: бездеятельный отдых занимал 0,5 часа, самовоспитание — 1,9 часа, развлечения — 1,6 часа<sup>266</sup>. Обследования, выявившие эти цифры, зафиксировали различия в культурных нормах, правда, в данном случае характерных для молодых рабочих периферии и крупных центров, где труженики промышленного производства были, как правило, коренными горожанами. Таким образом, молодежь уже реализовала возможности, предоставляемые гарантированным 8- и 4-часовым рабочим днем и действительной доступностью после прихода к власти большевиков достижений культуры бывшим неимущим слоям городского социума. Молодые рабочие в 1920-е годы тратили значительно больше времени на самовоспитание и развлечения, чем старшее поколение.

Внешне эта тенденция продолжала развиваться и в 1930-е годы. На юбилейной сессии ЦИК СССР, посвященной десятилетию Октябрьской революции, был провозглашен переход на

7-часовой рабочий день. Этот процесс, как традиционно считалось, проводился в течение первой пятилетки, к концу которой все перешли на новый режим труда. Действительно, по официальным статистическим показателям, в 1928 году средняя продолжительность трудового дня в стране составляла 7,8 часа, а в 1934-м — 6,6 часа. В реальности все было сложнее. Сокращение рабочего времени на один час одновременно с введением шестидневки вело к потере в месяц более 30 часов. Это отрицательно сказалось на развитии промышленности. Уже в конце 1929 года Народный комиссариат труда РСФСР отметил падение производительности труда практически во всех отраслях производства<sup>267</sup>. Об этом в начале 1960-х годов писал С.Г. Струмилин, подчеркивая, что с началом пятилетки «пришлось принимать более энергичные меры для организованного набора рабочей силы...» и в этих условиях «переход к 7-часовому рабочему дню оказался явно преждевременным»<sup>268</sup>. В связи с рядом экономических обстоятельств ввести повсеместно 7-часовой рабочий день оказалось нереальным. В крупных городах, как, например, в Ленинграде, сокращение трудового дня было произведено только в 1932 году, в городах Центрально-Черноземной области к началу 1930-х годов по 7 часов в день трудилось менее трети всех рабочих<sup>269</sup>. Особенно сложным оказался вопрос о нормировании труда несовершеннолетних. На некоторых фабриках и заводах, например в Иваново-Вознесенске, комсомольцы обращались к администрации с просьбами уменьшить на 1 час продолжительность рабочего дня для юношей и девушек, не достигших 18 лет<sup>270</sup>. Но это не было предусмотрено законодательством. Более того, штурмовые методы, характерные для эпохи первых пятилеток, вообще не предполагали никакого нормирования рабочего времени. В месяцы «штурма» принимались решения, как, например, на строительстве Горьковского автомобильного завода, о дополнительном 5-часовом труде после окончания смены<sup>271</sup>. «Прорывы», сопровождавшиеся сверхурочными нагрузками,



были повседневностью производственной жизни, хотя и подавались пропагандой как экстраординарные ситуации трудового подвига. В качестве примера можно привести положение на ленинградском Балтийском заводе в 1930 году, когда из-за якобы вредительства производственный коллектив не укладывался в график спуска теплохода «Абхазия». Для ликвидации отставания молодежные бригады проводили на стапелях в течение месяца по 12-14 часов в день<sup>272</sup>. И такие случаи были отнюдь не единичны. Комиссия ЦК ВЛКСМ, обследовавшая в 1934 году положение на фабриках и заводах, находящихся в городах европейской части РСФСР, констатировала многократные факты несоблюдения трудового законодательства о семичасовом рабочем дне для взрослых и 6-4-часовом для несовершеннолетних<sup>273</sup>. А в 1938 году в стране началась кампания постепенного перевода промышленных предприятий вновь на 8-часовой режим труда, что обычно объяснялось необходимостью укрепления обороноспособности. Однако это была не единственная причина, если учесть систематическое, почти ежегодное издание постановлений об укреплении трудовой дисциплины. Эпопея с самым коротким в мире рабочим днем законодательно завершилась Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на шестидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений». Уплотнение рабочего времени было проведено в кратчайшие сроки — от 3 до 6 месяцев, что, естественно, вызвало сокращение объема досуга. Особенно пострадали несовершеннолетние — с 1 июля 1940 года они стали работать по 8 часов в день<sup>274</sup>.

Молодые рабочие 1930-х не смогли увеличить объем своего свободного времени хотя бы на один час, как формально было закреплено в трудовом законодательстве. Обследования 1933 года показали, что за десять лет, с 1923 года, ничего не изменилось. Мужчины по-прежнему отводили на развлечения и бездеятельный отдых, на учебу и самовоспитание примерно

4,5 часа в день, а женщины — 3,5 часа. При этом бездеятельный отдых стал занимать у молодых рабочих больше времени, чем у людей старших возрастов<sup>275</sup>. Таким образом, правовые нормы не смогли в условиях формирующегося большого стиля даже в мирное время, не говоря уже о периоде Великой Отечественной войны, гарантировать расширение приватной сферы. Время, которое человек проводил вне производства, практически не увеличилось с середины 1920-х годов. Причиной тому было и явное усложнение условий повседневной жизни в 1930-е годы, в особенности для рабочих. В 1931 году их доля в городском социуме резко возросла, в Ленинграде, например, она достигла почти 57%. При этом в годы двух первых пятилеток пролетариат пополнялся в основном за счет крестьян. Они с трудом адаптировались к требованиям жизни в большом городе, к его культурно-бытовым практикам. Среди рабочих крупных промышленных городов к началу 1930-х годов усилились контакты с родственниками из деревень. В 1925 году «связь с землей», как писали статистические источники того времени, поддерживали примерно 15% рабочих, а в 1931-м — более 50% всех тружеников промышленного производства. Это не только замедляло процесс самоидентификации новых молодых горожан, но и отрицательным образом сказывалось на городской среде в целом. Ее устоявшиеся нормы подвергались стихийному давлению крестьянской культуры. Но более сильное воздействие оказывала культурная политика советской власти, влиявшая не столько на объем, сколько на структуру и содержание свободного времени горожан.

*Красный Пинкертон вместо Лидии Чарской*

Большевики, конечно, не собирались запрещать такую привычную форму досуга, как чтение. В начале XX века оно стало нормой в среде прежде всего столичного пролетариата<sup>276</sup>.

Однако новое поколение рабочих, начало культурной социализации которого совпало с первым послереволюционным десятилетием, не имело еще устойчивой потребности в книге. Отчасти это объяснялось групповой молодежной психологией, а отчасти — культурно-бытовой ситуацией военного коммунизма с характерными для него лозунгово-театрализованной агитацией, массовыми митингами, шествиями. Молодежь легко заражалась стилем «красноармейских атак», превалировавшим в духовной жизни Советской России 1918-1921 годов. Даже в начале 1922 года газета «Красная молодежь» писала: «Рабочая молодежь еще мало знакома с книгой, еще не научилась обращаться с нею, любить ее и ценить ее»<sup>277</sup>.

Чтение как вид досуга в начале 1920-х было присуще части рабочей молодежи, втянутой в общественную жизнь и, естественно, читавшей в основном книги политического характера. Комсомольские активисты считали, что этот вид литературы больше соответствует времени. Один из них, отвечая на вопросы анкеты, предложенной осенью 1921 года слушателям политшкол Петрограда, отметил, что знаком со многими книгами по истории и теории юношеского движения, а «по билитристике читал почти всех классиков, но интригуется политикой, а не билитристикой»<sup>278</sup> (так в источнике. — Я.77.). Библиотеки рабочих и комсомольских клубов, которыми пользовались молодые люди из пролетарской среды, были заполнены агитационной литературой. Но и в данном случае выбор был невелик. Обычный набор предлагаемой литературы включал речь В.И. Ленина на III съезде комсомола, «Очерки по истории юношеского движения» Г.В. Чичерина, «Штурм отжившего мира» — сокращенный вариант книги Дж. Рида «Десять дней, которые потрясли мир», «Азбуку коммунизма» Н.И. Бухарина и Е.А. Преображенского<sup>279</sup>. Кроме того, традиционно юношам и девушкам предлагалась для чтения антирелигиозная литература, прежде всего сборники «Комсомольское рождество» и «Комсомольская пасха». Они привлекали

молодежь легкостью изложения и грубоватым юмором. Газета питерских комсомольцев «Смена» писала в 1923 году: «Книжки против попов ребята берут нарасхват»<sup>280</sup>. Правда, относительно серьезная атеистическая литература, как, например, «Библия для верующих и неверующих» Ярославского, оставалась невостребованной. К ее прочтению, как показал опрос учащихся одной из ленинградских политшкол в 1924 году, оказался подготовленным лишь один молодой рабочий, выходец из семьи священнослужителя<sup>281</sup>. Ему была понятна терминология книги, ее полемический строй. Основная же масса молодых рабочих довольствовалась агитационными брошюрками и журналом «Безбожник у станка».

Однако возвращение к бытовым практикам мирного времени не могло не возродить существовавшую в питерской рабочей среде привычку к чтению художественной литературы. В начале 1920-х годов советские государственные структуры контролировали выпуск книг политического характера. Появление же частных издательств создавало опасность выброса на книжный рынок литературы, не имеющей, с точки зрения большевистских идеологических структур, должной идейной направленности. Действительно, судя по данным библиотечного отдела Главполитпросвета, в 1921-1922 годах пользовавшиеся массовыми рабочими библиотеками юноши читали в основном старые авантюрные романы, а девушки — книги Л.А. Чарской<sup>282</sup>. «Патологичность» данной ситуации сразу была зафиксирована в нормализующих суждениях власти. Уже весной 1922 года XI съезд РКП(б) отметил возрастание «разлагающего мелкобуржуазного влияния» бульварной литературы на подрастающее поколение<sup>283</sup>. Одновременно съезд партии большевиков поставил задачу создать «литературу для рабоче-крестьянской молодежи, которая могла бы быть противопоставлена влиянию на юношество со стороны нарождающейся бульварной литературы и содействовать коммунистическому воспитанию юношеских масс»<sup>284</sup>.

В итоге такая традиционная форма досуга, как чтение, превращалась в сферу политической борьбы. В качестве метода большевики использовали прием, уже испробованный в антирелигиозной пропаганде: наполнение привычной формы (в данном случае литературной) новым, идейно окрашенным содержанием. При этом действовал традиционный механизм: нормализующее решение властной или высшей идеологической структуры перемещалось вниз, таким образом, постепенно внедряясь в ментальность как повседневная норма. Выступая в 1922 году на V съезде комсомола, Бухарин предложил для отвлечения читающей молодежи от приключенческой литературы «буржуазного толка» создать книги о «красных пинкертонах». Съезд принял решение о подготовке в спешном порядке изданий, где будет отражен «весь романтическо-революционный путь — подполье, гражданская война, ВЧК, подвиги и революционные приключения рабочих, Красной армии, изобретения, научные экспедиции...»<sup>285</sup>.

Идея создания «красных пинкертонов» нашла поддержку в местных партийных и прежде всего комсомольских организациях. В 1923 году на конференции губернской организации РКП(б) в Петрограде подчеркивалась необходимость «выпустить в свет хотя бы несколько коммунистических пинкертонов, взяв героические моменты из работы хотя бы нашей ЧК или из жизни тех или иных отрядов Красной Армии и в легкой форме преподнести молодежи»<sup>286</sup>. На это решение уже достаточно спокойно отреагировала и сама молодежь. Собрание комсомольского коллектива завода «Красный выборжец» в августе 1923 года постановило: «При НЭПе поднимает голову новая и старая буржуазия. Стараясь использовать все возможности, она захватывает в свои руки издания книг и через книги развращает умы молодежи и взрослых. В противовес необходимо создать революционных пинкертонов»<sup>287</sup>.

Одним из первых попытку осуществить эту идею предпринял бакинский большевик П.А. Бляхин. Он написал в 1923 году

повесть со знаковым названием «Красные дьяволята». Как писал журнал «Красные всходы», орган Закавказского крайкома РКСМ, книга являлась «вкладом, безусловно, ценным, в ту область литературы, о которой наш союз так много говорит, в область так называемой красной романтики»<sup>288</sup>. Другие попытки оказались менее удачными. Питерский писатель Л.В. Успенский с большой иронией вспоминал свою детективную повесть «Запах лимона», написанную с намерением «разбогатеть». Неудачными оказались и наспех подготовленные повести П.Г. Туликова «Комсомольцы в джунглях Африки», М. Протасевича и Н. Саблина «Дело Эрве и К°» и т.п. Даже не слишком искушенные в литературе молодые люди после публикации в журнале «Смена» книги Протасевича и Саблина писали с возмущением: «Романы печатаются такие, от которых у рабочей молодежи только туман в голове»<sup>289</sup>.

В целом идея создания книг о «красных пинкертонах» провалилась. Но властные и идеологические структуры не спешили отказываться от нормирования круга чтения рабочей молодежи. Особую роль в этом сыграло издательство «Молодая гвардия», которое уже в конце 1923 года выпустило первые книги из серии «Библиотека комсомольской молодежи» и «Комсомольские писатели». За 1923-1925 годы «Молодая гвардия» издала почти тысячу книг и брошюр тиражом около 13 млн экземпляров<sup>290</sup>. Молодежи предлагалось читать А.И. Безыменского, А.А. Жарова, М.А. Светлова, И.С. Рахилло и др.<sup>291</sup>

Одновременно шло активное наступление на «буржуазную» литературу. В 1923-1924 годах по распоряжению библиотечного отдела Главполитпросвета в крупных городах прошла кампания по изъятию целого ряда книг из библиотек для массового читателя. По словам Н.К. Крупской, «это была простая охрана его (читателя. — Я.Л.) интересов»<sup>292</sup>. По сути же дела, так — косвенным, конечно, образом — складывались новые нормы в области досуга. Они имели политический подтекст. Отчасти во второй половине 1920-х годов это удалось

осуществить благодаря появлению довольно талантливых произведений новой волны литераторов: Ф.В. Гладкова, Вс.В. Иванова, Ю.Н. Либединского, А.Г. Малышкина, Л.Н. Сейфуллиной, А.С. Серафимовича и др. Но в целом современная советская литература, даже по данным выборочного опроса, составляла всего 40% всех прочитанных молодежью книг<sup>293</sup>. Одновременно к концу 1920-х годов читающие молодые рабочие проявляли все меньше интереса к общественно-политической литературе. В Москве, например, по данным опроса 1929 года, из числа юношей и девушек, пользующихся библиотеками, за год ни одной политической книги не прочли почти 60%, а в Ленинграде — почти 80%<sup>294</sup>.

Вообще представители подрастающего поколения рабочего класса в 1920-е годы отнюдь не стали самыми активными читателями библиотек. Даже в таком крупном культурном центре, как Ленинград, в 1926 году они составляли всего 12% от числа всех пользователей городских книгохранилищ. Не слишком явным было и стремление рабочей молодежи приобретать книги в личную собственность. При этом с ростом заработной платы затраты на книги уменьшались, а на табак и алкоголь — увеличивались<sup>295</sup>. По данным опроса 1928 года, всего 9% молодых рабочих предпочитали чтение иным видам досуга<sup>296</sup>. Однако это вовсе не было целью советских властных и идеологических структур. Напротив, все их нормативные и нормализующие суждения внешне были направлены на приобщение пролетарских масс к книге. Этому, как казалось, должны были способствовать «суды» над литературными произведениями, которые рекомендовалось проводить в комсомольских клубах, шумные вечера рабочей критики и организованное «выдвижение в писатели» из пролетарской среды. Однако эффект оказался обратным. У молодых людей возникло пренебрежительное отношение к писательскому труду, а затем к книге и чтению как структурному элементу досуга. В 1930-е годы ситуация усугубилась. Партия большевиков уже



не ставила перед комсомолом цель приобщить молодежь к книге. Выступая на IX съезде ВЛКСМ в 1931 году Л.М. Каганович подчеркнул, что комсомол «вырос» из задач прививания интереса к чтению. Он настоятельно советовал: «Призыв к пинкертоновской литературе должен быть заменен призывом к изучению контрольных цифр пятилетки»<sup>297</sup>.

### *Ромен Роллан и майор Пронин*

Слом нормального ритма повседневной жизни, начавшийся на рубеже 1920-1930-х годов, неизбежно должен был изменить и структуру свободного времени, из которого явно вытеснялось чтение как индивидуализированная форма отдыха. Пространство частной жизни сужалось в условиях пятидневной рабочей недели и активно политизировалось. В начале 1930-х годов вновь была предпринята атака на русскую и зарубежную классику, проводились чистки массовых книгохранилищ. В 1932 году Научно-исследовательский институт детской литературы НКП РСФСР издал специальную инструкцию по отбору книг в библиотеки. Изъятию подлежала вся литература, вышедшая в свет до 1926 года и по каким-либо причинам не переизданная в 1927-1932 годах<sup>298</sup>. Уничтожению подверглись не только книги оппозиционеров и эмигрантов, но и произведения классической русской и иностранной литературы.

Одновременно предлагались и новые нормы в области чтения. «Коммунистических пинкертонов», не справившихся с задачей формирования нового человека, решено было заменить специальной литературой о молодежи. При этом многие талантливые произведения на эту тему, написанные в 1920-е годы, подверглись жестоким нападкам. Идеино вредными были названы книги Малышкина, Гумилевского, Романова, а чуть позднее — Л.М. Леонова, В.В. Вересаева.



Их «порочность» состояла в попытке показать жизнь нового поколения молодежи во всем ее многообразии. Это считалось ненужным для литературы, призванной воспитывать в коммунистическом духе. Общечеловеческие ценности, присущие русской и зарубежной классике, было необходимо заменить идеями классовой борьбы и социальной непримиримости. Представитель издательства «Молодая гвардия» писал в «Комсомольской правде» в декабре 1934 года о том, что самым главным является выпуск «комсомольской публицистики» под общим заголовком «В помощь комсомольскому организатору». Из старой же художественной литературы будут переиздаваться «прежде всего книги, отражающие детство разных классовых групп». Так квалифицировались «Детство» Л.Н. Толстого, «Детство» М. Горького, «Детство Тьмы» Н.Г. Гарина-Михайловского<sup>299</sup>. Читательские интересы рабочей молодежи все больше и больше политизировались. Это происходило как на уровне нормализующих властных суждений, так и на ментальном уровне. Читать книги остросоциальной направленности считалось нормой. Опрос ленинградских молодых рабочих, проведенный представителями ЦК ВЛКСМ в 1934 году, показал, что наибольшей популярностью пользовались «Чапаев» Д.А. Фурманова, «Мать» Горького, «Железный поток» Серафимовича<sup>300</sup>. Такую же картину дал и опрос, проведенный через год, в конце 1935 года, среди рабочих Москвы, Горького, Челябинска. Горьковская «Мать» занимала первое место в числе книг, прочитанных юношами и девушками в 1935 году, с нею были знакомы почти 60% молодых рабочих. Книге Горького немного уступали по популярности «Поднятая целина» М.А. Шолохова, «Железный поток» Серафимовича, «Как закалялась сталь» Островского. Из числа произведений дореволюционных русских писателей были лишь «Евгений Онегин» А.С. Пушкина, «Мертвые души» Н.В. Гоголя, «Анна Каренина» Л.Н. Толстого, «Отцы и дети» И.С. Тургенева. Зарубежные писатели были представлены Р. Ролланом<sup>301</sup>.

Интерес молодежи к этим книгам был вполне объясним. Периодическая печать и библиотечные работники настойчиво рекомендовали читать именно эти произведения, подчеркивая их социальную ценность. В систему пролетарской культуры книги входили преимущественно не как факторы интеллектуального и нравственного развития личности, а как проводники идей классовой борьбы. В октябре 1935 года «Комсомольская правда» призывала всех молодых рабочих прочесть пьесу Горького «Враги» и роман Э. Войнич «Овод», аттестуя их как «книги любви и ненависти»<sup>302</sup>. Примерно в этом же духе пропагандировались и сочинения Р. Роллана. Внимание к его произведениям, в частности к роману «Жан-Кристоф», почти у 10% молодых рабочих было продиктовано вовсе не желанием познакомиться с процессом духовного становления музыканта, а политической позицией автора. Р. Роллан с восторгом воспринимал все происходящее в СССР в 1930-е годы. За это его книги автоматически включались в список обязательного чтения советской молодежи. Однако отзывы молодых рабочих свидетельствовали о полном непонимании не только сути, но и фабулы «Жана-Кристофа», «Очарованной души», «Кола Брюньона». Фрезеровщик Кировского завода писал в «Смену»: «Прочел роман "Очарованная душа". Здорово показано прозрение буржуазки Аннеты»<sup>303</sup>. Глубокие психологические проблемы, связанные с переживаниями человека и не зависящие от его социального происхождения, обычно оставались вне внимания молодого читателя. Неудивительно, что в кругу его чтения, по данным 1935 года, практически отсутствовали произведения А.П. Чехова. Не появились чеховские пьесы, рассказы и повести среди наиболее читаемых юношами и девушками книг и в 1936 году. Это демонстрируют данные обследования группкомсоргов, проведенного газетой «Комсомольская правда». Самым же популярным произведением стал роман Островского «Как закалялась сталь», герой которого на долгие годы был назначен эталоном советского молодого человека<sup>304</sup>.

Таким образом, официальные нормы в области чтения, сформировавшиеся к середине 1930-х годов и остававшиеся неизменными на протяжении всей эпохи большого стиля, носили политизированный характер. Представляется важным выявить, что же считалось и являлось аномалией. Государственно-идеологический дискурс определял в качестве патологии круг литературных вкусов, замкнутых произведениями «буржуазного характера». Однако социальная практика породила иное отклонение, явственно проявившееся во всяком случае в среде молодых рабочих. Норме политизированного чтения противостояла аномалия — отсутствие интереса к книге вообще. Это зафиксировали обследования 1930-х годов. По их данным, основную массу читающей молодежи составляли стахановцы и комсомольские активисты<sup>305</sup>. Остальные же юноши и девушки мало интересовались чтением. Менее чем у половины всех молодых рабочих, как показало обследование, дома были собственные книги. При этом живущие в общежитиях вообще не приобретали литературу, а стахановцев обычно премировали заранее сформированным набором книг<sup>306</sup>. Не слишком способствовали приобщению к чтению и массовые библиотеки, обладавшие довольно ограниченными книжными собраниями. К 1940 году в РСФСР действовало 56 100 библиотек, книжный фонд которых насчитывал 124500000 экземпляров<sup>307</sup>. В Ленинграде в конце второй пятилетки в 600 книгохранилищах имелось всего 6,5 млн книг, то есть в среднем по 10 000-15 000 книг в каждом<sup>308</sup>. А в Сталинграде средний библиотечный фонд в это же время не превышал 600 книг<sup>309</sup>. Такое количество было явно недостаточным для развития потребности в постоянном чтении у молодых людей, в особенности если учесть строго политизированный подход к комплектованию библиотек.

Конечно, часть молодых рабочих, сориентированная на смену своего социального положения, — рабфаковцы, студенты (заочники и вечерники) — была приобщена к книге.

Но основная масса вовсе не считала чтение насущной потребностью. В определенной степени это связано с социокультурными особенностями подрастающего поколения в целом. Большинство юношей и девушек лучше осваивают более динамичные формы досуга. Входящие же в круг юношеского чтения книги, как правило, носят легкий характер. Это в первую очередь приключенческая литература. Лишенная доступных легких книг этого жанра, признанного вредным, рабочая молодежь не усвоила привычки элементарного развлекательного чтения — начальной ступени интеллектуального становления. В данной ситуации показательна история с прозой Л.С. Овалова, главным героем которой был некий майор Пронин. Впервые рассказы о славном советском сыщике и борце со шпионами появились в 1939 году. Произведения Овалова вполне отражали массовый психоз шпиономании, охвативший страну в конце 1930-х годов, и, по мнению некоторых исследователей, фиксируя «движение законодательства от уголовных преступлений к политическим», появились «в абсолютно точно рассчитанный момент», когда необходимо было констатировать, «что общество и государство в целом здорово и процветает, а инциденты, ставшие причиной громких судебных процессов, по сути, маргинальны и не затронули основ советского миропорядка и благополучия граждан страны»<sup>310</sup>. И все же общая легковесность детективного жанра явно не соответствовала канонам большого стиля в литературе. Овалова в 1941 году арестовали. В лагерях он находился до 1956 года. Тогда же произошла и реанимация советской пинкертоновщины. В конце 1930-х и особенно в конце 1940-х — начале 1950-х годов властные структуры увеличивали темпы выпуска в первую очередь книг политического характера, русской и зарубежной классики и художественной литературы социалистического реализма, заботясь о создании иллюзорных интеллектуально-бытовых ориентиров эпохи большого стиля.

### *Драма ТРАМа*

Ко времени событий 1917 года посещение театра являлось самым традиционным и внешне устойчивым элементом городской культуры именно буржуазно-интеллигентского толка. В то время даже рабочие столицы Российской империи не были завсегдатаями крупных императорских театров. Такая же ситуация сохранилась и к началу 1920-х годов. В 1921 году в Петрограде, например, систематически пустовала более чем половина мест театральных залов. Мало помогали бесплатные билеты, раздаваемые рабочим, и попытки ввода посещения театров по трудовым книжкам<sup>311</sup>. Не изменил отношения рабочих к театральному искусству и нэп с характерным для него многообразием форм культурной жизни. Стереотип поведения рабочей молодежи в этом контексте совпадал со стилем жизни старшего поколения. Кроме того, репертуар большинства театров был не всегда доступен юношам и девушкам из пролетарской среды. Для многих из них приобщение к театральному искусству как норме городской культурной жизни началось с так называемых фабрично-заводских театров, и прежде всего ТРАМа (театра рабочей молодежи).

Появление этих культурных институтов во многом созвучно с движением за создание писательских кадров из рабочей среды или деятельностью советов по контролю за кинопродукцией. ТРАМ даже стал первым звеном в механизме приспособления норм буржуазной городской культуры к уровню развития пролетарских масс. Театр рабочей молодежи возник в Ленинграде в 1925 году. В его задачи, как подчеркивалось в решении Северо-Западного бюро ЦК ВЛКСМ от 20 мая 1925 года, входила постановка «комсомольских пьес в плане не профессиональной работы, а самодеятельности широкой массы рабочей молодежи...». В этом же решении подчеркивалась именно политическая важность создания ТРАМа. При формировании актерского состава необходимо было выделять «самых лучших, способных и выдержанных комсомольцев из клубов

в театр, так как важность задач, которые ставит перед собой театр, требует строгого подхода»<sup>312</sup>. Властные и идеологические структуры возлагали на новый театр и задачу нормирования свободного времени молодежи. Ленинградский губернский полтпросветотдел в июне 1925 года вменил в обязанность нового творческого коллектива «дать ряд... интересных спектаклей, отвечающих на политические и бытовые запросы молодежи... тем самым организуя вечерний и праздничный досуг»<sup>313</sup>. Первые спектакли ТРАМа нравились молодым рабочим, ведь на сцене действительно разворачивались эпизоды их жизни, отраженные в пьесах комсомольских активистов. В 1926 году молодежный театр появился в Иваново-Вознесенске, через год — в Перми. Воронежская и ростовская молодежь увидела первые постановки собственных ТРАМов в 1928 году. Ярко выраженная политизированность трамовских спектаклей составляла особую гордость его создателей. Один из них, М.В. Соколовский, прямо заявлял в 1929 году на первой всесоюзной конференции театров рабочей молодежи: «Мы меньше всего театр, мы больше всего группа энтузиастов, группа комсомольцев, строителей новой жизни, нового быта, но все-таки это строительство проводим мы через театр, средствами театра... Для нас, трамовских работников, нет театральной правды, для нас существует классовая правда...»<sup>314</sup>.

В начале 1930-х годов ТРАМ стал посвящать все больше и больше внимания общественно-политическим и экономическим проблемам, он участвовал в социалистическом соревновании, боролся за выполнение пятилетнего плана, за чистоту партийных рядов. Это нашло отражение в тексте трамовского марша:

Мы театр рабочей молодежи.  
С комсомолом в ногу мы идем.  
В пятилетку силы свои вложим  
И покончим с классовым врагом<sup>315</sup>.

Такая прямая агитация становилась нелепой для ТРАМа, к этому времени бывшего уже профессиональным. Угасала и изначальная трамбовская идея о сугубо самодеятельном творчестве молодежи. Билеты в ТРАМ резко подорожали. Уже в 1928 году на комсомольском собрании одного из цехов Балтийского завода молодые рабочие обратились с просьбой к обкому комсомола сделать билеты более доступными по цене, «чтобы (подростки. — Я.Я.) не шли в пивную, так как там дешевле»<sup>316</sup>.

Не нравилось юношам и девушкам и привлечение в ТРАМ людей, имевших специальное актерское образование. Исчезала иллюзия прямой причастности пролетарских масс к высокому театральному искусству, ранее ставившая ТРАМ на одну ступень с другими театрами, посещение которых не стало нормой в среде молодых рабочих. Действительно, политизированный театр рабочей молодежи был, по сути дела, почти единственной нитью, соединявшей фабрично-заводскую среду с театральным искусством. В других театрах юноши и девушки практически не бывали. В 1928 году даже в Ленинграде рабочие составляли лишь 20% от числа посетителей академических театров<sup>317</sup>. После постановления ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций» театры рабочей молодежи прекратили свое существование как самостоятельные творческие коллективы. Новое поколение вступало в стадию культурной социализации без специально созданной для нее формы приобщения к театральному искусству. И, вероятно, поэтому, несмотря на рост количества театров в стране в 1930-е годы, рабочие посещали их еще реже, чем ранее. В 1934 году в Ленинграде всего лишь 10% труженников промышленных предприятий одного из центральных районов — Смольнинского — побывали в театрах<sup>318</sup>. Молодые рабочие, согласно опросу 1935 года, посещали театральные постановки в три раза реже, чем кинотеатры<sup>319</sup>. При этом следует учитывать, что слой рабочих-театралов формировался специально: организовывались культпоходы, передовикам производства



билеты предоставлялись почти бесплатно и в первую очередь. Уже в 1931 году постоянную ложу в местном театре закупал Ярославский автомобильный завод<sup>320</sup>. Распределение в данном случае вовсе не носило характера необходимой очередности в связи с большим спросом на театральные зрелища. Просто в систему политики советского государства, особенно в период большого стиля, входила задача формирования нового слоя рабочей аристократии, нормами жизни которой считались вполне буржуазные стереотипы культурной жизни, в частности посещение театров. А.Г. Стаханову, например, сразу после установления рекорда, как указывалось в решении парткома шахты, выделили «два почетных места с женой на все спектакли»<sup>321</sup>. С 1935 года театральные постановки академических театров вообще превратились в традиционное зрелище для передовиков производства. Побывавший в Ленинграде в 1936 году французский писатель Л.-Ф. Селин сразу заметил своеобразие состава публики в Театре оперы и балета им. С.М. Кирова. Зал заполнялся в соответствии с социальной иерархией советского общества. «В царской ложе сидят местные партийные боссы... — констатировал Селин. — На балконах толпятся колхозники. .. инженеры... чиновники... и наконец стахановцы... самые шумные, болтливые и фанатичные сторонники режима, их очень много, это горячечные... одержимые... эксгибиционисты... кажется, остальные присутствующие в зале зрители их не очень-то жалуют»<sup>322</sup>.

Молодых же рабочих, пришедших по собственной инициативе, в театре практически не было. И останавливали их не только стоимость билетов или отсутствие соответствующей одежды. Те же проблемы были у многих. В воспоминаниях В. Маркова, профессора Калифорнийского университета, в юности студента Ленинградского университета, есть описание публики, посещавшей хоры филармонии перед Великой Отечественной войной: «На хорах была особая публика. Если внизу в партере восседала советская "интеллигенция" с деньгами — актеры, музыканты,



писатели, — то наверху стояло студенчество вперемежку с людьми из дореволюционных романов: какие-то бородатые умноглазые люди толстовского типа, какие-то дамы в трауре, какие-то старички, старушки, одетые с чистой бедностью»<sup>323</sup>. Рабочих в этой «особой» публике не было. Походы в театры воспринимались ими даже не внеэстетически, не как сугубо развлекательное мероприятие, а как норма жизни привилегированных слоев советского общества, своей принадлежности к которым большинство юношей и девушек из пролетарской среды не ощущало.

### *Политизируя «великого немого»*

Нормы поведения в контексте общих правил советской повседневности формировались и посредством контроля над процессом приобщения молодого поколения в новых социальных условиях к киноискусству. Посещение кинотеатров к моменту событий 1917 года стало типичным видом городского досуга. В крупных культурных и промышленных центрах кинематограф пользовался большим вниманием публики в целом и молодежи в частности. Опрос молодых рабочих, проведенный в 1919 году, показал, что 67% респондентов посещали кинотеатры довольно часто<sup>324</sup>. Переход к мирной стилистике повседневной жизни в 1921-1922 годах возвратил привычную форму проведения свободного времени, тем более что помещения бывших кинотеатров после введения нэпа стали сдавать в аренду частникам, которые были обязаны в первую очередь привести в порядок залы, а затем использовать их по назначению<sup>325</sup>.

В 1924 году в Ленинграде, например, действовало 73 кинотеатра, в большинстве случаев принадлежащих частным владельцам. Постепенно кино завоевывало и периферийные города. Так, в Саратове только за один 1925 год число кинотеатров увеличилось вдвое — с пяти до десяти. Кроме того, в городе

действовало еще 16 клубных кинозалов, которые регулярно посещала молодежь<sup>326</sup>.

Кинотеатры пользовались в основном дореволюционной и западной кинопродукцией, которая с точки зрения коммунистической идеологии не выдерживала никакой критики. Комсомолец 1920-х годов М. Алпатов, чья молодость прошла в Ростове, вспоминал: «С кинореклам смотрели герои зарубежных фильмов. Один из них — американский вундеркинд Джеки Куган. Фильмы с его участием шли один за другим. <...> Глаза уже привыкли видеть на рекламах Мери Пикфорд и Дугласа Фербенкса... Не менее часто на прохожих с реклам смотрели мировые комики Чарли Чаплин и Бестрет Кейтон»<sup>327</sup>. В кинотеатрах Челябинска в 1927 году с шумным успехом шел американский боевик «Черный конверт» с участием Гарри Пиля. Молодежь, по свидетельствам очевидцев, штурмом брала кассы перед сеансом<sup>328</sup>.

Однако власть считала необходимым включить киноискусство в систему инструментов идеологического воздействия и косвенного нормирования практик повседневности. Уже в мае 1922 года на II Всероссийской конференции РКСМ в целях «коммунистического воспитания запросов и стремлений молодежи» было решено вырвать ее «из-под влияния мелкобуржуазной идеологии». В числе каналов проникновения в массы этой идеологии первым было названо кино<sup>329</sup>. В 1923 году XII съезд РКП(б) также отметил, что современный кинематограф, пользуясь продукцией дореволюционного русского и западноевропейского кинопроизводства, «фактически превращается в проповедника буржуазного влияния и разложения трудящихся масс»<sup>330</sup>. Предотвратить разложение должна была новая советская кинематография.

Первые советские художественные фильмы: «Чудотворец», «Дипломатическая тайна», «Дворец и крепость», — появившиеся

Имеется в виду Бастер Китон.

в 1923-1924 годах, создали серьезную конкуренцию западным и дореволюционным. Особой популярностью пользовался фильм режиссера И.Н. Перестиани по сценарию П.А. Бляхина «Красные дьяволята». Он явился киновоплощением идеи о «красных пинкертонах». Советских кинолент становилось все больше. Успех «Красных дьяволят» разделил фильм Я.А. Протазанова «Аэлита» по роману А.Н. Толстого. Однако смысла произведения большинство зрителей не поняло. Молодая московская работница записала в своем дневнике летом 1924 года: «Вчера была на "Аэлите". Картина произвела впечатление: веселая комедия, доходящая до зрителей благодаря игре артистов»<sup>331</sup>. Действительно, молодежи нравились первые советские кинокомедии: «Похождения Октябрины», «Мишки против Юденича», «Папиросница от Моссельпрома»<sup>332</sup>. Шумным успехом пользовался фильм С.М. Эйзенштейна «Броненосец "Потемкин"». В 1926 году его демонстрировали не только в Москве и Ленинграде, но и в провинции<sup>333</sup>.

Опрос 1925 года — периода расцвета нэпа — зафиксировал рост популярности кино в молодежной среде. 75% опрошенных предпочитали походы в кинематограф любым другим видам досуга<sup>334</sup>. При этом более 60% юношей и девушек оценивали кино всего лишь как развлечение. Им было безразлично идейное содержание фильмов<sup>335</sup>. Подобная позиция не могла рассматриваться как норма в условиях главенства коммунистической системы мировоззрения.

Во второй половине 1920-х началось активное вытеснение западных фильмов с советского киноэкрана. К 1927 году они составляли чуть более четверти в общей массе картин, демонстрируемых в кинотеатрах российских городов<sup>336</sup>. В 1928 году первое всесоюзное партийное киносовещание при ЦК ВКП(б) постановило вести «решительный курс на дальнейшее сокращение импорта кинокартин, постепенно ограничивая импорт культурными и высокохудожественными фильмами, однако при обязательном условии идеологической допустимости для

нас ввозимых картин»<sup>337</sup>. Это же совещание подчеркнуло, что «развлекательный материал кино» должен организовывать «мысли и чувства зрителя в нужном пролетариату направлении», способствовать углублению «классового самосознания рабочих»<sup>338</sup>. Нормализующее суждение властного уровня было внедрено и в ментальные представления пролетарских масс, которым, как и в ситуации с литературой, предоставили возможность участвовать в создании кинопродукции. Механизм участия носил критическо-разрушительный характер обсуждения и осуждения. В Ленинграде в 1928 году при обкоме комсомола была создана киногруппа, в задачу которой входила организация киноконференций, чтения и критического разбора киносценариев на заводах и фабриках<sup>339</sup>. В Саратове инициатива «сплошной политизации» кинематографа пошла дальше. Нижневолжский крайком ВКП(б) в августе 1928 года потребовал не только первоочередной кинофикации рабочих окраин, но и фильтровки кадров киномехаников, чтобы обеспечить «надлежащий классовый состав»<sup>340</sup>.

Однако «делать кино» оказалось сложно. Это понимала даже разгоряченная правом вмешательства в творческий процесс рабочая молодежь. Магия «великого немого» была настолько сильна, что ее не могла разрушить вседозволенность безграмотного критиканства, спровоцированного властно-идеологическими структурами. Походы в кино стали традиционным досугом молодежи. В Москве, судя по данным опроса 1929 года, походы в кино занимали первое место в структуре воскресного отдыха молодежи<sup>341</sup>. В Ленинграде тогда же регулярно смотрели кинокартины 96% юношей и 91% девушек<sup>342</sup>. Вкусы молодых рабочих распределялись следующим образом: «революционные» фильмы предпочитало 50%, «душещипательные» — 30%, «трюковые» — 20%<sup>343</sup>. Кино считалось наиболее притягательной формой развлечений, опережая гостевое общение, клубные вечеринки, танцы. Это свидетельствовало об упрочении в структуре свободного времени рабочих

норм городской культурной жизни. Однако характерное для 1930-х годов сокращение плюрализма в духовной сфере политизировало эти нормы.

### *От «как в кино» до импорта неореализма*

Советское киноискусство быстро развивалось. Почти в двадцать раз в сравнении с дореволюционным временем выросло к началу 1930-х годов число киноустановок в стране. Появилось множество кинофильмов, которые действительно определяли лицо советской кинематографии. Все они отличались яркой социальной направленностью, будь то фильм о революционном прошлом России или о современной жизни. Нет нужды перечислять их названия, они широко известны и, безусловно, в большинстве случаев созданы талантливыми людьми. Однако для понимания сущности косвенного нормирования досуга советских людей, и прежде всего молодежи, важно другое. В 1930-е годы отечественные фильмы почти полностью вытеснили зарубежные с экранов страны. В Ленинграде, например, осенью 1933 года демонстрировалось 34 кинокартины, из них 29 советского производства<sup>344</sup>. Западные фильмы были большой редкостью. Неудивительно, что их и смотрели реже. Опрос 1935 года показал, что «Чапаева» видели 89% обследованных, «Путевку в жизнь» — 75%, «Юность Максима» — 65%. Ни одного западного фильма в списке просмотренных за год не оказалось<sup>345</sup>. Молодые люди, как свидетельствовали опросы, посещали кинотеатры 3 раза в месяц. Властные и идеологические структуры возлагали на кинематограф большие надежды. Он должен был способствовать укреплению советской мифологии большого стиля в сознании населения, и прежде всего подрастающего поколения. Иллюзорный мир, существовавший в большинстве советских кинокартин, был далек от реальности, но это не раздражало

зрителя, тем более молодого. Технологическая оснащенность повседневной жизни даже в крупных городах была в сравнении с Западом низка, и кино продолжало казаться чудом, от которого никто не требовал правды. В знаковой форме отношение советского человека к кинематографу зафиксировала присказка 1930-х годов «как в кино», выражающая неправдоподобность благополучной ситуации. Большинство кино, правда, воспринималось не только внешнеэстетически, но и внешнеидеологически. Однако это пока не пугало советскую систему. Контроль над кинорепертуаром был полной гарантией нормирования сферы досуга, так как походы в кино, в отличие от чтения, скорее представляли собой элемент публичности, нежели приватности, в повседневной жизни. Просмотры кинокартин к концу 1930-х, несомненно, стали нормой досуга молодежи. Человек, никогда не посещавший кинотеатры, рисковал прослыть чудачком в глазах основной массы городского населения. Парадоксальна другая сторона «всеобщей кинофикации» населения в СССР. В послевоенный период именно кино явилось тем окном в свободный мир, которого так не хватало советским людям.

Традиционно принято считать, что свободомыслие молодежи первого послевоенного поколения зародилось под влиянием трофейных фильмов западного производства, в числе которых чаще всего называют «Гарзана», «Серенаду Солнечной долины», «Мальтийского сокола». Они формировали элементы протестной молодежной субкультуры. Но не менее популярны на рубеже 1940-1950-х годов были и неореалистические итальянские фильмы. Известный переводчик Е.М. Солонович, вспоминая о своей юности, отмечал:

«Советский прокат подарил нам "Под небом Сицилии" — до сих пор помню чудесный вальс оттуда, фильмы "Похитители велосипедов", "Нет мира под оливами", "Рим, 11 часов", "Два гроша надежды", первые картины Феллини. Итальянское неореалистическое кино ворвалось в нашу нелегкую жизнь

праздником еще и потому, что с неведомым тогдашнему советскому кино правдоподобием рассказало о трудной по-другому жизни красивых, честных и мужественных людей, говорящих у себя дома по-итальянски, а в наших кинотеатрах заговоривших по-русски...»<sup>346</sup>.

Судьбоносным для целого поколения считает фильм «Под небом Сицилии» (так в советском прокате называлась кинолента П. Джерми «Во имя закона», рассказывавшая о сицилийской мафии) и петербургский искусствовед М.Ю. Герман. Он пишет:

«Странные годы — начало пятидесятых. <...> Именно тогда стали появляться у нас и серьезные послевоенные заграничные фильмы. Открылся иной порог откровенности, безжалостная и вместе добрая откровенность. Первым событием стал фильм "Под небом Сицилии", жестокий, печальный, так мало похожий на киносказки и так похожий на жизнь»<sup>347</sup>.

Советскому зрителю понравился и фильм другого великого итальянца — Витторио Де Сики — «Похитители велосипедов». М.А. Ромм писал об этом произведении неореализма:

«"Похитители велосипедов" — это короткий рассказ, однолинейный и предельно простой по построению. Содержание его можно изложить буквально в десяти словах. Но именно краткость, прозрачная ясность сюжета этой картины позволила режиссеру с такой подробностью проследить шаг за шагом поведение двух героев — мальчика и его отца — в течение одного дня их жизни. Картина поразила меня и смыслом своим, и глубокой человечностью, и необыкновенной подробностью кинематографического наблюдения. Герой ничем не примечателен — таких сотни тысяч: обыкновенный безработный, усталый, невеселый человек. Он ищет свой велосипед — вот

и все. Но, следуя за каждым его шагом, вглядываясь в каждое его движение, мы постепенно начинаем понимать его, его отношение к мальчику, его место в жизни, как понимаем очень близкого человека. Именно в этом сближении с героем и сосредоточена прелесть картины»<sup>348</sup>.

Ненавязчивое обаяние «Похитителей велосипедов» было действительно очень сильным. За пять лет до Ромма это отметила тонкая и талантливая писательница В.Ф. Панова. В ее романе «Времена года», написанном в 1953 году, молодые герои Саша и Сергей встречаются в кинотеатре небольшого города Энска на сеансе «Похитителей велосипедов». Вот строки из романа:

«Свет погас, на экране замигали скучные улицы итальянского города, города похитителей велосипедов.

Свет зажегся и осветил суровые и расстроенные лица мальчиков.

Они поднялись, пряча друг от друга глаза, и вышли плечом к плечу в толпе, выносившей их из зала. <...>

Охваченные единым чувством, они медленно пошли рядом, не разговаривая, остро ощущая, что чувство их едино, и дорожа этим скорбным и светлым одновременно чувством»<sup>349</sup>.

Неореалистический западный кинематограф говорил о правде жизни, чего не могли сделать ни советский театр, ни послевоенные картины эпохи большого стиля.

### *Каноны советского азарта*

Нормирование досуга в условиях советского социокультурного пространства имело свои виды и подвиды. Так, наиболее прямолинейно контролировались такие формы проведения свободного времени, как чтение, походы в кино и в театр. Здесь



действовали нормализующие и даже нормативные суждения власти, распространявшиеся в издательской и репертуарной сферах. Казалось, что развлечения иного порядка — походы в гости, например, — не могут подвергаться государственному нормированию. Однако и в частном пространстве проявлялись попытки регулирования досуга извне. Более того, некоторые нормы городской повседневности постепенно стали обретать на уровне властных суждений не только аномальный, но и полукриминальный характер. Это касалось, в частности, игры в карты, довольно распространенной формы досуга.

Большевики сразу после событий октября 1917 года маркировали азартные игры как социальную патологию, учредив должность комиссара «по борьбе с алкоголизмом и азартом»<sup>350</sup>. Однако в период военного коммунизма карты, производство которых было прекращено, преследовались прежде всего как элемент публичной жизни: закрывались официальные игорные клубы, не говоря уже о полуполюгальных, а любители «перекинуться в картишки» вне дома нередко оказывались в числе уголовных преступников<sup>351</sup>.

Бытовые практики нэпа вернули азартные игры в сферу и публичного, и приватного городского досуга — в ноябре 1921 года большевики официально разрешили продажу игральных карт. Прибыль от реализации этого ходового товара использовалась для разнообразных нужд государства. Инициативу не замедлили проявить местные власти. В крупных городах Советской России появились игорные дома и клубы. Средства от их коммерческой деятельности шли в городской бюджет. В Петрограде уже в мае 1922 года начало функционировать казино «Сплендид-Палас», которое только за два летних месяца посетили более 20 000 человек. В 1924 году в городе насчитывалось 7 игорных домов. Особой популярностью у питерцев пользовался открытый осенью 1922 года знаменитый Владимирский клуб. Размах азарта, царившего здесь, поразил даже эмигранта В.В. Шульгина. Позднее он вспоминал:

«Пройдя несколько улиц, мы попали на бывший Владимирский проспект. Вошли в освещенный подъезд, где обширная вешалка ломилась от платья. Взяли какие-то билеты и затем прошли в залу...

— Что это? — сказал я. — Игорный дом?

— Да. Это то учреждение, которое в пролетарской республике не закрывается ни днем, ни ночью!

— Как? Никогда? Даже для уборки?

— Никогда. Республика не может терять золотого времени»<sup>352</sup>.

К рулеткам и ломберным столам стекалась весьма разношерстная публика. В.П. Катаев вспоминал, как в середине 1920-х «два советских гражданина» — он и М.А. Булгаков — отправлялись играть в рулетку с благородной целью подкормить друзей. В Москве в то время, по словам писателя, было два игорных дома с рулеткой, где вокруг столов «сидели и стояли игроки, страшные существа с еще более страшными названиями — "частники", "нэпманы" или даже "совбуры", советские буржуи. На всех на них лежал особый отпечаток какого-то временного, незаконного богатства, жульничества, наглости, мещанства, смешанных со скрытым страхом. Они были одеты в новенькие выглаженные двубортные шевиотовые костюмы, короткие утюгообразные брючки, из-под которых блестели узконосые боксовые полуботинки... Перстни блистали на их коротких пальцах»<sup>353</sup>. В игорных клубах часто разворачивались целые драмы, становившиеся сюжетами для статей в периодической печати. Весной 1925 года вечерняя «Красная газета» сообщала о том, что за вечер инкассатор первого агентства Государственного банка проиграл 7000 рублей, а еще два посетителя из числа советских чиновников — по 5000. В игорных заведениях растрчивались и собственные, и казенные, и общественные деньги. Та же «Красная газета» рассказывала о секретаре общества культсмычки города с деревней при заводе «Красный выборжец», который умудрился проиграть членские

взносы рабочих<sup>354</sup>. Две трагические истории запечатлел в своих воспоминаниях В.А. Поссе: «Один из моих сыновей... попавший в студенты..., пошел с товарищем во Владимирский клуб из любопытства, потом также из любопытства поставил какую-то мелочь, выиграл — поставил больше, снова выиграл, затем проиграл, ушел, но азартная зараза делала свое дело. Пришел снова — и в конце концов сделался игроком, перестал заниматься, был уволен из института, и я не знаю как его спасти. В том же Ленинграде я знал одного комсомольца, которого игорный вертеп довел до бандитизма. Он принял участие в налете на ювелирный магазин и был при этом тяжело ранен»<sup>355</sup>.

Не меньший соблазн, чем игорные клубы, для наивных любителей легкой наживы представляли и открывшиеся на рубеже 1921-1922 годов сначала в Москве, а затем в Петрограде государственные ипподромы. Питерские поклонники скачек собирались на Семеновском плацу. Три раза в неделю на нем проводились так называемые «рысистые испытания». Правда, сначала это действие можно было наблюдать исключительно в дневное время: электрическое освещение бегового круга удалось восстановить только поздней осенью. Разруха еще не покинула город, а азарт уже кипел. О большом интересе, проявленном горожанами к бегам, свидетельствует и следующий факт. За полгода — с 1 октября 1924 года по 1 апреля 1925 года — выставки посетило немногим более 5000 человек, вечера с танцами — 14000, а ипподром — почти 58000 человек<sup>356</sup>.

В условиях нэпа азартные игры многим казались реальной возможностью преодолеть материальные трудности. Не случайно в сатирическом журнале тех лет было опубликовано такое шуточное объявление: «Утерян выход из затруднительного финансового положения. Прошу возвратить, ценен как память»<sup>357</sup>. Многообразие бытовых норм нэпа предоставляло широкие возможности выхода из затруднений даже тем горожанам, которые не могли позволить себе посещение казино, ипподрома, электролото. В городах, особенно в районах

рынков, появилось немало число аферистов и шулеров, которые могли предложить свои услуги истосковавшемуся по азартной игре обывателю. В годы нэпа среди публики пользовалась популярностью «игра в палочку». Она напоминает рулетку, но вытаскивались в ней не номера, а палочки с зарубками. Распространена была и забава под интригующим названием «головка и юбочка», мошенническая карточная игра «марафет» и «наперстки»<sup>358</sup>. Власть, не только ликвидировавшая запрет на всякого рода азартные развлечения, но и в определенной степени спровоцировавшая обывателя, не могла себе представить, насколько он будет падок на поиск легкой наживы. Еще в самом начале нэпа в прессе появлялись статьи, наполненные обеспокоенностью бурным ростом игорных заведений. Автор одной из таких публикаций прямо писал летом 1922 года: «Сегодня играют нэпманы, а завтра пойдет тот, у кого на руках казенные деньги, кооператор, казначей, артельщик и т.д.»<sup>359</sup> И он был недалек от правды. Завсегдатаями советских казино стали и рабочие. Многие из них полагали, что таким образом они приобщаются к нормам досуга, ранее доступным лишь привилегированным слоям общества. Уже упоминавшийся выше Поссе писал: «Неправда, что в игорных домах гибнут преимущественно старые и новые буржуи, нет. Там больше гибнет советских работников и фабрично-заводских рабочих»<sup>360</sup>. Власти попытались отвлечь представителей рабочего класса, социальной опоры нового общества, от «азарта» испытанным образом — созданием неких советских игр. Известный педагог и психолог С.Л. Рубинштейн весной 1925 года получил заказ от нескольких издательств на составление подвижных, а главное, настольных игр для рабочих и комсомольских клубов<sup>361</sup>. Стремясь как-то приструнить аферистов и шулеров, увлекавших и обманывавших горожан прямо на улицах, местные органы власти, как, например, Ленинградский совет, начиная с 1926 года издавали постановления, согласно которым «в открытых публичных местах (улицах, рынках, скверах, садах) игры в карты,

кости, наперсток, орлянку и т.п.» строго запрещались<sup>362</sup>. И все же до официальной смены политического и экономического курсов государство не решалось лишиться стабильного дохода от азартных игр. Лишь в мае 1928 года, когда начался переход к системе жесткого централизованного планирования народного хозяйства и нормирования сфер повседневности, СНК СССР принял постановление, предписывающее «принять надлежащие меры к немедленному закрытию всех заведений для игр в карты, рулетку, лото и другие азартные игры»<sup>363</sup>. Годом позже НКВД издал циркуляр, согласно которому в городах должна была быть развернута работа по установлению тайных игорных притонов<sup>364</sup>.

Карты были вытеснены из публичной сферы досуга горожан, которые с удовольствием проводили свободное время за карточными играми дома. У людей старшего поколения, особенно у интеллигенции, это занятие ассоциировалось с бытовыми практиками прошлого, некой мини-салонной жизнью, которая протекала до революции практически во всех домах среднего слоя горожан. Художник В.И. Курдов, сын земского врача из Перми, приехав в Ленинград в середине 1920-х, какое-то время снимал комнату. Хозяева, принадлежавшие к старой петербургской интеллигенции, явно не хотели менять устоявшихся привычек. «Мои немолодые и бездетные хозяева-супруги оказались добрыми людьми, — вспоминал Курдов. — Мужа можно было видеть только по утрам, ежедневно он играл в карты в компании нейрохирурга Поленова, где, кроме того, по субботам танцевали. Его жена, полуфранцуженка, была также пристрастна к преферансу, и в нашей квартире играли каждую неделю»<sup>365</sup>. Менее светская семья В.С. Шефнера даже на рубеже 1920-1930-х годов также собиралась за картами. Мать и тетка писателя любили «расписать пулечку», когда к ним приходили нечастые гости. Игры на деньги никогда не было, основное за карточным столом — это беседа, воспоминания о прошлом<sup>366</sup>. Карты сопровождали и досуг родителей С.Н. Цендровской,

отец которой был мелким служащим, а мать — домохозяйкой. Старая петербурженка вспоминала: «У наших родителей были три хорошо знакомых семьи, которые иногда приходили к нам в гости, и мы ходили к ним в гости. Когда все встречались у кого-нибудь дома, всегда пели русские народные песни... И обязательно играли в карты, в "девятку"»<sup>367</sup>.

Социологи зафиксировали распространение карточных игр и в пролетарской среде в годы нэпа. В 1923 году они занимали в досуге рабочих столько же времени, сколько танцы, охота, катание на лыжах и коньках, игра на музыкальных инструментах, в шахматы и шашки, вместе взятые. Однако эта ситуация оставалась без внимания властных и идеологических структур. И позднее нормативных решений, которые бы запретили азартные игры в частном быту, не последовало.

Возобладавшая в начале 1930-х годов политика наступления на приватное пространство отразилась и на отношении к распространению карточных игр в среде горожан. Эта форма досуга стала рассматриваться как времяпрепровождение, граничащее с криминалом. Бюро ЦК ВЛКСМ в августе 1934 года приняло специальное постановление «о борьбе с хулиганской романтикой в рядах комсомола», где «картеж», стоящий в одном ряду с пьянством и хулиганством, характеризовался как пережиток прошлого, аномальное явление в социалистическом обществе<sup>368</sup>. Это нормализующее суждение тем не менее не нашло ответной реакции на ментальном уровне. Карты перешли в ту сферу культурно-бытовых практик, где в период большого стиля успешно действовала система двойных стандартов.

### *Песня: нормы и девиации*

Косвенное нормирование стало методом управления и довольно традиционной областью досуга, связанной с музыкой. Игра на музыкальных инструментах и пение были широко

распространены в среде горожан и до революции. Такое времяпрепровождение уходило своими корнями в сельскую культуру. Городские черты музицирование обретало посредством изменения набора традиционных музыкальных инструментов (гитары, рояли, пианино), расширения песенных жанров (городской романс), внедрения профессионального исполнения музыки в публичной сфере и техники воспроизводства и передачи звука.

Стремление людей старших возрастов и в особенности молодежи к пению и танцам, считавшимся нормой проведения свободного времени, были использованы советскими властными и идеологическими структурами. Уже в годы Гражданской войны появились песни, ритмический строй музыки и поэтическая форма текста которых отвечали революционно-разрушительным настроениям молодежи. Популярной в начале 1920-х годов была песня «Наша карманьола», уже упоминавшаяся в тексте книги. Поэт Жаров вспоминал явный страх городского обывателя, слушавшего, как комсомольцы, возвращаясь с собраний, оглашали сонные улицы российских городов пением «Карманьолы»<sup>369</sup>. Текст песни был с этической точки зрения беспардонным: всех врагов советской власти автор стихов Киршон предлагал вздернуть на фонари. Вероятно, именно это и вдохновляло приверженцев «Карманьолы».

Популярность таких песен была явным последствием Гражданской войны. Переход к мирному времени возвратил музыку, отражающую веселье, грусть, любовные переживания. Новых песен с таким содержанием в 1920-е годы было очень мало. Неудивительно, что молодежь с удовольствием и слушала, и пела так называемые «жестokie романсы» и «песни улицы», характерные для городской музыкальной культуры.

Реакция комсомола была почти мгновенной. Уже в 1922 году ЦК РКСМ принял циркуляр, подчеркивающий необходимость организованного разучивания именно революционных песен, так как они могут приблизить молодежь к пониманию задач строительства новой жизни<sup>370</sup>. За исполнение



«жестокое романса» комсомолец мог, по воспоминаниям ростовчанина М. Алпатова, получить выговор как «пропагандист гнилой идеологии»<sup>371</sup>. Песня в новом обществе должна была соответствовать всем остальным нормам быта и способствовать воспитанию масс в духе коммунизма. Именно так рассуждали авторы выходивших в 1920-е годы большими тиражами песенных сборников. В предисловии к одному из них говорилось: «Приобщить массы к революционной песне — значит вложить в руки оружие борьбы за классовую идеологию и быт»<sup>372</sup>.

Особенно активное наступление на «мелкобуржуазную песню» началось в конце 1920-х одновременно со свертыванием нэпа. Идеологический вред был обнаружен в нескольких новых песнях, авторы которых довольно удачно использовали традиции «жестокое городского романса». Самой знаменитой из них были «Кирпичики» (музыка В.Я. Кручинина, слова П.Д. Германа), написанные в 1923 году. Существует версия, что песня создавалась для эстрадного театра «Павлиний хвост». Часто ее появление связывают с постановкой В.Э. Мейерхольда «Лес» (1924) и даже с юбилейным представлением к столетию Малого театра. Так или иначе, в 1925 году «Кирпичики» распевала вся страна. Журнал «Смеяч» в 1926 году опубликовал фельетон, в котором жилец коммунальной квартиры жалуется на соседа, постоянно играющего мелодию популярной песни на скрипке: «Нет, ты пойми. Я встаю с постели — "Кирпичики", прихожу со службы — то же. Пью чай, обедаю, сплю — все под "Кирпичики"»<sup>373</sup>.

Позднее Кручинин и Герман сочинили музыкальные истории «Антон-наборщика», «Шахты № 3», «Маленького поселка», а Я.Л. Фельдман и К.Н. Подревский — «Серой кепки и красного платка»<sup>374</sup>. Сочетающие элементы как городской буржуазной, так и новой пролетарской культуры, эти песни нравились молодежи. Их можно было петь и под гармонь, и под гитару. Однако это естественное слияние культурных норм не



устраивало большевиков. Официальная критика обрушилась на новый музыкальный жанр, усмотрев в нем элементы уныния и пассивности. Музыковед Л.Н. Лебединский писал в 1929 году: «Частое исполнение "Кирпичиков" самой рабочей массой есть не что иное, как проявление сильного еще влияния на нее со стороны деклассированной, люмпенизированной части городской мелкой буржуазии»<sup>375</sup>.

Песни, стилизованные под «городской романс», по мнению идеологических структур, не могли воспитать необходимых новому массовому человеку оптимизма и уверенности. Еще в 1926 году комсомол сформулировал некое нормализующее суждение, вылившееся в лозунг: «Песня — на службу комсомола». В ноябре 1926 года «Комсомольская правда» посвятила этому вопросу целый выпуск. Известный комсомольский поэт Безыменский писал: «Требования на новую песню ощутимы почти физически. Темп современной жизни требует такой песни, которая помогла бы в развитии и сплочении людей»<sup>376</sup>. В 1927 и 1928 годах вопрос о создании массовой песни обсуждался на специальных заседаниях ЦК ВЛКСМ<sup>377</sup>.

На рубеже 1920-1930-х, во время организованного изживания остатков нэпа, более отчетливо стали проявляться и новые, поощряемые сверху нормы песенной культуры, которые аккумулировали в себе общие тенденции развития советского общества в это время. Резкий приток крестьян в города и пополнение рядов рабочих в основном за счет бывших деревенских жителей обеспечили успех политической кампании под девизом «Гармонь на службу комсомола». Использованию именно этого инструмента в структуре досуга молодежи города придавался большой знаковый смысл. Гармонь противопоставлялась гитаре — инструменту прежде всего мелкобуржуазному в контексте новых идеологических суждений. ЦК ВЛКСМ разработал даже специальные «Заповеди гармониста» — некое подобие изложения поведенческих

норм. Заповеди, в частности, гласили: «Гармонист — первый враг хулиганства, пьянства, дебоширства и т.д. Гармонист никогда не играет на таких вечеринках, где процветает хулиганство. Гармонист всегда помогает комсомолу в его работе среди рабочей и крестьянской молодежи»<sup>378</sup>. Гармонь стала определяющим элементом в официально формируемой песенной субкультуре 1930-х годов, и добиться этого оказалось просто. Новое поколение горожан, формировавшееся, в частности, за счет крестьян, было активным носителем сельской культуры, где иные музыкальные инструменты практически отсутствовали.

Традиционная же городская песня как норма досуга все более и более активно трактовалась как аномальное явление. Сначала это происходило на уровне нормализующих властных суждений. При этом тактика идеологических структур стремилась учитывать технические новшества в жизни горожан. В сентябре 1933 года СНК СССР принял постановление «О мерах по улучшению производства граммофонов, граммофонных пластинок и музыкальных инструментов»<sup>379</sup>. Этот документ обеспечивал контроль за тиражированием музыкальных произведений, прежде всего песен. В июне 1935 года Ленинградское управление по контролю над зрелищами и репертуаром запретило концертное исполнение и распространение в виде пластинок мелодий упаднического характера: танго «Карие глаза», «Сумерки», «Забвение», а также песен «У окошка» Л.О. Утесова, «Песня Тони» В.В. Желобинского из кинофильма «Горячие денечки». Инициатива идеологических инстанций была трансформирована в нормативное действие: летом того же года Управление ленинградской милиции подготовило приказ «О борьбе с музыкантами, певцами и продавцами запрещенных песен на рынках и базарах». К административной ответственности привлекались уличные певцы и музыканты, осмелившиеся включить в свой репертуар «упаднические, жестокие романсы», а к уголовной — как лица, нарушающие

положения статьи 185 УК РСФСР о выпуске «печатных» произведений, — люди, распространявшие пластинки с запрещенными песнями<sup>380</sup>. Эту же тактику государство использовало и после Великой Отечественной войны. На барахолках отлавливали спекулянтов, торговавших из-под полы пластинками с джазом, записями П.К. Лещенко и В.А. Козина. Власть делала все, чтобы вытеснить «идеологически вредную» песню из публичной сферы повседневной жизни. Отчасти это происходило благодаря появлению новых музыкальных форм, соответствующих политическим и культурным нормам большого стиля. Песни были насыщены радостным энтузиазмом, уверенностью в будущем, жизнеутверждающей энергией. Многие идеологически одобренные песни создавались талантливыми людьми и стали действительно популярными. Для их внедрения в систему досуга не требовалось особых усилий, не было необходимости строить концертные залы, кинотеатры, выставочные помещения. Песню с бодрым мотивом и вдохновляющими на подвиг и труд словами можно было петь в общежитии, в бараке, на демонстрации, на комсомольском собрании. Так на самом деле и происходило. Бодрые песни, своеобразные маркеры эпохи большого стиля, действительно пропагандировали хотя и искренне воспринимаемый, но все же иллюзорный образ жизни. Они выросли в субкультуру нового поколения и благодаря соответствию тенденции резкого сокращения элементов приватности в повседневной жизни. Одновременно публичное пространство заполнялось видами досуга, скорее характерными для культуры общинно-деревенского, нежели урбанистического типа. Усредненные же нормы музыкально-развлекательного досуга, существовавшие в первой половине XX столетия как в городе, так и в селе, подвергались активной политизации. Это отчетливо видно на примере отношения властных и идеологических структур к традиционному развлечению в первую очередь молодежи — танцам.

*«Политическая подкладка» танца*

Обычное человеческое тело в пространстве формирующейся советской повседневности являлось объектом и нормативного, и нормализующего воздействия. Об этом, в частности, свидетельствовал высокий статус физической культуры и спорта, которые, по словам П. Бурдые, «через телесный и коллективный *мимезис* социальной организации имеют целью усиление этой организации»<sup>381</sup>. Не меньшую роль в процессе дисциплинирования тела в советской действительности играли танцы с характерными для них элементами обрядности и половозрастного символизма. Создается впечатление, что не слишком искушенные в проблемах семиотики представители властных структур понимали тем не менее коммуникативную значимость танцев и их кинесику, всячески противопоставляя советскую народную культуру не только буржуазной городской, но и западной традиции.

В пролетарской среде до революции не существовало публичных танцевальных вечеров. Молодежь довольствовалась деревенским обычаем плясок на улице в праздничные дни. Появление после 1917 года множества комсомольских клубов способствовало перенесению этого развлечения с улиц фабричных окраин в закрытые помещения. Незначительное, казалось бы, изменение повлекло за собой возникновение норм, регулирующих танцы, по образцу городской культуры. Не случайно в молодежном лексиконе начала 1920-х годов появилось слово «балешник», простонародное производное от слова «бал». На «балешнике» уже необходимо было устанавливать определенные нормы поведения. Буржуазно-городские традиции регулирования музыкально-развлекательного досуга явно не отвечали задачам формирования нового человека. II Всероссийская конференция комсомола в мае 1922 года назвала танцы одним из каналов проникновения в молодежную среду мелкобуржуазного влияния<sup>382</sup>. Это нормализующее суждение породило в местных комсомольских организациях дискуссию

на тему: «Может ли танцевать комсомолец?» Главным в ходе дебатов был вопрос: «Что можно танцевать?» Идеологический запрет распространялся в первой половине 1920-х годов на танго и тустеп, которые маркировались как аномалии. В одном из совместных документов Главлита и Главреперткомма, принятых в июле 1924 года, указывалось: «Будучи порождением западно-европейского ресторана, танцы эти направлены на самые низменные инстинкты. В своей якобы скупости и однообразии движений, они, по существу, представляют из себя "салонную" имитацию полового акта и всякого рода физиологических извращений... В трудовой атмосфере советской России... танец должен быть бодрым и радостным»<sup>383</sup>. Литературный нарратив эпохи нэпа также зафиксировал отрицательное отношение власти в первую очередь к западным танцам и распространение этого суждения в бытовой сфере. В «Дневнике Кости Рябцева» Н. Огнёва есть сцена, ярко иллюстрирующая ситуацию:

«13 января.

Сегодня после занятий одна из девчат уселась за рояль и принялась наяривать танцы. А девчата, и большие и маленькие, словно сговорились между собой — и пошли вывертывать ногами. Я очень хорошо знаю, что танцы запрещены, поэтому подготовил кое-кого из ребят, и мы стали подставлять девчатам ноги. Тут, конечно, раздались писк и визг, сбежались шкрабы, и началось летучее общее собрание. Я такие летучки гораздо больше люблю, потому что на официальном собрании — скучища с протоколом, а на летучке — крик и все воодушевляются, и всегда по какому-нибудь боевому вопросу.

Зин-Пална прежде всего спросила, почему ребята против танцев.

— Потому, что это идеологическая невыдержанность, — отвечает Сережка Блинов. — В танцах нет ничего научного и разумного и содержится только половое трение друг об друга.

Тут вскочила Елникитка и говорит:

— А по-моему, мальчики потому против танцев, что сами танцевать не умеют. В футболе тоже нет ничего разумного и научного, а одна грубость, однако мальчики в футбол играют. Тут все ребята закричали, что футбол — это физкультура.

— Тогда и танцы — физкультура, — говорит Черная Зоя.

— Ну, с этим я тоже не согласна, — сказала Зинаидища. — Мне кажется, что физкультурой танцы уж никак назвать нельзя. Но, во всяком случае, танцы — захватывающее развлечение, и если их отменять, то необходимо заменить чем-нибудь другим. Вопрос только — чем. Я бы посоветовала применить организованные игры в здании»<sup>384</sup>.

Маркируя западные танцы как девиацию, идеологические структуры пытались предложить и новые нормы. Газета «Смена» в том же 1924 году опубликовала материал под устрашающим названием «Смерть тустепам». В нем рассказывалось, что в одном из ленинградских молодежных клубов комсомольцы под музыку песни «Смело, товарищи, в ногу» исполняют танец «За власть советов», в процессе которого импровизированно изображают «все периоды борьбы рабочего класса»<sup>385</sup>. Однако подобные танцы носили искусственный характер и не могли получить распространение. Молодые люди, собиравшиеся в клубах на вечера, предпочитали вальсы, польки, танго и тустепы. Это зафиксировал опрос 1929 года. Танцы стояли на четвертом месте в ряду десяти видов развлечений, которые предпочитала молодежь. 71% молодых рабочих, по данным опроса, очень любили танцевать. Из этой группы 46% систематически ходили на танцы в клубы, 29% — на платные танцплощадки, 11% посещали специальные танцклассы. Последнее обстоятельство рассматривалось идеологическими структурами как явная социальная патология. С.М. Киров на II Ленинградской областной конференции ВЛКСМ в 1929 году с возмущением говорил: «Я не понимаю того, чтобы заниматься в частном танцклассе.

Это значит, человек вошел во вкус. У него комсомольский билет, а он мечтает о выкрутасах... такие явления свидетельствуют определенно как о каком-то обволакивании»<sup>386</sup>. Войну с танцами постоянно вела комсомольская печать. Так, газета Ивановского обкома ВЛКСМ «Ленинец» осенью 1929 года опубликовала материалы с критикой «увлекающихся танцульками» молодых ткачих<sup>387</sup>.

Аномальность ритма повседневной жизни эпохи первых пятилеток не могла способствовать возвращению традиционных форм досуга. «Танцульки» по-прежнему считались буржуазным развлечением. Правда, облик «девианта» несколько изменился: к тустепам и танго прибавился фокстрот. В 1932 году первый секретарь Ленинградского горкома ВЛКСМ И. Вайшля на заседании бюро горкома с тревогой отмечал засилье в комсомольских клубах «фокстротчиков»<sup>388</sup>. Раздраженную реакцию комсомольских активистов на фокстрот описал и Н.А. Островский в романе «Как закалялась сталь»: «После жирной певицы... на эстраду выскочила пара. Он — в красном цилиндре, полуголый, с какими-то цветными пряжками на бедрах, но с ослепительно белой манишкой и галстуком. Одним словом, плохая пародия на дикаря. Она — смазливая, с большим количеством материи на теле. Эта парочка, под восхищенный гул толпы нэпманов с бычьими затылками, стоящих за креслами и койками санаторных больных, затрусилась на эстраде в вихлястом фокстроте. Отвратительнее картины нельзя было себе представить. Откормленный мужик в идиотском цилиндре и женщина извивались в похабных позах, прилипнув друг к другу»<sup>389</sup>. «Похабную парочку», пропагандирующую фокстрот, прогоняет со сцены сознательный комсомолец.

Одновременно идеологические структуры не могли не замечать стремление молодых людей проводить время на танцевальных площадках. Во второй половине 1930-х годов в города на промышленные предприятия по оргнабору и на учебу в ремесленные училища приехало много деревенских

парней и девушек, для которых гулянка с пляской была самой распространенной формой полового символизма, знакомства, проведения досуга. Они с удовольствием шли на танцплощадки в парки и клубы. Неудивительно, что уже в мае 1934 года на конференции комсомольцев завода «Красный путиловец» звучали следующие призывы: «Нам нужно организовать школу танцев с политической подкладкой»<sup>390</sup>. В конце 1930-х в пылу шпиономании танцплощадки вообще называли «щелями для шпионов»<sup>391</sup>. В 1938 году ЦК ВЛКСМ провел проверку танцплощадок в Москве и Ленинграде. Вывод был сделан следующий: «Пользуясь отсутствием контроля, различные вражеские элементы на танцплощадках занимаются прямой антисоветской работой, часто пытаются разлагать молодежь»<sup>392</sup>. Систематически ходившие на такие танцплощадки девушки и юноши рисковали не только комсомольскими билетами. Завсегдатаев танцев вполне могли причислить к «врагам народа». Таким образом, на уровне властного суждения традиционная форма развлечений маркировалась как аномалия с политическим оттенком. В данном случае не спасала и публичность этой культурно-бытовой практики. В приватном пространстве, конечно, властный контроль был значительно слабее.

Одновременно в конце 1930-х в условиях большого стиля критика танцев велась с позиций противопоставления советской народной культуры и западной традиции. В публичных местах рекомендовались краковяк, падеспань, кадрили, полька-тройка и т.д. Они в представлении власти носили народный, истинно демократический характер. В действительности этими танцами необходимо было управлять, что обеспечивало общественный контроль над поведением танцующих. «Западные» танго и фокстроты, не требовавшие регулирующего начала, распространялись в большей степени в приватной сфере. Эти тенденции получили усиленное развитие в условиях послевоенного имперского сталинизма.



В контексте позднего тоталитарного гламура в структуре молодежного досуга появились карнавалы и маскарады, некое подобие дореволюционных балов. В 1937 году Свердловский областной дом народного творчества издал «Методическое письмо по подготовке к празднованию XX годовщины Октябрьской революции». Авторы брошюры предлагали организовать бал-карнавал, считая, что такие формы досуга «призваны быть воплощением радости счастливой жизни в нашей стране». Карнавал, как следовало из текста,

«...немыслим без ярких, красочных, интересных костюмов... Моделями при создании таких костюмов и масок могут, разумеется, служить известные персонажи итальянской классики — Пьеро, Арлекин, Коломбина. Однако устроители карнавала должны добиваться, чтобы праздник выглядел современно, отвечал задачам дня. В этих целях им надлежит, не увлекаясь примерами прошлого, создавать карнавальные костюмы прежде всего на следующие главные и основные темы:

1. Сталинская конституция (отдельные статьи).
2. Счастливая мать.
3. "Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее" (Сталин)...
5. Отпор интервентам.
6. "Никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить"»".

Предлагалось также создать и костюмы отрицательных персонажей: «троцкист-предатель» и «шпион-диверсант». Правда, в брошюре не было конкретных описаний, как должны выглядеть люди, изображающие, например, отдельные статьи конституции. Однако нормализующее решение вопроса о соответствии костюма идеологическим задачам представители

Пункт 4 отсутствует в источнике.

власти все же брали в свои руки. «Пропуск карнавальных костюмов и масок можно разрешить, — указывалось в брошюре, — только после предварительной проверки. Для этого приглашаются представители редакции газеты, райлита, НКВД или милиции. Для них отводится отдельная комната, где производится регистрация костюмов и масок». Не менее строго регламентировались и танцы на карнавале<sup>393</sup>.

Во второй половине 1940-х и в 1950-х годах чопорные коллективные танцевальные вечера получили еще более широкое распространение. Астрофизик, петербурженка Т.Е. Дервиз вспоминала: «Маскарады в Новый год в школах были не редкость»<sup>394</sup>.

На карнавалы приглашались ученики из мужских школ, иногда военных училищ. Обязательной частью таких вечеров были танцы, программа которых утверждалась заранее. Копирование дореволюционных практик балов институтов благородных девиц и женских гимназий в условиях далеко не сытых послевоенных годов носило пародийный характер. Школьные вечера, как писали современники, представляли собой странную «смесь концлагеря и первого бала Наташи Ростовской»<sup>395</sup>. В публичном пространстве, будь то школьный бал или танцплощадка, ощущалось влияние регламентирующих властных инициатив. «Фокстрот и танго, — вспоминали современники, — были не то чтобы запрещены, не рекомендованы. Их разрешали иногда заводить один раз за вечер. И то не всегда... При этом смотрели, чтобы никаких там попыток танцевать фокстрот "стилем" не было. Как кто-нибудь... делал что-то не так, в радиорубку срочно подавался знак, пластинку снимали и дальше уже ничего кроме бальных танцев не ставили»<sup>396</sup>.

Напыщенные и излишне сложные бальные танцы превращали развлечение в некий светский фарс не только в школах, но и на публичных танцплощадках послевоенных городов. В Ленинграде, например, во Дворце культуры имени

С.М. Кирова находилась самая крупная в городе крытая танцевальная площадка — знаменитый Мраморный зал. Один из его завсегдатаев, литератор О.С. Яцкевич, писал об этом зале: «Он состоял из трех частей, условно разделенных колоннами. В центральной части собирался общегородской молодежь — из любого района. Здесь же сидел эстрадный оркестр, который мог исполнить, если бы разрешили, любой фокстрот или танго, но... Но па-де-катр, па-д-эспань, краковяк и полька главенствовали в программе»<sup>397</sup>. Власть активно пыталась навязывать нормы танцевальной культуры. Контроль над традиционным развлечением молодежи развивался в конце 1940-х — начале 1950-х, в ходе кампании борьбы со «стилягами», которых власть порицала не только за особый стиль одежды, но и за манеру двигаться, прежде всего танцевать. Д. Беляев, автор знаковой статьи, опубликованной в «Крокодиле» в рубрике «Типы, уходящие в прошлое» в 1949 году, довольно живо, используя традиционные приемы советской сатиры, описывал сцену на танцах в студенческом клубе: среди юношей и девушек, с воодушевлением отплясывавших краковяк и танец конькобежцев, появился некий тип в вызывающе яркой одежде, которого все собравшиеся называли стилигой. На вопрос — что это за странная фамилия? — присутствующие объяснили: «А это не фамилия. Стилягами называют сами себя подобные типы на своем птичьем языке. Они, видите ли, выработали свой особый стиль — в одежде, в разговорах, в манерах. Главное в их "стиле" — не походить на обыкновенных людей. <...> Стиляга знаком с модами всех стран. <...> Он детально изучил все фоксы, танго, румбы...»<sup>398</sup> Таким образом, танцевальные пристрастия в системе властных нормализующих суждений считались и на излете эпохи большого стиля индикатором общественной позиции личности.

И тем не менее культурно-бытовые нормы большого стиля в сфере досуга как молодых рабочих, так и горожан иных возрастов и социальных слоев носили внешний, наносной

характер. Несмотря на стремление власти посредством косвенного регулирования структуры и содержания свободного времени населения сформировать устойчивые нормы и представления об аномалиях, в культурно-бытовом пространстве советской повседневности, и в том числе в сфере приватности, начинали проявляться отличные от официальных каноны поведения.

ЧАСТЬ III.  
ТРАДИЦИОННЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ  
В НОВОМ ОБЩЕСТВЕ  
(СПЕЦИФИКА И ПРИНЦИПЫ  
КОНСТРУИРОВАНИЯ)

Книга о жизни горожан 1920-1930-х годов, вышедшая в 1999 году, начиналась с сюжетов, которые в этом издании я решила расположить в конце повествования. Отчасти этим тактическим маневром я попытаюсь убедить своих критиков, что отнюдь не желание «смаковать» разного рода «теневые стороны» жизни обычных людей в СССР или «свести все многообразие городской жизни к социально ущербным, маргинальным или патологическим проявлениям»<sup>1</sup> составляет главный побудительный мотив проведения анализа повседневности в контексте теории девиантности. Вообще у меня создалось впечатление, что мои самые агрессивные оппоненты не удосужились просмотреть даже структуру книги «Повседневная жизнь советского города: нормы и аномалии. 1920-1930-е годы» до конца. Иначе им стало бы понятно, что сюжеты «маргинального характера» составляли лишь одну треть всего текста. Теперь у меня есть слабая надежда, что «борцы с очернительством нашего прошлого» наконец поймут, что при всей относительности социальных норм, по которым оцениваются отклонения, существуют формы поведения, всегда негативно характеризующиеся с позиций общечеловеческих ценностей. Это преступность, пьянство, суицид, проституция.

В советской историографии часто писали о быстром и безвозвратном искоренении перечисленных выше явлений,

квалифицированных как пережитки или родимые пятна капиталистического прошлого. В связи с этим совершенно непонятными становились, с одной стороны, тот пафос, с которым в советском государстве все же велась перманентная борьба с «пережитками», а с другой — размах их рецидива на современном этапе. В весьма сомнительное положение советские историки попали, как представляется, по двум причинам. Во-первых, сведения о количестве алкоголиков, наркоманов, бандитов, насильников, проституток и т.д. до недавнего времени были практически засекречены. Во-вторых, сказывалось и явно слабое внедрение в процесс исторического познания концепции девиантного поведения.

Ныне ситуация заметно изменилась в основном благодаря относительной доступности ряда документов о преступности, пьянстве, проституции и т.д., хотя данные в них достаточно фрагментарны. На сегодняшний день в общей истории повседневности сформировалось направление исторической девиантологии<sup>2</sup>. Следует отметить смелое начинание ученых из Пензы, которые еще в 2003 году издали под редакцией профессора А.Ю. Саломатина коллективную монографию, где анализировались особенности девиантного поведения в XIX-XX веках<sup>3</sup>. На начальном этапе появление исследований, посвященных феномену разного рода социальных аномалий в советском обществе, было встречено непониманием в научной и прежде всего академической среде, вообще отличающейся косностью<sup>4</sup>. Однако ныне совершенно бессмысленно отрицать значимость изучения девиантных проявлений для воссоздания специфики советской повседневности, тем более что вестернизация методологического инструментария коснулась и академических исследователей. Во всяком случае, в монографии заместителя директора Санкт-Петербургского института истории РАН А.Н. Чистикова о партийно-государственной бюрократии 1920-х годов имеется параграф со следующим названием: «Девиантное поведение и судебные привилегии»<sup>5</sup>,

а Е.Ю. Зубкова — известный историк из академической среды — выступила как составитель солидного сборника документов о положении маргиналов в послевоенной России<sup>6</sup>. Однако в большинстве случаев представители исторической науки по-прежнему опасаются использовать девиантологическую терминологию, имеющую устойчивую западную и российскую традицию. Именно поэтому в новой версии книги о советской повседневности я хочу сосредоточить внимание на тех видах социальных отклонений, которые, в отличие от преступности, формально существуют вне нормативного (правового) поля, но тем не менее фигурируют в пространстве повседневности, в сфере представлений о норме и патологии. Речь пойдет о пьянстве — девиации с выраженными бытовыми характеристиками, но таящей в себе и элементы ухода от действительности. Крайней же формой ретретизма, несомненно, являются наркомания и самоубийство. Им посвящена небольшая по объему, но отдельная глава. Специального рассмотрения, на мой взгляд, заслуживает проституция — социальная аномалия, к которой трудно подобрать антипод. Трезвость является нормой по отношению к пьянству, естественная смерть — к самоубийству. Противопоставить что-то проституции — систематическому вступлению за деньги в случайные половые отношения, не основанные на личной симпатии и привязанности, — сложно, что ставит это отклонение в особое положение и в бытовом, и в правовом поле.



## ГЛАВА 1. ПЬЯНСТВО

«Всякое мирское дело (на Руси. — Н.Л.) непременно начиналось пиром или попойкой, и поэтому в социальной жизни народа напитки имели огромное значение», — писал в 1868 году известный русский историк и литератор И.Г. Прыжов<sup>7</sup>. Эти слова знатока российской ментальности и повседневности могут навести на мысль о том, что потребление алкоголя является отнюдь не патологией, а скорее нормой жизни.

Спиртные напитки в семиотическом контексте, равно как и формы борьбы с алкоголизмом, составляют неотъемлемую часть культурно-антропологического процесса. Алкоголь нередко является частью обрядности, сопровождающей переходы от одной формы жизни к другой — свадебные торжества, вступление в мужские союзы, поминки на похоронах и т.д., а также входит в христианский обычай причастия. Отрицание значимости спиртных напитков для того и иного ритуала нарушает его знаковую завершенность и меняет, а нередко и принижает его смысл, что неизбежно ведет к подвижкам в ментальности населения. Неудивительно, что идеологические структуры часто манипулируют отношением народа к выпивке, прекрасно осознавая ее кодовое содержание. В культурологическом ключе полное отрицание алкогольных напитков можно рассматривать как своеобразный способ нарушения так называемой адаптивной нормы. Она отражает допустимые пределы изменений, при которых целостность той или иной системы, в том числе и структуры ментальности,

не нарушается. В каком-то смысле абсолютно трезвеннический образ жизни можно считать явлением аномальным.

Это утверждение имеет право на существование и потому, что властные структуры, как правило, заинтересованы в изготовлении и продаже алкоголя, который при режиме государственной винной монополии является важным источником пополнения национального бюджета. Трезвенники, сами того не ведая, способны пробить брешь в государственных ресурсах. Одновременно алкоголики, исправно и активно покупающие водку, вина, пиво и т.д., — физически неполноценные люди и малоценные работники — составляют общественный балласт. Кроме того, эта группа создает массу проблем для собственных семей, наиболее склонна к правонарушениям, что тоже не позволяет назвать ее поведение общественной нормой.

Таким образом, с государственно-экономической, социально-культурной и бытовой позиций девиантами являются как алкоголики, так и абсолютные трезвенники. В данном случае нормой в советском обществе следует назвать образ жизни умеренно пьющего человека. Эти люди в достаточной мере пополняли государственную казну, время от времени приобретая спиртные напитки, были в своих бытовых практиках адекватны историко-культурным традициям и благодаря умеренности в потреблении спиртного являлись полноценными работниками, законопослушными гражданами, способными к тому же выполнять свои репродуктивные функции. Но для сохранения стабильности этой нормы тем не менее требовались значительные усилия как властных структур, так и отдельных личностей. Государству было необходимо соблюсти меру в производстве и реализации спиртосодержащей продукции. В личностном же аспекте важна стратегия выживания, ценностные установки, уровень психологического здоровья. Не менее актуально для укрепления нормы и отношение к аномалии. Трезвеннический образ

жизни, хотя и может считаться отклонением, не представляет серьезной социальной опасности и не требует, в отличие от алкоголизма, особого отношения государства. Важную роль играют формы социального контроля, опирающиеся на систему нормализующих суждений власти. Историческая традиция свидетельствует, что в российском обществе на протяжении многих веков неизменно отрицательное отношение к пьянице, настороженное — к абсолютному трезвеннику и позитивное — к умеренно пьющему. Значительно более противоречива политика государства в области производства и потребления спиртного. Неудивительно, что в русской истории многие социальные катаклизмы оказывались связанными с вопросом об отношении к спиртному.

Сегодня в отечественной историографии значение алкогольных напитков в советском культурно-бытовом пространстве изучено достаточно обстоятельно. Особой фундаментальностью отличаются книга И.Р. Такала и коллективная монография «Веселие Руси. XX век»<sup>8</sup>. Появились и исследования, посвященные региональным аспектам советского пьянства<sup>9</sup>, но теория девиантности в работах историков по-прежнему редко является инструментом концептуализации проблемы.

### *Антиалкогольная утопия большевиков*

Уже в первые дни пребывания у власти большевики столкнулись с необходимостью выработать четкую позицию по отношению к спиртным напиткам. Советское правительство вынуждено было бороться с так называемыми «винными погромами». Они начались в стране ранней осенью 1917 года. Зачинщиками пьяных бесчинств в сентябре в Астрахани, Гомеле, Орле, Уфе, а в начале октября — в Глазове, Стародубье, Тамбове явились солдаты городских гарнизонов, которые,

по мнению современников, вели себя «похуже собак»<sup>10</sup>. Первые слухи о свержении Временного правительства подхлестнули активность «пьяных революционеров». Наибольшую опасность они представляли в Петрограде. Здесь находились огромные склады спиртного, часть которых располагалась непосредственно в Зимнем дворце. Член Петроградского военно-революционного комитета Ф. Другов вспоминал, что для предотвращения нового штурма бывшей резиденции Временного правительства солдатами близлежащих казарм комитет вынужден был принять специальный документ. В нем говорилось, что вино из царских подвалов будет ежедневно выдаваться представителям воинских частей из расчета две бутылки на человека на день<sup>11</sup>. В начале ноября 1917 года, когда у Зимнего дворца выставили специальную охрану, толпа начала громить частные склады. Пьяные представляли реальную опасность и для новой государственности, и для обывателя. Очевидцы вспоминали, что В.И. Ленин находился в полной растерянности. Он явно страшился, что погромщики «утопят в вине всю революцию», и призывал «расстреливать грабителей на месте»<sup>12</sup>. 5 ноября 1917 года Ленин вынужден был подписать специальное обращение «К населению». Власть призывала к жестокому подавлению погромщиков и охране общественного порядка. Однако этих мер оказалось недостаточно. 26 ноября 1917 года ВРК принял решение уничтожить все винные и спиртовые запасы в Петрограде. Поручено это непростое дело было специальному комиссару по борьбе с пьянством. Бутылки разбивались прямо в подвалах, и затем вино откачивали оттуда помпами. Л.Д. Троцкий вспоминал: «Вино стекало по каналам в Неву, пропитывая снег. Пропойцы лакали прямо из канав»<sup>13</sup>. Такую же тактику пришлось применить и в других российских городах, где в ноябре 1917 года началась очередная волна разгромов магазинов и складов со спиртным. В Екатеринбурге, например, в ноябре, чтобы избежать эксцессов, власти спустили в пруд

9000 литров спирта. Большевики смогли полностью покончить с винными погромами лишь в начале декабря 1917 года. Более трудной оказалась задача сформулировать собственный взгляд на вопросы производства и потребления алкоголя и определить, что здесь является нормой, а что носит патологический характер.

Новая власть поначалу вообще не собиралась заниматься продажей спиртного на государственном уровне. Несколько нормативных актов периода военного коммунизма, в частности декрет «О предоставлении народному комиссару продовольствия чрезвычайных полномочий по борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей хлебные запасы и спекулирующей ими» (май 1918 года) и декрет «О воспрещении на территории РСФСР изготовления и продажи спирта, крепких напитков и не относящихся к напиткам спиртосодержащих веществ» (декабрь 1919 года), были скорее продолжением политики тотальной национализации всех видов производства. Утопические воззрения большевиков на возможность пополнять бюджет без торговли вином особенно ярко проявились после окончания Гражданской войны. В ленинской концепции построения социализма в России не было места спиртному как источнику добычи «легких денег». В мае 1921 года на X Всероссийской конференции РКП(б) Ленин заявлял, что «в отличие от капиталистических стран, которые пускают в ход такие вещи, как водку и прочий дурман, мы этого не допустим, как бы они ни были выгодны для торговли, но они поведут нас назад к капитализму...»<sup>14</sup>. В марте 1922 года на XI съезде РКП(б) Ленин вообще поставил вопрос о категорическом недопущении «торговать сивухой» ни в частном, ни в государственном порядке<sup>15</sup>. Это можно истолковать как объявление трезвости своеобразным канонем повседневной жизни в условиях новой государственности. Во всяком случае, нормализующие суждения власти не способствовали созданию материальной основы потребления алкоголя — производству

спиртных напитков. Кроме того, большевики считали необходимым полностью изменить и бытовые традиции. Известно, что в российской повседневной практике выпивкой сопровождалось многие религиозные обряды. Вторжение советских властных структур в сферу обычного права церкви влекло за собой искоренение привычных обрядовых деталей, в частности ритуального употребления алкоголя. Конечно, однозначно решить, что в данном случае первично, а что вторично: борьба с религией или с алкоголем, — сложно. Но характерное для большевиков обвинение церкви в стремлении к спаиванию народа, во всяком случае в дни религиозных праздников и в моменты исполнения треб, создавало основу для объявления абсолютной трезвости нормой жизни в коммунистическом и атеистическом обществе.

Полный отказ от спиртного в иллюзорных представлениях большевиков носил антибуржуазный характер. Безалкогольный досуг сознательных пролетариев должен был стать противоположностью практик повседневной жизни высших слоев царской России. Представления идеологов и руководителей советского государства о природе алкоголизма тоже носили утопический характер. Новая власть восприняла традицию отрицательного отношения к пьянству. Но оно было объявлено пережитком капитализма, проявлением, как выразился Ленин на II Всероссийском съезде профсоюзов, «традиционной психологии капиталистического общества»<sup>16</sup>. Программа РКП(б) причислила злоупотребление спиртным к «социальным болезням», развивающимся на почве общественной несправедливости. Предполагалось, что при социализме не будет причин, порождающих пьянство. Пока же развитию порока отчасти должен был воспрепятствовать декрет правительства «О воспрещении...». Он в определенной мере подтверждал «сухой закон» 1914 года. Кроме того, по инициативе Ленина в план ГОЭЛРО внесли дополнение следующего содержания: «Запрещение алкоголя должно

быть проведено и далее в жизнь, как безусловно вредного для здоровья населения»<sup>17</sup>. Эта последняя фраза характеризует свойственную большевистскому режиму хаотичность и непоследовательность в решении многих вопросов, а также идеализацию облика рабочего класса — того социального слоя, который должен был определить моральный климат в новом обществе. Ленин, по воспоминаниям К. Цеткин, совершенно серьезно считал, что «пролетариат — восходящий класс... не нуждается в опьянении, которое оглушало бы его или возбуждало»<sup>18</sup>.

Идеологи и руководители пролетарской революции не задумывались о том, что злоупотребление спиртными напитками — порок достаточно живучий. В классической теории девиантности алкоголизм связан с аномическим состоянием общества<sup>19</sup>. Реакция на подобную общественную ситуацию, как правило, является отклонением от обычных форм поведения, и виды этого отклонения различны: от откровенного бунта до ухода от действительности, который выражается прежде всего в пьянстве. Большевикам же казалось, что общественное неравенство было устранено уже в 1917 году первыми же декретами советского правительства, а социальная неустроенность — удел остатков эксплуататорских классов. Однако это чувство испытывали даже рабочие, чьи социальные ожидания советская власть не оправдала до конца<sup>20</sup>. Государственно-идеологическая установка на высоконравственное поведение пролетарской массы не способствовала созданию в начале 1920-х годов системы социального контроля над группами населения, подверженными пьянству.

Борьбой с пьянством лишь изредка занимались местные партийные и комсомольские организации, принимая директивы почти анекдотического характера: «Новгородский Губком РКСМ постановил: к перерегистрации (к февралю 1921 г. — Я.77.) все члены губкома должны бросить пить, для рядовых комсомольцев — срок до 1 апреля»<sup>21</sup>. Распространились

общественные суды над пьяницами. Весной такое мероприятие провели рабочие одной из фабрик Иваново-Вознесенска, осенью — активисты петроградского «Красного треугольника»<sup>22</sup>. Но все же это были отдельные факты, лишней раз подтверждающие ориентацию большевиков на быстрое искоренение пьянства.

В реальности же, несмотря на то что в стране действовал «сухой закон», введенный еще в 1914 году и фактически подтвержденный большевиками в 1919 году, горожане вовсе не собирались отказываться от спиртных напитков, потребление которых являлось бытовым канонем. Кое-кому даже в период Гражданской войны, по воспоминаниям Ю.П. Анненкова, удавалось, «расшибившись в доску», достать аптечный спирт<sup>23</sup>. В отсутствие свободной продажи водки процветало самогонование. Тяга к спиртному доводила до крайностей: обследование рабочих Верх-Исетского завода «Красная кровля» зафиксировало, что в период большевистского «сухого закона» многие употребляли одеколон, политуру, лак, денатурат<sup>24</sup>. К.И. Чуковский записал в своем дневнике потрясший его случай. Летом 1924 года из помещения биостанции, располагавшейся в пригороде Ленинграде, стали систематически исчезать банки с заспиртованными земноводными. Оказалось, что группа солдат совершала эти набеги на станцию с целью добычи алкоголя, хотя известно, что змей, лягушек и ящериц заливали спиртом с формалином — смесью, непригодной для питья<sup>25</sup>.

Однако вряд ли можно объяснить подобные действия лишь чувством социальной неустроенности. Скорее они являлись следствием «сухого закона», нарушившего нормальный баланс потребления спиртного. Кроме того, с окончанием Гражданской войны в городском социуме стали возрождаться забытые в период военного коммунизма обычаи бытового пьянства. На фабрично-заводских предприятиях, как вспоминали ветераны Костромского экскаваторного завода, это были



традиции «первой получки», с которой следовало напоить коллег по работе, «обмывания нового сверла», «спрыскивания блузы» и т.д.<sup>26</sup> Неудивительно, что уже в 1922 году во многих городах частым явлением стали кордоны женщин и детей у проходных промышленных предприятий в дни зарплаты. Типичным для того времени является коллективное письмо работниц Московско-Нарвского района Петрограда в редакцию «Петроградской правды» осенью 1922 года: «Окончился пятилетний отдых работниц, когда они видели своего мужа вполне сознательным. Теперь опять начинается кошмар в семье. Опять начинается пьянство...»<sup>27</sup> Возобновилась и традиция походов в гости. В 1920-е годы было немало и религиозных, и новых советских праздников, культура проведения которых не зависела от идейного содержания и включала обязательное застолье со спиртным. В 1923 году только несовершеннолетние рабочие тратили на выпивку 4% своего заработка<sup>28</sup>. У взрослых эта цифра была выше. Какие средства уходили дополнительно на покупку самогона, браги, денатурата и т.д., неизвестно. Причем это происходило в условиях действия «сухого закона». В экстремальной ситуации Гражданской войны он мог в некоторой степени диктовать нормы потребления спиртного. В мирное же время на первый план выступало саморегулирование жизненных процессов человека, и естественно, что справиться с пристрастием к алкоголю путем запрета оказалось сложно. В пролетарской среде, кроме того, широко был распространен наследственный алкоголизм. Вдобавок, по данным медицинских обследований 1923 года, в Москве почти 40%, а в Петрограде — чуть больше 34% молодых людей страдало различными хроническими недугами из-за пьянства родителей<sup>29</sup>. Полная трезвость, рассматриваемая на властно-идеологическом уровне как норма повседневной жизни, не вписывалась в привычные бытовые практики городского населения в первой половине 1920-х годов.

### *От рыковки к советской монополюке*

Еще в конце XIX века российское правительство пришло к выводу о том, что самый быстрый способ мобилизации денежных средств — монополия государства на производство и продажу алкоголя. К середине 1920-х большевики решили воспользоваться этим рецептом, рассматривая его как социальную и экономическую норму, позволяющую обеспечить устойчивость государственной системы. Это решение не было неожиданным. В 1919-1924 годах в Советской России производились и распространялись виноградные вина крепостью до 12 градусов, пиво и «русская горькая» — «рыковка». Ее начали производить согласно постановлению ЦИК и СНК СССР «О разрешении выделки и продажи наливок, настоек, коньяка и ликерных вин крепостью не свыше 30° и об установлении размера акцизного обложения указанных напитков» от 3 декабря 1924 года<sup>30</sup>. Любопытно, что уже через несколько дней после выхода декрета, в двадцатых числах декабря 1924 года, только что появившийся спиртосодержащий напиток именовали «рыковкой», а иногда и «полурыковкой». Об этом свидетельствует нарратив, в первую очередь записки М.А. Булгакова «Под пятой»<sup>31</sup>. Они имеют подзаголовок «Мой дневник 1923 года», хотя в реальности записи делались с мая 1923 по декабрь 1925 года. Крепость «рыковки» не превышала 30 градусов, над чем иронизировал герой повести М.А. Булгакова «Собачье сердце» профессор Преображенский. Свое народное название новый вид алкоголя получил в честь тогдашнего Председателя СНК А.И. Рыкова, полагавшего, что с помощью водки можно будет победить самогонщиков. Самое же имя А.И. Рыкова в 1920-е годы стало нарицательным как в стане противников, так и в стане сторонников свободной продажи крепких алкогольных напитков. А в среде интеллигенции, по воспоминаниям современников, был популярен анекдот: «В Кремле каждый играл в свою карточную игру: Сталин — в "короли", Крупская — в "акульку", Рыков — в "пьяницу"»<sup>32</sup>. Однако «рыковка» не была водкой-монополюкой.

28 августа 1925 года появилось постановление ЦИК и СНК СССР «О введении в действие положения о производстве спирта и спиртных напитков и торговле ими»<sup>33</sup>, и с 1 октября 1925 года государство стало выпускать крепкие спиртные напитки и торговать ими. Свободная продажа спиртного вызвала невиданный ажиотаж. В Ленинграде, как описывали современники, «в первый день выпуска сорокоградусной люди на улицах... плакали, целовались, обнимались... За ней кинулись, как в 1920 году за хлебом»<sup>34</sup>. В Пензе появление советской полноценной монополюшки вызвало рост волны криминальных проявлений. Представители местной власти сообщали в губком РКП(б): «В связи с выпуском сорокаградусной водки хулиганство в городе приняло стихийный характер. В ночь на 2 октября было задержано 50 пьяных, хулиганивших по городу»<sup>35</sup>.

Производство спирта подвергалось строгому учету со стороны властей, но продавать водку разрешалось и частникам. По словам И.В. Сталина, это позволяло создать условия «для развития нашей индустрии собственными силами»<sup>36</sup>. Первая советская сорокоградусная водка сначала продавалась по довольно низкой цене. Это вызывало неподдельный восторг населения и на короткое время даже привело к снижению уровня самогонварения в стране. Появилась и новая, советская расфасовка спиртного, в народе сразу получившая политизированные названия: бутылочку объемом в 0,1 л называли пионером, 0,25 л — комсомольцем, 0,5 л — партийцем. В декабре 1927 года на XV съезде ВКП(б) «вождь всех народов» демагогически заявил о возможности постепенно свернуть выпуск водки, «вводя в дело, вместо водки, такие источники дохода, как радио и кино»<sup>37</sup>. Однако за все годы существования советской власти это намерение не было воплощено в жизнь. Алкогольные напитки всегда составляли важнейший источник пополнения бюджета. Монополия советской власти на продажу водки являлась одним из первых признаков формирования

большого стиля с присущими ему элементами тоталитарного содержания режима партии большевиков.

Власть стала безудержно наращивать производство алкоголя, который должен был раскупаться населением. Утопическая идея полной трезвости, по сути дела, становилась антигосударственной. Однако не следует считать, что сталинское руководство страны ставило прямую цель спаивания народа, отменяя «сухой закон». Как показывает опыт многих стран, именно в период полного запрета на торговлю спиртными напитками их потребление возрастает и приобретает уродливые формы. В данной ситуации нельзя не признать справедливость слов Сталина на встрече с делегациями иностранных рабочих 5 ноября 1927 года об отсутствии «оснований утверждать, что алкоголизма будет меньше без государственного производства водки, так как крестьянин начнет производить свою собственную водку, отравляя себя самогоном»<sup>38</sup>.

Переход к свободной продаже спиртных напитков продемонстрировал несостоятельность представлений большевиков об абсолютной трезвости как норме, существовавшей в ментальности трудящихся. Конечно, официальная статистика зафиксировала рост потребления водки. Основная масса горожан не смогла противиться искусству спиртного, которое теперь можно было приобрести в магазинах. По данным ЦСУ СССР, по сравнению с 1922 годом расходы рабочей семьи на спиртные напитки выросли в 1927 году почти в 18 раз<sup>39</sup>. В РСФСР в 1924-1925 годах в расчете на душу населения потреблялось 0,48 л алкоголя, в 1925-1926 — 1,85 л, в 1926-1927 — 3,2 л, в 1927-1928 — 4,06 л, а в 1928-1929 — уже 4,18 л. Это почти в шесть раз превышало показатели среднедушевого потребления на территории России в 1913 году<sup>40</sup>.

В пьянство втягивалось новое поколение горожан. По материалам обследования 1927 года, в крупных городах европейской части РСФСР расходы на пиво и вино только у молодых рабочих составляли уже 16-17% заработка и в полтора раза

превышали затраты на книги<sup>41</sup>. В Ленинграде на вопрос о систематическом потреблении алкоголя в 1929 году положительно ответило 58% молодых мужчин и 23% женщин, а в Москве — 49,9% и 21,2% соответственно<sup>42</sup>. Ситуация в провинциальных городах была тоже напряженной. По данным опроса, проведенного в городе Шуя в 1926 году, все молодые рабочие выпивали по будням и праздникам, а 44,7%, по их собственному выражению, при возможности «накушивались до потери сознания»<sup>43</sup>.

В Иваново-Вознесенске в 1929 году 20% несовершеннолетних рабочих пили водку, в среде комсомольцев эти показатели достигали 46%<sup>44</sup>. Медики Москвы обнаружили совсем удручающую закономерность — с ростом заработной платы у рабочих в первую очередь увеличивалось и потребление спиртного<sup>45</sup>.

Для большинства рабочих основным местом проведения досуга, скрашиваемого приемом алкоголя, с середины 1920-х годов вновь стала пивная, где было разрешено торговать и водкой. В Ленинграде, например, в 1926 году действовало около 360 таких заведений. Какое-то время в прессе, особенно в многотиражных фабрично-заводских газетах, появлялись статьи, пытавшиеся облагородить дух советских пивных. Рабочеры и профессиональные журналисты с умилением писали, что за кружкой пива, часто сдобренного водкой, рабочие обсуждали положение братьев по классу в Англии, Китае, дискутировали о существовании бога и т.д. Это рассматривалось как своеобразное доказательство высокого уровня политической сознательности пролетариев. Любопытно отметить, что эти идеи оказали влияние на некоторых западных исследователей. В 1970-е годы в американской историографии можно было встретить рассуждения о том, что русская пивная, как аналогичные заведения в Германии, была местом политического образования рабочих<sup>46</sup>. Недолгая эпоха восхваления питейных заведений фабричных окраин объяснялась необходимостью противопоставить их частным ресторанам, которые посещали в основном представители новой буржуазии, служащие,

интеллигенция. Пьяный разгул, царивший там, описывался в советской прессе с явным сарказмом. Посещение ресторанов во второй половине 1920-х годов было удовольствием весьма дорогим. Недешево стоили и хорошие вина, продававшиеся в специализированных магазинах. Более доступные по цене пиво и рыковка, а затем и советская монополька употреблялись именно в рабочей среде. Знаковым в этом контексте является документ, свидетельствующий об обстановке в Ленинграде в 1927 году. Заведующий Ленинградским областным здравоотделом констатировал: «23-24 год налицо ПИВНОЙ АЛКОГОЛИЗМ, в настоящее время, главным образом, ВОДОЧНЫЙ АЛКОГОЛИЗМ»<sup>47</sup>.

Причины роста пьянства после отмены «сухого закона» чаще носили бытовой характер. Однако более явным, чем в начале 1920-х годов, стал поиск забвения в алкоголе. Свидетельством этого явилось пьянство рабочих — членов ВКП(б), особенно выдвиженцев, отмеченное контрольной комиссией ЦК ВКП(б) уже в 1924 году. После обследования фабрично-заводских партийных ячеек в ряде городов РСФСР выяснилось, что среди выдвиженцев из пролетарских рядов «пьянство в два раза сильнее, чем среди рабочих от станка»<sup>48</sup>. Рост алкоголизма в среде коммунистов был зафиксирован в период борьбы с троцкизмом и новой оппозицией. В секретной сводке Ленинградского губкома ВЛКСМ «Итоги проведения кампании по разъяснению решений XIV съезда партии» отмечалось, например, «развивающееся пьянство среди снятых с работы оппозиционеров»<sup>49</sup>. Отчасти в этой информации можно усмотреть желание идеологических структур отождествить человека пьющего с идейно неполноценным. Но подмеченные факты пьянства людей, потерявших работу и утративших былой социальный статус из-за своей приверженности к идеям «новой оппозиции» или троцкизма, во многом также свидетельствовали о нарастающем чувстве социальной нестабильности, желании уйти от необходимости решения проблем, найти забвение в алкоголе.

*«Его не вылечит, наверно, диспансер»*

После официального разрешения продажи водки выяснилось, что спиртное потребляют не только нэпманы, но и рабочие. Именно это заставило советские властные структуры начать организованную борьбу с пьянством. В июне 1926 года появились тезисы ЦК ВКП(б) «О борьбе с пьянством», а в сентябре того же года — декрет СНК РСФСР «О ближайших мероприятиях в области лечебно-предупредительной и культурно-просветительной работы по борьбе с алкоголизмом»<sup>50</sup>. Он предусматривал развертывание борьбы с самогонованием, развитие антиалкогольной пропаганды, введение системы принудительного лечения алкоголиков. В городах начали функционировать совещания по борьбе с алкоголизмом, а в апреле 1927 года были учреждены должности районных психиатров. В инструкции, регламентирующей их деятельность, подчеркивалось: «В отношении борьбы с наркоманией и алкоголизмом районный психиатр проводит обследование на дому всех алкоголиков, нуждающихся в принудительном лечении, участвует в комиссии по определению такового и берет на учет направленных на принудительное лечение»<sup>51</sup>. В стране стала формироваться сеть противоалкогольных диспансеров. В Ленинграде первое такое учреждение открылось в 1927 году, а в 1928 году — второе. В Москве в середине 1929 года работало уже 30 диспансеров<sup>52</sup>. Правда, на ментальном уровне нововведение было воспринято с большой иронией, о чем свидетельствуют слова популярной в то время песни:

Ах, мне бы счастья сейчас хотя бы толику.  
Я не раба, я дочь СССР.  
Не надо мужа мне такого алкоголика.  
Его не вылечит, наверно, диспансер.

В ряде городов с лета 1928 года запретили торговлю спиртными напитками в праздничные дни, развернулось и



наступление на питейные заведения. Основной силой здесь выступали комсомольцы, которые включили борьбу с пьянством в задачу Всесоюзного комсомольского культпохода. В мае 1929 года ЦК ВЛКСМ в специальном письме подчеркнул, что «основной задачей культпохода на ближайший период остается... в отношении бытовых лозунгов — борьба с пьянством и грязью»<sup>53</sup>. Комсомол, безусловно, планировал «ударить по пьянству» «продвижением книги и радио в массы, организацией коллективных походов в театр и кино...»<sup>54</sup>. Однако осуществление подобных планов требовало длительного времени. В связи с этим энергия борцов с пьянством в значительной степени вылилась в уничтожение питейных заведений. В Астрахани, например, в ходе одного только трезвеннического рейда в 1928 году закрыли 62 из 150 существовавших в городе пивных<sup>55</sup>. Довольно эффективной формой общественного протеста против алкоголизации стали детские демонстрации под следующими лозунгами: «Пролетарские дети против пьющих отцов», «Отец, не пей. Купи книги детям, одень их», «Отец, брось пить. Отдай деньги маме», «Мы требуем трезвости от родителей». Деполитизированность лозунгов детских антиалкогольных выступлений свидетельствовала, что на бытовом уровне пьянство вовсе не рассматривалось как неперемное качество людей, социально и идейно чуждых советскому строю. Более того, кампания была поддержана рабочими, так как она проводилась без полного запрета продажи алкоголя.

Популярным в ходе борьбы с пьянством стал публичный отказ от спиртного. Так, бюро ВЛКСМ ленинградской фабрики «Красный треугольник» в апреле 1928 года приняло решение: «Всем присутствующим на бюро совершенно отказать от выпивки, даже от пива...» Не менее категорично звучал лозунг, выдвинутый рабочими ленинградского Балтийского завода: «Бросим пить — пойдем в театр-кино»<sup>56</sup>. Подобные решения были созвучны резолюциям партийных



и комсомольских собраний о коллективном отказе от веры в бога, характерным документам 1929-1930 годов. Единодушное принятие подобных резолюций и решений свидетельствовало о нарастающем конформизме населения, о внедрении в его повседневность коммунистических практик. Политический характер носила и деятельность созданного в 1928 года Общества по борьбе с алкоголизмом (ОБСА). Это была массовая общественная организация с принципом коллективного членства, работавшая под жестким контролем ВКП(б). Показательно и то, что через год после ее создания власти санкционировали разгром трезвеннической секты чуриковцев, пользовавшейся большой популярностью у рабочих.

Известно, что до революции в России существовало множество трезвеннических общественных организаций. Наиболее интересной была секта чуриковцев. Ее создатель И.А. Чуриков (братец Иоанн Самарский) начал свою деятельность как член Александро-Невского православного общества трезвости, а в 1895 году организовал секту трезвенников. Пьяниц он лечил внушением. Экстрасенсорный дар Чурикова был высоко оценен Л.Н. Толстым. «Трезвенники» и их глава приветствовали октябрьский переворот. В период Гражданской войны они создали под Петроградом религиозную трезвенническую коммуну, занимавшуюся сельским хозяйством. При ней действовал кружок молодежи «трезвомол» с ярко выраженной антибуржуазной направленностью. «Кружок молодежи колонии брата Иоанна Чурикова, — гласил устав питерского «трезвомола», — в эпоху всеобщего разложения и упадка нравственности поставил своей задачей поднятие духовной нравственности среди молодого поколения как наследников свободного народа РСФСР, так как изживший монархический строй привел к полному крушению государство и буржуазию — правящий класс; вакханально-развратной жизнью уничтожил все основы здравого понимания и духовно-нравственного воспитания человечества»<sup>57</sup>. Организационная

структура кружка напоминала комсомол: действовал принцип демократического централизма, имелись членские билеты, проводились собрания. В кружок могли вступать юноши и девушки, достигшие 15 лет и отказавшиеся от употребления спиртных напитков, курения, «безнравственных песен и плясок, ругательств».

Чуриковцы старались всячески проявлять лояльность к новой власти и особенно к Ленину. Его портрет в обрамлении всегда свежих роз висел в молельной секты вместе с портретом Чурикова и изображением Христа. В траурные дни смерти Ленина члены секты отправили в Москву телеграмму следующего содержания: «Как гром среди солнечного неба сразило нас известие о смерти Владимира Ильича... Он был для нас родным отцом...» На венке, присланном от имени чуриковцев, была траурная лента с надписью: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Да трезвятся все. Все на борьбу с пороком»<sup>58</sup>. В начале 1920-х годов Чуриков возобновил свою трезвенническую деятельность среди горожан. На первых порах представители секты проводили в городе своеобразные «выездные» заседания. Позднее чуриковцы стали создавать свои ячейки прямо в городе. Секта пользовалась большой популярностью среди рабочих и молодежи. В 1928 году четверть всех чуриковцев составляли молодые люди, трудившиеся на ленинградских фабриках и заводах.

Разумный контакт с трезвеннической сектой, конечно, мог дать определенный эффект в деле борьбы с алкоголизмом. Но советская система в конце 1920-х годов уже не допускала возможности сотрудничества со сторонниками иной идеологии даже в вопросах охраны здоровья собственного народа. Начиная с 1927 года секту и коммуны стали терроризировать проверками. Ленинградский областной политпросвет пришел к выводу, что чуриковцы ведут систематическую антисоветскую пропаганду. В 1929 году арестовали Чурикова. За него попытался вступиться один из литературных

секретарей Л.Н. Толстого — И.М. Трегубов. Он написал в ОГПУ прошение, где отмечал: «Если Чуриков в чем-либо виноват, то разве только в том, что он проповедовал и строил коммунизм на религиозной основе. Вообще движение, вызванное гением Чурикова, так замечательно, что его надо не шельмовать, а научно изучать, а самого Чурикова не в тюрьму заключать, а пригласить в соответствующую его деятельности научную лабораторию...»<sup>59</sup> Однако это письмо не возымело воздействия, а сам Трегубов вскоре был репрессирован. Дальнейшую деятельность «трезвенников» власти приостановили. «Великий перелом» ознаменовался наступлением на сектантские организации в целом. Но чуриковцы, кроме всего прочего, пытались предложить свое видение коммунизма как некоего трезвеннического общества, что на рубеже 1920-1930-х годов противоречило алкогольной политике большевиков.

В начале 1930-х годов борьба с пьянством стала постепенно сокращаться. Однако совершалось это в завуалированной форме. Будучи заинтересованной в продаже водки для пополнения бюджета, власть тем не менее не осмеливалась прямо отвергнуть привычную моральную норму осуждения алкоголизма. Именно поэтому на государственном уровне была поддержана задуманная ОБСА кампания по закрытию пивных, которая развернулась в 1931-1932 годах, в частности в Ленинграде. Горожане нередко обращались в Ленсовет с просьбами убрать в тех или иных микрорайонах города точки торговли пивом, считая их «рассадниками преступности и хулиганства»<sup>60</sup>. Власти под давлением общественности вдвое по сравнению с 1926 годом сократили количество пивных в городе. Одновременно закрыли и несколько винных магазинов (лавок). Но эта инициатива противоречила установившейся официальной норме — систематическому потреблению населением водки и вина, продающихся в государственных магазинах, — и наносила ущерб бюджету.

Тогда в сентябре 1932 года Леноблисполком направил в адрес районных исполкомов секретное письмо следующего содержания: «Ввиду участившихся случаев переброски винных лавок "Союзспирта" в неприспособленные и малопригодные помещения, что в результате вызывает закрытие лавок и сокращение их количества, а тем самым отзывается на выполнении бюджетного задания "Союзспирта", в будущем при возникновении вопросов о переброске лавок надлежит каждый отдельный случай согласовывать с Облисполкомом и никаких переводов до получения разрешения не производить»<sup>61</sup>. А через год, в сентябре 1933 года, на заседании Леноблисполкома было принято специальное решение «О работе Спиртотреста». В документе, имевшем пометку «не подлежит разглашению», указывалось, что наряду с закрытием пивных необходимо «для усиления реализации водочных изделий... обеспечить полное выполнение планов и открыть 200 новых лавок к 15 октября»<sup>62</sup>. Власти позаботились даже об отдельных районах Ленинградской области. Секретное решение Леноблисполкома предусматривало «для обеспечения бесперебойной торговли водкой... особенно в глубинках, в период распутицы обязать Севзапсоюз, Леноблторг и Спиртотрест обеспечить запас водки... с учетом создания необходимых запасов на весь период распутицы». В городе же, согласно приказу Главного управления спиртовой и спиртоводочной промышленности Наркомснаба СССР от 16 июля 1933 года, было «**НЕОБХОДИМО ОРГАНИЗОВАТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНУЮ ТОРГОВЛЮ ВОДКОЙ И В СООТВЕТСТВИИ С ЭТИМ ПЕРЕСТРОИТЬ СБЫТОРАБОТУ**». Использование заглавных букв в документе подчеркивает важность для государственных структур этого решения. Для его исполнения за 6 месяцев 1933 года количество винно-водочных магазинов в Ленинграде возросло с 444 до 625. Для сравнения следует напомнить, что в 1926 году в городе было примерно 200 точек, торгующих алкоголем<sup>63</sup>.

*«Пейте советское шампанское»*

В середине 1930-х широкая доступность водки и вина, возможность их свободного приобретения без карточек превратили потребление спиртного в норму советской повседневности<sup>64</sup>. В стране начался процесс формирования новых элит. Их бытовые практики должны были являть собой образец большого стиля, роскошной жизни при социализме, которую когда-нибудь, позже будут иметь все. Утрачивал свои позиции наивный аскетизм эпохи военного коммунизма. Все популярнее становились официальные торжества, сопровождаемые банкетами. Так отмечались трудовые и спортивные достижения граждан страны советов, подвиги летчиков и полярников, научные открытия. Отмена карточной системы, еще больше усилившая социальное расслоение советского общества, сопровождалась и всплеском рекламы напитков новой советской буржуазии.

Ряд западных историков и вслед за ними отечественные политологи, пытающиеся работать с историческим материалом, называют это явление движением «культурничества», датируя его 1935-1938 годами. Они считают возможным зафиксировать в это время «плавную» замену раннебольшевистских ценностей и норм более традиционными<sup>65</sup>. Американская исследовательница Ш. Фицпатрик вообще полагает, что в 1930-х годах возродилась «буржуазная» забота о нормах потребления спиртного как показателях культурности личности в целом<sup>66</sup>. Однако скорее подобные практики можно считать проявлением большого стиля в контексте повседневности с присущим ему продуцированием разнообразных симулякров. К их числу относится знаменитое «советское шампанское».

В 1936 году А.И. Микоян вполне серьезно заявлял, что до революции пили «от горя, от нищеты. Пили именно, чтобы напиться и забыть про свою проклятую жизнь... Теперь веселее стало жить. От хорошей и сытой жизни пьяным не напьешься... Весело стало жить, значит, и выпить можно...»<sup>67</sup>.

Подобными высказываниями представители советских властных структур оправдывали возрастающее потребление спиртных напитков в высших слоях советского общества, теперь уже вполне официально приобщавшихся к элитным видам алкоголя. Не случайно Сталин, по свидетельству Микояна, был весьма недоволен, что стахановцы — представители новой элиты — не получают достаточного количества шампанского<sup>68</sup>.

В июле 1936 года по инициативе Сталина СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О производстве советского шампанского, десертных и столовых вин "Массандра"». За пять лет — с 1937 по 1941 год — предполагалось увеличить выпуск шампанского в 60 раз. Уже летом 1937 года один только крымский завод «Новый свет» выпускал в день около 12 000 бутылок «буржуазного» напитка. При этом в процессе его производства были в полном объеме использованы способы «социалистического штурма». А.И. Микоян вспоминал: «Французский, так называемый "классический" метод выдержки шампанского представлял собой длительный процесс, занимающий много лет: кроме выдержки вина в течение трех лет в бочках этот метод требует еще трехлетней выработки в бутылках. Такие длительные сроки не могли нам обеспечить быстрого увеличения масштабов производства. Поэтому мы решили, сохранив все же некоторый объем производства по французскому методу на старом заводе "Абрау-Дюрсо" и некоторых других, параллельно организовать производство шампанского по более простому, дешевому и ускоренному... способу, сокращавшему срок выдержки шампанского до 25 дней»<sup>69</sup>. Дешевое советское шампанское стали продавать всюду в стране, увеличивая иллюзию всеобщего благополучия.

В контексте большого стиля при определении социально-бытовых приоритетов власть ориентировалась на представителей советской аристократии. Основная же масса даже городского населения продолжала жить по привычным бытовым нормам, в том числе и потребления крепкого спиртного.

По-прежнему распространенным было пьянство как ритуал досуга. Это касалось не только пролетарских масс, но и формирующейся советской интеллигенции. В качестве примера можно привести выдержку из воспоминаний известного ученого — филолога В. Маркова. Описывая свою студенческую юность конца 1930-х годов, он вспоминал: «На первом курсе довольно много пили. Данька (друг детства. — #.77.) знал пропорцию чая, которую надо прибавлять к водке так, чтобы она, не теряя цвета, теряла сивушный запах... Когда умер Шаляпин, были поминки: пили водку, закусывая, беря пальцами, одной кислой капустой, которая лежала прямо на столе, без тарелки»<sup>70</sup>. О безразличии основной массы выпивающих к видам алкоголя свидетельствуют и «массовые случаи отравления людей денатурированным спиртом», зафиксированные в Одессе в январе 1940 года. Ситуация была настолько серьезной, что представители местной власти обратились с письмом к Главному государственному санитарному инспектору Наркомздрава СССР с просьбой изъять из торговли жидкость «Антипятноль»<sup>71</sup>.

В советском обществе 1930-х годов, несомненно, наличествовали явления, которые способствовали перманентной алкоголизации населения. Несмотря на утверждение сталинского руководства об общественно-политическом и идейном единстве советского народа, элементы социального неравенства в СССР проступали вполне отчетливо. Часто пьянство было и специфическим видом адаптации, особенно при необходимости приспособиться к законам коллективного проживания. Это в первую очередь касалось пришедших на смену бытовым коммунальщикам общежитий. Большинство из них размещались в бараках или не приспособленных для постоянного проживания помещениях. Убогая обстановка такого жилья — холод, теснота, антисанитария — сама по себе порождала тягу к спиртному. К такому выводу пришла, например, в 1937 году комиссия Ленинградского городского



комитета комсомола, обследовавшая общежития города. В докладной записке, составленной участниками проверки, было зафиксировано: «В общежитиях города имеют место пьянство, хулиганство... драки, прививаются нечистоплотность и некультурность. В общежитии "Мясокомбината" нет никаких развлечений, целый день лишь играют в карты и пьют водку»<sup>72</sup>. В таких общежитиях в это время жила почти треть ленинградских рабочих. Еще сложнее складывалась обстановка в новых промышленных центрах.

Развернувшиеся в стране репрессии не могли не повергнуть часть населения в угнетенное состояние, выход из которого нередко заключался в пьянстве. Это создавало обстановку психологической неуверенности, усугублявшейся общественно-политической ситуацией во второй половине 1930-х годов. Чувство страха или желание выдвинуться толкало одних к конформистским формам поведения, других — наиболее психически незащищенных — к пьянству. Алкоголизм становился реальностью сталинского предвоенного общества. Отказавшись от утопических представлений первых лет революции о социализме как об обществе всеобщей трезвости и одновременно понимая иллюзорность утверждения о культурном потреблении спиртного как уже утвердившейся норме жизни советского народа, властные и идеологические структуры искали удобного для себя решения вопроса об отношении к алкоголю. Противоречивость позиции тоталитарной власти нашла отражение в ее нормализующих суждениях о пьянстве.

Категорию лиц, склонных к злоупотреблению спиртным, значительно реже, чем в 1920-е годы, именовали жертвами влияния капитализма. Пьяниц в соответствии с политической конъюнктурой стали называть «приспешниками троцкистско-зиновьевской банды». Призывы ЦК ВЛКСМ к Международному юношескому дню в 1936 году гласили: «Пьянки — главный метод вражеской троцкистской работы среди молодежи.



Организуем беспощадную борьбу с пьянством»<sup>73</sup>. Политизированный подход к оценке злоупотребления алкоголем мог до некоторой степени испугать любителей выпивки. В единственном обнаруженном обследовании быта второй половины 1930-х годов процент изредка выпивающих молодых людей смехотворно мал — 29,6. Однако это не означало, что советской власти удалось уничтожить алкоголизм, полностью его политизировав.

### *Сталинские сто грамм, или «Выпьем за победу»*

В годы войны политика сталинского режима усугубила проблему алкоголизации общества. Карельская исследовательница И.Р. Такала справедливо отмечает: «Алкогольная политика правительства заключалась в том, чтобы сделать из спиртного надежный и постоянно действующий стимул "к труду и обороне"»<sup>74</sup>. Речь шла в первую очередь о «наркомовских ста граммах». Так на бытовом уровне называли нормированные выдачи алкоголя солдатскому и офицерскому составу действующей армии. Уже в ходе финской войны по распоряжению Совнаркома СССР с 1 января 1940 года всем участвующим в боях бойцам и командирам полагался дополнительный паек — 100 грамм водки и 100 грамм сала в день. Эту практику власть продолжила и в дни Великой Отечественной войны. С 1 сентября 1941 года на передовой ежедневно выдавали по сто грамм алкоголя. Весной 1942 года поголовное обеспечение водкой прекратилось. Но бойцов, особо отличившихся в боевых действиях, теперь наделяли 200 граммами водки. В часы затишья на фронтах «наркомовские 100 грамм» полагались только в дни революционных праздников. С ноября же 1942 года по 100 грамм алкоголя получали военнослужащие, непосредственно участвующие в боях, и по 50 грамм — те, кто находился в полковых и дивизионных резервах, рыл окопы и сооружал укрепления на передовых позициях. В праздники

100 граммами оделяли всех фронтовиков<sup>75</sup>. Алкогольная стимуляция особенно возросла в конце войны. На три месяца 1945 года для поощрительных целей 18 основным наркоматам, без учета Наркомата обороны и НКВД, было отпущено 1 млн 300 тыс. декалитров водки, то есть примерно по 1,3 литра водки в квартал на человека. Расчет велся на весь состав людей, трудившихся на предприятиях и стройках, то есть не только на мужчин, но и на женщин и подростков<sup>76</sup>.

В условиях послевоенного сталинизма, по-прежнему ориентированного на каноны большого стиля, государственное отношение к спирному и его потреблению населением формировалось по уже опробованным в 1930-х схемам: наращивание выпуска водки, вина и пива, повсеместное расширение их продажи, полное отсутствие учреждений по социальной реабилитации алкоголиков. Из «антипьяных» мероприятий наиболее впечатляющими были нормативные решения власти, направленные на борьбу с самогонварением. Согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 апреля 1948 года, изготовление самогона с целью сбыта каралось заключением в исправительно-трудовом лагере сроком от 6 до 7 лет, а без цели сбыта — от 1 до 2 лет. Этот жестокий юридический акт преследовал лишь одну цель — защиту монопольного права государства на изготовление спиртного и торговлю им. Одновременно власть систематически снижала цены на алкоголь. Водка в 1947 году подешевела на 33%, а в 1953 году — еще на 11%; крепкие и десертные вина в 1950 году — на 49%, а пиво — на 30%<sup>77</sup>. Весной 1953 года литр сорокаградусной водки стоил в розничной цене 40 рублей<sup>78</sup>. Средняя заработная плата в промышленности Ленинграда примерно в это время колебалась от 650 до 1000 рублей.

Свободная продажа спиртного после отмены карточек, сравнительно низкие цены на него создавали все условия для развития пьянства, особенно после спада всеобщей эйфории, связанной с победой в Великой Отечественной войне. В конце

1940-х к тому же появились и новые заведения системы общепита, где спиртное отпускалось в розлив. Это в первую очередь возникшие после приказа Наркомторга СССР от 31 декабря 1945 года коммерческие чайные, в которых подавались, кроме собственно чая, и водка, и пиво, и крепленое вино<sup>79</sup>. С отменой карточного снабжения они практически вытеснили сам чай из чайных, которые в народе стали иногда называть «голубыми дунами». В таких заведениях в одном помещении действовали и пивная, и чайная. В маленьком городе Шуя, например, славилась пивная, расположенная на первом этаже двухэтажной «Чайной». Современники вспоминали, что там подавали «и водку, и пиво, и закуски». Но больше всего впечатлял буфетчик, который «давал выпить-закусить "под крестик", то есть в долг»<sup>80</sup>. Пользовались этим и бывшие фронтовики. Сложный процесс адаптации к условиям мирной жизни в разрушенной, полунищей стране нередко сопровождался злоупотреблением спиртными напитками. Ценности военного времени оказались во многом не востребованными. И единственным местом, где можно было вспомнить недалекое, у многих, несомненно, героическое прошлое, стали питейные заведения. Здесь развязывались языки, лились слезы, царила своеобразная «шалманная демократия». Писатель Э.Г. Казакевич записал в дневнике в мае 1950 года: «День Победы... Я зашел в пивную. Два инвалида и слесарь-водопроводчик... пили пиво и вспоминали войну. Один плакал, потом сказал: "Если будет война, я опять пойду"..."<sup>81</sup>

Об алкоголизме, распространенном в послевоенном сталинском обществе даже среди советских интеллектуалов, свидетельствуют, в частности, воспоминания поэта К.Я. Ваншенкина: «Многие поэты открыто и регулярно пили: Твардовский, Смеляков, Светлов, Шубин, Фатьянов... Одним это помогло, дало возможность расслабиться, других погубило... если смотреть правде в глаза, придется признать: это было поколение мужественных алкоголиков. Недогонов, Наровчатов,

Луконин, Самойлов, Соболев, Львов, Левитанский, Глазков и др. Сбавить обороты так и не сумел никто»<sup>82</sup>.

Власть, по-видимому, такое положение устраивало. Известный исследователь массовых беспорядков в послевоенные годы В.А. Козлов отмечает: «Водка развязывала языки не только блатным маргиналам. Пивные и закусочные (в пятидесятые годы их еще было много в России, причем сравнительно недорогих) время от времени превращались в политические клубы, в которых "выступали" вполне законопослушные, но временно "раскрепощенные" алкоголем граждане»<sup>83</sup>. Процветали в послевоенном советском обществе хотя и немногочисленные, но популярные рестораны: с весны 1944 года коммерческие, а затем и обычные. К началу 1950-х годов в крупных городах шла уже довольно бурная ресторанный жизнь, правда, доступная в основном представителям привилегированных слоев сталинского общества. Особенно славились вечера в Москве в Центральном доме литераторов, а в Ленинграде — в «Европейской» и «Метрополе». Е.Б. Рейн вспоминал: «Вообще в 50-е годы ресторанный жизнь кипела. Бурное ресторанный веселье — несколько истерическое — наследие сталинской эпохи. Такая у Сталина была стратегия. Одной рукой всех уничтожать, другой развлекать народ, особенно в столицах»<sup>84</sup>. Алкоголь с ведома властных и идеологических структур превращался в инструмент контроля над настроением населения. Кроме того, в стране, как и в 1930-х, отсутствовала система антиалкогольной профилактики. Нельзя не согласиться со следующим выводом авторов коллективной монографии «Веселие Руси. XX век»: «С середины 1930-х до середины 1950-х гг. ни правоохранительная сфера, ни печать проблемой пьянства и алкоголизма практически не интересовались, не говоря уже о проведении каких-либо серьезных медико-социологических исследований»<sup>85</sup>.

Советские властные структуры, сами того не желая, подтверждали наличие серьезных социальных проблем в советском обществе эпохи большого стиля, объявляя хронических

алкоголиков врагами социализма. Подобный подход исключал применение к ним лечения. Именно в рамках большого стиля сформировались сугубо советские взгляды на норму и аномалию в сфере потребления спиртных напитков. Власти считали отклонением как абсолютную трезвость, так и алкоголизм. Эти диаметрально противоположные девиации были окрашены, с точки зрения идеологических структур, в политические тона. В ментальность населения пытались внедрить представление о гипотетическом типе девианта, у которого алкоголизм был всего лишь следствием основного признака аномальности — социально-политического несоответствия советскому строю. Такой подход освобождал государство от создания эффективной системы социального контроля и социальной помощи лицам, страдающим алкогольной зависимостью. Одновременно в качестве нормы в рамках бытовой культуры большого стиля предлагалось утверждение и поощрение питейной традиции высших слоев советского общества.

## ГЛАВА 2. РЕТРЕТИЗМ

В классической теории девиантности традиционные патологии связаны с аномическим состоянием общества, когда, по определению Р. Мертон, наблюдается определенная несогласованность «между определяемыми культурой устремлениями и социально организованными средствами их удовлетворения, когда система культурных ценностей превозносит фактически выше всего определенные символы успеха, общие для населения в целом, в то время как социальная структура общества жестко ограничивает или полностью устраняет доступ к апробированным средствам овладения этими символами для большей части того же населения»<sup>86</sup>. Реакция на подобную общественную ситуацию в большинстве случаев является отклонением от обычных форм поведения, и виды этого отклонения различны: от откровенного бунта до ретретизма. Это понятие трактуется в социологии девиантного поведения как намеренный уход от действительности, разочарование в жизни, что происходит, согласно Р. Мертону, в результате «постоянных неудач в стремлении достигнуть цели законными средствами и неспособности прибегнуть к незаконным способам вследствие внутреннего запрета»<sup>87</sup>. Аномия может быть характерна как для общества в целом, так и для конкретной личности. В последнем случае человек тяготится не абстрактной ситуацией социального неравенства в целом, а собственной социальной неустроенностью. Люди, испытывающие подобные чувства, наличествуют в любом обществе, и именно они склонны к ретретизму<sup>88</sup>.

Самым простым и доступным средством «закрыться» от жизненных неурядиц, конечно, является алкоголь, позволяющий снять напряжение, возможно, обрести на короткое время чувство уверенности. Однако спиртное имеет множественные бытовые и ритуальные функции в социокультурном пространстве России, а государство проявляет вполне объяснимую заинтересованность в регулировании производства водки, вина, пива и т.д. Именно поэтому я осмелюсь исключить потребление спиртного из числа девиаций ярко выраженного ретретического характера и сосредоточу свое внимание на наркомании и самоубийствах.

### *Наркотики*

Девиантологи рассматривают наркотизм как довольно жесткий способ реализации ретретизма. Но в отличие от алкоголиков наркоманы демонстрируют и некий протест против принятых повседневных стандартов, коими может выступать и потребление спиртного. В этом контексте наркомания может рассматриваться, если так можно выразиться, как наиболее патологическая аномалия. После выхода в свет моей книги о нормах и аномалиях в повседневной жизни советского города проблемы наркотизации человека советского стали разрабатываться и отечественной историографией как самостоятельное научное направление. В 2003 году журнал «Вопросы истории» опубликовал статью С.Е. Панина, незадолго до этого защитившего кандидатскую диссертацию о девиантных проявлениях в жизни городов Пензенской губернии в 1920-х годах<sup>89</sup>. А в 2013 году в Санкт-Петербургском институте истории РАН была защищена кандидатская диссертация П.А. Васильева «Наркотизм в Петрограде-Ленинграде в 1917-1929 гг.: социальная проблема и поиски ее решения». Молодой ученый совершил определенный прорыв в исследовании ретретических

девиаций, но классические положения теории отклоняющегося поведения он не рискнул использовать, зная косность академической среды<sup>90</sup>. И все же круг источников по проблемам наркомании в советском обществе 1920-1950-х годов ограничен, и я буду вынуждена в целом повторить сюжеты, уже освещенные мною 15 лет назад и, кстати сказать, широко использованные моими последователями.

Население крупных российских городов познакомилось с наркотиками вовсе не благодаря приходу к власти большевиков. Одурманивающий эффект носило внешне безобидное довольно распространенное в России нюханье табака. В XIX веке появились морфинисты, эфироманы, курильщики гашиша. Развитие медицины неизбежно сопровождалось возникновением зависимости определенной категории людей от лекарственных средств, и, конечно, прежде всего от тех, которые имели наркотическое воздействие. Уже в конце XIX века были констатированы случаи привыкания к опиуму. Популярностью пользовался (в первую очередь у людей, имевших непосредственный доступ к медикаментам и шприцам, — у врачей, медсестер, аптекарей) и морфий. В начале XX века наркотики стали выступать в качестве показателя принадлежности личности к новым субкультурам. Появляющиеся духовно-идеологические течения обставлялись новыми бытовыми практиками, часто носившими более эпатажный и раздражающий обывателя характер, чем сами течения. Эти практики противопоставлялись официальным и господствующим нормам поведения. Неудивительно поэтому, что наркотики стали сопутствующим элементом культуры модерна в России. Столичная богема в начале века увлекалась курением опиума и гашиша. Г.В. Иванов — поэт Серебряного века — вспоминал, как ему из вежливости пришлось выкурить с известным в предреволюционное время питерским журналистом В.А. Бонди толстую папиросу, набитую гашишем. Бонди, почему-то разглядевший в Иванове прирожденного курильщика гашиша, клятвенно



обещал поэту «красочные грезы, озера, пирамиды, пальмы... Эффект оказался обратным — вместо грез тошнота и неприятное головокружение»<sup>91</sup>. Накануне Первой мировой войны в Россию стал проникать и уже очень модный в Европе кокаин. Первоначально этот довольно дорогой наркотик употребляли шикарные дамы полусвета, иногда высшее офицерство, обеспеченные представители богемы.

Октябрь 1917 года, помимо социального строя, коренным образом изменил и тип российского наркомана, явно его демократизировав. Немаловажную роль в этом процессе сыграла Первая мировая война. Не следует забывать, что нередко приобщение к морфию, в частности, являлось следствием тяжелых ранений, излечение которых требовало хирургического вмешательства с применением наркотиков. Однако в медицинской среде морфий употребляли не только больные, но и сами медики. Данные 1919-1922 годов свидетельствуют, что в Петрограде почти 60% морфинистов были врачами, медсестрами, санитарями, остальные прошли воинскую службу. Но не только увечья и физические страдания побуждали колоться морфием. Слабым был и медицинско-полицейский надзор за расходом наркотических препаратов.

Победивший народ не замедлил приобщиться к наркотикам — как к определенному виду роскоши, ранее доступной только имущим классам. Здесь четко прослеживалось стремление к смене иерархии стандартов поведения. Петроградская милиция в 1918 году раскрыла действовавший на одном из кораблей Балтийского флота «клуб морфинистов». Его членами были вполне «революционные» матросы, не только организовано приобретающие наркотик, но даже вербовавшие новых членов для своего клуба. В новых социальных условиях не был забыт и эфир. Его сильный галлюциногенный эффект привлекал к себе даже представителей новой большевистской элиты. Художник Ю.П. Анненков вспоминал, как в 1919 году в Петрограде он вместе с Н.С. Гумилевым получил приглашение

от Б.Г. Каплуна, тогда управлявшего делами комиссариата Петросовета, понюхать конфискованного эфира. Сам Каплун только изображал себя эфироманом, но слабостям других по-такал с явным удовольствием, рассматривая наркоманию как код богемной личности. Анненков вспоминал:

«Каплун принес из другой комнаты четыре маленьких флакончика, наполненных эфиром... Все поднесли флакончик к носу. Я — тоже, но "уход в сновидения" меня не привлекал: мне хотелось только видеть, как это произойдет с другими... Гумилев не двигался. Каплун закрыл свой флакончик, сказав, что хочет уснуть нормальным образом, и, пристально взглянув на Гумилева, пожал мне руку и вышел из кабинета, сказав, что мы можем оставаться в нем до утра»<sup>92</sup>.

Продолжали существовать в Советской России и подпольные опиумокурильни. Но все же особой популярностью после революции пользовался кокаин. Буквально через три месяца после прихода к власти большевиков Народный комиссариат внутренних дел вынужден был констатировать: «Появились целые шайки спекулянтов, распространяющих кокаин, и сейчас редкая проститутка не отравляет себя им. Кокаин распространился в последнее время и среди слоев городского пролетариата»<sup>93</sup>. «Серебряную пыль» кокаина с наслаждением вдыхали не только лица, связанные с криминальным миром, но и рабочие, мелкие совслужащие, красноармейцы, революционные матросы. Кокаин был значительно доступнее водки. Во-первых, закрылись многие частные аптеки и их владельцы старались сбыть с рук имевшиеся медикаменты, в том числе наркотические вещества. А во-вторых, из оккупированных немцами Пскова, Риги, Орши кокаин германского производства ввозился контрабандным путем. В годы Гражданской войны в Петрограде прекратили свое существование шикарные кафе и рестораны, и кулечки-фунтики с наркотиком стали

продаваться в обычных чайных. В народе их быстро окрестили «чумовыми». В таких чайных часто разворачивались сцены, подобные той, которую описал в своем исследовании Г.Д. Аронович — известный в 1920-х годах врач-нарколог: «В майский вечер (1919 г.) у входа в чайную ко мне подошла девушка 17-18 лет, с усталым безжизненным лицом, в платке и просила на хлеб. Я не знал, что она собирает на "понюшку", то есть кокаин, но скоро увидел ее среди посетителей, она почти силой вырвала из рук подошедшего к ней подростка пакетик кокаина, и когда тот потребовал от нее денег, она сняла сапоги, отдала их продавцу за 2-3 грамма кокаина и осталась в рваных чулках»<sup>94</sup>. Медики отмечали, что в 1919-1920-х годах кокаиновые психозы были довольно заурядным явлением. При этом 60% наркоманов составляли люди моложе 25 лет.

В годы нэпа в условиях свободы торговли кокаин, прозванный в народе «марафетом», получил особое распространение. До 1924 года Уголовный Кодекс РСФСР не определял каких-либо четких санкций в отношении распространителей и потребителей наркотиков. В 1920-х годах кокаином торговали на рынках в основном мальчишки с папиросными лотками. Правда, продавцы нередко жульничали и добавляли в наркотик аспирин, мел, соду. Это, конечно, снижало действие кокаина, но вряд ли могло спасти от пристрастия к нему. Ведь заядлые кокаинисты потребляли иногда до 30-40 грамм порошка в день, стремясь добиться эффекта.

С марафетом, как показывают исследования медиков, уже в 1920-е годы были хорошо знакомы беспризорники. Обследование задержанных за бродяжничество в 1923-1924 годах подростков показало, что 80% из них приобщилось к наркотику в 9-11 лет и имело стойкое пристрастие к нему. Действительно, «нюхнуть марафету» можно было прямо на улице с бумажки, ладони, ногтя. Лишь в отдельных случаях, когда в результате длительного потребления наркотика происходила атрофия тканей носового канала, приходилось пользоваться гусиным

пером. Оно вставлялось глубоко в нос и позволяло ускорить втягивание порошка.

Конечно, чаще всего к кокаину прибегали асоциальные элементы, в частности проститутки. В 1924 году социологический опрос выявил, что более 70% особ, задержанных органами милиции за торговлю телом, систематически потребляли наркотики. При этом почти половина из них предпочитала именно кокаин. В тайных борделях 1920-х годов, как правило, можно было приобрести и марафет. В конце 1922 — в начале 1923 года в Петрограде органы милиции раскрыли целую сеть квартир, хозяйки которых не только занимались проституцией, но и, как было сказано в протоколе, почти круглые сутки продавали кокаин. Исследователь проблем проституции С. Вислоух писал в середине 1920-х годов: «Торговля марафетом... и иными средствами самозабвения почти целиком находится в руках проституток»<sup>95</sup>. По данным 1924 года, из 548 опрошенных проституток Москвы 410 потребляли наркотики, пристрастившись к ним после начала торговли собственным телом<sup>96</sup>. Часто к марафету прибегали мелкие карманные воришки. Крупные воровские авторитеты довольно презрительно относились к «нюхарям», считая, что кокаин притупляет реакцию, столь необходимую в их деле. И все же это были люди, подверженные и другим видам отклонений. Потреблением наркотиков они обозначали свою принадлежность к асоциальной среде. Гораздо более страшным было проникновение наркотиков в стабильные социальные слои, означающее развитие в городском социуме элементов ретретизма.

Довольно широко в 1920-е распространилась подростковая наркомания. Дети из нормальных семей в поисках романтики нередко посещали притоны беспризорников и традиционные места их скоплений. Криминальный мир для части подростков оказывался более привлекательным, чем действительность советской трудовой школы, пионерских сборов и комсомольских собраний. Известный врач-нарколог А.С. Шоломович описал

в своей книге, вышедшей в свет в 1926 году, следующий случай: «У одной матери сын подросток, которого все звали "толстячком", три дня пропадал в каком-то притоне, где его выучили нюхать кокаин. Когда мать нашла его в притоне, она едва узнала своего толстячка: перед ней был оборванный, худой, истощенный человек, весь синий, с провалившимися щеками и глазами, весь разбитый настолько, что у него не хватало сил выйти из притона»<sup>97</sup>. В годы нэпа к марафету стала общаться и рабочая молодежь, которая, по мнению Коммунистической партии, должна была сыграть решающую роль в социалистическом преобразовании общества. Пролетаризация кокаинистов, в частности, являлась следствием прочных связей рабочих с проституцией. Представители правящего класса социалистического общества составляли, по данным 1927 года, почти 70% постоянных потребителей услуг продажных женщин, которые, как известно, активно торговали марафетом. Ситуация становилась критической: «сухой закон» способствовал развитию наркомании. Ее всплеск в 1920-е годы объяснялся не только ретретистскими настроениями, но и тем, что традиционные формы досуга не уживались с запретом на свободную продажу спиртного. Борьба с наркоманией советская власть начала раньше, чем с пьянством, хотя в Уголовном кодексе 1922 года не было нормативных предписаний по этому поводу. Преступлением, согласно 215-й статье, считалось «приготовление ядовитых и сильнодействующих веществ лицами, не имеющими на то права», что каралось «штрафом до 300 рублей золотом или принудительными работами»<sup>98</sup>. В ноябре 1924 года появилось постановление СНК РСФСР «О мерах регулирования торговли наркотическими веществами». Оно запрещало теперь уже свободное обращение сильнодействующих веществ, в частности кокаина, морфия, героина. Уголовный кодекс РСФСР пополнился статьей, предусматривавшей наказание и за изготовление, и за хранение и сбыт наркотиков. В документе фигурировали такие формы наказания, как лишение свободы сроком до трех лет.

Наркоманы же не подвергались уголовному преследованию. Напротив, в 1925 году в стране стали создаваться наркодиспансеры: в Москве открылось первое клиническое отделение для детей-кокаинистов. Лечение проводилось сугубо добровольно. К 1928 году статистические опросы зафиксировали заметное снижение употребления кокаина в Советской России. Свертывание нэпа повлекло за собой ужесточение таможенных барьеров. Приток кокаина из-за границы резко сократился, уменьшилось и потребление морфия". Однако лица, склонные к ретретизму, начали употреблять произраставшие в СССР опийный мак и индийскую коноплю. В 1930-х годах этот наркотик стал самым распространенным в СССР. Осенью 1934 года появляется нормативный документ — Постановление ЦИК и СНК СССР о запрещении посевов опийного мака и индийской конопли<sup>100</sup>. Уголовный кодекс РСФСР был дополнен статьей 179-а «Незаконный посев опийного мака», в которой указывалось, что выращивание этих культур без соответствующего разрешения наказывается «лишением свободы на срок до двух лет или исправительно-трудовыми работами на срок до одного года с обязательной конфискацией посевов»<sup>101</sup>. Трудно сказать, остановило ли это наркоманов. Дело в том, что в 1930-е советские властные и идеологические структуры перестали следить за развитием наркомании в обществе. Не изучались причины, побуждавшие людей искать забвение в наркотических снах. Не исследовались и социально-психологические характеристики лиц, наиболее склонных к потреблению одурманивающих средств. Не менялась и нормативная база, необходимая для эффективной борьбы с наркоманией. Людей, пораженных этим недугом, как и алкоголиков, стремились обвинить прежде всего во враждебной настроенности по отношению к социалистическому строительству. Об этом, например, свидетельствует следующий случай. В августе 1935 года Ленинградский городской отдел здравоохранения обнаружил хищение из аптеки Ленметаллстроя «ряда ядовитых

веществ». Судя по списку, приложенному к спецсообщению, были похищены наркотики — атропин, кокаин, морфий, героин. В аптеке явно побывали наркоманы, однако задержанные подозреваемые были обвинены в покушении на диверсию — в попытке отравить пищу в городской столовой<sup>102</sup>. Неудивительно, что система медико-психологической помощи наркоманам в СССР в 1930-е годы была почти уничтожена. В период большого стиля из бытовой, подцензурной лексики исчезли разнообразные слова и понятия, связанные с лечением наркомании. Лишь в начале 1960-х годов, в период разрушения канонов повседневности большого стиля, самостоятельное название — «наркология» — получает направление медицины, изучающее последствия употребления наркотиков и лечение людей, ими злоупотребляющих. Слово «нарколог» — тоже новообразование 1960-х годов. Образуется и новое прилагательное «наркологический», в первую очередь употребляющееся со словами «диспансер» и «кабинет»<sup>103</sup>. Так возрождались нормы отношения к проблеме наркотиков в обществе, существовавшие в пространстве повседневности в годы нэпа и утраченные в эпоху большого стиля.

### *Самоубийства*

Суицид никогда не исчезает из статистики причин смерти. Однако сущность этого явления изучают, как правило, не демографы, а социологи. Самоубийство рассматривается как традиционная форма отклоняющегося поведения и занимает важнейшее место в теории девиантности. Принято даже считать, что девиантология начала свое существование со знаменитой книги Э. Дюркгейма «Самоубийство. Социологический этюд». Ее квинтэссенция — замечание о том, что суицид «зависит главным образом не от внутренних свойств индивида, а от внешних причин, управляющих людьми»<sup>104</sup>.



Ученик Дюркгейма М. Хальбвакс дополнил концепцию учителя психологическим анализом суицидального поведения. Р. Мертон считал факт добровольного ухода из жизни видом ретретизма. Сегодня самоубийство рассматривается как сугубо интровертная форма девиантности. Но, несмотря на разброс точек зрения, преобладает идея о том, что толчком к суициду служит потеря смысла жизни. Это само по себе имеет несомненно мировоззренческий оттенок. Вероятно, именно поэтому отношение к самоубийцам не совпадает в обществах с различными духовно-нравственными системами. Христианская традиция осуждает суицид. В дореволюционной России под воздействием православной церкви, определявшей аксиомы общественной морали, складывались и соответствующие властные нормативные и нормализующие суждения, также квалифицировавшие самоубийство как социальную аномалию. И если церковь запрещала хоронить по религиозным обрядам людей, добровольно ушедших из жизни, то государство притесняло их в правовом смысле уже после смерти. Предсмертные распоряжения самоубийц не имели юридической силы, а покушавшиеся на собственную жизнь могли подвергнуться тюремному заключению. Все эти положения зафиксированы официальным законодательством Российской империи<sup>105</sup>, что означает правовое признание суицида аномальным явлением.

Однако самоубийство нельзя не считать разновидностью человеческого поведения. В связи с этим, как пишет А.Б. Ляровский, «историк может не поддаваться паническим настроениям, используя самоубийства только как показатель кризиса или упадка..»<sup>106</sup>. Представляется возможным даже усилить утверждение исследователя, заявив, что историк не может поддаваться подобного рода настроениям. После выхода в свет моей статьи «Теневые стороны жизни советского города 20-30-х годов» (1994) и книги «Повседневная жизнь советского города» (1999) проблема суицида стала освещаться отечественными историками активнее, чем раньше. Однако в большинстве случаев



даже в серьезных фундированных трудах академических исследователей по-прежнему самоубийство — мерило социального кризиса<sup>107</sup>, а не отклонение от нормы, которой в данном случае является естественная смерть. Думается, что необходимо исследовать не сам феномен суицида, а изменение нормативной и нормализующей реакции на него со стороны властных структур и общества. В этом случае в распоряжении историка, как в целом в контексте «оповседневнивания» прошлого, появляется дополнительный инструмент, который позволяет уточнять и усложнять существующие модели действительности конкретно-исторического периода<sup>108</sup>.

Самоубийства не были редкостью в городах царской России, что наиболее очевидно на примере Петербурга (Петрограда). В 1881 году на 100 000 жителей столицы Российской империи было зарегистрировано 13,7 самоубийства; почти через 20 лет, в 1900-м, — 13,4, а еще через десять лет, в 1910-м, — 38,5! В период Первой мировой войны количество самоубийств значительно уменьшилось, составив всего 10,6 случая на 100 000 жителей Петрограда. Эти данные подтверждают идею Э. Дюркгейма об обратной корреляционной зависимости степени консолидации общества и уровня суицидальности. Довольно низким был этот показатель в городе и в 1917 году — 10,5 случая на 100 000 человек. Но уже в 1918 году количество самоубийств возросло, достигнув 15,4 случая, а с переходом к мирной жизни стало стабильно повышаться<sup>109</sup>. Известный публицист В. Серж вспоминал об обстановке в середине 1920-х годов: «В Ленинграде происходит от десяти до пятнадцати самоубийств в день: в основном это люди моложе тридцати лет»<sup>110</sup>. Конечно, это гипербола. В 1924 году на 100 000 ленинградцев было зарегистрировано 33,3 случая добровольного ухода из жизни. Ленинград в эти годы занимал седьмое место в мире по показателям суицидальности. В 1928 году было зафиксировано 37,5 самоубийства на 100 000 жителей. В самом начале 1930-х волна суицидов стала снижаться: в 1930-м — 30,7 случая

на 100 000 ленинградцев, в 1931-м — 23,7, в 1932-м — 23. В 1933 году вновь произошел подъем показателя суицидальности — 32,2 на 100 000, но уже в следующем году он снизился до 26,8. В 1940 году было и вовсе зарегистрировано всего 22 суицида на 100 000 ленинградцев<sup>111</sup>. Эта статистика позволяет утверждать, что количество самоубийств не опускается ниже и не поднимается выше определенного предела. Оно колеблется где-то между 10 и 40 случаями на 100 000 человек, что свидетельствует о действии в области девиантного поведения закона нормального распределения. Иными словами, суицид — это традиционное отклонение, «нормальная аномалия».

Это наблюдение подтверждается и тем, что у суицидентов и до революции, и после нее в России были некие общие характерные черты. И в столице Российской империи, и в социалистическом Ленинграде среди самоубийц преобладали мужчины. Они составляли две трети всех покончивших с собой. Чаще, чем взрослые, к суициду прибегали молодые люди. В 1921 году самоубийцы насчитывали почти 4% среди умерших подростков и менее 1% от числа умерших людей старше 18 лет. Довольно стабильным был и такой показатель, как сезон совершения суицида. Летом и весной самоубийства происходили и происходят чаще, чем зимой и осенью. Неизменным оставалось и определенное время суток, на которое выпадало наибольшее количество случаев добровольного ухода из жизни: днем в районе двух-трех часов дня и в одиннадцать-двенадцать часов вечера. Эти характеристики, по-видимому, в первую очередь связаны с эмоциональным складом суицидентов, нередко с их соматическими и психическими заболеваниями, имеющими внесоциальный характер. Но специфика повседневной жизни советских людей не могла все же не отразиться на поведении самоубийц.

Бытовые практики социализма воздействовали на способы расправы с самим собой. Особенно ярко это видно на примере женских самоубийств. В дореволюционном Петербурге,

по данным 1912 года, 70% женщин-самоубийц покончили с собой с помощью яда. В 1925-1926 годах подобный способ выбрала примерно половина суициденток, а в 1934-м — всего около четверти<sup>112</sup>. Принятие яда — наиболее «комфортный» способ свести счеты с жизнью. Эта сомнительная роскошь доступна в стабильном, экономически развитом обществе. Сокращение фактов использования ядов в 1920-1930-е годы по сравнению с дореволюционным временем прежде всего свидетельствует о нарастающей бедности в стране социализма. В 1930-е годы большинству ленинградцев были совершенно недоступны уже известные и распространенные в Европе снотворные, которые использовались и для самоубийства. (О.Ф. Берггольц вспоминала, как ее отец, врач медпункта одного из заводов Невской заставы, в 1932 году настоятельно просил С.Я. Маршака, ехавшего в Германию, привести люминал для лечения эпилептических припадков у больного<sup>113</sup>.)

Самым распространенным видом самоубийства в 1920-1930-х годах стало повешение: веревки были пока доступны. Кроме того, это наиболее «надежный» путь свести счеты с жизнью, что свидетельствует о серьезности намерения убить себя, а не о следовании моде или попытках шантажа. Данные о способах самоумерщвления более ярко доказывают определенную деформацию форм девиантного поведения в советских условиях, нежели показатели количества самоубийств. Малоценными с этой точки зрения являются и данные о причинах суицида. Записки самоубийц немногочисленны — по данным 1925 года, в Москве и Ленинграде 581 человек добровольно ушел из жизни, при этом мотивировал свой поступок лишь 121 человек<sup>114</sup>. Кроме того, встречающиеся в предсмертных письмах формулировки расплывчаты, и четко сказать, что стало мотивом «душевного расстройства», а что поводом для развития «отвращения к жизни», практически невозможно. Не случайно А. Камю в знаменитом «Мифе о Сизифе» пишет: «Самоубийство подготавливается в безмолвии сердца, подобно

Великому деянию алхимиков»<sup>115</sup>. Заостренная персонифицированность причин суицида заставляет в первую очередь анализировать его как относительно массовое, статистически устойчивое явление, во многом объясняемое отношениями индивида и общества.

Советскую систему до сих пор еще довольно часто называют тоталитарной. Такому общественному строю должны соответствовать и насильственно создаваемые им «коммунальные тела». Они, в свою очередь, по словам философа М.К. Рыклина, «настолько эксцентричны и несамостоятельны, что логически могут признаваться только в вине других»<sup>116</sup>. Тоталитарный вариант самоидентификации, казалось бы, исключал присутствие элементов ретретизма в поведении отдельных людей. Однако факты суицида опровергают идею о преобладании в советском обществе личностей тоталитарного типа. В социальной действительности тех лет существовали значимые для любого индивидуального самоубийства факторы — ситуация длительной дезадаптации и наличие конфликтов, порожденные резкой сменой социальных приоритетов. Нельзя отрицать и существование «культурологической подсказки» — не санкционированного властными и идеологическими структурами, но реально зафиксированного и в дореволюционной России на ментальном уровне признания возможности лишения себя жизни как способа разрешения жизненных коллизий<sup>117</sup>. Это дает возможность утверждать, что и в советском обществе самоубийства являлись традиционной патологией, но ее нравственная оценка обретала ярко выраженные политические черты.

Любопытно отметить, что свойственная первым мероприятиям большевистского правительства антифеодалная направленность отразилась и на отношении к самоубийствам. Произшедшие изменения законодательства, в частности отмена всех правовых актов царской России, невольно либерализировали властные представления о статусе суицидента.

С юридической точки зрения советский строй на первых порах был терпим к людям, добровольно ушедшим из жизни, что можно истолковать как попытку внедрения в ментальность населения более демократических представлений о свободе личности. Однако, скорее всего, терпимость властных структур по отношению к самоубийствам носила антиклерикальный характер.

Впервые большевики зафиксировали свое отношение к феномену суицида в момент возвращения российского общества к принципам нормального существования, то есть отхода от чрезвычайных мер эпохи военного коммунизма. В октябре 1921 года Центральное статистическое управление и Народный комиссариат внутренних дел заключили соглашение, предписывающее всем учреждениям, регистрирующим случаи смерти, с 1 января 1922 года составлять специальный статистический листок на каждый случай самоубийства. В этом же документе отмечалось «важное значение постановки вопроса о самоубийствах в целях изучения этого ненормального явления личной и общественной жизни» и предписывалось «составлять статистические листки о самоубийствах точно и полностью, не оставляя ни одного пункта без ответа»<sup>118</sup>. Образец «Опросного листа о самоубийце», подготовленного отделом моральной статистики ЦСУ, появился в Петрограде в марте 1922 года. Одновременно из Москвы пришла и специальная инструкция по заполнению этого листа. Составители ее считали необходимым по возможности выяснить мотивы суицида, подчеркивая, что «следует перечислять все выяснившиеся причины, оговаривая степень вероятности, в случае их сомнительности»<sup>119</sup>. Но особое внимание инструкция уделяла заполнению двух пунктов опросного листка — «11. Постоянная профессия до Октябрьской революции» и «12. Занятие и ремесло во время совершения самоубийства». Выделение общественно-профессионального статуса самоубийцы как основополагающего момента для интерпретации добровольного ухода человека из жизни можно

истолковывать двояко. С одной стороны, большинство специалистов, привлеченных к изучению суицидального поведения, находились под влиянием концепции Э. Дюркгейма, который склонялся к сугубо социальному толкованию самоубийств. С другой стороны, сказывалось влияние господствующей в условиях новой государственности тенденции объяснения разнообразного рода аномалий лишь влиянием «капиталистического прошлого». Однако трактовка причин суицидов стала меняться с укреплением позиций нэпа.

Отдел моральной статистики ЦСУ и выделявшийся в нем сектор социальных аномалий зафиксировали рост числа самоубийств среди членов РКП(б). Пленум ЦКК, состоявшийся в октябре 1924 года, заслушал специальный доклад Е. Ярославского «О партэтике». Видный партийный публицист заявил: «Кончают самоубийством люди усталые, ослабленные. Но нет общей причины для всех. Каждый отдельный случай приходится разбирать индивидуально...»<sup>120</sup> Такое довольно нейтральное умозаключение Ярославский позволил себе потому, что речь шла пока об экстраординарных ситуациях, а не о тенденции. Незадолго до пленума ЦКК свел счеты с жизнью М.С. Глазман — бывший секретарь Л.Д. Троцкого. Но в 1925 году среди умерших большевиков суициденты составили 14%<sup>121</sup>. Для сравнения стоит указать, что в это же время самоубийство как причина смерти в Ленинграде составляло менее 1%. Элементы ретретизма в самой политически активной социальной среде советского общества насторожили руководство партии большевиков. Оценка самоубийств стала более жесткой и политизированной.

На XXII Ленинградской губернской конференции ВКП(б) в декабре 1925 года Ярославский заявил, что самоубийцами являются лишь «слабонервные, слабохарактерные, изверившиеся в мощь и силу партии» личности и пик суицидальных проявлений среди членов ВКП(б) совпал с «периодом некоторых колебаний в партии, некоторых шатаний, идейного разброда

мыслей...»<sup>122</sup>. Ярославский невольно оказался на позициях Дюркгейма, разделявшего все самоубийства на эгоистические и альтруистические. Первый тип суицида характерен для времени ослабления сплоченности людей в обществе и потери ими смысла в жизни. Усиление внутривнутрипартийной дисциплины формально могло приостановить появление фактов эгоистических самоубийств, но не воздействовало бы на суицид альтруистического характера, когда человек не видит возможности существовать вне данной, чрезмерно отрегулированной социальной жизни. А такая форма аномалии тоже была достаточно характерна для формирующегося нового советского социума. Плюралистические социальные практики короткой эпохи нэпа стали явно сокращаться уже в 1925-1926 годах. Власть начала испытывать острую необходимость в послушных социальных телах. Общественная жизнь приобретала более жесткие социальные, правовые и нравственные контуры, вписаться в которые дано было далеко не каждому человеку. Дезадаптация и конфликтность ощущались более остро, чем в начале 1920-х годов, о чем свидетельствует и рост количества самоубийств. Как любая система, прочно сросшаяся с институтами идеологического воздействия, будь то церковь или ее аналоги в виде партийных органов, социалистическое государство стремилось установить контроль даже над добровольным уходом людей из жизни. Летом 1926 года Ленсовет совместно с комсомолом провел специальное обследование случаев самоубийств среди молодежи. Данные обследования красноречиво свидетельствуют о том, что в любом обществе существует тип личности, который независимо от социального происхождения и общественной ситуации склонен к решению стрессовых ситуаций посредством собственной смерти. В документах приведены факты самоубийств «из-за любви», «из-за постыдной болезни», «ссоры с родителями» и т.д. Однако представители властных и идеологических структур сделали из этих данных сугубо политизированный вывод: средний



самоубийца является «законченным типом, интеллигентом-нытиком, склонным к самобичеванию»<sup>123</sup>. Общую благополучную с точки зрения социальной иерархии советского общества картину нарушали факты суицида в рабочей среде. Однако организации, проводившие обследование, позволили себе сделать следующее заключение: «Отдельные редкие случаи самоубийств показывают, что социальных корней у коренной рабочей молодежи они не имеют. Эти случаи были у отдельных членов союза (комсомола. — *Н.Л.*), пришедших только недавно на фабрику, там еще не переварившихся»<sup>124</sup>. «Переваривание» в данном случае можно толковать как спешную унификацию личности, полное слияние ее с коллективом.

Главной причиной добровольного ухода из жизни в конце 1920-х годов считался «отрыв от коллектива». Такой точки зрения придерживались и население, если судить по документам официального характера — протоколам партийных и комсомольских собраний, и власти. С социально-политической точки зрения была истолкована вспышка суицида, связанная с трагической гибелью С.А. Есенина. Однако в суицидологии уже в 1920-е годы было известно явление, позднее названное «эффектом Вертера», — самоубийства, совершаемые под влиянием примера. Дюркгейм отмечал, что «мысль о самоубийстве обладает заразительностью»<sup>125</sup>. Случаи эпидемии добровольного ухода из жизни были зафиксированы в дореволюционном Петербурге. В 1924 году в Москве произошло сразу три групповых самоубийства студенток, мотивировавших свой поступок разочарованием в жизни. Рост суицида в 1926 году под влиянием загадочной гибели очень популярного в среде молодежи поэта идеологические структуры попытались объяснить распространением мелкобуржуазных, «упаднических настроений», получивших название «есенинщины». Комсомольцы ленинградского предприятия «Красный треугольник» в 1928 году прямо заявляли: «У нас многие увлекаются есенинщиной и другими такими книгами и поддаются таким



настроениям, даже есть случаи самоубийств»<sup>126</sup>. А в конкретной ситуации (добровольная смерть молодой работницы) был вынесен вообще жестокий вердикт: «Надо было ее втянуть в комсомольскую работу и заинтересовать ее, а то она совсем опустила, ей ничего не оставалось делать, как отравиться. Многие девчата курят, выпивают, пишут плохие слова на стенах. . .»<sup>127</sup> Судя по данному тексту, в представлении комсомольцев суицид был точно таким же нарушением общественного порядка, как хулиганство. Уравнивание этих двух аномалий отразилось и в нормализующих властных суждениях.

В большинстве советских газет уже в период нэпа сведения о добровольном уходе человека из жизни публиковались в разделе «Происшествия» с нетактичными комментариями, в одном ряду с сообщениями о кражах, разбойных нападениях, попойках, драках. Фамилии суицидентов печатались полностью. Эта практика приняла особенно бестактную форму в конце 1920-х годов. 1 сентября 1929 года «Правда» в одной из статей под общим заголовком «Коммунары Ленинграда, смелее разворачивайте самокритику, бейте по конкретным проявлениям правого оппортунизма» привела целый список фамилий членов ВКП(б), покончивших жизнь самоубийством. Многие из них пошли на такой крайний шаг после обвинения их в приверженности к оппозиции, что еще раз подтверждает преобладание в советском обществе альтруистического суицида, возникающего в обществе чрезмерной сплоченности. Индивид, не приспособившийся к окружающей среде, оказывался практически приговоренным, так как адаптация к советской действительности рубежа 1920-1930-х осложнялась уничтожением элементов плюрализма повседневной и общественно-политической жизни, свойственных нэпу.

Суицид в общественном сознании все больше и больше приобретал черты позорного явления. Примеры такого отношения подавали власть имущие, и прежде всего сам И.В. Сталин. На попытку самоубийства сына Якова весной 1928 года

он, судя по письму к жене Н.С. Аллилуевой, отреагировал следующим образом: «Передай Яше от меня, что он поступил как хулиган и шантажист, с которым у меня нет и не может быть больше ничего общего»<sup>128</sup>. Еще большей демагогией стало отношение Сталина к суициду жены. По официальной версии, Аллилуева умерла «в результате болезненного состояния». В этом контексте совершенно естественным кажется решение молодых рабочих завода «Электросила», в 1931 году клеймивших поступок покончившего с собой комсомольца следующим образом: «Это выродок... Он в коллективе активно не работал и был связан с одиночками»<sup>129</sup>.

С начала 1930-х властные и идеологические структуры стали вообще замалчивать сведения о самоубийствах. Прекратил работу существовавший при ЦСУ СССР сектор социальных аномалий, где в 1920-е изучались причины добровольной смерти людей. А в эпоху большого стиля о суициде стало не принято писать не только в научно-публицистической, но и в художественной литературе. Резкой критике был, например, подвергнут вышедший в 1934 году роман В.В. Вересаева «Сестры» за то, что его главный герой, рабочий парень Юрка, повесился под впечатлением от методов раскулачивания. Отражением официального дискурса по отношению к суициду стала книга Н.А. Островского «Как закалялась сталь», в которой добровольный уход из жизни расценивался как предательство дела революции. Такое отношение к личному решению человека о возможности или невозможности своего дальнейшего существования было сродни религиозной установке, согласно которой самоубийца считается грешником. Неудивительно, что властные и идеологические структуры скрытно продолжали следить за динамикой суицидов, одновременно косвенно признавая чреватость советской действительности крайними формами ретретизма.

В этом ключе представляют интерес документы внутренней переписки исполкома совета Володарского района

Ленинграда с управлением милиции о проведении паспортизации в 1933 году. Районные власти направили в апреле начальникам ряда отделений милиции письма следующего содержания: «Президиум Володарского райсовета просит в срочном порядке сообщить о числе зарегистрированных случаев самоубийств и покушений на самоубийства, произошедших в связи с проводимой паспортизацией»<sup>130</sup>. Случаи добровольного ухода из жизни в данной ситуации должны были носить ярко выраженный альтруистический характер, когда человек не в состоянии продолжать существование вне чрезмерно отрегулированной социальной среды. Известный петербургский литератор В.С. Шефнер, в 1933 году восемнадцатилетний юноша, в своих воспоминаниях зафиксировал состояние, которое испытывали многие жители Ленинграда в период паспортизации. Имея родственников, лишенных избирательных прав и не рассчитывавших на получение паспортов, молодой человек не без оснований считал, что ему придется покинуть Ленинград. Перспектива социальной дезадаптации угнетала. «В эти дни в моей памяти, — вспоминал В.С. Шефнер, — все время прокручивалось стихотворение Брюсова "Демон самоубийства". Оно давно запало мне в душу своей убедительной трагичностью, но прежде я считал, что ко мне оно прямого отношения не имеет, а теперь мне стало чудиться, что оно — подсказка для меня. Может быть, жить мне не стоит? Помру — и тогда никаких тревог»<sup>131</sup>. К счастью, от мысли свести счеты с жизнью будущего литератора отвлек случайно зашедший приятель. Он довольно несерьезно, даже шутовски отнесся к «печальному замыслу», что, по словам Шефнера, и помогло разрешить душевный кризис. Логические доводы не смогли бы пробудить волю к жизни.

Вероятно, так же рассуждали и властные структуры — логика общественно-политической ситуации должна была привести к всплеску самоубийств. Процесс отслеживания фактов суицида расширился. К нему были подключены даже

органы здравоохранения, хотя «через них», как указывалось в письме заведующего Володарским райздравотделом от 5 апреля 1933 года в районный совет, такие «случаи, как то смерть внезапная, смерть, последовавшая без наблюдения врача... не проходили, а направлялись в органы милиции для разрешения судебно-медицинской экспертизы»<sup>132</sup>. И все же эпизоды самоубийств весной 1933 года не были многочисленными. Три отделения милиции Володарского района зафиксировали всего лишь один факт завершённого суицида и две попытки покончить с собой<sup>133</sup>. И хотя во всех милицеских документах присутствовала фраза о регистрации «случаев самоубийств и покушений на самоубийства в связи с проводимой паспортизацией», прямую связь суицидальных проявлений с процессом выдачи населению паспортов установить не удалось. Эта ситуация особенно любопытна. Властные структуры предполагали, что люди, не получившие паспорта, должны избрать крайнюю форму ретретизма — самоубийство. Оно, таким образом, могло считаться нормой поведения для лиц, социально чуждых советскому строю.

Случаи добровольного ухода людей из жизни стали привлекать особое внимание партийных и советских организаций после убийства С.М. Кирова. Сложное явление суицида, как лакмусовая бумага, обнаруживало наличие неоднозначных явлений в процессе формирования советского общества, требовавших идеологического контроля. В Ленинграде факты самоубийств, фиксируемые милицией, систематически рассматривались обкомом ВКП(б) и лично А.А. Ждановым. В 1935 году он выделил сообщение об убившей своих двоих детей 3 и 5 лет, а затем повесившейся работнице завода «Вулкан». Женщина оставила записку: «Сделала сама я от худой жизни»<sup>134</sup>. Это самоубийство, если следовать Дюркгейму, носило уже выраженный эгоистический характер, когда человек не видел смысла в жизни из-за отсутствия сплоченности индивидов в обществе. Работница — казалось бы, представительница ведущего

советского класса — на самом деле не ощущала никаких социальных преимуществ. Это в первую очередь доказывало, что в 1930-е годы сталинское руководство страны полностью отказалось от идеи классового равенства и переориентировалось на создание социалистических элитных слоев, к которым убившая себя и своих детей ленинградская работница не принадлежала. Социальное расслоение и неравенство были реальностью в социалистическом государстве, и это не могло не повлечь суицидальных вспышек даже в слоях населения, формально названных основными в сталинском обществе.

Но с особой тщательностью изучались факты самоубийств коммунистов. Суицид члена ВКП(б) в обстановке политического психоза, раздувавшегося в стране в 1930-х, рассматривался как дезертирство и даже как косвенное доказательство вины перед партией, что в дальнейшем могло повлиять на судьбы родных и близких человека, добровольно ушедшего из жизни. Это начинали понимать многие, и неудивительно, что в минуты психологического срыва, как правило, влекущего за собой самоубийство, люди оставляли весьма своеобразные записки. Зимой 1937 года в одной из ленинградских больниц застрелился пациент, член ВКП(б) с 1905 года. В своей предсмертной записке, адресованной обкому партии большевиков, он написал: «В моей смерти прошу никого не винить. Мучительные физические боли не дают мне возможности переносить их дальше. Политики в моей смерти не ищите, бесцельно. Был постоянно верен своей партии ВКП(Б) и остался верен. А Великому Сталину сейчас как никогда нужно провести твердый и решительный разгром всех остатков вражеских партий и классов. Никаких отступлений. Жалею, что меня покинули силы в этот момент. Поддержите все же, если сможете, товарищи, материально и морально семью мою. Прощайте. Счастливо и радостно стройте свою жизнь. Рот фронт»<sup>135</sup>. Эта записка ярко иллюстрирует стремление людей, приведенных на грань самоубийства, изобразить свой

поступок как акт альтруизма. И в первую очередь это было характерно для членов Коммунистической партии — людей, которые на первых порах быстро и успешно социализировались в советских условиях и даже являли собой образец классического «коммунального тела», тоталитарного типа личности. Факты самоубийств альтруистического характера свидетельствуют о наличии тоталитарного типа отношений в российском обществе уже в конце 1930-х годов и об их активном развитии в эпоху послевоенного сталинизма, когда черты большого стиля в сфере повседневности достигли особого развития.

Властным и идеологическим структурам удалось внедрить в ментальность советских людей представление о самоубийстве как о предательстве дела социализма, как о малодушии, почти как о преступлении. Этому отчасти способствовала «культурологическая подсказка» — наличие в сознании населения религиозного представления о греховности акта самостоятельного и добровольного ухода из жизни. Конечно, не следует думать, что в семье самоубийцы не горевали о потере. Просто причину смерти в этом случае старались скрывать. Подобное отношение к суициду и на ментальном, и на государственно-идеологическом уровне уничтожало всякую возможность создания гибких, неформализованных и, главное, политизированных форм социального контроля за данной девиацией.

В нормализующих и нормативных суждениях власти суицид — и эгоистический, и альтруистический — рассматривался как патология, имеющая выраженный социально-политический характер. При этом самоубийце как девианту должны были быть свойственны или социальное происхождение, или идейные воззрения, не отвечавшие требованиям советского общества. Суицид, по сути дела, объявлялся патологией с неким фаталистическим оттенком, отклонением с социальной предрасположенностью.

Объективно политизировался и сам феномен ретретизма, хотя известно, что он во многом объясняется психическими и физиологическими характеристиками конкретной личности. И особенно пагубной являлась сформировавшаяся именно в период большого стиля тенденция замалчивания фактов наличия в советском обществе таких проявлений ретретизма, как суицид. Если в Малой советской энциклопедии, печатавшейся на рубеже 1920-1930-х годов, существовала статья «Самоеубийство», то в том же справочном издании, подготовленном в конце 1950-х (формально в условиях оттепели), материал о суицидальном поведении отсутствовал.

### ГЛАВА 3. ПРОСТИТУЦИЯ

До середины XIX века в России и на ментальном, и на властно-нормативном уровне наблюдалось смешение понятий прелюбодеяния и блуда. В российских законодательных актах существовала система наказаний «за непотребство», под которым понимались как оказание платных сексуальных услуг, так и внебрачные половые отношения. Размежевание этих явлений, связанных с формами сексуального поведения и сексуальной морали, нашло выражение в появлении в 1843 году при Министерстве внутренних дел Врачебно-полицейского комитета. На первых порах это учреждение занималось борьбой с «любострастными» (венерическими) болезнями и преследовало распространявших их проституток. Таким образом, из числа особ, замешанных в «непотребстве», которое можно толковать как нарушение нравственных норм, властные структуры стали выделять тех, кто занимался им на коммерческой основе. Общественно опасные последствия сексуальной коммерции попытались искоренить насильственным путем, что было зафиксировано в Уложении о наказаниях 1845 года.

Почти двадцать лет, несмотря на активно функционировавшую систему регламентации проституции, занятие этим ремеслом каралось как уголовное преступление, наряду со сводничеством и использованием услуг института продажной любви. Упразднены эти статьи были лишь в 1863 году, в период «великих реформ». В представлении общественности



занятие проституцией стало квалифицироваться как своеобразная профессия. Однако на уровне нормативных суждений власти такого маркирования не существовало. Лишь в 1891 году постановлением Уголовного кассационного департамента Правительственного Сената была введена ответственность за несоблюдение правил о регистрации проституток. В определенной мере это можно считать законодательным закреплением уже осуществлявшегося на деле терпимого отношения государства к ремеслу проституции. И все же это не означало, что властные структуры царской России покровительствовали развитию проституции и тем более повышению социального статуса продажной женщины. Система регистрации, ограждавшая женщину от наказания за сексуальную коммерцию, одновременно ограничивала ее в гражданских правах. «Желтый билет» не приравнивался к паспорту. Он закрывал доступ «продажной девицы» в «чистую семью» и, кроме того, не позволял без ведома полиции сменить место жительства и скрыть свои занятия. Конечно, это были довольно жестокие меры по отношению к проститутке, но именно они соответствовали ментальным представлениям об организации проституции и торговле своим телом как аномальных явлениях. Официальная принадлежность к институту проституции в бытовом сознании среднего горожанина в конце XIX века считалась позором. Этому способствовали христианско-православные традиции отношения к сексуальности, а также нормативные и нормализующие суждения власти, подразумевавшие целую систему правовой дискриминации женщин, торговавших собой.

Рост общедемократических тенденций в стране мало изменил ситуацию. Правда, идея «милости к падшим», под которыми подразумевались обычно профессиональные проститутки, все больше и больше обретала в изложении сторонников общественных перемен в России не филантропический, а социальный оттенок. Таким образом, к началу

общественных катаклизмов 1917 года по отношению к проституции сложилось несколько уровней нормативных и нормализующих суждений. Властные структуры считали нормой существование легального, поднадзорного института продажной любви и профессии публичной женщины, смирившейся с определенным поражением в гражданских правах. Либеральная общественность придерживалась мнения об аномальности системы надзора и регламентации. Обыватель осуждал и зарегистрированную, и тайную проститутку, считая такой вид поведения и профессию аномальными; негативно относился к деятельности Врачебно-полицейского комитета, как, впрочем, любого органа власти с контрольно-карательными функциями; рассматривал как норму использование услуг института торговли любовью.

События февраля 1917 года оправдали надежды либералов — система регламентации была ликвидирована. Прекратила свое существование и легальная проституция. Профессия проститутки как особый вид трудовой деятельности формально перестала существовать. Однако остались женщины, вступавшие в половые связи за вознаграждение. Никуда не исчезли и потребители услуг сексуальной коммерции, а также венерические болезни — обязательные спутники проституции. Временное правительство попыталось пройти уже известный путь: 20 марта 1917 года по аналогии с Врачебно-полицейским комитетом было создано совещание по борьбе с распространением венерических болезней. Однако октябрьский переворот прекратил деятельность этого учреждения. Проблема «власть и проституция» ныне тоже не обойдена вниманием историков. Появилось много фундаментальных исследований, освещающих ситуацию с сексуальной коммерцией в культурно-бытовом пространстве советских городов<sup>136</sup>. Однако, как правило, их авторы сосредотачивают свое внимание на периоде 1920-х годов, более обеспеченном историческими источниками.

*«Коммунизм — могила проституции»*

Советские властные структуры, несмотря на наличие целого ряда важнейших проблем повседневности, уже в первый год своего существования вынуждены были обратить внимание на существование нелегального института торговли женским телом. Проституция была объявлена социальной аномалией, порожденной предыдущим строем. Об этом, в частности, свидетельствует решение Всероссийского совещания работниц, проходившего в Москве в ноябре 1918 года: «Исходя из того, что корни проституции зарыты глубоко в капиталистическом обществе, совещание призывает бороться с проституцией не только закрытием домов терпимости, не только наказанием сводников и продавцов живого товара и устраиванием домов для спасения падших девиц, а революционным искоренением всех остатков капиталистического общества при переходе к коммунистическому хозяйству, введением обеспечения материнства, осуществлением государственного воспитания детей и заменой буржуазной семьи свободным браком»<sup>137</sup>. Власть продекларировала новый способ решения проблемы существования сексуальной коммерции, противопоставленный как государственной политике царизма, так и идеям либеральной интеллигенции. Проблемами проституции, в которой неразрывны медико-психологический и нравственно-правовой аспекты, стали по отдельности заниматься два ведомства — Комиссариат здравоохранения и Комиссариат внутренних дел. Каждое из них имело собственные критерии нормы и аномалии.

В период Гражданской войны и военного коммунизма со свойственными тому времени «чрезвычайными» бытовыми практиками и нормами спрос на сексуальные услуги резко упал. Голод снизил половую активность. Как писал Ю.П. Анненков, ссылаясь на свидетельство В.Б. Шкловского, «у мужчин была почти полная импотенция, а у женщин исчезли месячные»<sup>138</sup>. Деньги, позволявшие совершать куплю-продажу женского тела, не имели должной значимости. Тем не менее даже в этих

условиях новая власть проявила свое отношение к сексуальной коммерции. В 1918-1920 годах большевики придерживались принципов прогибиционизма, в контексте которого аномальными могли считаться как явление проституции, так и сами проститутки. Отражение этих идей можно найти в высказываниях В.И. Ленина. В августе 1918 года в письме к председателю Нижегородского губернского совета Г.Ф. Федорову он настоятельно советовал в связи с нарастающей угрозой контрреволюционного заговора «навести тотчас же массовый террор, расстрелять и вывести сотни проституток...»<sup>139</sup>. В Москве и Петрограде расстрелов не было, но милиция широко практиковала облавы, выселение женщин в другие губернии, препровождение их по этапу.

Отсутствие четких нормативных суждений новой власти осложняло работу правоохранительных органов. Часто во время облав арестовывали женщин, случайно оказавшихся в это время на улице и не имевших никакого отношения к сексуальной коммерции. Для оправдания правового хаоса местные органы власти составляли собственные предписания, регламентирующие отношения с проститутками. Так, в 1919 году один из руководителей Петроградского совета Б.Г. Каплун написал специальные тезисы «К вопросу о борьбе с проституцией». Это типичный образец нормализующего суждения власти, призванного заполнить правовой вакуум и сформировать ментальные установки населения. В тезисах, в частности, утверждалось: «С коммунистической точки зрения проституция как профессия не может существовать. Это не есть профессия в государстве труда. Торговля своим телом есть дело человеческой совести... Слово "проститутка", как понятие о человеке, торгующем своим телом, считающем это своей единственной профессией, не существует. Отсюда не существует и определения понятия проституции как общественного явления... Нет борьбы с проституцией, а есть борьба с женщинами, у которых нет определенных занятий»<sup>140</sup>. Такие особы, независимо

ОТ ТОГО, торгуют ОНИ собой ИЛИ нет, ДОЛЖНЫ были ЯВИТЬСЯ В органы власти для получения работы. За уклонение от явки они подлежали аресту и отправке в женские трудовые лагеря строгого режима.

Идея борьбы с проституцией посредством принудительного труда была довольно популярна в 1918-1920 годах. На страницах журнала «Коммунистка» представитель Народного комиссариата внутренних дел Совета коммун Северной области С.Н. Равич доказывала, что «бороться с проституцией моральным воздействием на лиц, занятых ею, — напрасный труд... Самый верный и сильный удар по проституции — это всеобщий обязательный труд»<sup>141</sup>. В мае 1919 года в Петрограде был создан первый в стране своеобразный концентрационный лагерь для женщин. В 1920 году из 6500 его заключенных 60% составляли особы, подозреваемые в проституции. В конце 1919 года появилась и женская трудовая колония со строгим режимом, которую даже в официальных документах называли учреждением «для злостных проституток». Трудотерапия по-пролетарски имела мало общего с существовавшей в царской России системой социальной реабилитации женщин, желавших порвать с сексуальной коммерцией. Но, несмотря на протесты аболиционистов, такое отношение к проституции стало преобладающим. А.М. Коллонтай в 1920 году указывала: «Пока мы будем иметь нетрудовое женское население, существующее на средства мужа или отца, до тех пор будет существовать купля и продажа женских ласк. Поэтому введение по всей Советской республике в самом срочном порядке обязательных трудовых книжек — один из вернейших способов борьбы с проституцией профессионального типа»<sup>142</sup>. Судя по воспоминаниям К. Цеткин, В.И. Ленин тоже предлагал «возвратить проститутку к производительному труду, найти ей место в общественном хозяйстве...»<sup>143</sup>.

Таким образом, отношение к проституции в первые послереволюционные годы формировалось под воздействием

общих идей военного коммунизма, в частности всеобщей трудовой повинности. Проститутка рассматривалась прежде всего как «дезертир труда». Моральный и филантропический аспекты носили подчиненный характер. Нормализующие суждения власти еще больше закрепляли существовавшее на ментальном уровне смешение понятий проституции как профессионального занятия, сексуальной свободы и супружеской неверности. Невнятность властной позиции по отношению к проституции, а также неявная выраженность изменений в обывательских представлениях о торговле любовью во многом объясняются бытовыми реалиями военного коммунизма.

Переход к нэпу, возвращение денежного обращения и нормализация повседневной жизни активизировали проституцию в традиционном виде. Купля-продажа любви вновь стала элементом городской повседневности. Врач с дореволюционным стажем Л.М. Василевский писал: «До времени новой экономической политики улица большого города носила характер строгости и труда, но в последнее время она порядком загрязнилась»<sup>144</sup>. Под «уличной грязью» имелась в виду проституция.

Это повлекло за собой разнообразные властные инициативы, направленные на формирование новых представлений о норме и патологии. В конце 1921 году межведомственная комиссия при Народном комиссариате социального обеспечения разработала «Тезисы по борьбе с проституцией». В них отмечалось: «1. Проституция тесно связана с основами капиталистической формы хозяйствования и наемным трудом; 2. Без утверждения коммунистических основ хозяйства и общежития исчезновение проституции неосуществимо. Коммунизм — могила проституции; 3. Борьба с проституцией — это борьба с причинами, ее порождающими, то есть с капиталом, частной собственностью, делением общества на классы; 4. В Советской рабоче-крестьянской республике проституция представляет собой прямое наследие буржуазно-капиталистического уклада жизни»<sup>145</sup>. В тезисах также подчеркивалось, что покончить

с торговлей любовью можно, лишь полностью раскрепостив женщин, устранив голод, дороговизну, безработицу, детскую беспризорность, обучив неподготовленных девушек труду, ликвидировав пережитки буржуазной морали. Считая проституцию пережитком прошлого, власти совершенно не учитывали, что занятие сексуальной коммерцией во многих случаях есть проявление такого качества человеческой психики, как десоматизация. Не признавая торговлю любовью своеобразным видом трудовой деятельности, большевики одновременно не считали избранный продажными женщинами образ жизни аморальным.

Многие идеи тезисов нашли законодательное закрепление. В принятом в 1922 году Уголовном кодексе РСФСР появились статьи, определяющие наказание за притоносодержательство, принуждение к занятиям проституцией, а также вовлечение в сексуальную коммерцию несовершеннолетних. Статьи, преследующей за торговлю собственным телом, не было. С проститутки снималась не только уголовная, но и морально-нравственная ответственность за ее поступки, хотя ее занятия и не считались профессией. Это позволяет предположить, что на властном уровне проституция считалась формой аномального поведения, которую навязывает социальная среда. Неудивительно, что в этой ситуации на улицах городов появилось довольно много женщин, предлагавших любовь за деньги. Более того, они мгновенно сгруппировались по негласным ранжирам, распределив между собой места промысла.

Как и в царской России, многие проститутки искали клиентов во вновь открывшихся ресторанах. Самым шикарным местом «работы» у питерских проституток считался «Бар» на площади Лассаля и ресторан «Крыша» в гостинице «Европейская», в Москве — «Прага» и «Яр». Промышлявшие там в годы нэпа дамы обслуживали преимущественно иностранцев и зарабатывали по 40-50 рублей за ночь, или около тысячи в месяц. Работница на фабрике в эти годы получала 18-24 рубля в месяц. Однако слой высокооплачиваемых проституток был



невелик. Как выяснили в 1928 году работники Ленинградского трудового профилактория для падших женщин, 80% ленинградских проституток могли заработать в месяц не более 30 рублей — с клиента им удавалось получать за свои разовые услуги не более 3 рублей<sup>146</sup>.

«Девочки для радостей» предлагали себя и в более скромных заведениях, используя не только частный, но и государственный сектор общепита. В середине 1922 года начальник одного из районных отделений милиции Петрограда отмечал в своем отчете районному начальству, что в ресторане «Строитель», принадлежащем Петроградскому потребительскому обществу (ПЕПО), царит «разврат полный, скопление проституток, темных личностей, ограбление граждан в пьяном виде, устройство разных оргий»<sup>147</sup>. Не изменилась ситуация и после появления осенью 1922 года Уголовного кодекса РСФСР. Весной 1923 года питерские милиционеры докладывали о еще одном «малиннике с девочками» — на этот раз в кафе со знакомым названием «Двенадцать», также находившемся в ведении ПЕПО. Участковый инспектор с возмущением писал: «Было кафе как кафе, но стало оно очагом проституции... Собираются проститутки около 11 часов вечера. Полный разгар около 1-2 часов ночи. Приходит женщина как женщина, садится у столика, заказывает черный кофе и сидит с одним стаканом и озирает зал. Мужчина выбирает по вкусу, приглашает Марусю или Лили к своему столику, угощает, разговаривает, стоваривается и, уплатив по счету, вместе с дамой уезжает...»<sup>148</sup>

Ресторанных советских проституток, так похожих на дореволюционных «девушек для удовольствия», сразу опознал тайно прибывший в 1925 году в СССР белоэмигрант В.В. Шульгин. Позднее он писал о своем посещении одного из частных заведений общепита: «Сразу меня оглушил оркестр, который стоит самого отчаянного заграничного жац-банда. Кабак был тут в полной форме. Тысяча и один столик, за которыми невероятные личности, то идиотски рыгочущие, то



мрачно-пропойного типа... Между столиками шляются всякие барышни, которые продают пирожки или себя по желанию»<sup>149</sup>.

Несмотря на то что в Уголовном кодексе РСФСР 1922 года появились статьи, определяющие наказание за притоносодержательство и за принуждение к занятиям проституцией, в городах России в годы нэпа были люди, попытавшиеся возродить даже почти забытую бордельную торговлю любовью. Некоторые притоны для «шикарной публики» располагались в задних помещениях модных магазинов. Сведения о советских домах свиданий иногда встречаются в художественно-документальном нарративе. Описание одного такого заведения дала В.К. Кетлинская в своих воспоминаниях «Здравствуй, молодость!». Владелец мехового магазина на Невском обязывал своих продавщиц «быть милыми хозяйками в задних комнатах, куда ходят поставщики и другие деловые люди, — сервировать чай, заваривать кофе, делать бутерброды, угощать коньяком или винами». Иные услуги также предполагались<sup>150</sup>. Тайный салон для избранных в это же время содержала в своей квартире на Невском и некая Т., жена актера одного из ленинградских театров. В 1924 году в губернском суде слушалось шумное дело этой притоносодержательницы. Посещавшие ее салон клиенты явно тяготели к садизму, и Т. старалась удовлетворять их желания. Милиция обнаружила на квартире специфический инструментарий для садомазохистских развлечений<sup>151</sup>. О московских «притонах разврата» пишет Г.В. Андреевский. По его данным, «в 1926 году работниками МУРа был "накрыт" притон в квартире генеральши Обуховой... Благородная хозяйка, хорошая мебель, культурная обстановка делали это заведение привлекательным. Притон "работал" с одиннадцати вечера до пяти утра, и за это время в нем успевало побывать до тридцати гостей. Знаком того, что свободных мест нет, был шарф на окне. Постучавшись, пришедшие говорили пароль: "архиерейский носик" или "чашка кофе". В случае каких-нибудь непредвиденных обстоятельств заведение покидали

через соседнюю квартиру, которую занимал дьякон, так что, согрешив, можно было тут же и покаяться»<sup>152</sup>.

Но большинство «домов свиданий» — импровизированных борделей — в годы нэпа имело весьма приземленный вид. Люди просто пускали за небольшую мзду в свою комнату или квартиру проститутку и клиента. Нередко для этой цели использовались и располагавшиеся тогда почти во всех городских дворах дровяные сараи. В книге Андреевского имеются сведения о функционировавшем в 1925-1926 годах в жилье московской дворничихи «заведении», услугами которого пользовались торговцы, приезжавшие с товаром на московские рынки. «В апреле 1926 года, — пишет Андреевский, — работники МУРа накрыли притон разврата на Пятницком кладбище. Там стоял маленький домик, который арендовал некий Акимов. Он торговал спиртным и пускал в дом парочки, с которых брал по 5 рублей. Когда сотрудники милиции нагрянули в его кладбищенскую светелку, они застали там семь таких парочек»<sup>153</sup>. Организация тайных притонов приносила людям, ею занимающимся, в среднем около 30 рублей в месяц<sup>154</sup>.

И все же ведущей формой сексуальной коммерции в 1920-е годы, так же как и незадолго до революции, была уличная торговля любовью, которая процветала повсеместно. В Симбирске в 1922 году, по данным местной милиции, «они (продажные женщины. — *Н.Л.*) повсюду: на улице, на бульваре, на базаре, в толпе, на станции, вечером в садах... Обычная картина — пивная "Волга": из темноты комнаты выныривает толпа голодных, оборванных проституток... Рвут захмелевших мужчин...»<sup>155</sup> О том же вышестоящим инстанциям докладывали и питерские милиционеры в 1922 году: «Все более или менее оживленные улицы города в вечерние и ночные часы кишат... женщинами, откровенно торгующими собой и обращающими на себя внимание своим вызывающим поведением...»<sup>156</sup> Проститутки промышляли как на центральных улицах городов, так и в рабочих кварталах. Типичная сцена быта Нарвской

заставы Ленинграда конца 1920-х годов описана авторами книги «Мелочи быта»: «В предпраздничные дни, в особенности в дни получки все близлежащие перекрестки кишат проститутками... Чуя добычу, они целыми стаями собираются у пивных, "семейных бань", ресторанов... не давая прохода рабочим, особенно молодежи... В результате часто от получки остается лишь сильная головная боль, разбитая физиономия и изорванная одежда»<sup>157</sup>.

Возродилась в годы нэпа и традиционная форма уличной проституции: на панели появились дети, предлагающие себя за деньги. В январе 1924 года «Рабочая газета» писала об обстановке в Ленинграде: «По Невскому гуляет полуробенек. Шляпа, пальто, высокие ботинки — всё как у "настоящей девицы". И даже пудра, размокшая на дожде, так же жалко сползает на подбородок... "Сколько тебе лет? Двенадцать? А не врешь?.. Идем". Покупается просто как коробка папирос. На одном углу Пушкинской — папиросы, на другом — "они". Это их биржа. Здесь котируются их детские души и покупаются их детские тела»<sup>158</sup>. Торговали собой преимущественно девочки-беспризорницы, втянутые в сферу криминального мира. Но, как и в дореволюционное время, нередко сами родители отправляли дочерей «подработать» на улице. Малолетняя проститутка в годы нэпа могла заработать от одного до пяти рублей в день. Путь на панель начинался обычно с насилия со стороны отчима или знакомых матери. Ситуация мало изменилась и в 1930-х годах, когда власти отошли от либерального отношения к существующему в пространстве правового умолчания институту проституции.

В культурно-бытовом пространстве советских городов жизнь женщин, зарабатывающих торговлей собственным телом, как и до революции, была связана с пьянством, наркоманией, криминальным миром<sup>159</sup>. К сексуальной коммерции многих из них толкало проявление десоматизации и в какой-то мере позиция советской власти.

*«Долой безобразников по женской линии»*

Не осмелившись признать проституцию специфической профессией, как это было в царской России, большевики не ввели и уголовного наказания за нее. Более жестким было отношение новой социальной системы к стороне спроса на сексуальные услуги. Ситуация эта в советской действительности усугублялась еще и тем, что первыми спрос на доступных женщин предъявили представители возрождающегося слоя городской буржуазии — разного рода предприниматели, посредники, перекупщики. Ярко охарактеризовал настроения в среде нэпманов К.И. Чуковский в дневниковой записи от 27 ноября 1922 года: «Мужчины счастливы, что на свете есть карты, бега, вина, женщины... Все живут зоологией и физиологией»<sup>160</sup>.

В условиях нэпа возродился институт содержанок. В.К. Кетлинская описала судьбу своей ровесницы, студентки Внешкольного института. Та без особого стеснения рассказывала своим подругам о выпавшей на ее долю удаче, о том, что «в нее сильно влюбился один меховщик, очень богатый коммерсант, он приходит к ней раза три в неделю на два-три часа..»<sup>161</sup>. Спросом пользовались у новой буржуазии дома свиданий. Упомянутый выше «салон гражданки Т.» посещали многие известные в коммерческом мире Ленинграда люди, а также представители интеллигенции. Курьезная история произошла с известным партийным журналистом Ольдором (И.Л. Оршером), который, судя по всему, тоже наведывался к гражданке Т. Уличенный в связи с проститутками, он отправился искать защиту у М.И. Ульяновой. Та, как пишет К.И. Чуковский, «пришла в ужас... Тов. Оршер, мы вам доверяли, а вы ходите на свидания с эсерами и меньшевиками! Стыдитесь! Так до конца и не поняла, что такое дом свиданий»<sup>162</sup>.

Услугами ресторанной и гостиничной продажной любви в 1920-е годы стали пользоваться и советские «хозяйственники». В 1926 году в Ленинграде прошел шумный процесс по

делу Карточной фабрики. Предприятие возглавляли молодые люди, выдвинутые на свои посты партией большевиков. Однако соблазн растратить казенные средства оказался сильнее убеждений. Деньги, выданные на расширение производства, были истрачены на кутежи в ресторанах с публичными женщинами<sup>163</sup>. Сведения об этой категории клиентов нашли отражение в фольклоре торгующих собой женщин. В популярной в годы нэпа песне «Проститутка от бара» были следующие слова:

Меня купит растратчик богатый,  
И на Остров уеду я с ним.

В начале 1920-х годов в советской печати поддерживалась иллюзия «высокой нравственности» рабочего класса. Известный в то время журналист И. Лин, специализировавшийся на молодежной тематике, писал в 1923 году: «Торгуются с проститутками прилизанные молодые люди в пенсне, моноклях, в крепко заглаженных брючках, а рабочего парня там не найдешь...»<sup>164</sup> Желаемое в данной ситуации выдавалось за действительное. До революции значительная часть рабочих рассматривала контакты с продажными женщинами как норму досуга. Материальные трудности первых лет революции несколько изменили ситуацию. Стабилизация же экономического положения в середине 1920-х годов вернула многих к традиционным практикам повседневности, в том числе сексуальной жизни. Действительно, если в 1920 году, согласно данным опросов, к услугам проституток прибегали около 43% рабочих и 41,5% представителей других слоев городского населения, то в 1923-м продажной любовью пользовались 61% мужчин, трудившихся на фабриках и заводах, и 50% занятых в иных сферах экономики, в торговле и т.д.<sup>165</sup>

Многие рабочие, по свидетельству медиков и социологов, полагали, что «ходить к проституткам» и болеть венерическими болезнями — дело вполне обычное, доказательство

«молодечества»<sup>166</sup>. Анонимный анкетный опрос, проведенный в 1925 году среди московских рабочих, показал, что услугами уличных женщин пользуются 27% текстильщиков, 31,6% швейников, 42,3% металлистов, 78% печатников (последние были самой обеспеченной категорией рабочих). Такая же картина наблюдалась и в Ленинграде. Там в пролетарских районах в конце 1920-х годов складывался контингент постоянных потребителей продажной любви. Среди них, как отмечали авторы книги «Мелочи жизни», написанной по материалам обследования быта ленинградских окраин, можно было встретить «и мастера с "Треугольника", и безусого подростка с "Путиловского", и чернорабочего с "Веретена"...»<sup>167</sup>. Еще одно свидетельство прочных контактов «пролетарской массы» с институтом продажной любви — уровень распространения венерических заболеваний. Анкетирование 5600 больных сифилисом мужчин, проведенное в Ленинграде в апреле 1927 года, показало, что половина из них — рабочие, 19% — безработные, 11% — служащие, около 3% — крестьяне и 18% принадлежат к остальным социальным слоям. Начали половую жизнь с проститутками 31% опрошенных, а имели сношения с ними в дальнейшем подавляющее большинство анкетированных — 74%. Своеобразным показателем дальнейшей «демократизации» потребителей проституции могут служить и данные о местах заражения сифилисом и гонореей. В 1920-е годы заражались этими болезнями прежде всего те, кто имел половые сношения с продажными женщинами прямо на улице, на скамейке в парке. Конечно, советские чиновники и нэпманы в этих местах не появлялись. Потребители же дешевой любви, не располагавшие большими средствами, не брезговали такой обстановкой.

Таким образом, даже разрозненные, иногда косвенные материалы все же подтверждают тот факт, что во второй половине 1920-х годов социальные характеристики стороны спроса на услуги публичных женщин стабилизировались. Как и до

революции, основную массу потребителей составил так называемый средний слой, подавляющее большинство в котором представляли квалифицированные рабочие. Для них контакты с проститутками являлись бытовой нормой.

К сожалению, ничего определенного нельзя сказать о мужчинах, пользовавшихся продажной любовью в эпоху большого стиля. Социологические исследования, выявляющие проблему клиентов института проституции, уже не проводились, обходит молчанием этот вопрос как документальный, так и художественный нарратив. Тем не менее спрос на услуги института продажной любви, хотя и тщательно скрывааемый, на самом деле не мог уменьшиться на фоне гигантских территориальных перемещений и тех сложных процессов, которые происходили в советском обществе в области сексуальности. Несмотря на официальное преследование института продажной любви, развернувшееся с 1929 года, власти сквозь пальцы смотрели на почти профессиональных проституткок, «работавших» в крупных советских морских портах, и в первую очередь там, где действовали магазины системы «Торгсин». О «жрицах продажной любви» с возмущением писали в Коминтерн иностранные моряки, прибывавшие в СССР<sup>168</sup>. Косвенные данные об этой проблеме в конце 1930-х годов можно встретить в совершенно неожиданных источниках. О проституции, а следовательно, и о ее потребителях свидетельствуют, например, материалы одного из совещаний в ЦК ВЛКСМ в декабре 1937 года, посвященного вопросам борьбы с «врагами народа». А.В. Косарев, тогда первый секретарь ЦК комсомола, проанализировав систему исключения из рядов Коммунистического союза молодежи, отметил, в частности, что многие девушки, лишённые комсомольских билетов, теряли работу и нередко вставали на путь проституирования, легко находя себе клиентов из числа «неустойчивых в классовом отношении» лиц<sup>169</sup>.

До революции походы в публичные дома, в рестораны и трактиры, где можно было встретить продажных женщин,



рассматривались многими мужчинами как некая форма проведения досуга. Подобные практики частично сохранились в условиях нэпа. В 1930-е, когда резко изменился стиль повседневной жизни, контакты с представительницами продажной любви осуществлялись сугубо тайно. Это не могло не сказаться на ощущении моральной и физической нечистоплотности содеянного. Растворение проституток в стабильных социальных слоях приводило к тому, что мужчины, обладающие повышенной сексуальной активностью, теряли чувство меры в обращении с женщинами, не склонными ни к какой распущенности.

Административно-медицинские меры, которые царское правительство принимало в отношении проституции, в определенной степени можно расценивать как форму «милости к падшим»: здоровье и безопасность потребителей сексуальных услуг охранялись Врачебно-полицейским комитетом. Новая социалистическая мораль, принципы которой оказались во многом созвучны религиозным установкам, резко осуждала сторону спроса и даже была склонна возложить на нее всю ответственность за существование проституции в условиях советской действительности.

Уже в 1918 году в Петрограде по инициативе одного из районных органов власти было решено наказывать «развратников и соблазнителей штрафом до 1 тыс. рублей и арестом с принудительными работами сроком до 1 месяца с опубликованием о сем в газетах»<sup>170</sup>. Впоследствии критика потребителя проституции велась в контексте идей солидарности трудового коллектива и его интересов. «Мужчина, купивший ласки женщины, уже перестает в ней видеть равноправного товарища», — заявляла А.М. Коллонтай, подразумевая прежде всего совместные усилия, осуществляемые в условиях всеобщей трудовой повинности<sup>171</sup>. Рассматривая проституцию лишь как наследие капитализма, новые идеологические структуры пытались — во всяком случае, в первой половине 1920-х годов — снять с продажных женщин ответственность



за их поведение. Так, в 1924 году заведующий венерологической секцией Наркомата здравоохранения известный врач В.М. Броннер заявил в интервью «Рабочей газете»: «Основное положение, из которого мы исходим при построении нашей работы, — это то, что борьба с проституцией не должна быть заменена борьбой с проституткой. Проститутки — это только жертвы или определенных общественных условий, или тех мерзавцев, которые втягивают их в это дело»<sup>172</sup>.

Такая постановка вопроса была явно чревата политизированным отношением к проблеме спроса на проституцию. Не случайно участники II Пленума ЦКК, проходившего осенью 1924 года и посвященного проблемам партийной этики, вполне серьезно спорили о том, может ли коммунист пользоваться услугами продажных женщин и как это сочетается с его идейными воззрениями<sup>173</sup>. Любопытно, что при задержании гражданина, вступившего в связь с проституткой, органы правопорядка прежде всего выясняли его партийность. Об этом свидетельствуют тексты спецсообщений, которые работники милиции пересылали в райкомы ВКП(б). В одном из них, отправленном в июне 1923 года начальником 6-го отделения петроградской милиции в Володарский райком РКП(б), говорилось: «При сем сопровождается регистрационная карточка за № 14244, составленная на члена Р.К.П. тов. Архипова Николая за нахождение в номерах "Перепутья" с девицей легкого поведения»<sup>174</sup>. Такой документ, как правило, служил поводом к исключению из партии. Нередко власти пытались переложить на потребителей значительную долю ответственности, в том числе и уголовной, за вовлечение «невинных жертв» в «грех» продажи своего тела. В начале 1924 года на заседаниях Ленинградского губсовета по борьбе с проституцией с негодованием отмечалось, что после скандалов, учиненных пьяными компаниями в ресторанах, милиция задерживает лишь гулящих девиц, а мужчин оставляет в покое. В связи с этим венерологическое отделение Ленинградского здравотдела предложило:

мужчину, виновного «в приставании к женщине», привлекать к ответственности за хулиганство, а обращающегося с целью разврата к своднику — за пособничество в сводничестве<sup>175</sup>. В определенной степени это предложение можно истолковать как еще одно из проявлений правового хаоса, царившего в Советской России. Следует отметить, что в отсутствие легальной проституции положение ее потребителя становилось более уязвимым, чем в царской России. Мужчина обязан был сдерживать проявления своей сексуальной активности. Но, судя по всему, большинство населения в 1920-е годы не могло еще смириться с мыслью о полной ликвидации официального института продажной любви. Обращение к его услугам было своеобразной поведенческой нормой для определенной части горожан, и попытки введения любой системы наказания за это вызывали недоумение и сопротивление. Однако властные и идеологические структуры продолжали наступление на потребителя проституции.

В начале 1925 году «Рабочая газета» организовала инсценировку суда над проституткой, заразившей венерической болезнью рабочего. Суд вынес суровый приговор содержательнице притона, а проститутке и рабочему — общественное порицание. Газета открыла дискуссию по данному процессу. Редакция предлагала применять к потребителям, в зависимости от частоты их обращения к проституткам, следующие меры: товарищеское порицание или выговор, огласку в печати, общественный открытый суд. А члены Центрального совета по борьбе с проституцией требовали даже лишать мужчин, обратившихся к проституткам, избирательных прав.

И все же правовых методов воздействия на сторону спроса выработать не удалось. Возможно, это объяснялось и тем, что значительную часть потребителей проституции составляли рабочие. Привлечение их к уголовной ответственности за контакты с продажными женщинами могло разрушить миф о моральном облике господствующего класса советского общества.

Но в целом идея карательных мер в отношении стороны спроса не погибла. Так, женский отдел Ленинградского обкома ВКП(б) поставил в 1928 году вопрос о распространении на мужчин-клиентов статьи Уголовного кодекса о наказании за принуждение женщины к проституции. Районные же совещания по борьбе с проституцией предложили о случаях обращения к женщинам легкого поведения «сообщать на фабрики и объявлять на общих собраниях в присутствии жен». «Эта жестокая мера — общественный и политический расстрел», — говорили сами инициаторы данного метода<sup>176</sup>. Кроме этого, только в феврале 1929 года в городе за развлечения с «девочками» сняли с работы 32 человека и еще 62 наказали более сурово, вплоть до высылки.

Но уже в 1930-е столь масштабные кампании не проводились. Одновременно в сознание населения внедрялся стереотип причисления представителей стороны спроса к классовым врагам. Известный публицист и социолог Д.И. Ласс, например, писал в 1931 году: «Надо вскрывать лицемеров, которые под прикрытием громких революционных фраз совершают контрреволюционные поступки, прибегая к услугам проституции. . .»<sup>177</sup> Эта установка надолго парализовала ментальность советских людей, которым активно внушалась мысль о том, что любые формы девиантности, в том числе и контакты с проститутками, свойственны лишь неполноценным в классовом отношении людям.

В определенной мере подобная идея являлась продолжением концепций вульгарного феминизма и воинствующего аболиционизма начала XX века. Но в советском государстве она была возведена в ранг официальной политики. На фоне насильственной деэротизации общества все это вело к тому, что люди с повышенной сексуальностью нередко разрешали свои проблемы противоправным способом: принуждали к сожительству женщин, находившихся в служебной или материальной зависимости от них, прибегали к изнасилованиям и т.д.

Конечно, подобные действия наказывались советскими законами. Таким образом, социалистическое государство выразило свою абсолютную непримиримость по отношению к потенциальным потребителям проституции. В дореволюционной России законодатель, конечно, не поощрял развитие сексуальных услуг, но относился к ним терпимо. Действовавшая одновременно система социальной реабилитации падших женщин в определенной мере гарантировала хоть какие-то права проституткам в условиях легализованной торговли любовью. Логично предположить, что в ситуации юридического отрицания каких-либо прав потребителя проституции женщина, вовлеченная в сексуальную коммерцию, должна была пользоваться особыми условиями для адаптации к нормальной жизни. Однако в реальности все было значительно сложнее.

### *Надежды и крах советского милосердия*

Филантропическую линию в системе новых властных структур, соприкасавшихся с институтом продажной любви, в годы военного коммунизма поддерживали медики. Инициатива исходила из Петрограда, где еще помнили традиции реабилитационной работы Врачебно-полицейского комитета. Уже в 1918 году врачи-венерологи с дореволюционным стажем — профессора С.Я. Кульнев и Ф.А. Вальтер — создали в Петрограде при Комиссариате здравоохранения Союза коммун Северной области Венерологический совет. Члены совета протестовали против попыток административных органов проводить практику облав на женщин, якобы торговавших собой. В результате, как указывалось в протоколе одного из заседаний совета, «на улицах и вокзалах... попадаются женщины, неповинные в занятии проституцией, часто даже семейные»<sup>178</sup>. В конце августа 1918 года петроградские врачи организовали Собрание по вопросу о борьбе с проституцией.

Это была первая подобная специализированная организация в Советской России. В конце 1919 года появился центральный орган, занявшийся медико-социальными проблемами продажной любви, — межведомственная комиссия по борьбе с проституцией. Петроград стал и первым крупным российским центром, где была предпринята попытка более или менее серьезной работы по созданию условий для возвращения проститутки к нормальной жизни и предотвращению вовлечения нового контингента женщин в сексуальную коммерцию. Уже осенью 1922 года в городе была открыта школа-санаторий для детей-сифилитиков и специализированный женский ночлежный дом<sup>179</sup>. А уже позднее, в декабре 1922 года, был опубликован циркуляр ВЦИК, положивший начало государственной благотворительной помощи проституткам во все-российском масштабе. В Москве появился Центральный совет по борьбе с проституцией во главе с народным комиссаром здравоохранения Н.А. Семашко. Его заместителем стал профессор В.М. Броннер. В совет вошли представители ВЦСПС, наркоматов труда, юстиции, внутренних дел, женотдела ЦК ВКП(б), комсомола.

В составе Центрального совета явно преобладали сторонники гуманных, филантропических методов. Вероятно, поэтому одним из первых своих распоряжений совет обязал милицию не производить облав, не подвергать женщин, подозреваемых в торговле собой, принудительному освидетельствованию и вообще не использовать насильственных действий. Подобный подход охранял права женщины в отсутствие каких-либо законодательных актов, карающих занятие проституцией, защищал ее от произвола административных органов. Одновременно совет выступал за предоставление некоторых привилегий бывшим проституткам. Он, судя по информации в журнале «Коммунист» за 1922 год, с одобрением отнесся к опыту Витебской комиссии по борьбе с проституцией, которая обязала предприятия предоставлять в первую

очередь места на производстве и квартиры не работницам с малолетними детьми, а гулящим девицам, чтобы отвлечь их от своего ремесла. Подобную практику предлагалось распространить по всей стране.

Петроградский совет по борьбе с проституцией начал работать с 1 марта 1923 года. Ему пришлось сразу же выдерживать несколько острых конфликтов с милицией, упрямо продолжавшей устраивать массовые облавы на проститутков в гостиницах, ресторанах, на улицах, арестовывать их и выселять из квартир. Одновременно губернский совет начал разворачивать свою просветительскую деятельность. К ней были привлечены известные специалисты, в частности Ф.А. Вальтер, имевший богатый опыт работы еще в Российском обществе защиты женщин. Популярными становились чтения классической художественной литературы о судьбах проститутков в царской России: «Ямы» А.И. Куприна, «Тьмы» Л.Н. Андреева и т.д. Совет проводил лекции о возможных последствиях связи с проститутками. В 1924 году на предприятиях и в организациях города было прочитано 250 лекций о венерических заболеваниях, которые посетили почти 20 000 человек. Началось издание агитационных листовок, брошюр.

Но самой реальной благотворительной инициативой было налаживание медицинской помощи женщинам с венерическими заболеваниями. Первые бесплатные вендиспансеры были образованы в 1923-1925 годах. Особой известностью пользовалось учреждение, открытое в Ленинграде на базе знаменитой Калинкинской больницы, которая получила имя крупного российского венеролога В.М. Тарновского. После 1917 года ее возглавлял С.Я. Кульнев. «Тарновская больница» просуществовала до 1934 года. Позднее на ее базе был создан Ленинградский кожно-венерический институт. Он, к сожалению, утратил имя Тарновского, которое сохранил фольклор — песни, популярные в 1920-е годы в среде гулящих женщин. Одно из таких произведений заслуживает полного

цитирования. Песня рассказывает не только о деталях лечения сифилиса, но и о том, что половину проституирующих женщин на рубеже 1920-1930-х годов составляли крестьянки<sup>180</sup>. Это был результат насильственной коллективизации.

Прощай, Тарновская больница,  
Прощай, железная кровать,  
На ней лежать одно мученье,  
Укол, вливанья принимать.  
Укол, вливанья принимаю,  
Раствором горло полощу,  
Во рту я язву прижигаю,  
Проклятый сифилис лечу.  
Пропал мой нос, пропало горло,  
Пропала русая коса,  
Пропала легкая походка,  
Пропала девица-краса.  
Ах ты, мать моя родная,  
Зачем на свет ты родила,  
Судьбой несчастной наградила,  
Халат Тарновского дала?  
Халат Тарновский презирают,  
Нигде прохода не дают  
И безо всякого стеснения  
Все сифилиткою зовут.  
Теперь в деревню не поеду,  
Боюсь родных я заразить,  
Я остаюсь в Ленинграде  
Проклятый сифилис лечить<sup>181</sup>.

Сторонникам благотворительности по-большевистски казалось важным решать также и проблемы трудоустройства женщин, замешанных в сексуальной коммерции. Уже в апреле 1923 года Петроградский совет по борьбе с проституцией

разослал руководителям предприятий циркуляр, рекомендовавший соблюдать осторожность при увольнении молодых женщин или в крайнем случае устраивать для них артели, а также принял решение о создании общежитий для безработных и проведении правовых консультаций. Правда, на практике удалось осуществить немного. Совет не имел собственных средств, исполнительного аппарата и принимал только рекомендательные решения, которые зачастую не выполнялись.

К 1925 году Ленинградский губернский совет по борьбе с проституцией, как и многие советы в других регионах, почти на два года приостановил свою деятельность. Но в 1927 году повсеместно стал претворяться в жизнь циркуляр Центрального совета об организации трудовых профилакториев при венерических диспансерах. Возобновление в 1927 году борьбы с проституцией началось, конечно, с агитационно-пропагандистских кампаний, организации лекций, диспутов, показа кинофильмов и т.д. Немного позже власти приступили к реальной работе по оказанию социальной помощи женщинам, вовлеченным в торговлю телом. В Ленинграде, например, в 1928 году в одном из районов прошло обследование 700 особ, занимавшихся проституцией. 128 из них была предоставлена работа, 114 женщин, оказавшихся серьезно больными, отправили на лечение в венерологическую больницу им. Тарновского, несовершеннолетних передали в общество «Друг детей» и т.д. Всего в городе в 1928 году трудоустроили более 300 гулящих женщин и 17 предоставили жилплощадь.

Однако благотворительная деятельность при отсутствии законодательства, квалифицировавшего признаки поведения женщины как продажной особы и, соответственно, определявшего ее статус в обществе, имела совершенно непредсказуемые последствия. Некоторые безработные или просто малообеспеченные женщины, зная о льготах, предоставляемых проституткам, выдавали себя за продажных особ, на самом деле не



занимаясь сексуальной коммерцией. Об этом свидетельствует один из протоколов заседания совета Московско-Нарвского района Ленинграда весной 1929 года, а именно заявление некой гражданки У. Она ходатайствовала о предоставлении пособия, так как «буквально голодает, живет в очень тяжелой обстановке, одинаково близка и к самоубийству, и к проституции». Гражданке У. помогли. Однако на том же заседании из 15 рассмотренных аналогичных заявлений 7 отклонили ввиду того, что у их подательниц, по мнению совещания, «признаков проституции нет»<sup>182</sup>. Более того, тех женщин, которым удавалось выдать себя за проститутку и таким образом трудоустроиться, с позором увольняли с работы и исключали из профсоюза.

Несмотря на попытки изобразить проститутку невинными жертвами обстоятельств, широкие слои горожан относились к ним в основном с презрением и отвращением. Именно поэтому в советской благотворительной политике во второй половине 1920-х годов возобладало стремление к возрождению специализированных заведений, деятельность которых была бы направлена на постепенную социальную адаптацию падших женщин к новым условиям. Таковыми по идее и должны были стать лечебно-трудовые профилактории, первый из которых начал действовать в конце 1924 года в Москве. Женщины сюда приходили сугубо добровольно. С 1927 года лечебно-трудовые профилактории стали возникать повсеместно.

В мае 1928 года решение об организации первого такого учреждения на 100 мест с пошивочными и трикотажными мастерскими принял президиум Ленсовета. Предполагалось, что женщины будут находиться здесь 4 месяца, после чего их обеспечат постоянной работой и жильем. Открылся профилакторий в ноябре при вендиспансере Центрального городского района. Первоначально пациентки туда приходили добровольно по путевкам диспансеров и венерологической

больницы им. Тарновского. Принимались исключительно безработные и больные сифилисом или гонореей проститутки, предпочтительно не старше 25-30 лет. Здоровым безжалостно отказывали, говоря: «Ты не больна, когда заразишься, тогда примем тебя»<sup>183</sup>.

В июне 1929 года власти города решили расширить существующий трудпрофилакторий до 200 коек, а затем создать второй — в Московско-Нарвском районе. Однако к этому времени статус таких лечебно-воспитательных учреждений начал меняться: медиков в руководстве профилакториев постепенно вытесняли партийные функционеры. Так, например, в Ленинграде с весны 1929 года лечебно-воспитательным заведением для проституток стала заведовать жена С.М. Кирова — М.Л. Маркус. Причины, толкнувшие ее на этот поступок, остаются полной загадкой. Отчасти работу в профилактории можно рассматривать как своеобразную форму сублимации. Маркус, ранее нигде не работавшая и, судя по всему, не слишком психически здоровая, проявляла завидное трудовое рвение. Она задерживалась в профилактории до глубокой ночи, и С.М. Киров часто заезжал за ней на машине. Он явно потворствовал занятиям жены, странным для женщины, не имевшей ни медицинского, ни педагогического, ни юридического образования. Под непосредственным контролем Кирова в октябре 1929 года Ленинградский обком ВКП(б) принял специальное решение «О борьбе с проституцией», на основании которого контингент профилактория был расширен до 300 человек. Впоследствии предполагалось довести число пациенток до 1000! Такая гигантомания, вполне созвучная с «громადьем» общего плана построения социализма, полностью исключала сугубо индивидуальный подход к женщинам, торговавшим собой. Наилучшим приемом работы с контингентом профилактория, судя по воспоминаниям бывшего дезинфектора учреждения Д.В. Шамко, Маркус считала «большевистское слово и примеры из жизни революционеров». Она старалась вовлечь

подопечных в активную политическую жизнь: демонстрации, митинги, собрания. 1 мая 1929 года она даже вышла во главе колонны профилактория на манифестацию. Однако эти приемы воспитания, не содержавшие никаких медико-реабилитационных элементов, не принесли ожидаемых плодов. Кроме того, женщин, пытавшихся порвать с сексуальной коммерцией, явно раздражали увещевания Маркус, особы немолодой, весьма непривлекательной внешне, кроме того, принадлежавшей к элитарным слоям большевистского общества. Это приводило к эксцессам. Д.В. Шамко весьма выразительно описал эксцесс, ставший типичным для диспансера на Большой Подъяческой. Несмотря на вольность сюжета, имеет смысл процитировать отрывок из воспоминаний без купюр. «Один раз проститутки затащили в комнату швейцара профилактория и начали предлагать провести время с любой, когда он отказался, они его раздели догола и стали искусственно возбуждать к половой потребности. Когда он от них хотел выпрыгнуть (с третьего этажа), то они не дали это ему осуществить, под общий хохот объяснили свой поступок тем, что их не выпускают в город, а у них большая потребность и нужда в мужчинах»<sup>184</sup>. Маркус, конечно, не была готова к подобным ситуациям ни эмоционально, ни профессионально.

Рассказы о скандалах на Большой Подъяческой, в которых упоминалось имя жены первого секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКП(б), дошли и до Москвы. Летом 1930 года в Ленинград приехал Г.К. Орджоникидзе. Под его давлением Мария Львовна покинула профилакторий, работа в котором, по признанию родных, сильно раскачала ее психическое здоровье. После ухода Маркус с поста заведующей диспансером для падших женщин он был переведен в Лодейное Поле, в 140 км от Ленинграда, и превращен в колонию со строгим режимом. История ленинградского диспансера отражает общие перемены в нормативных суждениях советской государственной системы.

В начале 1920-х годов, которые можно назвать своеобразной «эрой советского милосердия», были и попытки возродить некоторые формы общественной благотворительности. В сентябре 1929 года один из постоянных авторов журнала «Вестник современной медицины» заявил: «Мы в конце концов приходим к единственному выходу — необходимости создания общества, имеющего целью борьбу с проституцией»<sup>185</sup>.

Действительно, в некоторых городах при фабрично-заводских профсоюзных и комсомольских организациях появились ячейки общества по борьбе с проституцией. В них записывали всех подряд на основе так называемого коллективного членства. В 1927 году секретарь Московского комитета ВЛКСМ А.В. Косарев посетил завод «Геофизика». Из бесед с комсомольцами он узнал, что одному пареньку навязали в качестве общественного поручения проведение разъяснительной работы среди женщин легкого поведения. Товарищи над ним посмеивались, называли «шефом над девицами»<sup>186</sup>. В Ленинграде, где согласно постановлению бюро секретариата обкома ВКП(б) от 7 октября 1929 года было решено «привлечь к борьбе с проституцией широкую пролетарскую общественность и, главное, рабочую молодежь»<sup>187</sup>, на молодых людей возлагалась обязанность выслеживать женщин, торговавших собой, и направлять их в трудовые профилактории. Однако, как вспоминал позднее один из сотрудников профилактория на Большой Подьяческой, некоторые «активисты» общества по борьбе с проституцией знакомились со своими подопечными и с наиболее шикарными из них даже устраивали в ресторанах настоящие «афинские ночи»<sup>188</sup>. Некто Грушевский, сотрудничавший на общественных началах в ленинградском трудовом профилактории, был даже привлечен за это к уголовной ответственности. В доме предварительного заключения его сокамерником оказался известный краевед Н.П. Анциферов, который впоследствии вспоминал:

«Грушевский... обвинялся в принуждении к сожительству с ним проститутки. Его похождения напоминали мне рассказы Эвколпия (так у Анциферова, правильно — Энколпий. — *Н.Л.*) из "Сатирикона" Петрония. Бурный сочувственный смех вызвал его рассказ о проститутке, прозванной "Аэроплан", которая, отбиваясь от милиционеров, пытавшихся схватить ее, так ловко ударяла носком своей туфельки между ног "мильтонов", что те с воем падали на пол и корчились на полу ресторана. Показаний свидетельницы "Аэроплан" очень опасался Эвколпий-Грушевский, но на суде она вела себя неожиданно. Одетая во все черное, молчаливая и показания дала в пользу обвиняемого»<sup>189</sup>.

Это, конечно, курьез, но он, как представляется, достаточно красноречиво иллюстрирует беспомощность советского милосердия на общественных началах. Попытки привлечения широких масс к борьбе с торговлей любовью бесславно закончились на рубеже 1920-1930-х годов. Работа государственной благотворительности — лечебно-трудовых профилакториев для проститутки — оказалась более эффективной. Так, например, в Москве в 1926 году после пребывания в профилакториях города к прежнему ремеслу вернулось всего 35% женщин. В дореволюционной России эта цифра была вдвое больше<sup>190</sup>. К 1929 году лечебно-трудовые профилактории имелись уже в 15 городах страны. Но к этому времени советское милосердие начало претерпевать серьезные изменения.

### *Воспитание по-свирски*

К концу нэпа филантропия как норма государственного отношения к институту продажной любви уступила место репрессивной политике. Уже летом 1929 года, после принятия постановления ВЦИК и СНК РСФСР «О мерах по борьбе с проституцией», начался явный переход к насильственному

уничтожению института продажной любви. Справедливости ради следует сказать, что в документе излагалась и программа социально-реабилитационных мероприятий, включавшая «усиление охраны труда женщин, создание условий для получения ими квалификации, обеспечения работой» и т.п. Но главный смысл постановления сводился к следующему: «приступить в 1929-1930 году к организации учреждения трудового перевоспитания для здоровых женщин, вовлеченных в проституцию или стоящих на грани таковой (трудовые колонии, мастерские, производственные мастерские и пр.), в соответствии с пятилетним планом развития народного хозяйства и издать положение о деятельности указанных учреждений»<sup>191</sup>. Подозреваемых в проституции женщин отправляли в подобные заведения принудительно, во внесудебном порядке. Это был мощный и, что самое важное, законодательно закрепленный удар по советскому милосердию.

Распоряжения центральных властей стали рьяно исполняться на местах. В Ленинграде, например, уже в начале октября 1929 года секретариат обкома ВКП(б) постановил создать в городе казармы для безработных женщин и мастерские с особым режимом<sup>192</sup>. При этом сами особы легкого поведения маркировались не как жертвы, а как носители девиантного начала. В стране развернулось плановое уничтожение «продажной любви» — социальной патологии, несовместимой с социалистическим образом жизни. В то же время государство преследовало и другую цель. Собирая проститутток в спецучреждениях и насильно заставляя их работать, оно покрывало потребность в дешевой, почти даровой рабочей силе. Определенным доказательством этого служат «Директивы по контрольным цифрам на 1930-1931 года в части борьбы с социальными аномалиями». Указанный документ предусматривал ряд мер в области борьбы с беспризорностью, алкоголизмом, профессиональным нищенством и проституцией. Представителей всех перечисленных социальных слоев, и в первую

очередь проституток, следовало организованно вовлекать в производство<sup>193</sup>. Таким образом, гулящие женщины рассматривались как составная часть трудовых ресурсов.

На рубеже 1920-1930-х годов эра советского милосердия, по сути, закончилась. Партийные публицисты призывали: «Всех социально запущенных и отказывающихся от работы проституток следует рассматривать как дезертиров трудового фронта, как вредителей нашего строительства. Для них остается единственный путь исправления — изоляция и принудительное перевоспитание»<sup>194</sup>. В 1930-1931 годах произошла реорганизация всей системы борьбы с проституцией. Новые задачи и методы потребовали новых людей и учреждений. За короткий срок была сломана прежняя разветвленная устойчивая структура, начиная с Центрального совета по борьбе с проституцией вплоть до районных советов в городах. Уже в 1930 году Наркомат здравоохранения вынужден был в директивном порядке передать инициативу по решению этих проблем Наркомату социального обеспечения (НКСО). На первых порах НКСО попытался заниматься научными исследованиями в сфере ликвидации социальных аномалий, к которым была причислена и проституция. В Москве в 1931 году был создан Центральный институт труда и инвалидов (ЦИТИН), в задачу которого входило изучение общественных аномалий и разработка методики борьбы с ними. А в 1932 году филиал этого учреждения заработал в Ленинграде (ЛИТИН).

На практике борьбой с проституцией стали заниматься областные отделы соцобеспечения, по возможности помогая бездомным и беспризорным женщинам. Им иногда выдавали денежные пособия и талоны на обед, обеспечивали работой, ночлегом, а приезжих бесплатно отправляли на родину. В июне 1930 года в виде опыта в Ленинграде открылся пункт социального патронажа при Московском областном отделе соцобеспечения. К 1 сентября через него прошло 400 женщин: 40% прислали с вокзалов, 20% — из ночлежных домов,



15% — из отделений милиции, 5% — из загсов, а 20% пришли по собственной инициативе. Помогли практически всем женщинам — 60% направили на работу, 20% предоставили ночлег, 15% выдали необходимые справки, а 5% оказали материальную помощь для возвращения на родину. Этот опыт власти признали удачным. И в сентябре 1930 года НКСО постановил создать систему социального патронажа во всех областных центрах<sup>195</sup>.

Действительно, вскоре подобные учреждения появились и в других городах. Но они были лишь небольшим звеном в новой государственной системе борьбы с проституцией. Она предполагала организацию приемников-распределителей в крупных городах для рассортировки «соцаномаликов» по различным артелям, мастерским открытого типа, полузакрытым трудпрофилакториям и, наконец, загородным колониям специального режима. В случае рецидива после освобождения из колонии женщин порой отправляли в лагеря НКВД. В октябре 1931 года НКСО утвердил типовое положение об организации отделами соцобеспечения специальных учреждений принудительного трудового перевоспитания. А менее чем через три месяца в РСФСР уже имелось 3 ночлежных дома на 300 мест для «соцаномаликов», 2 приемника-распределителя на 324 места, 12 различных трудовых учреждений открытого типа для 723 человек и 3 колонии, рассчитанные на 3075 «перевоспитуемых»<sup>196</sup>. Крупнейшими из них считались трудовая колония в Загорске (ныне Сергиев Посад), в здании Троице-Сергиевой лавры под Москвой, на 1000 человек и Свирская колония в Ленинградской области, предназначенная для 1500 профессиональных нищих и проституток. История этой колонии — классический пример выкорчевывания идей «милости к падшим», милосердия, благотворительности из практики советской социальной политики в период большого стиля.

Свирская колония образовалась на базе первого ленинградского трудового профилактория, который вначале был просто переселен за черту города — в пустующие здания



Александров-Свирского монастыря близ Лодейного Поля. В феврале 1931 года благотворительное советское учреждение преобразовали в колонию строгого режима. Она получила название трудпрофилактория № 2 и предназначалась для единовременного содержания 1500 человек. Режим в колонии был действительно строгим. В учреждении действовала жесткая система наказаний: лишение обеденного пайка на несколько дней и права прогулок. В колонии существовал карцер, а воспитатели не брезговали применять к своим подопечным и физическую силу. Просто ужасающими были бытовые условия: в одном помещении, рассчитанном на 15 человек, ютилось по 40-50 женщин, спали они по двое на кровати, а нередко и на полу. Баня в колонии появилась через год после официального открытия воспитательного заведения, а мыло колонисткам стали выдавать еще позже. Неудивительно, что многие из них именно здесь заразились педикулезом и различными кожными заболеваниями, не говоря уже о венерических. Медперсонал, которого не хватало, не справлялся со своими обязанностями. Комиссия, проверявшая работу колонии в 1932 году, выяснила, что ее руководитель пьянствовал и принуждал к сожителству воспитанниц. Эффективность работы колонии оказалась очень низкой. Уже в январе 1933 года ленинградские власти вынуждены были отметить, что освобожденные оттуда проститутки в городе «встречаются со своими подругами, и моментально те затягивают их обратно... несмотря на то, что за ними ведется патронаж, как они работают и как держат себя в быту»<sup>197</sup>.

В середине 1930-х и среди медиков и социальных работников, призванных профессионально заниматься реабилитацией так называемых «соцаномаликов», обострился психоз классовой борьбы. На страницах газет и журналов стали появляться заметки и статьи, где встречались, к примеру, такие сентенции: «Маневры классового врага самые разнообразные, он не брезгует ничем. Между тем в области социального обеспечения низовые органы собеса маневры классового врага

проглядели... Старый буржуазный принцип "благотворительности и милостыни" так и витает вокруг этих вопросов... Где борьба с социальными проблемами? Где политический анализ этой работы? Где классовая бдительность?»<sup>198</sup> Робкие попытки возражать против мер административно-репрессивного характера не возымели действия. Ведь в борьбу включилось всемогущее ОГПУ, которое считало, что ликвидация традиционных общественных патологий, к числу которых относилась и проституция, — его прямая прерогатива.

Неудивительно, что ОГПУ решило отнять здания и угодья бывшего Александро-Свирского монастыря у профилактория и использовать для своих нужд, в частности для Свирских лагерей ОГПУ, заключенные которых строили на реке Свирь каскад ГЭС. Представитель всеильного ведомства в Ленинграде И.В. Запорожец мотивировал притязания своего ведомства следующим образом: «Трудпрофилакторий по размерам своих средств и количеству населения совершенно не в состоянии использовать огромную площадь зданий монастыря, и эти здания постепенно разрушаются. По этим причинам из-за бесхозяйственного ведения дела сельское хозяйство трудпрофилактория дает убытки и трудпрофилакторий все время живет на дотации Ленгорсобеса. Почти вольное существование содержащихся в трудпрофилактории женщин (сифилитичек) способствует и их общению с лагерными континентами, что с точки зрения воспитательных задач самого трудпрофилактория неприемлемо»<sup>199</sup>. На какое-то время удалось все же сдержать превращение Свирской колонии в лагерно-тюремное учреждение. Тогдашнее руководство НКВД отправило в адрес руководителя Ленсовета И.Ф. Кадацкого письмо следующего содержания: «Задачи борьбы с явлениями нищенства, проституции и т.д. правительством возложены на органы СО. Эти явления далеко не изжиты до настоящего времени, в особенности в таких крупных городах, как Москва, Ленинград и другие. Всякого рода высылки из крупных

городов этих контингентов и т.п. меры являются совершенно нереальными, не достигающими цели. Лишение свободы этих людей в целях изоляции, поскольку они не совершали каких-либо преступных действий, было бы неправильной мерой, поэтому единственно правильным и эффективным способом возвращения этих людей к трудовой жизни является их трудовое воспитание... (надо. — Н.77.) принять все меры к тому, чтобы колония не была ликвидирована, а, наоборот, продолжала свою работу...»<sup>200</sup> И все же, несмотря на отсрочку, судьба Свирской колонии была предопределена.

Долгосрочная программа борьбы с проституцией была практически свернута повсеместно. В то же время государство продолжало использовать соцаномаликов, в том числе и проституток, как источник дешевой трудовой силы. В отчете Ленинградского городского отдела соцобеспечения за 1933 год отмечалось, что значительное число здоровых проституток группами направляется специальными органами на работу в колхозы и на новостройки в принудительном порядке. Минусы такой практики были очевидны. В 1934 году известный медик и педагог П.И. Люблинский, отмечая, что среди женского контингента из этих групп наблюдается занятие проституцией и на новом месте, резонно предупреждал: «Нет никаких гарантий и того, что, направленные на работу против их желаний, соцаномалики не разбегутся при первой же представившейся им возможности»<sup>201</sup>.

Одновременно колонии НКСО также все отчетливее проявляли себя в качестве не воспитательных, а принудительно-трудовых учреждений. В ноябрьском номере «Социального обеспечения» за 1934 год говорилось, что в большинстве таких заведений срок пребывания доходит до 5 лет, воспитуемые фактически представляют собой только рабсилу, а их «педагоги» — надзирателей. Не составлял исключения и Свирский учебно-производственный комбинат — так стала называться колония, — который комплектовался за счет почти

всех республик СССР. Хозяйство колонии, несмотря на постоянное производство там различной вполне реализуемой продукции, не только продолжало оставаться убыточным, но и требовало постоянных дотаций. В связи с этим руководство решило усилить интенсивность труда воспитуемых, отправив женщин на лесоповал. Ужесточение эксплуатации вызвало сопротивление контингента колонии. В докладе специальной бригады Ленсовета по обследованию условий работы соцаномаликов от 10 ноября 1935 года приводились такие факты: «На Свири, куда посылают всех, дело поставлено скверно. Там производственная колония — совхоз, где никакой воспитательной работы не ведется и высланным приходится исполнять тяжелую физическую работу, иногда совершенно непривычную. Из Свирской колонии бегут обратно в город, в прошлом году — до 100 человек»<sup>202</sup>. Лишь 10% освобожденных из колонии женщин вели добропорядочный образ жизни, остальные возвращались к прежним занятиям.

Планы насильственно сделать Свирскую колонию доходным предприятием потерпели крах. Обстановка на комбинате ухудшалась. Результаты его обследования в июне 1936 года выявили, что из 556 воспитуемых 134 женщины имели венерические заболевания, 93 из них были сифилитичками. По существу, заведение превратилось в очаг заразы не только для ее обитателей, но и для местных жителей. Врач-венеролог на комбинате отсутствовал, питание было плохим и т.п. Неудачными оказались и эксперименты с принудительным отправлением выпускников колонии на дальние новостройки, например в 1935 году в Хибиногорск на Кольском полуострове.

После принятия сталинской конституции в 1936 году работа с «соцаномаличками», так в официальных советских документах стали называть падших женщин, полностью была передана в ведение НКВД. В октябре 1937 года СНК РСФСР принял специальное постановление о ликвидации всех учебно-производственных комбинатов Наркомата соцобеспечения.

В январе 1938 года под патронат НКВД передали и Свирскую колонию. Теперь она уже ничем не отличалась от других учреждений ГУЛАГа. Так печально завершилась история одного из советских домов милосердия. Прекратилась и деятельность ЦИТИНа и его филиала ЛИТИНа, несмотря на то что их труды имели огромную научно-практическую ценность. За два года только ленинградские ученые провели девять научных конференций по изучению общественных аномалий, создали музей, в котором хранились в том числе 3000 персональных дел проституток, прошедших через трудовые профилактории города, собрали интереснейшую статистику и другие материалы<sup>203</sup>. К счастью, документы, полученные исследователями, частично сохранились в частных коллекциях — как, например, фольклор, собранный и проанализированный литератором и психиатром профессором А.М. Евлаховым.

К середине 1930-х социальная помощь проституткам, по сути дела, прекратилась. Слабые попытки медиков и социальных работников оживить в 1937-1938 годах работу по реабилитации проституток были прерваны усиленно раздувавшимся психозом погони за «врагами народа», к которым относили и падших женщин. Правда, в конце 1939 года появился документ, свидетельствующий о явной несостоятельности идеи искоренения проституции насильственными методами. Это циркуляр НКСО РСФСР «О мероприятиях по ликвидации нищенства среди контингентов соцобеспечения». В нем констатировалось, что «в связи с ослаблением со стороны работников местных органов социального обеспечения политико-массовой и культурно-просветительной работы... все еще продолжают иметь место остатки наследия капиталистического строя: нищенство, беспризорность, проституция»<sup>204</sup>. По сути дела, в циркуляре на правительственном уровне признавалось существование проституции в стране и делалась попытка частично вернуться к социально-профилактическим методам решения этой проблемы. Предлагалось

создать бригады для выявления, учета, изучения «контингента соцобеспечения, занимающегося антиобщественными явлениями» и т.д. Но на самом деле принципы милосердного отношения к социальным аномалиям в предвоенные годы так и не возродились. Свойственное дореволюционному российскому обществу чувство «милости к падшим» исчезло и заместились административно-репрессивными мерами.

Нормативно-правовой хаос, зародившийся в 1920-е годы, в период большого стиля только усилился. Существование проституции, как и самоубийств, в конце 1930-х — начале 1950-х годов тщательно замалчивалось. Советская государственность отказывалась воспринимать торговлю любовью как своеобразный вид ремесла. Одновременно при отсутствии системы регламентации было совершенно не ясно, кого и за что необходимо называть проституткой и что такое проституция, если акт купли-продажи — важнейшего признака сексуальной коммерции — нигде не регистрировался. В советском законодательстве отсутствовали нормы, объявлявшие торгующую собой женщину уголовной преступницей. Но в арсенале правоохранительных органов было много способов привлечь эту особу к ответственности за другие проступки. При этом, как правило, действия женщины-преступницы — воровки, хулиганки, мошенницы — квалифицировали и как занятие проституцией. Это позволяло создать своеобразную иллюзию, что в советском обществе сексуальной коммерцией занимаются лишь криминальные элементы или по принуждению. Путаница проникла и в уголовную и гражданскую статистику. Проводившийся органами внутренних дел учет женщин, торговавших собой, реального представления о размахе проституции не давал, но создавал видимость того, что сексуальная коммерция в советском обществе — явление вымирающее. На самом деле это лишало государство возможности контролировать развитие проституции и, главное, оказывать посильную помощь женщинам, желающим порвать

с прошлым. Одновременно в послевоенный период появился целый ряд жестких нормативных суждений, которые, по мнению Е.Ю. Зубковой, по сути вытесняли всех маргиналов и в том числе проституток из советского социального пространства<sup>205</sup>. Власть полностью отреклась от политики реабилитации девиантов, образы которых были сконструированы на классово-политической основе, без учета психомедицинских особенностей личности.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

К началу 1950-х годов сталинизм обрел черты имперской монументальности. В культурно-эстетическом и этическом пространствах завершилось формирование большого стиля, в контексте которого происходил и процесс создания некоего всеобъемлющего бытового симулякра, материальное заменялось символическим. К моменту смерти Сталина не действовали нормы прямого распределения в сфере питания и обеспечения одеждой. Однако власть не просто настойчиво предлагала свои стандарты культуры питания и внешнего облика человека советского. С помощью действий нормализующего характера она создавала систему символов в этих сферах быта, о чем свидетельствовали каноны высокой моды в советских Домах моделей, «Книга о вкусной и здоровой пище» и специфика гламурного советского общепита. В качестве патологии в области одежды власть выдвигала образ «стиляги», утрированный усилиями советской прессы.

В жилищной сфере каноны большого стиля, сложившиеся к концу 1930-х, оставались неизменными. Здесь по-прежнему действовали жилищно-санитарные нормы распределения жилья и покомнатный принцип расселения, что обеспечивало существование особой организации бытового пространства — коммунальной квартиры. Она сделалась нормой советской повседневности. Параллельно появились вполне осязаемые визуальные репрезентации большого стиля не только в архитектуре, но и в жилищном строительстве. Они стали официальной



нормой — комфорт и надежность «сталинок» до сих пор остаются непревзойденными в России. Трудно определить в данном случае четкую дихотомию «норма/аномалия» даже с позиций властного дискурса. Ни коммуналки, ни бараки не объявлялись на государственном уровне явлением, подлежащим искоренению. Скорее для эпохи большого стиля была свойственна ситуация репродуцирования норм, носящих патологический характер с общегуманистических позиций.

Советское общество к началу 1950-х сформировало и вполне определенные устои бытового поведения населения. Они базировались на четкой антирелигиозной позиции власти, несмотря на якобы либеральные инициативы сталинского руководства в отношениях с церковью, начавшиеся в годы Великой Отечественной войны. Секуляризация бытовых практик превратила в девиации не только истинную веру, но и обыденную религиозность, что подрывало основу нравственности и требовало создания новых поведенческих норм частной жизни и интимности. Большой стиль в этой сфере повседневности нашел выражение в формировании стандартов деэротизации общества и создании системы нормативных суждений, способствующих регламентированию сексуальности и репродуктивности. И в данном случае нормирование повседневности принимало характер прямого вмешательства в пространство приватности. В условиях сталинизма достигла апогея регламентация культурного поведения населения, его досуговых практик. Контроль над структурой и содержанием свободного времени обеспечивался посредством политизации привычных сфер досуга и объявления социалистического реализма единственной системой культурных ценностей.

Традиционные аномалии, которые власть расценивала с сугубо политизированных позиций, обретали новые черты в эпоху большого стиля. В результате социальная филантропия была заменена социальным террором. Это имело непредсказуемые последствия: потребление производимых государством

спиртных напитков стало общественно поощряемой бытовой практикой; проституция, превратившись в подсобное занятие, проникла в стабильные социальные слои; широкое распространение получили альтруистические самоубийства.

Одновременно нормой властного отношения к ряду социальных патологий становилось замалчивание их существования в советском государстве, отсутствие правовой базы их искоренения и методов помощи так называемым «социальным аномаликам». Следует отметить, что процесс конструирования и канонов, и девиаций повседневности в советской действительности включал приемы, зафиксированные в классических социологических работах, связанных с проблемой отклоняющегося поведения. К ситуации в СССР 1920-1950-х годов вполне применима беккеровская «теория штампов», в которой ставится вопрос об аномалии как динамическом явлении, важнейшую роль в формировании которого играет властный аспект. Достаточно явно на российском материале, в первую очередь на примере превращения в некую социальную аномалию обыденной религиозности, просматривается и идея инверсии нормы и патологии.

Одновременно содержание сформировавшейся к началу 1950-х годов в поле городской повседневности дихотомии «норма/аномалия» принято считать сугубо советским. И это клише распространяется на весь период существования самого советского государства и в первую очередь на 1920-1950-е годы.

Безусловно, «советскость» стандартов и отклонений определяется направленностью социально-экономических процессов, во многом зависящих от властных инициатив. К моменту смерти Сталина структуры повседневности отражали специфику плановой социалистической экономики и особенности политической системы сталинизма. В то же время нормы как производные и нормативных, и нормализующих суждений власти, а также порожденные ими девиации

носили явный отпечаток буржуазности с присущей ей тягой к показной роскоши и почти клерикальных представлений о нравственности, свободе личности и культуры. Это явно не соответствовало ни социалистическим идеям, ни общим модернизационным тенденциям переустройства быта. Более того, изменения властных представлений в контексте дихотомии «норма/аномалия» повседневности показывают, что многие бытовые практики, сложившиеся в первое десятилетие существования власти большевиков, деградировали именно в условиях господства большого стиля — сталинского режима второй половины 1930-х — начала 1950-х годов.

В короткий период военного коммунизма власть опробовала некоторые социалистические принципы структуризации повседневности, хотя утверждение экстраординарных принципов прямого нормирования бытовой сферы повлекло за собой появление аномалий. Возврат к мирному образу жизни, совпавший с введением нэпа, ознаменовал возрождение привычных бытовых практик и норм. Правда, новая государственность не считала необходимым поддерживать этот процесс. С позиций властного дискурса нэп представляет собой эпоху аномического состояния общества в целом. Неудивительно поэтому, что в 1920-е годы советские властные и идеологические структуры постоянно меняли суть своих суждений о норме и аномалии. При этом в документах реже формулировалась суть нормы и значительно чаще появлялись характеристики патологии. Но резкость нормализующих суждений не смогла нивелировать пестроту дискурсов и практик, характерных для эпохи нэпа, и модернизационный дух целого ряда первых нормативных актов советской власти. «Нормальное время», а именно так возможно охарактеризовать 1920-е годы с общечеловеческих позиций, рождало и «нормальные» стандарты и патологии. В бытовой дихотомии «норма/аномалия» переплетались социалистические и демократические черты.

## Заключение

«Великий перелом» 1929 года ознаменовался переходом к «чрезвычайщине» в практике повседневности. Такой точки зрения придерживается и известная американская исследовательница Ш. Фицпатрик, автор книги «Повседневный сталинизм: ординарная жизнь в экстраординарное время» (Fitzpatrick Sh. *Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Time*. N.Y.; Oxford, 1999). Дословный и, возможно, не совсем литературный перевод названия с английского выглядит вполне оправданным и исторически верным, что, к сожалению, утрачено в российском варианте издания<sup>1</sup>. Но экстраординарность конца 1920-х — первой половины 1930-х годов не означала утраты социалистических элементов в быту. Решительный отказ от преобразований повседневности, достигнутых в 1920-е, произошел именно в контексте политики большого стиля. В данном случае расширение хронологических рамок изучения дихотомии «норма/аномалия» и рассмотрение бытовых реалий в послевоенном советском обществе уточняют модель повседневности сталинского времени в целом, которое некоторые историки ныне вообще характеризуют как своеобразную социально-политическую девиацию<sup>2</sup>.

## ПРИМЕЧАНИЯ

О том же 15 лет спустя (вместо предисловия)

1. Лебина Н.Б. Повседневная жизнь советского города: нормы и аномалии. 1920-1930-е годы. СПб., 1999.
2. Кром М.М. Повседневность как предмет исторического исследования // История повседневности. Сборник научных работ. СПб., 2003. С. 11.
3. Орлов И.Б. Советская повседневность: исторический и социологический аспекты становления М., 2010; Бригадина О.В. Парадигма повседневности в ранней советской истории (1917 — начало 1920-х гг.): Проблемное поле исследований // Российские и славянские исследования: научный сб. Вып. 6. Минск, 2011. С. 212-222.
4. Карсавин Л.П. Философия истории. Берлин, 1923. С. 99.
5. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. М., 1994. С. 10.
6. Кром М.М. История России в антропологической перспективе: история ментальностей, историческая антропология, микроистория, история повседневности, <http://achronicle.narod.ru/krom.html> (дата обращения: 15.11.14).
7. Подробнее см.: Гишинский Я.И. Социология девиантного поведения и социального контроля. Краткий очерк // Рубеж. 1992. № 2. С. 56.
8. Бригадина О.В. Указ. соч. С. 216.
9. Подробнее см.: Гишинский Я., Афанасьев В. Социология девиантного (отклоняющегося) поведения. СПб., 1993. С. 24, 25; Монсон П. Современная западная социология. СПб., 1992. С. 178-184.

10. Подробнее см.: Медушевский А.Н. Сталинизм как модель социального конструирования // Российская история. 2010. № 6. С. 15-16.
11. См., например: Лебина Н.Б., Чистиков А.Н. Обыватель и реформы. СПб., 2003; Лебина Н.Б. Энциклопедия банальностей. Советская повседневность: контуры, символы, знаки. СПб., 2006; Измозик В.С., Лебина Н.Б. Петербург советский: «новый человек» в старом пространстве. СПб., 2010; Повседневность эпохи космоса и кукурузы: деструкция большого стиля. СПб., 2013; Лебина Н.Б. Мужчина и женщина: тело, мода, культура. СССР-Оттепель. М., 2014 и др.
12. Подробнее см., например: Молер А. Фашизм как стиль. Новгород, 2007; Иванов С.Г. Реакционная культура: от авангарда к большому стилю. СПб., 2010.

Часть I. Нормы распределения  
(прямое нормирование повседневности)

1. Маркс К., Энгельс Ф. Критика Готской программы // Маркс К., Энгельс Ф. Полное собрание сочинений. Т. 19. С. 20.
2. Ленин В.И. Удержат ли большевики государственную власть? // Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 34. С. 310. Далее это издание обозначается как ПСС.
3. Цит. по: Павлюченков С.А. Военный коммунизм в России: власть и массы. М., 1997. С. 231.
4. Известия Народного комиссариата по продовольствию. 1918. № 18-19. С. 39.
5. Петроград на переломе эпох. Город и его жители в годы революции и гражданской войны. СПб., 2000. С. 192.
6. См.: [http://www.lawmix.ru/docs\\_ccsr/8334](http://www.lawmix.ru/docs_ccsr/8334) (дата обращения: 12.11.14).
7. Подробнее см.: Известия ВЦИК. 1918. № 82.
8. Чистиков А.Н. Деятельность Петросовета по решению продовольственного вопроса в 1917-1920 гг. // Ленинградский совет в годы гражданской войны и социалистического строительства. Л., 1986. С. 114.
9. Анненков Ю.П. Дневник моих встреч. Л., 1991. Т. 1. С. 73.

10. Нарский И.В. Жизнь в катастрофе. Будни населения Урала. 1917-1921 гг. М., 2001. С. 471.
11. Подробнее см.: Фейгельсон М. Мешочничество и борьба с ним в пролетарском государстве // Историк-марксист. 1940. № 9.
12. Цит. по: Давыдов А.Ю. Нелегальное снабжение российского населения и власть. 1917-1921 гг. СПб., 2002. С. 114.
13. Подробнее см.: Сохань И.В. Тоталитарный дискурс культуры еды в советской России 1920-1930-х гг. // Вестник Томского государственного университета. № 332. Март 2010. С. 63-68.
14. Чуковский К.И. Дневник. 1901-1929. М., 1991. С. 123.
15. Гиппиус З.Н. Живые лица. Стихи. Дневники. Кн. 1. Тбилиси, 1991. С. 177.
16. Лосский Б.Н. Наша семья в пору лихолетья // Минувшее. Т. 12. СПб., 1993. С. 91.
17. Bourdieu P. Distinction: A social critique of judgement of taste. Cambridge (Mass.), 1984. P. 196.
18. Булгаков М.А. Собачье сердце // Булгаков М.А. Две повести, две пьесы. М., 1991. С. 148.
19. Цит. по: Хан-Магомедов С.О. Пионеры советского дизайна. М., 1995. С. 313.
20. Подробнее см.: Андреева Л. Советский фарфор. 1920-1930-е годы. М., 1975.
21. Князев Г.А. Из записных книжек русского интеллигента (1919-1922 гг.) // Русское прошлое. Кн. 5. СПб., 1994. С. 191.
22. Кузмин М.А. Дневник 1921 года // Минувшее. Т. 12. С. 456, 462, 465, 468, 473, 488.
23. Князев Г.А. Указ. соч. С. 200.
24. Горячечный и триумфальный город. Петроград от военного коммунизма к НЭПу. Документы и материалы. СПб., 2000. С. 225, 214, 213.
25. Цит. по: Нарский И.В. Указ. соч. С. 363.
26. Князев Г.А. Указ. соч. С. 200.
27. Скрабина Е.А. Страницы жизни. М., 1994. С. 65.
28. Пирожкова В.А. Потерянное поколение. Воспоминания о детстве и юности. СПб., 1998. С. 20.

29. Цит. по: Андреевский Г. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1920-1930-е годы. М., 2008. С. 22.
30. Платонов А.П. Чевенгур. М., 1991. С. 174-175.
31. Цит. по: Трифонов И.Я. Классы и классовая борьба в СССР в начале НЭПа. Л., 1969. С. 49.
32. Демчик Е.В. Частный капитал в городах Сибири в 1920-е годы: от возрождения к ликвидации. Барнаул, 1998. С. 112.
33. Цит. по: Андреевский Г. Указ. соч. С. 33.
34. Шульгин В.В. Три столицы. М., 1991. С. 147.
35. Кооперативный бюллетень ЛСПО. 1928. № 11. С. 5.
36. Дьяконов И.М. Книга воспоминаний. СПб., 1995. С. 85.
37. РГА СПИ. Ф. М-1. Оп. 3. Д. 10. Л. 13.
38. Ленинградская кооперация за 10 лет. ЛСПО. Л., 1928. С. 340.
39. Дианова Е.В. «Общественное питание под огонь рабочей самокритики» // «Свое» и «чужое» в культуре народов Европейского Севера. Материалы 7-й Межвузовской научной конференции. Петрозаводск, 2009. <http://mognovse.ru/ywn-svoe-ichujoe-v-kulture-parodov-evropejskogo-severa.html> (дата обращения: 12.11.14).
40. Беньямин В. Московский дневник. М., 1997. С. 29.
41. Там же. С. 25, 34, 86.
42. Шульгин В.В. Указ. соч. С. 309-310.
43. Крлежа М. Поездка в Россию. 1925. М., 2005. С. 15-17.
44. Курдов В.И. Памятные дни и годы. Записки художника. СПб., 1994. С. 52.
45. Красный ворон. 1923. № 1. С. 3.
46. Партийная этика. Документы и материалы дискуссии 20-х годов. М., 1989. С. 160,161.
47. Подробнее см.: Щеглов Ю.К. Романы Ильфа и Петрова. Спутник читателя. СПб., 2009. С. 225-226.
48. Вересаев В.В. Сестры // Вересаев В.В. В тупике. Сестры. М., 1990. С. 209.
49. ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 11. Л. 39.
50. Цит. по: Игнатов Е. Организация общественного питания — путь к новому быту. М.; Л., 1927. С. 70.



51. Воробьев Н.В. Деятельность городской и рабочей потребительской кооперации Сибири по развитию общественного питания в 1921-1929 гг. // Вестник Томского государственного университета. 2011. Вып. 350. С. 69.
52. Кожаный П.М. Долой частную кухню! М., 1924. С. 8.
53. Кожаный П.М. Без печных горшков. М.; Л., 1927. С. 17.
54. Подробнее см.: Ярославский Е.М. Мораль и быт пролетариата в переходный период. Доклад, прочитанный в Политехническом музее 14 апреля 1926 года. М., 1926.
55. Гигиена и здоровье рабочей семьи. 1925. № 6. С. 13.
56. Пушка. 1927. №51. С. 7.
57. Халатов А. Еще об общественном питании (строительство фабрикухонь) // Революция и культура. 1928. № 3-4. С. 26-27.
58. Свиньина Е.А. Письма в Париж // Звезда. 1997. № 11. С. 47.
59. Подробнее см.: Струмилин С.Г. На хозяйственном фронте. М.; Л., 1925. С. 22.
60. Беньямин В. Указ. соч. С. 84.
61. Гранин Д.А. Ленинградский каталог. Л., 1986. С. 53.
62. Там же.
63. Дьяконов И.М. Указ. соч. С. 86.
64. Пушка. 1926. №9. С. 4.
65. Князев Г.А. Указ. соч. С. 219.
66. Курдов В.И. Указ. соч. С. 32.
67. Красная газета. 1926. 11 нояб. Вечерний выпуск.
68. Гигиена питания. 1927. № 1-2. С. 5.
69. Цит. по: Щеглов Ю.К. Указ. соч. С. 92.
70. Миндлин Э. Необыкновенные собеседники. М., 1966. С. 249.
71. См.: Василевская М.Л. Общедоступная кухня. Одесса, 1927; Немо Б. Дешевый стол. Настольная поваренная книга для молодых домашних хозяек. Тверь, 1927; Зарина М.М. Питательный общедоступный стол. М.; Л., 1928 и др.
72. См.: Дедрина К.Я. Кухня на плите и на примусе. Настольная поваренная книга для быстрого приготовления простых и дешевых

- обедов. М., 1927; Никишова А.И. Поваренная книга. 1001 рецепт кушаний с указанием их способов приготовления в русской печи, на плите, керосинке и примусе. Тверь, 1929.
73. Шитц И.И. Дневник великого перелома. М., 1991. С. 30, 31, 73.
74. Подробнее см.: Осокина Е.А. Иерархия потребления. М., 1993; Осокина Е.А. За фасадом «сталинского изобилия». Распределение и рынок в снабжении населения в годы индустриализации. 1927—1940. М., 1998.
75. Подробнее см.: Осокина Е.А. Иерархия потребления; Осокина Е.А. За фасадом «сталинского изобилия».
76. Маньков А.Г. Из дневника рядового человека (1933-1934 гг.) // Звезда. 1994. № 5. С. 147.
77. Цендровская С.Н. Крестовский остров от нэпа до снятия блокады // Невский архив. Историко-краеведческий сборник. Вып. II. СПб., 1995. С. 90.
78. Маньков А.Г. Указ. соч. С. 167.
79. Астафьев В. Последний поклон // Астафьев В. Собрание сочинений. М., 1980. Т. 3. С. 139.
80. Шефнер В.С. Бархатный путь. СПб., 1999. С. 83.
81. Рожков А. Почему курица повесилась. Народные острословы о жизни при «большевизии» // Родина. 1999. № 10. С. 64.
82. Шефнер В.С. Бархатный путь. С. 83.
83. Подробнее см.: Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России. М., 2001. С. 80.
84. Подробнее см.: Berliner J. Blat is Higher than Stalin // Problems of Communism. 1954. Vol. 3; Ledeneva A. Russia's Economy of Favours: Blat, Networking and Informal Exchanges. Cambridge, 1998.
85. Твердюкова Е. Особторг. Коммерческая торговля в СССР в 1944-1947 годах // Родина. 2010. № 10. С. 132.
86. Шефнер В.С. Бархатный путь. С. 51.
87. Пирожкова В.А. Указ. соч. С. 20.
88. Шитц И.И. Указ. соч. С. 73, 75, 90.
89. Маньков А.Г. Указ. соч. С. 136.

90. Гессен С.Г. Продовольственное снабжение городов // Вопросы питания. 1930. №4-6. С. 1.
91. Правда. 1930. 1 авг.
92. Малая советская энциклопедия. М., 1931. Т. 8. Стлб. 277.
93. Ильф И., Петров Е. Когда уходят капитаны // Ильф И., Петров Е. Собрание сочинений. М., 1961. Т. 3. С. 119.
94. Цит. по: Щеглов Ю.К. Указ. соч. С. 334.
95. Огонек. 1930. 20 апр. С. 7.
96. Герман Ю.П. Наши знакомые. Свердловск, 1959. С. 443.
97. Осипов А.И., Золотарев А.А. Приготовление кушанья из кроличьего мяса. М., 1933.
98. См., например: Цветаева Е.М. 130 блюд из сои. М., 1930; Дубенская М.П., Александров П.В. Кулинарная обработка сои. М.; Л., 1931; Иванов Н.А. Картофель как продукт питания. М., 1932; Пять блюд из солонины. М., 1933.
99. ЦГА ИПД СПб. Ф. 24. Оп. 5. Д. 498. Л. 98.
100. Шефнер В.С. Бархатный путь. С. 51.
101. Цендровская С.Н. Указ. соч. С. 91.
102. Ленинградское общественное питание. 1932. № 8. С. 6.
103. Ленинградское общественное питание. 1932. № 9. С. 4.
104. Правда. 1930. 22 февр.
105. Экономико-статистический справочник Ленинградской области. Л., 1932. С. 373.
106. Маньков А.Г. Указ. соч. С. 162.
107. ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 66. Д. 12. Л. 33.
108. Известия. 1929. И нояб.
109. ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 66. Д. 12. Л. 37-38.
110. Там же. Л. 39.
111. Ильф И., Петров Е. Золотой теленок // Ильф И., Петров Е. Собрание сочинений. Т. 2. С. 343.
112. Осокина Е.А. За фасадом «сталинского изобилия». С. 110-114.
113. Подробнее см.: Хартман Э. Елена Ивановна Молоховец// Звезда. 2000. № 3.

114. Известия. 1929. 11 нояб.
115. Подробнее о демагогических чертах символических явлений см.: Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977; Барт Р. Мифологии. М., 1996; Жан Ж. Знаки и символы. М., 2000 и др.
116. Подробнее см.: Добренко Е. Гастрономический коммунизм: вкусное vs. здоровое // Неприкосновенный запас. 2009. № 2. С. 155-173.
117. Книга о вкусной и здоровой пище. М., 1952. С. 14.
118. Микоян А.И. Добьемся изобилия пищевых продуктов. М., 1936. С. 17.
119. Подробнее см.: Снопков А.Е., Снопков П.А., Шклярчук А.Ф. Шестьсот плакатов. М., 2004. С. 165,171,173.
120. На корме времени. Интервью с ленинградцами 1930-х годов. СПб., 2000. С. 232.
121. Меркурьев П.В. Сначала я был маленьким. Книга о родителях. М., 2001. С. 28.
122. Ленинградская правда. 1935. 9 янв.
123. Бюллетень областного отдела внутренней торговли Леноблисполкома. 1936. № 87. С. 14-16. Подсчет автора.
124. Меркурьев П.В. Указ. соч. С. 28-29.
125. Подробнее см.: Твердюкова Е.Д. «Преступление без жертв». Уголовно-правовая охрана советской торговли (на материалах Ленинграда). СПб., 2010. С. 65-98.
126. Подробнее см.: Там же. С. 118-137.
127. ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 71. Д. 3. Л. 101.
128. Там же. Л. 27.
129. Там же. Ф. 7384. Оп. 11. Д. 287. Л. 3,4.
130. Ленинградская правда. 1935. 14 янв.
131. Герман М.Ю. Сложное прошедшее. СПб., 2000. С. 71-72.
132. Тарзан в своем отечестве // Пчела. 1997. № 11. С. 26.
133. Глазунов И. Россия распятая // Наш современник. 1996. № 5. С. 200.
134. Герасимова Е.Ю. Советская коммунальная квартира как социальный институт: историко-социологический анализ (на материалах Петрограда — Ленинграда, 1917-1991). Дис. ... канд. соц. наук. СПб., 2000; Утехин И.В. Очерки коммунального быта. М.: ОГИ, 2004.

135. Жилище в России: век XX. Архитектура и социальная история. Монографический сборник. М., 2001. С. 103.
136. Смирнова Т.М. Жилищная политика советской власти в годы НЭПа (по материалам демунципализации в Москве и Московской губернии) // Ежегодник историко-антропологических исследований. 2001/2002. М., 2002; Смирнова Т.М. Классовая борьба на «жилищном фронте»: особенности жилищной политики советской власти в 1917 — начале 1920-х гг. // Социальная история. Ежегодник. 2007. М., 2008.
137. См., например: Чолахян В.А. Жилищные условия и благоустроенность городов Нижнего Поволжья в 1920-1930-х годах // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: История. Международные отношения. 2009. Т. 9. № 2. С. 64-73.
138. Меерович М.Г. Очерки истории жилищной политики в СССР 1917-1941 гг. Иркутск, 2003; Меерович М.Г. Рождение и смерть жилищной кооперации. Жилищная политика в СССР. 1924-1937 гг. (социально-культурный и социально-организационный аспекты). Иркутск, 2004; Меерович М.Г. Наказание жилищем. Жилищная политика в СССР как средство управления людьми. 1917-1937. М., 2008.
139. См.: Пиир А. (Само)управление в петроградских/ленинградских жилых домах. 1. Домовые комитеты (1917-1921) // Антропологический форум. 2012. № 17. С. 175-218.
140. Подробнее см. раздел «Награждение жильем» в данной книге.
141. Подробнее см.: Лебина Н.Б. О пользе игры в бисер. Микроистория как метод изучения норм и аномалий советской повседневности 20-30-х гг. // Нормы и ценности повседневной жизни: становление социалистического образа жизни в России, 1920-30-е гг. СПб., 2000. С. 9-26; Измозик В.С., Лебина Н.Б. Жилищный вопрос в быту ленинградской партийно-советской номенклатуры 1920-1930-х гг. // Вопросы истории. 2001. № 4. С.98-110.
142. Подорога В.А. Феноменология тела. Введение в философскую антропологию. М., 1995.
143. Подробнее см.: Лебина Н.Б. Советский дом-коммуна: границы тела // Теория моды. 2012. № 23. С. 133-151.

144. Гинзбург С.З. О прошлом — для будущего. М., 1983. С. 5.
145. ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 1. Д. 302. Л. 307.
146. Там же. Д. 338. Л. 8.
147. Там же. Д. 304. Л. 52.
148. Там же. Ф. 7965. Оп. 1. Д. 392. Л. 316-317, 318-319, 12-13.
149. Цит. по: Тимина С.И. Культурный Петербург: ДИСК. 1920-е гг. СПб., 2001. С. 419.
150. Ротиков К.К. Другой Петербург. СПб., 1998. С. 250.
151. Рабинович М.Б. Воспоминания долгой жизни. СПб., 1996. С. 87, 88.
152. СУ РСФСР. 1923. №76. С. 741.
153. Беньямин В. Указ. соч. С. 39.
154. Островский Н.А. Как закалялась сталь // Островский Н.А. Собрание сочинений: В 3 т. М., 1955. Т. 1. С. 207.
155. Смена. 1926. № 3. С. 8.
156. Сборник законодательных актов о труде. М., 1970. С. 772-773.
157. Труд, здоровье и быт ленинградской рабочей молодежи. Л., 1924. С. 13-15.
158. Филимонов Н.А. По новому руслу. Л., 1967. С. 12.
159. Трущенко Н. Косарев. М., 1988. С. 54.
160. Панова В.Ф. О моей жизни, книгах и читателях. Л., 1980. С. 88.
161. Северный комсомолец. 1924. 2 марта.
162. Смена. 1926. № 16. С. 18.
163. Строительство Москвы. 1926. № 6. С. 11.
164. Из истории советской архитектуры. 1928-1932 гг. М., 1973. С. 9.
165. Беззубцев-Кондакова А.Е. Производственно-бытовые коммуны Москвы и Ленинграда. 1923-1934 гг. Магистерская диссертация. СПб., 2003. С. 46.
166. Подробнее см.: Кузьмин Н. О рабочем жилищном строительстве // Строительство и архитектура. 1928. № 3; Кузьмин Н. Проблемы научной организации быта // Строительство и архитектура. 1930. № 3.
167. Берггольц О.Ф. Дневные звезды. Л., 1960. С. 69-71.
168. Там же.
169. Хан-Магомедов С.О. Пионеры советского дизайна. С. 263.

170. Правда. 1930. 29 мая.
171. ЦГА ИПД СПб. Ф. К-157. Оп. 1. Д. 4. Л. 27-28.
172. РГА СПИ. Ф. М-1. Оп. 4. Д. 39. Л. 62.
173. Смена. 1929. № 19. С. 2-3.
174. Смена. 1930. № 10. С. 10.
175. ЦГА ИПД СПб. Ф. К-202. Оп. 2. Д. 41. Л. 1.
176. Люди Сталинградского тракторного. М., 1934. С. 208.
177. Из истории государственного руководства культурным строительством в СССР. М., 1983. С. 49.
178. Люди Сталинградского тракторного. С. 144.
179. XVII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б.). Стенографический отчет. М., 1934. С. 30.
180. ЦГА СПб. Ф. 506. Оп. 1. Д. 650. Л. 1.
181. Известия ЦИК СССР и ВЦИК. 1931. 1 июля.
182. Известия ЦК ВЛКСМ. 1930. № 21-22. С. 9.
183. Люди Сталинградского тракторного. С. 191-192.
184. Марш ударных бригад. Сборник документов. М., 1965. С. 173-174.
185. ГА РФ. Ф. А390. Оп. 3. Д. 1573. Л. 35.
186. На фронте здравоохранения. 1930. № 7-8. С. 39.
187. Трущенко Н. Указ. соч. С. 209.
188. Красная газета. 1932. 2 марта.
189. Товарищ комсомол. Т. 2. М., 1969. С. 249.
190. Косарев А.В. Производительнее работать, культурнее жить. М., 1932. С. 111.
191. Общественница. 1937. № 3. С. 12.
192. Заветам Ленина верны. Сборник документов и материалов из истории костромской комсомольской организации (1917-1970). Кострома, 1974. С. 122-123.
193. ЦГА ИПД СПб. Ф. К-881. Оп. 10. Д. 190. Л. 17.
194. Там же. Л. 18.
195. Там же. Л. 19-20.
196. Там же. Л. 21.
197. Кетлинская В.К. Здравствуй, молодость! // Новый мир. 1975. № 11. С. 18.

198. Подробнее см.: Новинская М.И. Поиски «новой социальности» и утопическая традиция. Проблема общежития в актуальном разрезе // Политические исследования. 1998. № 5. С. 59-78.
199. Ленин В.И. Письма из далека // Ленин В.И. ПСС. Т. 31. С. 44.
200. Ленин В.И. Дополнение к проекту декрета о реквизиции теплых вещей для солдат на фронте // Ленин В.И. ПСС. Т. 54. С. 380-381.
201. Там же.
202. Представляется разумным принять версию А. Пиир о появлении домкомов после событий февраля 1917 года, а не в годы Первой мировой войны, как это указывалось ранее в работах М.Г. Мееровича. Подробнее см.: Пиир А. (Само)управление в петроградских/ленинградских жилых домах. 1. Домовые комитеты (1917-1921) // Антропологический форум. 2012. № 17. С. 175-218.
203. Подробнее см.: Потехин М.Н. Петроградская трудовая коммуна. Л., 1980. С. 97.
204. Подробнее см.: Лебина Н.Б. О пользе игры в бисер.
205. Обертрейс Ю. «Бывшее» и «излишнее» — изменения социальных норм в жилищной сфере в 1920-1930-е годы // Нормы и ценности повседневной жизни. 1920-1930-е годы: становление социалистического образа жизни в России, 1920-1930-е годы. СПб., 2000. С. 75-98.
206. Подробнее см.: Меерович М.Г. Жилищная политика в СССР и ее реализация в архитектурном проектировании (1917-1941 гг.). Иркутск, 2003; Пиир А. (Само)управление в петроградских/ленинградских жилых домах.
207. ЦГА СПб. Ф. 4304. Оп. 1. Д. 1137. Л. 37.
208. Гиппиус З.Н. Указ. соч. С. 202-203.
209. Ремизов А.М. Дневник 1917-1921 гг.// Минувшее. Т. 16. 1994. С. 489.
210. СУ РСФСР. 1921. № 10. Ст. 67.
211. ЦГА СПб. Ф. 4304. Оп. 1. Д. 1135. Л. 13.
212. Панова В.Ф. О моей жизни, книгах и читателях. С. 66.
213. Неизведанными путями. Сборник воспоминаний. Л., 1967. С. 46-47.
214. Князев Г.А. Указ. соч. С. 190.



215. Подробнее см.: Нарский И.В. Указ. соч.
216. Ленин В.И. В Малый Совнарком // Ленин В.И. ПСС. Т. 53. С. 106-107.
217. Подробнее о правовой регламентации новой жилищной политики см.: Меерович М.Г. Очерки истории жилищной политики в СССР 1917-1941 гг. С. 83-97.
218. Очерки истории Ленинграда. Т. 4. Л., 1964. С. 494.
219. Вопросы коммунального хозяйства. 1924. № 2. С. 43.
220. Меерович М.Г. Рождение и смерть жилищной кооперации. С. 25.
221. Говорушин К.В. За Нарвской заставой. Л., 1975. С. 15-16.
222. Меерович М.Г. Рождение и смерть жилищной кооперации. С. 157.
223. Цендровская С.Н. Указ. соч. С. 81.
224. Дьяконов И.М. Указ. соч. С. 79.
225. Там же.
226. Мандельштам Н.Я. Вторая книга. М., 1990. С. 172-173.
227. Дневниковые записи Даниила Хармса // Минувшее. Т. 11. С. 533.
228. Подробнее см.: Беззубцев-Кондаков А.Е. Наш человек в коммуналке. <http://www.topos.ru/article/4213> (дата обращения: 10.11.14).
229. Герман Ю.П. Наши знакомые. С. 197, 268.
230. Подробнее см.: Герасимова Е.Ю. Советская коммунальная квартира как социальный институт.
231. Курдов В.И. Указ. соч. С. 83.
232. ЦГА СПб. Ф. 4304. Оп. 1. Д. 1137. Л. 37.
233. Там же. Ф. 3178. Оп. 1. Д. 289. Л. 26.
234. Там же. Ф. 7965. Оп. 1. Д. 1028а. Л. 67-68, 71-72, 123-124.
235. Чуковский К.И. Указ. соч. С. 240.
236. Жилищное законодательство. М., 1924. С. 109-114.
237. Жилищное законодательство. Вып. 3. М., 1927. С. 12-13; Бюллетень финансово-хозяйственного законодательства. 1927. № 49. С. 2031-2033.
238. СУ РСФСР. 1926. № 68. Ст. 536.
239. Цит. по: Меерович М.Г. Жилищная политика в СССР и ее реализация в архитектурном проектировании (1917-1941 гг.). Иркутск, 2003. С. 71.
240. СУ РСФСР. 1924. № 68. Ст. 673.

241. См.: Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 01.08.1927 «Об урегулировании права пользования жилой площадью и о мерах борьбы с самоуправным занятием помещений в муниципализированных и национализированных домах, а также в помещениях, отчисленных в коммунальный жилищный фонд» (СУ РСФСР. 1927. № 80. Ст. 535); Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 15.11.27 «О мероприятиях по жилищному хозяйству в городских поселениях» (СУ РСФСР. 1927. № 118. Ст. 800).
242. Очерки истории Ленинграда. Т. 4. Л., 1964. С. 494, 495.
243. Подробнее см.: Обертрейс Ю. «Бывшее» и «излишнее» — изменения социальных норм в жилищной сфере в 1920-1930-е годы// Нормы и ценности повседневной жизни. 1920-1930-е годы: становление социалистического образа жизни в России, 1920-1930-е годы. СПб., 2000.
244. Аксакова Т.А. Дочь генеалога // Минувшее. Т. 4. М., 1991. С. 45.
245. СУ РСФСР. 1929. № 33. Ст. 339.
246. Лишенцы / Публ. А.И. Добкина // Звенья. Альманах. Вып. 2. СПб., 1992. С. 609.
247. ЦГА СПб. Ф. 3199. Оп. 2. Д. 468. Л. 93, 94.
248. Там же.
249. Там же. Л. 17-18.
250. Свиньина ЕА. Указ. соч. С. 72-73.
251. Гранин Д.А. Указ. соч. С. 89.
252. Меерович М.Г. Рождение и смерть жилищной кооперации. С. 90.
253. Там же.
254. Жилищное дело. 1929. № 1. С. 8.
255. Жилищная кооперация. 1932. № 21-24. С. 44-46.
256. ЦГА ИПД СПб. Ф. 7384. Оп. 2. Д. 8. Л. 470.
257. Сведения любезно предоставлены доктором исторических наук В.А. Ивановым.
258. Бюллетень финансово-хозяйственного законодательства. 1935. № 25. С. 21-22.
259. ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 2с. Д. 60. Л. 361.
260. Там же. Ф. 1000. Оп. 89. Д. 40. Л. 25.

261. Там же. Ф. 7384. Оп. 2. Д. 12. Л. 49.
262. Постановления и распоряжения ленинградского совета РК и КД и его отделов. 1937. 29 дек. С. 2.
263. В данном тексте не представляется необходимым давать подробные ссылки на источники информации по микроисследованию. Для уточнения его документальной базы см.: Лебина Н.Б. О пользе игры в бисер; Измозик В.С., Лебина Н.Б. Жилищный вопрос в быту ленинградской партийно-советской номенклатуры 1920-1930-х гг; Лебина Н.Б., Измозик В.С. Петербург советский: «новый человек» в старом пространстве. 1920-1930-е годы (социально-архитектурное микроисторическое исследование). СПб., 2010.
264. Герман М.Ю. Сложное прошедшее. СПб., 2000. С.17,18.
265. Гитович С.С. Из воспоминаний // Минувшее. Т. 5. М., 1991. С. 104.
266. Комсомольская правда. 1936. 10 февр.
267. Фейхтвангер Л. Москва. 1937. М., 1937. С. 13.
268. См.: СЗ СССР. 1937. №69. Ст. 314.
269. Подробнее см.: Меерович М.Г. Рождение и смерть жилищной кооперации. С. 157.
270. Архитектура СССР 1936. № 5. С. 2.
271. Подробнее см.: Паперный В. Культура Два. М., 1996. С. 124-126.
272. Исторический архив. 2004. № 1. С. 32-34.
273. Архитектура и конструкция высотных зданий в Москве. М., 1952. С. 6.
274. СЗ СССР 1934. № 23. Ст. 180.
275. Цит. по: Таранов Е. Хрущевки. Этажи «Великого десятилетия» // Родина. 2002. № 1. С. 25.
276. Советская жизнь. 1945-1953. М., 2003. С. 178,179.
277. Бурдые П. Социология политики. М., 1993. С. 35.
278. Козлова Н.Н. Введение в социальную антропологию. М., 1996. С. 29.
279. Подробнее см.: Кнабе Г.С. Дерево познания и дерево жизни. М., 2006.
280. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. СПб., 1994. С. 6.
281. Журавлев С.В., Тронов Ю. Мода по плану: история моды и моделирования одежды в СССР. 1917-1991. М., 2013.
282. Бартлетт Дж. FashionEast: призрак, бродивший по Восточной Европе / Пер. с англ. Е. Кардаш. М., 2011.

283. Берберова Н. Железная женщина. М., 1991. С. 28.
284. Подробнее см.: Кирсанова Р.М. Гимнастерка, джимми и пол-пред... // Родина. 1997. № 11. С. 46.
285. Уэллс Г. Россия во мгле. М., 1958. С. 13,17, 23.
286. Цит. по: Петроград на переломе эпох. Город и его жители в годы революции и гражданской войны. СПб., 2000. С. 69.
287. ЦГА СПб. Ф. 7965. Оп. 1. Д. 1103. Л. 25, 21.
288. Там же. Л. 34.
289. Цит. по: Петроград на переломе эпох. С. 68.
290. Анненков Ю.П. Дневник моих встреч. Т. 1. Л., 1991. С. 31.
291. Лосский Б.Н. Указ. соч. С. 156.
292. Цит. по: Петроградский Дом ученых. 1920-1921. История в документах. СПб., 2000. С. 29.
293. Толстой А.Н. 1918 год // Толстой А.Н. Избранные сочинения: В 6 т. М., 1951. Т. III. С. 507.
294. Богданов Н. Первая девушка. М., 1958. С. 246.
295. Толстой А.Н. Хмурое утро // Толстой А.Н. Избранные сочинения. Т. IV. С. 132.
296. Деревнина Л.И. Рабочие Ленинграда в период восстановления народного хозяйства. 1921-1925 гг. Л., 1981. С. 161.
297. Красная молодежь. 1921. 7 апр.; На смену. 1921. 21 марта.
298. Цит. по: Яров С.В. Кронштадтский мятеж в восприятии петроградских рабочих // Звенья. 1992. Вып. 2. С. 543.
299. Хозяйственный обзор Северо-Западной области за 1921/1922 гг. Пг., 1922. С. 120.
300. Гиппиус З.Н. Указ. соч. С. 193.
301. Чуковский К.И. Указ. соч. С. 136.
302. Петроградский совет рабочих и красноармейских депутатов. Заседание пятое. Пг., 1920. Стлб. 251.
303. Нарский И.В. Указ. соч. С. 471-472.
304. Отечественная история. 1997. № 3. С. 95.
305. Пильняк Б.А. Голый год// Пильняк Б.А. Повесть непогашенной луны. Рассказы, повести, роман. М., 1990. С. 344.
306. Островский Н.А. Указ. соч. С. 199-200.

307. Петроградский совет рабочих и красноармейских депутатов. Заседание пятое. Стлб. 251.
308. Вечтомова Е.А. Здесь печаталась «Правда». Л., 1969. С. 147.
309. ЦГА ИПД СПб. Ф. К-601. Оп. 1. Д. 1127. Л. 3.
310. Кетлинская В.К. Здравствуй, молодость! С. 53.
311. Мандельштам Н.Я. Вторая книга. М., 1990. С. 102-103.
312. Там же.
313. Струмилин С.Г. Бюджет времени рабочих 1923-1924 гг. // Струмилин С.Г. Избранные сочинения: В 5 т. М., 1963. Т. 3. С. 203, 232.
314. Герман Ю.П. Наши знакомые. С. 55.
315. Гранин Д.А. Указ. соч. С. 32.
316. Бондаренко П.П. Дети Кирпичного переулка// Невский архив. СПб.; М., 1993. С. 91-92.
317. Всегда в борьбе. М., 1978. С. 105.
318. Вересаев В.В. Сестры. С. 198.
319. Панова В.Ф. О моей жизни, книгах и читателях. С. 87.
320. Рубинштейн М.М. Юность по дневникам и автобиографическим записям. М., 1928. С. 234.
321. Шульгин В.В. Указ. соч. С. 305.
322. Смена. 1926. №7. С. 14.
323. Комсомольская правда. 1927. 12 янв.
324. Беньямин В. Указ. соч. С. 104.
325. Анненков Ю.П. Указ. соч. Т. 2. С. 271.
326. Подробнее см.: Журавлев С.В., Гронов Ю. Указ. соч. С. 69.
327. Чуковский Н.К. Литературные воспоминания. М., 1989. С. 103.
328. Свиньина Е.А. Указ. соч. С. 44.
329. Скрябина Е.А. Указ. соч. С. 84, 85.
330. Бондаренко П.П. Указ. соч. С. 106.
331. Чуковский К.И. Указ. соч. С. 335.
332. Рабинович М.Б. Указ. соч. 70.
333. Юмор серьезных писателей. С. 298.
334. Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев // Ильф И., Петров Е. Собрание сочинений. Т. 1. С. 216.
335. Тихонова Н. Девушка в синем. М., 1992. С. 88.

336. Кетлинская В.К. Здравствуй, молодость! С. 74.
337. Свиньина Е.А. Указ. соч. С. 55.
338. На смену. 1922. 18 нояб.
339. Шефнер В.С. Сестра печали // Шефнер В.С. Избранные произведения: В 2 т. Л., 1982. Т. 2. С. 137.
340. Дневниковые записи Даниила Хармса. С. 439.
341. Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. С. 262.
342. Шульгин В.В. Указ. соч. С. 151.
343. Красная газета. 1925. 14 марта.
344. Красная газета. 1927. 1 июля.
345. Ленин В.И. Речь на Всероссийском съезде транспортных рабочих // Ленин В.И. ПСС. Т. 43. С. 141.
346. Партийная этика. С. 160.
347. Там же. С. 160, 174.
348. Там же. С. 283.
349. Там же. С. 284.
350. ЦГА ИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 6. Д. 252. Л. 42.
351. Музей С.М. Кирова. Ф. 5. Д. 148. Л. 36.
352. Смена. 1926. № 4. С. 12.
353. На штурм науки. Л., 1971. С. 213.
354. ЦГА ИПД СПб. Ф. 691. Оп. 1. Д. 148. Л. 3.
355. Комсомольская правда. 1928. 2 июля.
356. Там же.
357. Вересаев В.В. Сестры. С. 198.
358. Цит. по: Рожков А.Ю. В кругу сверстников. Жизненный мир молодого человека в советской России 1920-х годов. М., 2014. С. 211.
359. Изофронт. Классовая борьба на фронте пространственных искусств. М.; Л., 1931. С. 62.
360. Гранин Д.А. Указ. соч. С. 77.
361. Там же. С. 91.
362. Шефнер В.С. Бархатный путь. С. 81.
363. Смехач. 1928. №31.
364. Ильф И., Петров Е. Золотой теленок. С. 84-85.
365. Подробнее см.: Щеглов Ю.К. Указ. соч. С. 414.

366. Цендровская С.Н. Указ. соч. С. 87.
367. Дневниковые записи Даниила Хармса. С. 463.
368. Романов П. Светлые сны. М., 1990. С. 292, 366.
369. Иванова-Романова Н.М. Книга жизни // Нева. 1989. № 4. С. 74.
370. Экономико-статистический справочник Ленинградской области. Л., 1932. С. 198.
371. Там же.
372. Маньков А.Г. Указ. соч. С. 152.
373. Вспоминая Ольгу Берггольц. Л., 1979. С. 56.
374. Цит. по: Кирсанова Р.М. Гимнастерка, джимми и полпред... // Родина. 1997. № 11. С. 45.
375. Художник и зритель. 1924. № 6-7. С. 770.
376. ЛЕФ. 1924. № 2. С. 27.
377. Подробнее см.: Каратаева Т. Красноармеец вместо розы: текстиль для советского человека // Теория моды: тело, мода, культура. 2011 (осень). Вып. 21. С. 276.
378. Девель А.А. Красный химик. Л., 1976. С. 114.
379. Кетлинская В.К. Мужество. М., 1956. С. 387.
380. Шитц И.И. Указ. соч. С. 195.
381. Росляков М.Н. Убийство Кирова. Л., 1991. С. 69.
382. ЦГА ИПД. СПб. Ф. К-202. Оп. 2. Д. 76-а. Л. 62.
383. Комсомольская правда. 1933. 28 авг.
384. О времени и о себе. Л., 1984. С. 174.
385. Правда. 1933. 6 окт.
386. Известия. 1933. 18 дек.; Блюмин М. Бабье лето авангарда, или Вторая жизнь агитационного текстиля 1920-1930-х годов// Новый мир искусства. 2002. № 3. С. 43.
387. Подробнее см.: Хан-Магомедов С.О. Пионеры советского дизайна. С.301-303.
388. Цит. по: Каратаева Т. Указ. соч. С. 273.
389. Гусев В.Е. Шерстяная промышленность за годы Советской власти. М., 1957. С. 14, 17.
390. Селин в России. Материалы и исследования. СПб., 2000. С. 30.
391. Акт обыска у Ягоды // Родина. 1999. № 1. С. 40.

392. Подробнее о разночтениях в дате создания ЦДМ см.: Тронов Ю., Журавлев С. Власть моды и Советская власть: история противостояния // Историк и художник. 2006. № 3.; Бартлетт Дж. Указ. соч. С. 89-90.
393. Бартлетт Дж. Указ. соч. С. 79.
394. Скиапарелли Э. Моя шокирующая жизнь. М., 2008. С. 142.
395. Сараева-Бондарь А.М. Силуэты времени. Л., 1993. С. 281.
396. Бартлетт Дж. Указ. соч. С. 79.
397. Огонек. 1988. № 27. С. 8.
398. Юность. 1985. № 8. С. 90.
399. Гудов И.И. Путь рабочего. М., 1974. С. 37.
400. Комсомольская правда. 1935. 1 янв.
401. Фейхтвангер Л. Указ. соч. С. 11.
402. Подробнее см.: Дашкова Т.Ю. Невидимые миру рюши: одежда в советском предвоенном и военном кино // Теория моды: Одежда. Тело. Культура. 2007. Вып. 3.
403. Маньков А.Г. Указ. соч. С. 178, 184.
404. Цендровская С.Н. Указ. соч. С. 91.
405. Подробнее см.: Лебина Н.Б. От поколения к поколению. Историко-социологический портрет молодого ленинградского рабочего. Л., 1983; Цендровская С.Н. Указ. соч.
406. Жуков Ю., Черненко М. После гудка. М., 1934. С. 35.
407. Элтон Д. Как весело жилось в Ленинграде. История английской семьи в России в 1933-1938 гг. СПб., 2003. С. 28.
408. Осокина Е.А. За фасадом «сталинского изобилия». С. 129.
409. Подробнее см.: Нагибин Ю.М. Тьма в конце туннеля. М., 1996. С. 219-221.
410. Подробнее см.: Советская жизнь. 1945-1953. С. 83-89.
411. Нагибин Ю.М. Рассказ синего лягушонка. М., 1991. С. 221.
412. Подробнее см.: Тронов Ю., Журавлев С. Власть моды и Советская власть.
413. ЦГА СПб Ф. 2071. Оп. 8. Д. 716. Л. 1.
414. Советская жизнь. 1945-1953. М., 2003. С. 79.
415. Подробнее см.: Рейн Е.Б. Мне скучно без Довлатова. СПб., 1997. С. 273; Герман М.Ю. Сложное прошедшее. СПб., 2000. С. 132-133, 141.



416. Шефнер В.С. Бархатный путь. С. 46.  
417. Рейн Е.Б. Указ. соч. С. 270; Бобышев Д. Я здесь (Человекотекст). М., 2003. С. 80.

Часть II. Нормы поведения  
(косвенное нормирование повседневности)

1. Подробнее см.: Слезин А.А. За «новую веру». Государственная политика в отношении религии и политический контроль среди молодежи РСФСР (1918-1929 гг.). М., 2009.
2. Суворов Н.С. Учебник церковного права. М., 1913. С. 328.
3. Цит. по: Кашеваров А.Н. Государство и церковь. Из истории взаимоотношений советской власти и русской православной церкви. 1917-1945 гг. СПб., 1995. С. 37.
4. Кабо Е.О. Очерки рабочего быта. М., 1928. С. 200.
5. Там же. С. 20; Антирелигиозник. 1929. № 4. С. 89.
6. Антирелигиозник. 1926. № 6. С. 12.
7. Юношеская правда. 1924. 5, 22 янв.
8. Цит. по: Рожков А.Ю. В кругу сверстников. С. 300.
9. Марчуков А. Маленький мир с маленькими людьми // Родина. 2002. № 2. С. 83.
10. Подробнее см.: Рожков А.Ю. В кругу сверстников. С. 300-301.
11. Цит. по: Там же. С. 299.
12. Огнёв Н. Дневник Кости Рябцева. М., 1966. С. 41.
13. Булгаков М.А. Собачье сердце. С. 137.
14. Маяковский В.В. Маруся отравилась // Маяковский В.В. Полное собрание сочинений: В 13 т. М., 1958. Т. 8. С. 118.
15. Вересаев В.В. Сестры. С. 271.
16. См.: Ирошников М.П., Шелаев Ю.Б. Октябрение // Родина. 1991. № 9-10.
17. См.: Беляев Д. Стиляга // Крокодил. 1949. № 7.
18. ЦГА СПб. Ф. 4301. Оп. 1. Д. 2112. Л. 1; Александров А. Береги свое здоровье. Владимир, 1925. С. 22.
19. Юный пролетарий Урала. 1923. № 5. С. 16.
20. Юный пролетарий Урала. 1924. № 2-3. С. 38.
21. Залкинд А.Б. Революция и молодежь. М., 1925. С. 54-55.

22. Подробнее см.: Келли К. Товарищ Павлик. Взлет и падение советского мальчика-героя. М., 2009.
23. Комсомольская правда. 1935. 18 сент.
24. Цит. по: Герштейн Э.Г. Мемуары. СПб., 1998. С. 355.
25. Кабо Е.О. Указ. соч. С. 175.
26. Донина И.Н. «Автобиографии безбожников» как вид массового источника по социальной психологии рубежа 1920-1930-х гг. // Клио. 1998. № 3. С. 62.
27. О комсомоле и молодежи. М., 1970. С. 183.
28. Скрябина Е.А. Указ. соч. С. 84.
29. ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 2. Д. 39. Л. 33.
30. Скрябина Е.А. Указ. соч. С. 88.
31. Советская жизнь. 1945-1953. С. 658, 661.
32. Пирожкова В.А. Указ. соч. С. 52.
33. Герман Ю.П. Наши знакомые. Л., 1959. С. 200.
34. Культура и быт горняков и металлургов Нижнего Тагила. 1917-1970. М., 1974. С. 191.
35. Жирнова Г.В. Брак и семья русских горожан в прошлом и настоящем. М., 1981. С. 97.
36. Смена. 1923. 22 сент.
37. Молодой ленинец. 1924. 24 февр.
38. Антирелигиозник. 1926. № 6. С. 12.
39. На штурм науки. С. 205.
40. Островский Н.А. Указ. соч. С. 292.
41. Правда. 1923. 14 июля.
42. Миронец Н.И. Песня в комсомольском строю. М., 1985. С. 259.
43. Юношеская правда. 1924. 5 янв.
44. Брыкин Н. Люди низин. Л., 1927. С. 160.
45. Маяковский В.В. Клоп // Маяковский В.В. Сочинения в одном томе. М., 1941. С. 455.
46. Песенник революционных, антирелигиозных, комсомольских и украинских песен. М., 1924. С. 43.
47. Цит. по.: Одинцов М.И. Государство и церковь. (История взаимоотношений. 1917-1938 гг.). М., 1991. С. 34.

48. ЦГА ИПД СПб. Ф. К-778 . Оп. 2. Д. 103. Л. 26.
49. Советская культура. 1989. 14январь.
50. Скрябина Е.А. Указ. соч. С. 79.
51. Советская жизнь. 1945-1953. С. 658.
52. Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М., 1992. С. 469.
53. Гуревич А.Я. Исторический синтез и Школа «Анналов». М., 1993. С. 239.
54. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000.
55. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 году: Документы и материалы. Л., 1991. С. 145, 152.
56. Биржевые ведомости. 1917. 11 марта. Утренний выпуск.
57. Известия. 1918. 11 дек.
58. Подробнее см.: Шкаровский М.В. Строительство Петроградского (Ленинградского) крематория как средства борьбы с религией // Клио. 2006. № 3. С. 158-162.
59. Паперный В. Культура Два. С. 42.
60. Кашеваров А.Н. Указ. соч. С. 72.
61. О его судьбе подробнее см.: Лебина Н.Б. Храм // Измозик В.С., Лебина Н.Б. Петербург советский. С. 56-66.
62. ЦГА СПб. Ф. 142. Оп. 1. Д. 61. Л. 4-4 об.
63. Там же. Л. 2.
64. Там же. Л. 3.
65. Анненков Ю.П. Указ. соч. С. 91.
66. ЦГА СПб. Ф. 142. Оп. 1. Д. 61. Л. 24.
67. Там же.
68. Чуковский К.И. Указ. соч. С. 153.
69. Анненков Ю.П. Указ. соч. С. 94.
70. Чуковский К.И. Указ. соч. С. 153.
71. Вересаев В.В. Об обрядах старых и новых (к художественному оформлению быта). М.: Новая Москва, 1926. С. 4.
72. Там же. С. 11.
73. Безбожник. 1927. № 10. С. 4.
74. Огонек. 1927. 11 дек.
75. Щеглов Ю.К. Указ. соч. С. 338.

76. Зудин И., Мальковский К., Шаламов П. Мелочи жизни. Л., 1929. С. 70.
77. Всесоюзная перепись населения 1939 года. Основные итоги. М., 1992. С. 4; Правда. 1938. 27 июля.
78. ЦГА ИПД СПб. Ф. 24. Оп. 8. Д. 437. Л. 78.
79. Подробнее см.: Шкаровский М.В. Петербургская епархия в годы гонений и утрат. 1917-1945 гг. СПб., 1996. С. 164,165.
80. Советская жизнь. 1945-1953. С. 658, 659.
81. Чуковский К.И. Указ. соч. С. 137.
82. Лосский Б.Н. Указ. соч. С. 81.
83. ЦГА ИПД СПб. Ф. 16. Оп. 9. Д. 925. Л. 8.
84. Крупская Н.К. Из атеистического наследия. М., 1964. С. 194.
85. Даты жизни и деятельности В.И. Ленина // Ленин В.И. ПСС. Т. 45. С. 666-667.
86. Ленин В.И. О значении воинствующего материализма // Ленин В.И. ПСС. Т. 45. С. 26.
87. На линии огня. Очерки истории волгоградской комсомолки. Волгоград, 1970. С. 73, 74.
88. См. подробнее: Слезин А.А. Антирелигиозные праздники 1920-х гг. // Вопросы истории. 2010. № 12. С. 82-91.
89. Киршон В. Наша Карманьола. М., 1923. С. 14-16.
90. Координаты подвига. Из истории челябинской областной комсомольской организации. 1918-1968. Челябинск, 1968. С. 96.
91. Подробнее см.: Лихачев Д.С., Панченко А.М., Поньрко Н.В. Смех в древней Руси. Л., 1984.
92. РГА СПИ. Ф. М-1. Оп. 3. Д. 4. Л. 82.
93. Известия ЦК РКП(б). 1923. № 3. С. 203.
94. Двенадцатый съезд РКП(б). Стенографический отчет. М., 1968. С. 716.
95. ЦГА ИПД СПб. Ф. К-601. Оп. 1. Д. 915. Л. 4.
96. Там же. Ф. 4000. Оп. 6. Д. 337. Л. 7.
97. Комсомольцы и молодежь Ивановской области в годы строительства социализма (1921-1940 гг.). Иваново, 1967. С. 64-65.
98. См., например: ЦГА ИПД СПб. Ф. К-601. Оп. 1. Д. 915. Л. 4.

99. РГА СПИ. Ф. М-1. Оп. 3. Д. 10. Л. 20.
100. Подробнее см.: Лебина Н.Б. Энциклопедия банальностей. С. 303, 309-311.
101. Бондаренко П.П. Указ. соч. С. 112.
102. ЦГА ИПД СПб. Ф. К-601. Оп. 1. Д. 537. Л. 5.
103. Там же. Л. 33.
104. Там же.
105. Там же. Л. 61.
106. Комсомольское рождество. Л., 1925. С. 9.
107. Курдов В.И. Указ. соч. С. 32.
108. Антирелигиозник. 1927. № 6. С. 28.
109. Чуковский К.И. Указ. соч. С. 338.
110. Бобрищев М. Мелкобуржуазное влияние среди молодежи. М.; Л., 1928. С. 28.
111. Цит. по: Кашеваров А.Н. Указ. соч. С. 92.
112. Антирелигиозник. 1929. № 4. С. 89.
113. Ленинградская правда. 1929. 9 июля.
114. ЦГА ИПД СПб. Ф. К-1791. Оп. 1. Д. 10. Л. 6.
115. Там же. Ф. К-202. Оп. 2. Д. 42. Л. 26.
116. Подробнее см.: СЗ СССР. 1929. № 63. Ст. 586.
117. Здесь мемуаристке изменяет память — 1 января стало нерабочим днем только в 1947 году.
118. Скрябина Е.А. Указ. соч. С. 80.
119. Цит. по: Душечкина Е.В. Русская елка. СПб., 2002. С. 272.
120. Герштейн Э.Г. Указ. соч. С. 211.
121. Цендровская С.Н. Указ. соч. С. 86.
122. Кашеваров А.Н. Указ. соч. С. 92.
123. СЗ СССР. 1931. № 65. Ст. 448.
124. Трудовое право: Энциклопедический словарь. М., 1963. С. 400.
125. Подробнее см.: Дониная И.Н. «Автобиографии безбожников» как вид массового источника по социальной психологии рубежа 1920-1930-х гг. // Клио. 1998. № 3. С. 58-66.
126. РО ГМИР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 52. Л. 13, 220, 93. Данные любезно представлены И.Н. Дониной.

127. Маньков А.Г. Указ. соч. С. 135-183.
128. Свиньина Е.А. Указ. соч. С. 69.
129. ЦГА ИПД СПб. Ф. 24. Оп. 8. Д. 437. Л. 60.
130. РГА СПИ. Ф. М-1. Оп. 3. Д. 173. Л. 147.
131. Шкаровский М.В. Петербургская епархия в годы гонений и утрат. С. 157.
132. Правда. 1935. 28 дек.
133. Подробнее см.: Пушкарева Н.Л. Русская женщина: история и современность. История изучения «женской темы» русской и зарубежной наукой. 1800-2000: Материалы к библиографии. М., 2002.
134. Здравомыслова Е.А., Темкина А.А. Государственное конструирование тендера в советском обществе // Журнал исследований социальной политики. 2003. Т. 1. № 3-4. С. 302.
135. Вишневецкий А.Г. Серп и рубль: Консервативная модернизация в СССР. М., 1998. С. 130.
136. Подробнее см.: Голод С.И. XX век и тенденции сексуальных отношений в России. СПб., 1996.
137. Молодая гвардия. 1923. № 3. С. 122.
138. Там же.
139. Коллонтай А.М. Семья в коммунистическом обществе. Одесса, 1919. С. 15.
140. Молодая гвардия. 1923. № 3. С. 164.
141. Коммунистическая мораль и семейные отношения. Л., 1926. С. 114-115; Марков А.Р. А был ли секс в СССР в 20-30-х гг. // Родина. 1995. № 9. С. 25.
142. Молодая гвардия. 1923. № 4-5. С. 154.
143. Уэллс Г. Россия во мгле. М., 1958. С. 58.
144. Молодая гвардия. 1923. № 4-5. С. 153.
145. Гельман И. Половая жизнь современной молодежи. М., 1923. С. 65-71.
146. На штурм науки. С. 199.
147. Сборник законодательных актов о труде. М., 1970. С. 772-773; Труд, здоровье и быт ленинградской рабочей молодежи. Вып. 1. Л., 1925. С. 23.
148. Куркин П.И. Московская рабочая молодежь. Вып. I. М., 1924. С. 12; Александровский А. Береги свое здоровье. Владимир, 1926. С. 11.

149. Труды ленинградского института по изучению профессиональных болезней. Т. 1. Л., 1926. С. 57-58.
150. ГА РФ. Ф. А 482. Оп. 11. Д. 87. Л. 13.
151. Кетлинская В., Слепков Вл. Жизнь без контроля. М.; Л., 1929. С. 37.
152. Чучелов Н.И. Опыт изучения половой жизни рабочего населения путем открытого опроса// Социальная гигиена. Вып. 14. 1928. С. 80,81.
153. Подробнее см.: Рожков А.Ю. В кругу сверстников; Беззубцев-Кондаков А.Е. Без черемухи // Урал. 2006. № 6.
154. Вересаев В.В. Сестры. С. 206.
155. Там же. С. 213.
156. Ленинградский медицинский журнал. 1925. № 3. С. 3.
157. ЦГА ИПД СПб. Ф. К-156. Оп. 1-а. Д. 9. Л. 93-94.
158. Кетлинская В., Слепков Вл. Указ. соч. С. 52; Гернет М.Н. К статистике проституции // Статистическое обозрение. 1927. № 7. С. 87.
159. Смена. 1927. №7. С. 14.
160. Смена. 1927. № 11. С. 12.
161. Бернштам Т.А. Молодежь в обрядовой жизни русской общины XIX — начала XX в. Л., 1988. С. 243.
162. Хулиганство и преступления. М., 1927. С. 65,24, 26.
163. Лебедев Л., Серов С. Молодежь на суде. М.; Л., 1927. С. 13, 15.
164. Свиньина Е.А. Указ. соч. С. 54.
165. Ленинградская правда. 1926. 14сент.
166. Там же.
167. Московский медицинский журнал. 1929. № 6. С. 30.
168. Подробнее см.: Сосновский Л. Дело Коренькова // Комсомольский быт: Сб. М.; Л., 1927; Партийная этика; Рожков А.Ю. В кругу сверстников.
169. ЦГА ИПД СПб. Ф. К-156. Оп. 1-а. Д. 9. Л. 93-94.
170. Рожков А.Ю. В кругу сверстников. С. 363.
171. Цеткин К. Воспоминания о В.И. Ленине. М., 1955. С. 47, 50.
172. Залкинд А.Б. Половой вопрос в условиях советской общественности. М., 1926. С. 56, 59.
173. Василевский Л.М. Проституция и рабочая молодежь. М., 1924. С. 66.

174. Партийная этика. Документы и материалы. М., 1988. С. 243.
175. Полвека труда и строительства. История Ярославского автомобильного завода. Ярославль, 1966. С. 86.
176. ЦГА ИПД СПб. Ф. К-202. Оп. 2. Д. 12. Л. 56.
177. Вересаев В.В. Сестры. С. 336.
178. Материалы по статистике Петрограда и Петроградской губернии. Вып. V. Пг., 1921. С. 68-69; Материалы по статистике Ленинграда и Ленинградской губернии. Вып. VI. Л., 1926. С. 234-235.
179. ГА РФ. Ф. А 374. Оп. 23. Д. 139. Л. 121.
180. Ленинградская правда. 1928. 3 нояб.
181. Кетлинская В., Слепков Вл. Указ. соч. С. 101.
182. Максимова Т.О. На кой черт регистрировать брак // Родина. 2004. № 11. С. 87.
183. Комсомольская правда. 1937. 19 нояб.
184. РГА СПИ. Ф. М-1 . Оп. 5. Д. 54. Л. 102.
185. Комсомольская правда. 1938. 4 июля.
186. Комсомольская правда. 1938. 21 нояб.
187. Звезда. 1989. № 8. С. 129.
188. Райх В. Сексуальная революция. СПб.; М., 1997. С. 271.
189. Пирожкова В.А. Указ. соч. С. 84.
190. Вольфсон С.Я. Семья и брак в их историческом развитии. М., 1937. С. 233-234.
191. Уголовный кодекс РСФСР. М., 1946. С. 200.
192. Райх В. Указ. соч. С. 274.
193. Подробнее см.: Engelstein L. Soviet Police Toward Male Homosexuality: Its Origins and Historical Roots // Gay Men and the Sexual History of Political Left. London, 1995. P. 155-178.
194. Подробнее см.: Клеш А. Русский гомосексуал (1905-1938 гг.): парадоксы восприятия// Новое литературное обозрение. 2012. №5 (117). С. 96.
195. Иванов В.А. Контрреволюционные организации среди гомосексуалистов Ленинграда в начале 1930-х годов и их погром // Новейшая история России. 2013. № 3. С. 126-147.
196. Источник. 1993. № 5-6. С. 164.



197. Горький М. Пролетарский гуманизм // Горький М. Полное собрание сочинений. М., 1953. Т. 27. С. 238.
198. Подробнее см. раздел «"Навстречу многочисленным заявлениям трудящихся женщин"» главы «Советский тендерный уклад: стандарты и отклонения».
199. Зубкова Е.Ю. В кругу ближнем. Частная жизнь советского человека // Родина. 2008. № 7. С. 132.
200. Вишневский А.Г. Указ. соч. С. 148.
201. Пыжиков А.В. Раздельное обучение в советской школе // Педагогика. 2004. № 5. С. 78.
202. Городницкий А.М. Васильевский остров. М., 1999. С. 47.
203. Бродский И.А. Меньше единицы / Пер. В. Голышева // Бродский И.А. Меньше единицы: Избранные эссе. М., 1999. С. 22.
204. Найман А.Г. Славный конец бесславных поколений. М., 1999. С. 42.
205. Бейлинсон В.Г. Советское время в людях. М., 2008. С. 463-464.
206. Говоров И.В. Преступность и борьба с ней в послевоенном Ленинграде (1945-1955): опыт исторического анализа. СПб., 2004. С. 56-57.
207. Цит. по: Максимова Т.О. Указ. соч. С. 87.
208. Ведомости Верховного Совета СССР. 1944. № 37. Ст. 24а.
209. Харчев А.Г. Брак и семья в СССР. М., 1964. С. 168.
210. Советская жизнь. 1945-1953. С. 697.
211. Там же.
212. Человек в кругу семьи. С. 305-345.
213. Подробнее см.: Engelstein L. The Keys to Happiness. Sex and the Search for Modernity in Fin-de-Siecle Russia. Ithaca (NY), 1992. P. 345, 346, 347.
214. Общественный врач. 1914. № 2. С. 217.
215. Ленин В.И. Рабочий класс и неомальтузианство // Ленин В.И. ПСС. Т. 23. С. 257.
216. Цит. по: Дробижев В.З. У истоков советской демографии. М., 1987. С. 78.
217. Там же.
218. Известия ВЦИК. 1920. 18 нояб.
219. Виноградская П. Крылатый Эрос тов. Коллонтай // Коммунистическая мораль и семейные отношения. Л., 1926. С. 113-114.

220. См.: Аборты в СССР. М., 1927. Вып. 2.
221. Вересаев В.В. Сестры. С. 344.
222. Аборты в СССР. С. 40, 45, 66.
223. Статистическое обозрение. 1928. № 12. С. 113.
224. Подробнее см.: Комсомольский быт; Партийная этика; Рожков А.Ю. В *кругу* сверстников.
225. Струмилин С.Г. К проблеме рождаемости в рабочей семье // Струмилин С.Г. Избранные сочинения. М., 1964. Т. 3. С. 137.
226. Огнёв Н. Указ. соч. С. 108.
227. Цит. по: Goldman W. Women, the State and Revolution. Cambridge, 1993. P. 264.
228. ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 2. Д. 52. Л. 36.
229. Там же. Л. 37.
230. Сталин И.В. Отчетный доклад XVII съезду партии о работе ЦК ВКП(б) 26 января 1934 г. // Сталин И.В. Сочинения. М., 1951. Т. 13. С. 336.
231. Струмилин С.Г. К проблеме рождаемости в рабочей семье. С. 137.
232. Шитц И.И. Указ. соч. С. 185.
233. ЦГА СПб. Ф. 7884. Оп. 2. Д. 52. Л. 27, 28.
234. Там же. Л. 11.
235. СЗ СССР 1936. № 34. Ст. 309.
236. Стяжкина Е.В., Мирошниченко И.М. Абортивное табу 1936 г.: дискуссии в региональной прессе Донбасса // Былые годы. 2012. №2 (24). С. 34. О проблемах искусственных выкидышей в регионах см.: Северьянов М.Д., Анисимова Л.Ю. Аборт как средство планирования семьи в России первой четверти XX в. // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. 2013. Т. 6. № 7. С. 1066-1074; Гниятуллина Г.Г. Реализация абортной политики в БАССР в 1920-1930-х гг. // Вестник ВЭГУ 2013. № 1 (63). С. 168-171; Савчук А.А. Девиации брачного поведения на Советском Дальнем Востоке // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2012. № 1 (17). С. 53-56.
237. Красная деревня. 1936. № 7.
238. ЦГА СПб. Ф. 9156. Оп. 4. Д. 695. Л. 57.
239. ЦГА ИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 2332. Л. 47.

240. ЦГА СПб. Ф. 7179. Оп. 53. Д. 41. Л. 17.
241. Там же. Л. 25.
242. Там же. Л. 110.
243. ЦГА СПб. Ф. 9156. Оп. 4. Д. 693. Л. 1.
244. ЦГА НТД СПб. Ф. 193. Оп. 1-1. Д. 399. Л. 6, 15.
245. Там же. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 2501. Л. 60-61.
246. ЦГА СПб. Ф. 9156. Оп. 4. Д. 695. Л. 50, 51.
247. ЦГА НТД СПб. Ф. 193. Оп. 1-1. Д. 399. Л. 13.
248. Вечерний Ленинград. 1948. 11 июля.
249. Говоров И.В. Указ. соч. С. 61.
250. Там же. С. 61,64.
251. Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945-1953. М., 1999. С. 178.
252. Роткирх А. Мужской вопрос: любовь и секс трех поколений в автобиографиях петербуржцев. СПб., 2011. С. 118-119.
253. Панова В.Ф. Времена года. Л., 1954. С. 82.
254. Советская жизнь. 1945-1953. С. 682.
255. ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 36. Д. 488. Л. 9.
256. Лебина Н.Б. Повседневная жизнь советского города. С. 230-234.
257. Вестник труда. 1921. № 2. С. 8.
258. Красная молодежь. 1921. 27 апр., 17 мая.
259. Красная молодежь. 1921. 17 мая; Сборник Петроградского комитета РКП. Вып. IV. Пг., 1921. С. 78.
260. Вестник труда. 1921. № 9. С. 35.
261. IV съезд ВЛКСМ. Стенографический отчет. М.; Л., 1925. С. 108.
262. Ленинский комсомол. М., 1969. Т. 1. С. 349.
263. Одиннадцатый съезд РКП(б). Стенографический отчет. М., 1961. С. 567.
264. Ленинский комсомол. Т. 1. С. 349; Струмилин С.Г. Рабочее время в промышленности СССР (1897-1935 гг.) // Струмилин С.Г. Избранные сочинения. М., 1964. Т. 3. С. 386.
265. Шкаратан О.И. Материальное благосостояние рабочего класса СССР в переходный период от капитализма к социализму (по материалам Ленинграда) // История СССР. 1964. № 3. С. 31.

266. Струмилин С.Г. Рабочее время в промышленности СССР. С. 229.
267. ГА РФ. Ф. А 390. Оп. 3. Д. 1432. Л. 15.
268. Струмилин С.Г. Рабочее время в промышленности СССР. С. 368.
269. История индустриализации Центрально-Черноземного района. 1926-1932 гг. Т. 1. Воронеж, 1970. С. 356.
270. Ленинец. 1930. 5 апр.
271. Горьковский автомобильный. М., 1981. С. 28.
272. В борьбе за поворот. Л., 1930. С. 17.
273. Известия ЦК ВЛКСМ. 1934. № 20. С. 16, 19.
274. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. II. М., 1968. С. 259.
275. Лебедев-Патрейко В., Рабинович Г., Родин Д. Бюджет времени рабочей семьи. Л., 1933. С. 55.
276. Подробнее см.: Рубакин Н.А. Этюды о русской читающей публике // Рубакин Н.А. Избранное: В 2 т. М., 1975. Т. 1. С. 98, 100.
277. Красная молодежь. 1922. 1 марта.
278. ЦГА ИПД СПб. Ф. К-601. Оп. 1. Д. 1652. Л. 75.
279. Смена. 1924. № 3. С. 24. (Журнал; не путать со следующим источником.)
280. Смена. 1923. 15 сент. (Газета; не путать с предыдущим источником.)
281. ЦГА ИПД СПб. Ф. К-601. Оп. 1. Д. 736. Л. 76-79.
282. На путях к новой школе. 1922. № 3. С. 149.
283. Одиннадцатый съезд РКП(б). Стенографический отчет. М., 1961. С. 567.
284. Там же. С. 571-572.
285. Товарищ комсомол. Т. 1. С. 89.
286. Бюллетень 18 конференции Петроградской организации ВКП(б). Вып. I. Пг., 1923. С. 28.
287. ЦГА ИПД СПб. Ф. К-630. Оп. 1. Д. 33-в. Л. 6.
288. Красные восходы. 1923. № 11. С. 24.
289. Смена. 1924. № 11. С. 24.
290. Ганичев В.Н. Боевой опыт комсомольской печати. М., 1973. С. 160—161.
291. Беккер М. Поэты и писатели красной молодежи. М.; Л., 1924. С. 23-47.

292. Крупская Н.К. Указ. соч. М., 1964. С. 96.
293. Что читает рабочая молодежь. М., 1930. С. 52-53.
294. Там же. С. 22; Каган А.Г. Молодежь после гудка. Л., 1929. С. 20.
295. Франкфурт Л. Рабочая молодежь и книга. М.; Л., 1929. С. 12, 15.
296. Каган А.Г. Указ. соч. С. 88.
297. Комсомольская правда. 1931. 21 янв.
298. Известия ВЛКСМ. 1932. № 11-12. С. 64.
299. Комсомольская правда. 1934. 11 дек.
300. ЦГА ИПД СПб. Ф. К-881. Оп. 10. Д. 60. Л. 14.
301. Молодежь СССР. М., 1936. С. 260-261.
302. Комсомольская правда. 1935. 29 окт.
303. Смена. 1935. 29 окт.
304. Комсомольская правда. 1936. 2 февр.
305. Молодежь СССР. С. 260-261.
306. Социальный облик рабочей молодежи. По материалам социологических обследований 1936 и 1972 гг. М., 1980. С. 225.
307. Народное хозяйство СССР. М., 1981. С. 474.
308. Очерки истории Ленинграда. Т. IV. Л., 1964. С. 600.
309. Сталинградская область в цифрах. Сталинград, 1939. С. 105.
310. Перемышлев Е. Заочная ставка: Л. Овалов и майор Пронин// Новое литературное обозрение. 2006. № 4. С. 221-255.
311. Степанов З.В. Культурная жизнь Ленинграда 20-х — начала 30-х годов. Л., 1976. С. 108, 111.
312. ЦГА ИПД СПб. Ф. К-601. Оп. 1. Д. 232. Л. 25.
313. Цит. по: Миронова В.В. ТРАМ. Агитационный молодежный театр 1920-1930-х годов. Л., 1977. С. 75.
314. ЦГА ИПД СПб. Ф. К-598. Оп. 2. Д. 107. Л. 10,15.
315. Там же. Ф. К-691. Оп. 1. Д. 47. Л. 1.
316. Там же. Ф. К-157. Оп. 1. Д. 4. Л. 5.
317. Степанов З.В. Указ. соч. С. 119.
318. Там же. С. 128.
319. Молодежь СССР. С. 271.
320. Полвека труда и строительства. Ярославль, 1966. С. 113.
321. Стаханов А. Рассказ о моей жизни. М., 1937. С. 26.

322. Селин в России. С. 28.
323. Марков В. Et ego in Arcadia // Звезда. 1995. № 2. С. 138.
324. Смирнов В.Е. Фабричный подросток // На путях к новой школе. 1922. № 3. С. 79.
325. Подробнее см.: Жданкова Е. Кинотеатры в годы НЭПа: стратегия выживания // Конструируя «советское»? Политическое сознание, повседневные практики, новые идентичности. Материалы научной конференции 19-20 апреля 2013 года. СПб., 2013. С. 50-56.
326. Культурное строительство в Саратовском Поволжье. 1917-1928. Ч. 1. Саратов, 1985. С. 192, 241.
327. Алпатов М. Возвращение в юность. М., 1985. С. 119-121.
328. Координаты подвига. Челябинск, 1968. С. 133.
329. Товарищ комсомол. Т. 1. С. 77.
330. Двенадцатый съезд РКП(б). С. 714.
331. Рубинштейн М.М. Указ. соч. М., 1928. С. 200.
332. Смена. 1924. 2, 16 февр.; 1925. 29 янв., 18 февр. Жизнь искусства. 1924. № 41. С. 22.
333. Культурное строительство в Саратовском Поволжье. Ч. 1. С. 243.
334. Киножурнал АРК. 1925. № 8. С. 66.
335. Вайншток Вл., Якобзон Дм. Кино и молодежь. М., 1926. С. 19.
336. Степанов З.В. Указ. соч. С. 154.
337. КПСС о культуре, просвещении и науке. М., 1963. С. 169.
338. Там же. С. 160-162.
339. ЦГА ИПД СПб. Ф. К-598. Оп. 2. Д. 118. Л. 58.
340. Культурное строительство в Саратовском Поволжье. Ч. 2. С. 243.
341. Коган Б.В., Лебединский М.С. Быт рабочей молодежи. М., 1929. С. 55.
342. Каган А.Г. Указ. соч. С. 34.
343. Там же. С. 35.
344. Степанов З.В. Указ. соч. С. 155.
345. Молодежь СССР. С. 274.
346. Солонович Е. По острию ножа / Беседу вела Е. Калашникова// Вопросы литературы. 2003. № 1. С. 273.
347. Герман М.Ю. Сложное прошедшее. СПб., 2000. С. 179.

348. Ромм М.А. Об итальянском неореализме // Ромм М.А. Избранные произведения: В 3 т. Т. 1. Теория. Критика. Публицистика. М., 1980. С.530-531.
349. Панова В. Времена года. С. 183.
350. Чистиков А.Н. Тройка, семерка, туз // Родина. 1994. № 10. С. 44.
351. Там же. С. 46.
352. Шульгин В.В. Указ. соч. С. 313-314.
353. Катаев В.П. Алмазный мой венец. М., 1981. С. 74.
354. Красная газета. 1925. 25 марта. Вечерний выпуск.
355. Поссе В.А. Голод и НЭП // Русское прошлое. № 4. СПб., 1993. С. 307.
356. Финансовый бюллетень. 1925. № 7. С. 7, 96.
357. Пушка. 1926. № 22. С. 3.
358. Красная газета. 1926. 23 сент. Вечерний выпуск.
359. Петроградская правда. 1922. 3 июня.
360. Поссе В.А. Указ. соч. С. 307.
361. Красная газета. 1925. 25 марта. Вечерний выпуск.
362. Красная газета. 1926. 23 сент. Вечерний выпуск.
363. СЗ СССР. 1928. № 27. С. 249.
364. Бюллетень НКВД. 1929. № 20. С. 396.
365. Курдов В.И. Указ. соч. С. 83.
366. Шефнер В.С. Бархатный путь. С. 57.
367. Цендровская С.Н. Указ. соч. С. 85.
368. РГА СПИ. Ф. М-1. Оп. 3. Д. 124. Л. 80.
369. Цит. по: Миронец Н.И. Указ. соч. М., 1985. С. 42.
370. См.: Там же. С. 68.
371. Алпатов М. Указ. соч. С. 68.
372. Песенник революционных, комсомольских, антирелигиозных и волжско-бурлацких песен. М., 1925. С. 3.
373. Смехач. 1926. № 24. С. 5. Подробнее см.: Неклюдов С. «Все кирпичики, да кирпичики...»// Шиповник. Историко-филологический сборник к 60-летию Р.Д. Тименчика. М., 2005. С. 271-303.
374. Новые зрители. 1929. № 40. С. 10.
375. Пролетарский музыкант. 1929. № 3. С. 5.
376. Комсомольская правда. 1926. 14 нояб.

377. Миронец Н.И. Указ. соч. С. 72.
378. Цит. по: Трущенко Н. Указ. соч. М., 1988. С. 171.
379. СЗ СССР. 1933. № 62. Ст. 327.
380. Иванов В.А. Миссия Ордена. Механизм массовых репрессий в Советской России в конце 20-х — 40-х гг. (на материалах Северо-Запада РСФСР). СПб., 1997. С. 113, 367.
381. Бурдые П. Программа для социологии спорта // Начала. М., 1994. С. 274.
382. Товарищ комсомол. Т. 1. С. 77.
383. Золотонос М. Мастурбанизация. «Эрогенные зоны» советской культуры 1920-1930-х годов // Литературное обозрение. 1991. № 11. С. 98.
384. Огнёв Н. Указ. соч. С. 73-74.
385. Смена. 1924. 15 янв.
386. О комсомоле и молодежи. М., 1970. С. 182.
387. Ленинец. 1929. 2, 12, 17 сент.
388. ЦГА ИПД СПб. Ф. 881. Оп. 10. Д. 16. Л. 91.
389. Островский Н.А. Указ. соч. С. 362-363.
390. ЦГА ИПД СПб. Ф. К-202. Оп. 2. Д. 76а. Л. 34.
391. Смена. 1937. № 8. С. 25.
392. Комсомольская правда. 1938. 30 июля.
393. Цит. по: Советская культура. 1989. 29 авг.
394. Дервиз Т.Е. Рядом с большой историей. Очерки частной жизни XX века. СПб., 2011. С. 43.
395. Козлов А. Козел на саксе. М., 1998. С. 70.
396. Там же.
397. Литвинов Г. Стиляги: как это было. М., 2009. С. 57.
398. Беляев Д. Указ. соч. С. 10.

Часть III. Традиционные отклонения в новом обществе  
(специфика и принципы конструирования)

1. Сенявский А.С. Повседневность как методологическая проблема микро- и макроисторических исследований (на материалах российской истории XX в.) // История в XXI веке. Историко-антропологический подход к преподаванию и изучению истории человечества. М., 2001. С. 96.



2. Подробнее см.: Бригадина О.В. Парадигма повседневности в ранней советской истории (1917 — начало 1920-х гг.): Проблемное поле исследований // Российские и славянские исследования: научный сб. Вып. 6. Минск, 2011. С. 212-222.
3. Очерки истории девиантного поведения в США и России. Пенза, 2003.
4. Подробнее см.: Сенявский А.С. Указ. соч.
5. Чистиков А.Н. Партийно-государственная бюрократия Северо-Запада Советской России 1920-х годов. СПб., 2007. С. 255-273.
6. На «краю» советского общества. Социальные маргиналы как объект государственной политики. 1945-1960-е гг. М., 2010.
7. Прыжов И.Г. История кабаков в России. М., 1992. С. 34.
8. Такала И.Р. Веселие Руси. История алкогольной проблемы в России. СПб., 2002; Веселие Руси. XX век. М., 2007.
9. Камардин И.Н. Пьянство среди рабочих Поволжья в период нэпа // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2011. № 4. С. 26-33; Чавкина М.А. Девиантное поведение в рабочей среде в годы нэпа (на примере БАССР) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. № 8 (2). С. 215-218; Блинов М.Л. Пьянство как социальное явление советского города в 1920-е годы (на материалах Ижевска) // Вестник Удмуртского университета. 2013. № 5. С. 141-146.
10. Цит. по: Рейли Д. Политические судьбы российской губернии: 1917 г. в Саратове. Саратов, 1995. С. 296.
11. Павлюченков С. Ильич в запое // Родина. 1997. № 11. С. 23.
12. Соломон Г.А. Среди красных вождей. М., 1995. С. 15.
13. Троцкий Л.Д. Моя жизнь. М., 1991. С. 287.
14. Ленин В.И. Заключительное слово по докладу о продовольственном налоге 27 мая // Ленин В.И. ПСС. Т. 43. С. 326.
15. Ленин В.И. Заключительное слово по политическому отчету ЦК РКП(б) 28 марта // Ленин В.И. ПСС. Т. 45. С. 120.
16. Ленин В.И. Доклад на II Всероссийском съезде профессиональных союзов 20 января 1919 г. // Ленин В.И. ПСС. Т. 37. С. 449.

17. План электрификации РСФСР. Доклад VIII Съезду Советов Государственной комиссии по электрификации России. М., 1955. С. 174.
18. Цеткин К. Указ. соч. С. 50.
19. Подробнее см. в главе «Ретретизм».
20. Подробнее см.: Яров С.В. Горожанин как политик. Революция и военный коммунизм глазами петроградцев. 1917-1921 гг. СПб., 1997.
21. Бюллетень ЦК РКСМ. 1921.1 янв.
22. Юный текстильщик. 1922. 19 марта; Петроградская правда. 1923. 17 сент.
23. Анненков Ю.П. Указ. соч. С. 70.
24. Труд и здоровье маргеновских рабочих Верх-Исетского завода «Красная кровля». Свердловск, 1928. С. 106.
25. Чуковский К.И. Указ. соч. С. 215.
26. Костромской экскаваторный. Кострома, 1972. С. 71.
27. Петроградская правда. 1922. 22 сент.
28. Статистика труда. 1923. № 4. С. 3.
29. Куркин П.И. Указ. соч. С. 39; Ленинградский медицинский журнал. 1926. № 2. С. 107.
30. СЗ СССР. 1924. № 27. Ст. 233.
31. Булгаков М.А. Под пятой. М., 1990. С. 31, 39.
32. Шитц И.И. Дневник «великого перелома». Париж, 1990. С. 89.
33. СЗ СССР. 1925. № 57. Ст. 425.
34. Цит. по: Измозик В.С. НЭП через замочную скважину. Советская власть глазами советского обывателя // Родина. 2001. № 8. С. 84.
35. Панин С. Хозяин улиц городских. Штрихи к портрету хулигана 1920-х годов // Родина. 2002. № 2. С. 93.
36. Сталин И.В. Беседа с иностранными рабочими делегациями // Сталин И.В. Сочинения. Т. 10. С. 232.
37. Сталин И.В. XV съезд ВКП(б) 2-19 декабря 1921 г. Политический отчет Центрального Комитета 3 декабря // Сталин И.В. Сочинения. Т. 10. С. 312.
38. Сталин И.В. Беседа с иностранными рабочими делегациями. С. 232.
39. Бюджеты рабочих и служащих. Вып. 1. М.: ЦСУ РСФСР, 1929. С. 28.
40. Шепилов Д. Алкоголизм и преступность. М.; Л., 1930. С. 33.

41. Юный коммунист. 1928. № 4. С. 25; Известия ЦК ВЛКСМ. 1928. № 16. С. 12.
42. Каган А.Г. Указ. соч. С. 46; Коган Б.Б., Лебединский М.С. Указ. соч. С. 75.
43. Социальная гигиена. 1927. № 1. С. 41.
44. Трезвость и культура. 1929. № 3. Обложка — 2-я с.
45. Коган Б.Б., Лебединский М.С. Указ. соч. С. 81.
46. Kinsdale Y.M. The "Poor Mans Club": Social Functions of the Urban Working Class Saloon // American Quarterly. 1973. Vol. 25. P. 472-473.
47. ЦГА СПб. Ф. 4301. Оп. 1. Д. 3414. Л. 144.
48. О борьбе с наследием прошлого (пьянство и религиозные предрассудки среди членов партии). М., 1925. С. 9.
49. ЦГА ИПД СПб. Ф. К-601. Оп. 1. Д. 736. Л. 29.
50. СУ РСФСР. 1926. № 57. Ст. 447.
51. ЦГА СПб. Ф. 4301. Оп. 1. Д. 3414. Л. 150, 154, 155.
52. Такала И.Р. Указ. соч. С. 208.
53. Товарищ комсомол. Т. 1. С. 426.
54. Там же. С. 427.
55. Известия Нижневолжского крайкома ВЛКСМ. 1928. № 5-6. С. 6-7.
56. ЦГА ИПД СПб. Ф. К-156. Оп. 1-а. Д. 18. Л. 117; Ф. К-157. Оп. 1. Д. 4. Л. 3.
57. Там же. Ф. К-601. Оп. 1. Д. 388. Л. 1.
58. Вырин А. Кто такие сектанты. М.; Л., 1930. С. 61.
59. Цит. по: Ленинградская правда. 1929. 12 февр.
60. ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 50. Д. 21. Л. 26.
61. Там же. Л. 57.
62. Там же. Л. 145.
63. Там же. Л. 147, 180, 181.
64. О доступности спиртного в городах подробнее см.: Твердюкова Е.Д. «О пивном уклоне и торгашеских извращениях»: торговля алкоголем в Ленинграде 1930-х гг. // Новейшая история России. 2012. № 2. С. 88-99.
65. Подробнее см.: Dunham V. In Stalin's Time: Middleclass Values in Soviet Fiction. Cambridge, 1979; Волков В.В. Концепция культурности,

- 1935-1938 годы: сталинская цивилизация и повседневность сталинского времени // Социологический журнал. 1996. № 1/2. С. 197;
- Gronov Y. Caviar with Champagne. Common Luxury and the Ideals of Good Life in Stalin's Russia. Oxford; N.Y., 2003.
66. Fitzpatrick Sh. The Cultural Front: Power and Culture in Revolutionary Russia. Ithaca (NY), 1992. P. 218.
67. Книга о вкусной и здоровой пище. М., 1952. С. 79.
68. Подробнее см.: Gronov Y. Caviar with Champagne. Good Life and Common Luxury in Stalin's Soviet Union // Suomi en antropologi. 1998. № 4. P. 29-40.
69. Микоян А.И. Так было. М., 1999. С. 313-314.
70. Марков В. Указ. соч. С. 135.
71. Советская повседневность и массовое сознание. 1939-1945. М., 2003. С. 363.
72. ЦГА ИПД СПб. Ф. К-881. Оп. 10. Д. 190. Л. 18-23.
73. Комсомольская правда. 1936. 5 сент.
74. Такала И.Р. Указ. соч. С. 245.
75. Подробнее см.: Кнышевский П. Выпьем за Сталина! // Новое время. 1993. № 23; Такала И.Р. Указ. соч.
76. Кнышевский П. Указ. соч. С. 47.
77. Веселие Руси. XX век. С. 336, 337.
78. Советская жизнь. 1945-1953. С. 525.
79. Экштут С.А. 100 дней после войны. М., 2006. С. 73.
80. Куратов О.В. Хроники русского быта. 1950-1990 гг. М., 2004. С. 7.
81. Цит. по: Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество. С. 34, 35.
82. Цит. по: Антипина В.А. Повседневная жизнь советских писателей. 1930-1950-е годы. М., 2005. С. 338.
83. Козлов В.А. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежнев (1953 — начало 1980-х гг.). Новосибирск, 1999. С. 208.
84. Рейн Е.Б. Указ. соч. С. 273.
85. Веселие Руси. XX век. С. 339.
86. Социология преступности. М., 1966. С. 401.
87. Мертон Р.К. Социальная структура и аномия // Социологические исследования. 1992. № 4. С. 92.

88. Гишинский Я., Афанасьев В. Указ. соч. С. 56.
89. Панин С.Е. Потребление наркотиков в Советской России (1917-1920-е годы) // Вопросы истории. 2003. № 8. С. 129-134.
90. Подробнее см.: Васильев П.А. Наркотизм в Петрограде-Ленинграде в 1917-1929 гг.: Пути решения социальной проблемы // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. Т. 4. История. 2010. №4. С. 16-24; Васильев П.А. Эволюция представлений о наркотиках в российских медицинских текстах (1890-1930-е годы): От «ядов цивилизации» к «пережиткам капитализма» // Бюллетень Германского исторического института в Москве. Вып. 6 / Под ред. К. Бруиш. М., 2012. С. 53-65; Васильев П.А. «Серый рынок»: каналы распространения наркотиков в Петрограде-Ленинграде в 1917-1929 гг.// Конструируя «советское»? Политическое сознание, повседневные практики, новые идентичности: материалы научной конференции студентов и аспирантов 19-20 апреля 2013 года, Санкт-Петербург. СПб., 2013. С. 30-35.
91. Воспоминания о Серебряном веке. М., 1993. С. 454-455.
92. Анненков Ю.П. Указ. соч. Т. 1. С. 96.
93. ЦГА СПб. Ф. 142. Оп. 1. Д. 9. Л. 324.
94. Научная медицина. 1926. № 6. С. 81.
95. Рабочий суд. 1925. № 7-8. С. 321.
96. Там же. С. 322.
97. Шоломович А.С. Кокаин и его жертвы. М., 1926. С. 3.
98. Уголовный кодекс РСФСР. М., 1922. Ст. 215.
99. Кутанин М.П. Вопросы теории и практики морфинизма // Труды Первого всесоюзного съезда невропатологов и психиатров. М.; Л., 1929. С. 40; Васильев П.А. «Серый рынок». С. 33.
100. СЗ СССР. 1934. № 56. Ст. 422.
101. Уголовный кодекс РСФСР. Комментарии. М., 1946. С. 224.
102. ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 2с. Д. 60. Л. 250.
103. Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 60-х гг. М., 1971. С. 303.
104. Дюркгейм Э. Самоубийство. Социологический этюд. СПб., 1912. С. 266.

105. Подробнее см.: Кузнецов В.Е. Исторические аспекты исследования самоубийств в России // Актуальные проблемы суицидологии. М., 1981. С. 26-35.
106. Лярский А.Б. Самоубийства учащихся как феномен системы социализации в России на рубеже XIX-XX веков. СПб., 2010. С. 14.
107. См., например: Балашов Е.М. Школа в российском обществе. СПб., 2003; Булдаков В.П. Деструкция личности революционера в России, 1920-е гг. // Человек и личность в истории России. Конец XIX — XX век. СПб., 2012. С. 162-182.
108. Подробнее см.: Кром М.М. Повседневность как предмет исторического исследования // История повседневности. Сборник научных работ. СПб., 2003. С. 11; Вальденфельс Б. Повседневность как плавильный тигель рациональности // Социо-логос. Социология, антропология, метафизика. М., 1991. С. 40-41.
109. Бюллетень Ленгубстатотдела. 1925. № 14. С. 119.
110. Серж В. От революции к тоталитаризму: воспоминания революционера. Оренбург, 2001. С. 243.
111. ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 2. Д. 52. Л. 7.
112. Там же. Д. 60. Л. 21.
113. Берггольц О.Ф. Указ. соч. С. 226-227.
114. Самоубийства в СССР в 1925 и 1926 гг. М.; Л., 1929. С. 20-21.
115. Камю А. Миф о Сизифе // Камю А. Бунтующий человек. М., 1990. С. 25.
116. Рыклин М. Тела террора// Вопросы литературы. 1992. Вып. 1. С. 134.
117. Гишинский Я., Афанасьев В. Указ. соч. С. 114.
118. ЦГА СПб. Ф. 33. Оп. 2. Д. 560. Л. 38.
119. Там же. Л. 40.
120. Партийная этика. С. 194.
121. Известия ЦК ВКП(б). 1925. №34. С. 5; Тяжелникова В.С. Самоубийства коммунистов в 1920-е гг. // Отечественная история. 1998. №6. С. 162.
122. Партийная этика. С. 246.
123. ЦГА ИПД СПб. Ф. К-601. Он. 1а. Д. 735. Л. 1, 11,15.

124. Там же. Л. 1.
125. Дюркгейм Э. Самоубийство. Социологический этюд. М., 1994. С. 101.
126. ЦГА ИПД СПб. Ф. К-156. Оп. 1-а. Д. 18. Л. 3.
127. Там же. Л. 17.
128. Иосиф Сталин в объятиях семьи. М., 1993. С. 22.
129. ЦГА ИПД СПб. Ф. К-1791. Оп. 1. Д. 9. Л. 9.
130. ЦГА СПб. Ф. 2. Оп. 2с. Д. 25. Л. 12.
131. Шефнер В.С. Бархатный путь. С. 62.
132. ЦГА СПб. Ф. 2. Оп. 2с. Д. 25. Л. 13.
133. Там же. Л. 14, 16, 17.
134. ЦГА ИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 1119. Л. 5.
135. Там же. Д. 2332. Л. 115.
136. См., например,: Панин С.Е. Проституция в России. 1920-е гг. // Очерки истории девиантного поведения в США и России. Пенза, 2003. С. 72-92; Мирошниченко М.И. «Злостные лица» женского пола: борьба с проституцией в свете революционного самосознания в 1920-1922 гг. (по материалам Урала) // Женщина в российском обществе. 2011. № 1. С. 55-66; Мирошниченко М.И. Женская проституция на Урале в 1920-1935 гг. и борьба с ней: обзор литературы 1920-х— начала 1930-х гг. // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. № 2 (8). Ч. I. С. 122-125.
137. Известия ВЦИК. 1918. 22 нояб.
138. Анненков Ю.П. Указ. соч. Т. 1. С. 29.
139. Ленин В.И. Г.Ф. Федорову // Ленин В.И. ПСС. Т. 50. С. 142.
140. ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 131. Д. 57. Л. 7.
141. Коммунистка. 1920. № 1. С. 20.
142. Коммунистка. 1920. № 6. С. 16.
143. Цеткин К. Указ. соч. Т. 2. С. 479.
144. Василевский Л.М. Указ. соч. С. 20.
145. Материалы межведомственной комиссии по борьбе с проституцией. Вып. 1. М., 1921. С. 7.

146. См. подробнее: Лебина Н.Б., Шкаровский М.В. Проституция в Петербурге. М., 1994. С. 80.
147. ЦГА СПб. Ф. 33. Оп. 2. Д. 371. Л. 74.
148. Там же. Л. 109.
149. Шульгин В.В. Указ. соч. С. 312.
150. Кетлинская В.К. Здравствуй, молодость! С. 74.
151. Проблемы преступности. Вып. 1. М.; Л., 1926. С. 145.
152. Цит. по: Андреевский Г. Указ. соч. С. 133-134.
153. Там же. С. 134.
154. Проблемы преступности. Вып. 1. С. 149.
155. Цит. по: Панин С.Е. Проституция в России. 1920-е гг. // Очерки истории девиантного поведения в США и России. Пенза, 2003. С. 74.
156. ЦГА СПб. Ф. 33. Оп. 2. Д. 371. Л. 1.
157. Зудин И., Мальковский К., Шаламов П. Указ. соч. Л., 1929. С. 72-73.
158. Рабочая газета. 1924. 9 янв.
159. Подробнее см.: Лебина Н.Б., Шкаровский М.В. Указ. соч.
160. Чуковский К.И. Указ. соч. С. 218.
161. Кетлинская В.К. Здравствуй, молодость! С. 76.
162. Чуковский К.И. Указ. соч. С. 298.
163. Там же. С. 358.
164. Молодая гвардия. 1923. № 4-5. С. 153.
165. Там же. С. 154.
166. Василевский Л.М. Указ. соч. С. 41.
167. Зудин И., Мальковский К., Шаламов П. Указ. соч. С. 40,176.
168. Подробнее см.: Осокина Е.А. Золото для индустриализации: «ТОРГСИН». М., 2009. С. 167-171.
169. РГА СПИ. Ф. М-1. Оп. 5. Д. 54. Л. 102.
170. ЦГА СПб. Ф. 4301. Оп. 1. Д. 9. Л. 355.
171. Коллонтай А.М. Проституция и меры борьбы с ней. М., 1921. С. 22.
172. Рабочая газета. 1924. 9 янв.
173. Партийная этика. С. 205.
174. ЦГА СПб. Ф. 33. Оп. 3. Д. 883. Л. 265.
175. Там же. Ф. 4301. Оп. 1. Д. 1547. Л. 11.
176. Там же. Ф. 3215. Оп. 1. Д. 88. Л. 24 об.



177. Ласс Д.И. По пути к ликвидации проституции. М., 1931. С. 31.
178. ЦГА СПб. Ф. 4301. Оп. 1. Д. 298. Л. 2 об.
179. Там же. Ф. 1000. Оп. 6. Д. 127. Л. 2 об.
180. Там же. Ф. 3215. Оп. 1. Д. 89. Л. 27.
181. Из личного архива Е.С. Евлаховой: Евлахов А.М. Проституция в отображении фольклора. С. 12-13. Неопубликованная рукопись.
182. ЦГА СПб. Ф. 3215. Оп. 1. Д. 89. Л. 10.
183. Там же. Ф. 2554. Оп. 2. Д. 50. Л. 46.
184. Музей С.М. Кирова. Ф. V. Д. 663. Л. 5.
185. Россиянский Н. Текущие задачи по борьбе с проституцией // Вестник современной медицины. 1929. № 18. С. 967.
186. Трущенко Н. Указ. соч. М., 1989. С. 152-153.
187. ЦГА ИПД СПб. Ф. 16. Оп. 1. Д. 174. Л. 9.
188. Музей С.М. Кирова. Ф. V. Д. 663. Л. 4, 5.
189. Анциферов Н.П. Из дум о былом. М., 1992. С. 329.
190. Броннер В.М. Проституция и пути ее ликвидации. М.; Л., 1931. С. 35.
191. СУ РСФСР. 1929. № 60. Ст. 598.
192. ЦГА ИПД СПб. Ф. 16. Оп. 1. Д. 174. Л. 9.
193. ГА РФ. Ф. А 390. Оп. 10. Д. 181. Л. 147.
194. Ласс Д.И. Указ. соч. С. 31.
195. Подробнее см.: Лебина Н.Б., Шкаровский М.В. Указ. соч. С. 155.
196. Подробнее см.: Там же. С. 155-156.
197. ЦГА СПб. Ф. 2554. Оп. 2. Д. 57. Л. 4.
198. Социальное обеспечение. 1933. № 9. С. 6.
199. ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 2. Д. 38. Л. 147.
200. Там же. Д. 13. Л. 56-56 об.
201. Социальное обеспечение. 1934. № 1. С. 22.
202. ЦГА СПб. Ф. 2554. Оп. 2. Д. 102. Л. 31 об.
203. Там же. Л. 30-31 об.
204. Там же. Ф. 335. Оп. 1. Л. 23-34.
205. Подробнее см.: Зубкова Е.Ю. На «краю» советского общества. Маргинальные группы населения и государственная политика. 1940-1960-е годы // Российская история. 2009. № 5. С. 101-118.

Примечания к Заключению

Заключение

1. Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы: город. М., 2001.
2. Подробнее см.: Медушевский А.Н. Сталинизм как модель социального конструирования // Российская история. 2010. № 6. С. 3-29.

## СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

### *Архивы*

ГА РФ — Государственный архив Российской Федерации  
РГА СПИ — Российский государственный архив социально-политической истории

ЦГА ИПД СПб — Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга

ЦГА НТД СПб — Центральный государственный архив научно-технической документации Санкт-Петербурга

ЦГА СПб — Центральный государственный архив Санкт-Петербурга

### *Органы власти, учреждения, организации и др.*

ВКП(б) — Всесоюзная Коммунистическая партия (большевики)

ВЛКСМ — Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи

ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный комитет

ВЦСПС — Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов

ВЧК — Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и преступлениями по должности

Главполитпросвет — Главный политико-просветительный комитет

ГТО — Готов к труду и обороне

ГУЛАГ — Главное управление лагерей

ДИСК — Дом искусств

ЖАКТ — жилищно-арендное кооперативное товарищество.

ЖСК — жилищно-строительный кооператив.

КУБУ — Комиссия по улучшению быта учащихся

КУБУЧ — Комиссия по улучшению быта ученых

ЛСПО — Ленинградский союз потребительских обществ

МГБ — Министерство государственной безопасности

МОСПО — Московский союз потребительских обществ

Моссельпром — Московское объединение предприятий по переработке продуктов сельскохозяйственной промышленности

Наркомздрав — Народный комиссариат здравоохранения

Наркомпрод — Народный комиссариат продовольствия

НИИ — научно-исследовательский институт

НКВД — Народный комиссариат внутренних дел

НКТ — Народный комиссариат труда

нэп — новая экономическая политика

ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление

ОРС — отдел рабочего снабжения

ПВО — Петроградский военный округ

РАН — Российская академия наук

РКП(б) — Российская коммунистическая партия (большевиков)

РКСМ — Российский коммунистический союз молодежи

СНК — Совет народных комиссаров

Торгсин — Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами

ТЭЖЭ — Государственный трест высшей парфюмерии жировой и костеобрабатывающей промышленности

## Список основных сокращений

УГБ — Управление государственной безопасности

УК — уголовный кодекс

УНКВД — Управление Народного комиссариата внутренних дел

ЦДМ — центральный дом молодежи

ЦИК — Центральный Исполнительный Комитет

ЦК — Центральный комитет

ЦКК — Центральная контрольная комиссия

ЦСУ — Центральное статистическое управление

## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Абрикосов, А.И. 39  
Абросимов, П.В. 84  
Аверинцев, С.С. 430  
Акимов (содержатель притона)  
388  
Акинша, К. 152  
Аксакова, Т.А. 104, 436  
Александров, Г.В. 156  
Александров, П.В. 429  
Александровский, А. 448  
Аливьер 177  
Аллилуева, Н.С. 372  
Алпатов, М. 292, 306, 456, 457  
Андреади, А.П. 61  
Анисимова, Л.Ю. 452  
Анциферов, Н.П. 406-407, 467  
Амфитеатров, А.В. 123  
Андреев, Л.Н. 400  
Андреева, Л. 425  
Андреева, М.Ф. 127-128  
Андреевский, Г.В. 387-388, 426, 466  
Анненков, Ю.П. 123, 135, 199,  
200, 330, 355, 381, 424, 438, 439,  
445, 460, 463, 465  
Антипина, В.А. 462  
Аронович, Г.Д. 357  
Архипов, Н. 395  
Арьес, Ф. 193, 196, 445  
Астафьев, В.П. 48, 428  
Афанасьев, В. 423, 464  
Ахматова, А.А. 179  
  
Бабаев, П.А. 39  
Балашов, Е.М. 464  
Барт, Р. 430  
Бартлетт, Дж. 120, 157, 439, 442  
Бедный, Д. 219  
Беззубцев-Кондаков, А.Е. 432,  
435, 449  
Безыменский, А.И. 280, 307  
Бейлинсон, В.Г. 243, 451  
Беккер, Г. 9, 420  
Беккер, М. 454  
Беляев, Д. 317, 443, 458  
Бенуа, Л.Н. 198  
Бенуа (семья) 100  
Беньямин, В. 31, 38, 74, 135, 426,  
427, 432, 439  
Берберова, Н.Н. 121, 438  
Берггольц, О.Ф. 80-81, 151, 365,  
432, 441, 464  
Бернштам, Т.А. 449  
Блинов, М.Л. 459  
Блок, А.А. 93  
Блюмин, М. 441  
Бляхин, П.А. 279, 293  
Бобрищев, М. 217, 447  
Бобышев, Д.В. 443  
Богданов, Н.В. 124  
Бодрийяр, Ж. 193, 445  
Бондаренко, П.П. 132, 136,  
213-214, 439, 447  
Бонди, В.А. 354  
Борисов, К. 26  
Бригадина, О.В. 6, 8, 423, 459  
Брик, Л.Ю. 136  
Брик, О.М. 152  
Бродский, И.А. 243, 451  
Броннер, В.М. 395, 399, 467  
Бронштейн, З.Л. 72

- Бронштейн, Н.Л. 72  
 Бруиш, К. 463  
 Брук, К.Л. 145  
 Бруцкус, Б.Д. 128  
 Брыкин, Н.А. 114, 188, 444  
 Брюсов, В.Я. 373  
 Булгаков, М.А. 22, 48, 138, 175,  
 300, 332, 425, 443, 460  
 Булдаков, В.П. 464  
 Бурдые, П. 22, 23, 69, 119, 240,  
 310, 425, 437, 458  
 Бухарин, Н.И. 277, 279
- Вайншток, В. 456  
 Вайшля, И.С. 313  
 Валенцова, М.М. 224  
 Вальденфельс, Б. 464  
 Вальтер, Ф.А. 398, 400  
 Ваншенкин, К.Я. 349  
 Василевская, М.Л. 427  
 Василевский, Л.М. 234, 384, 449, 465  
 Васильев, А. 72  
 Васильев, П.А. 353, 463  
 Васильева, О.Ю. 169  
 Вересаев, В.В. 33, 133, 146, 178,  
 202-203, 229-230, 235, 251, 282,  
 372, 426, 439, 440, 443, 445, 449,  
 450, 452  
 Вечтомова, Е.А. 439  
 Вигдорчик, Н.А. 248  
 Виноградская, П.А. 227, 451  
 Вислоух, С. 358  
 Вишневский, А.Г. 225, 242, 448, 451  
 Вишневский, В.В. 128  
 Войнич, Э.Л. 284  
 Волков, В.В. 461  
 Вольфсон, С.Я. 239, 450  
 Воробьев, Н.В. 427  
 Вырин, А. 461
- Гагарин, А.Г. 122-123  
 Гагарина, Е.В. 109  
 Ганичев, В.Н. 454  
 Гарин-Михайловский, Н.Г. 283  
 Гельман, И. 448  
 Герасимова, Е.Ю. 67, 99, 430, 435  
 Герман, М.Ю. 65, 113, 297, 456  
 Герман, П.Д. 306  
 Герман, Ю.П. 32, 53, 79, 98, 113,  
 131, 185, 429, 430, 435, 437, 439,  
 442, 444  
 Герцен, А.И. 69  
 Герштейн, Э.Г. 220, 444, 447  
 Гессен, С.Г. 429  
 Гибин, А. 71  
 Гилинский, Я.И. 423, 463, 464  
 Гинзбург, М.Я. 81  
 Гинзбург, С.З.  
 Гиппиус, З.В. 21, 93, 127, 425,  
 434, 438  
 Гитович, С.С. 114, 437  
 Гитовичи (семья) 114  
 Гладков, Ф.В. 281  
 Глазман, М.Д. 368  
 Глазунов, И.С. 66, 430  
 Глущенко, И.В. 17  
 Гниятуллина, Г.Г. 452  
 Говоров, И.В. 265, 451, 453  
 Говорушин, К.В. 97, 435  
 Гоголь, Н.В. 283  
 Голод, С.И. 448  
 Гольшев, В.П. 451  
 Городницкий, А.М. 242, 451  
 Горький, М. 128, 241, 283, 284, 451  
 Градин, Д.А. 39, 106, 132, 147,  
 148, 427, 436, 439, 440  
 Григорьев, С. 185  
 Гримм, Д.Д. 198  
 Гронов, Ю. 120, 437, 439, 442, 462

- Грушевский (сотрудник профилатория) 406-407  
 Гудов, И.И. 158, 442  
 Гумилев, Л.Н. 179  
 Гумилев, Н.С. 200, 355  
 Гумилевский, Л.И. 229, 282  
 Гуревич, А.Я. 193, 445  
 Гусев, В.Е. 441
- Давидсон (студентка) 252-253  
 Давыдов, А.Ю. 425  
 Дальский, М.В. 124  
 Даная 158  
 Дашкова, Т.Ю. 5, 224, 442  
 Девель, А.А. 441  
 Дедрина, К.Я. 428  
 Демчик, Е.В. 426  
 Дервиз, Т.Е. 316, 458  
 Деревнина, Л.И. 438  
 Де Сика, В. 297  
 Джерми, П. 297  
 Джорогов, А.Г. 200  
 Джугашвили, Я.И. 371-372  
 Дианова, Е.В. 426  
 Добкин, А.И. 436  
 Добренко, Е.А. 17, 430  
 Доница, И.Н. 444, 447  
 Дробижев, В.З. 451  
 Другов, Ф. 326  
 Дубенская, М.П. 429  
 Душечкина, Е.В. 447  
 Дьяконов, И.М. 29, 40, 41, 98, 426, 427, 435  
 Дьяконов, Н.М. 192  
 Дюркгейм, Э. 8, 361, 363, 368, 369, 370, 373, 463, 465
- Евдокимов, Г.Е. 100  
 Евлахов, А.М. 415, 467  
 Евлахова, Е.С. 467  
 Елисеев, С.П. 73
- Есенин, С.А. 370  
 Ефимов, А.Я. 113  
 Ефремов, С.А. 174
- Жан, Ж. 430  
 Жаров, А.А. 280, 305  
 Жданкова, Е. 456  
 Жданов, А.А. 374  
 Желобинский, В.В. 308  
 Жид, А. 238  
 Жирнова, Г.В. 444  
 Жуков, Ю.А. 160, 442  
 Журавлев, С.В. 5, 120, 437, 439, 442
- Залкинд, А.Б. 178, 234, 442, 449  
 Замятин, Е.И. 80  
 Запорожец, И.В. 412  
 Зарина, М.М. 427  
 Здравомыслова, Е.А. 224, 448  
 Зиновьев, Г.Е. 72, 100, 144, 203  
 Золотарев, А.А. 429  
 Золотоносов, М.Н. 458  
 Зубкова, Е.Ю. 5, 241, 322, 417, 451, 453, 462, 468  
 Зудин, И. 446, 466
- Иванов, В.А. 436, 450, 458  
 Иванов, В.С. 281  
 Иванов, Г.В. 354  
 Иванов, Н.А. 429  
 Иванов, С.Г. 424  
 Иванова-Романова, Н.М. 150, 441  
 Игнатов, Е. 426  
 Измозик, В.С. 424, 431, 437, 445, 460,  
 Иисус Христос 340  
 Ильин, Л.А. 198  
 Ильф, И. 41, 52, 58, 138, 141, 149, 204, 429, 439, 440  
 Инге, Ю.А. 114  
 Ирошников, М.П. 443



- Кабо, Е.А 443, 444  
 Каверин, В.А. 149  
 Каган, А.Г. 455, 456, 461  
 Каганович, Л.М. 282  
 Кадацкий, И.Ф. 110, 412  
 Казакевич, Э.Г. 349  
 Калашникова, Е. 456  
 Калинин, М.И. 39  
 Камардин, И.Н. 459  
 Камю, А. 365, 464  
 Каплун, Б.Г. 198, 200-201, 202,  
 356, 382  
 Каратаева, Т. 441  
 Карсавин, Л.П. 6, 423  
 Кассиль, Л.А. 56  
 Катаев, В.П. 300, 457  
 Кашеваров, А.Н. 169, 443, 445, 447  
 Келли, К. 444  
 Кетлинская В.К. 86, 89, 131, 140,  
 153, 387, 390, 433, 439, 440, 441,  
 449, 450, 466  
 Кириленко, С.А. 17  
 Киров, С.М. 100-101, 147-148,  
 181, 290, 312, 316-317, 374, 404  
 Кирсанова, Р.М. 438, 441  
 Киришон, В.М. 210, 305, 446  
 Китон, Б. 292  
 Клеш, А. 450  
 Кнабе, Г.С. 437  
 Кнышевский, П. 462  
 Князев, Г.А. 24, 25, 40, 95, 425,  
 427, 434  
 Коган, Б.Б. 456, 461  
 Кожаный, П.М. 427  
 Козин, В.А. 209  
 Козлов, А.С. 458  
 Козлов, В.А. 350  
 Козлова, Н.Н. 5, 119, 437  
 Козырев, А.А. 113  
 Коллонтай, А.М. 226-227, 383,  
 394, 448, 451, 466  
 Кольцов, М.Е. 42  
 Комаров, Н.П. 72  
 Кон, И.С. 225  
 Кондратьев, В.В. 108  
 Копылянская, Р. 154  
 Косарев, А.В. 76, 86, 87, 145, 237,  
 393, 406, 433  
 Косарев, И.П. 111  
 Косаревы (семья) 111-112  
 Кочергин, Н. 232  
 Крапивин, М.Ю. 169  
 Красиков, П.А. 212  
 Крлежа, М. 32, 426  
 Кром, М.М. 6, 7, 423, 464  
 Крупская, Н.К. 71, 209, 280, 332,  
 446, 454  
 Кручинин, В.Я. 306  
 Куган, Д. 292  
 Кудрявцев(рабочий) 35  
 Кузмин, М.А. 24  
 Кузнецов, В.Е. 464  
 Кузнецов, Н.Д. 171  
 Кузьмин, Н.С. 79-80, 432  
 Кульнев, С.Я. 398, 400  
 Куприн, А.И. 400  
 Куратов, О.В. 462  
 Курдов, В.И. 32, 41, 98, 216, 303,  
 426, 427, 435, 447, 457  
 Куркин, П.И. 448, 460  
 Кустодиев, Б.М. 41  
 Кутанин, М.П. 463  
 Ламанова, Н.П. 125, 136  
 Ласс, Д.И. 397, 467  
 Ле Корбюзье 80  
 Лебедев, Л. 449  
 Лебедев-Кумач, В.И. 49  
 Лебедев-Патрейко, В. 454

- Лебединский, Л.Н. 307  
 Лебединский, М.С. 456, 461  
 Лебина, Н.Б. 423, 424, 431, 434,  
 437, 442, 445, 447, 453, 466, 467  
 Леви-Стросс, К. 69  
 Левин, Л.И. 151  
 Левитанский, Ю.Д.  
 Ленин, В.И. 17, 52, 53, 71, 90, 95,  
 116, 143, 144, 173, 174, 209, 216,  
 219, 234, 248, 277, 326, 327, 328,  
 329, 340, 382, 383, 424, 434, 435,  
 440, 446, 449, 451, 459, 465  
 Леонов, Л.М. 282  
 Лещенко, П.К. 309  
 Либединский, Ю.Н. 281  
 Лившиц, М.О. 60  
 Лилина, З.И. 72, 203  
 Липин, В.Н. 200, 201  
 Липкин, Я. 83  
 Литвинов, Г. 458  
 Лихачев, Д.С. 446  
 Лихачев, И.А. 161  
 Лобанов, Д.И. 60  
 Лобков, Н.П. 100  
 Лосский, Б.Н. 21, 123, 207, 425,  
 438, 446  
 Лосский, Н.О. 21, 123  
 Лотман, Ю.М. 6, 120, 423, 437  
 Луконин, М.К. 350  
 Луначарский, А.В. 22, 91, 92, 173  
 Львов, М.Д. 350  
 Людовик XIV 10  
 Лярский, А.Б. 362, 464  
  
 Максимов, Н. 179  
 Максимова, Т.О. 5, 450, 451  
 Малашкин, С.И. 229  
 Малевич, К.С. 199  
 Мальковский, К. 446, 466  
 Малышкин, А.Г. 281, 282  
  
 Мандельштам, Н.Я. 98, 131, 435,  
 439  
 Манизер, М.Г. ИЗ  
 Маньков, А.Г. 48, 51, 150, 159,  
 221, 428, 429, 441, 442, 448  
 Марков, В.Ф. 290, 345, 456, 462  
 Маркс, К. 424  
 Маркус, М.Л. 404-405  
 Марчуков, А. 443  
 Маршак, С.Я. 365  
 Маслобоев, А.В. 100  
 Маслобоевы (семья) 100  
 Матвеева, Т. 255  
 Маяковский, В.В. 148, 176, 188,  
 443, 444  
 Медведь, Ф.Д. 154  
 Медушевский, А.Н. 9, 424, 468  
 Меерович, М.Г. 5, 68, 431, 434,  
 435, 436, 437  
 Мейерхольд, В.Э. 306  
 Мейерхольд, И.В. 61  
 Меркурьев, В.В. 61  
 Меркурьев, П.В. 61, 62, 430  
 Мертон, Р. 8, 352, 362  
 Мечников, И.И. 61  
 Мещеркина, Е.Ю. 224  
 Микоян, А.И. 61, 343, 344, 430, 462  
 Миллер, А.А. 61  
 Милютин, Н.А. 81  
 Миндлин, Э.Л. 42, 427  
 Миронец, Н.И. 444, 457, 458  
 Миронова, В.В. 455  
 Мирошниченко, И.М. 259, 452, 465  
 Мишель, А. 142  
 Молер, А. 424  
 Молотов, В.М. 163, 190, 208  
 Молоховец, Е.И. 59  
 Молчанова, О.П. 60  
 Монсон, П. 423

- Морозов, П. 179  
 Морозова, М.Е. 261  
 Мухина, В.И. 139  
 Нагибин, Ю.М. 161, 162, 442  
 Найман, А.Г. 243,451  
 Напалкова, К.С. 112  
 Напалковы-Полянские (семья) 112  
 Наппельбаум, М.Н. 92  
 Нариньяни, С.Д. 163  
 Наровчатов, С.С. 349  
 Нарский, И.В. 5, 425, 434, 438  
 Недогонов, А.И. 349  
 Неклюдов, С.Ю. 457  
 Немо, Б. 427  
 Немцова, З.Н. 158  
 Никишова, А.И. 428  
 Николай II 53  
 Новинская, М.И. 434  
 Обертрейс, Ю. 434, 436  
 Оборин, Л.В. 12  
 Обухова (генеральша) 387  
 Овалов, Л.С. 286  
 Огнёв, Н. 175, 311, 443, 452, 458  
 Одинцов, М.И. 444  
 Олеша, Ю.К. 37, 151  
 Оль, А.А. 80  
 Ольдор (Оршер, И.Л.) 390  
 Орджоникидзе, Г.К. 87, 405  
 Орлов, И.Б. 5, 6, 423  
 Орлова, Л.П. 158  
 Орлова, Ляля 133  
 Осипов, А.И. 429  
 Осипов, Д.П. 204  
 Осокина, Е.А. 5, 16, 428, 429, 442, 466  
 Островский, Н.А. 74,129,186, 283, 284, 313, 372,432,438,444,458  
 Отто, Д.О. 265  
 Павлов, И.П. 93, 190, 221  
 Павлюченков, С.А. 424, 459  
 Панин, С.Е. 353, 460, 463, 465, 466  
 Панова, В.Ф. 76-77, 94, 133, 267, 298, 432, 434, 439, 453, 457  
 Панченко, А.М. 446  
 Паперный, В.З. 197, 437, 445  
 Пантелеев, А.П. 91, 92  
 Перемышлев, Е. 455  
 Перестиани, И.Н. 293  
 Першин, М.Л. 232  
 Петров, В. 41-42  
 Петров, Е. 41,52, 58, 138, 141, 149, 204, 429, 439, 440  
 Петроний 407  
 Пиир, А.М. 68, 431,434  
 Пикфорд, М. 292  
 Пиль, Г. 292  
 Пильняк, Б.А. 129, 438  
 Пирожкова, В.А. 26, 51, 184-185, 238, 425, 428, 444, 450  
 Платонов, А.П. 26, 37, 426  
 Подорога, В.А. 69, 431  
 Подревский, К.Н. 306  
 Позерн, Б.П. 101, 113  
 Позерны (семья) 113  
 Поленов, А.Л. 303  
 Полянский, И.В. 112  
 Пономарев, Б.П. 113  
 Поньрко, Н.В. 446  
 Попова, Л.С. 152  
 Поссе, В.А. 301,302, 457  
 Постышев, П.П. 223  
 Потапов, А.С. 94  
 Потехин, М.Н. 434  
 Преображенский, Е.А. 277  
 Протазанов, Я.А. 293  
 Протасевич, М. 280  
 Прыжов, И.Г. 323, 459

- Пушкарева, Н.Л. 224, 448  
 Пушкин, А.С. 283  
 Пыжиков, А.В. 451  
 Пылаева, Е. 133  
 Рабжаева, М.В. 224  
 Рабинович, Г. 454  
 Рабинович, М.Б. 73, 138, 432, 439  
 Равич, С.Н. 383  
 Радомысльский, С.Г. 144  
 Райх, В. 238, 450  
 Раневская, Ф.Г. 158  
 Рахилло, И.С. 280  
 Рейли, Д. 459  
 Рейн, Е.Б. 164, 350, 442, 443, 462  
 Рейснер, Л.М. 128  
 Ремизов, А.М. 93, 434  
 Рид, Дж. 277  
 Родин, Д. 454  
 Родченко, А.М. 125  
 Рождественский, Вс.А. 73  
 Рожков, А.Ю. 233, 440, 443, 449, 452  
 Роллан, Р. 282, 283, 284  
 Романов, П.В. 5, 224  
 Романов, П.С. 150, 229, 282, 441  
 Ромм, М.А. 297, 457  
 Росляков, М.Н. 441  
 Россиянский, Н. 467  
 Ростикова, А.И. 186, 228  
 Ротиков, К.К. 151  
 Роткирх, А. 266, 453  
 Рубакин, Н.А. 454  
 Рубинштейн, С.Л. 302  
 Рубинштейн, М.М. 439, 456  
 Русаков, А.И. 98  
 Рыклин, Г.Е. 155  
 Рыклин, М.К. 366, 464  
 Рыков, А.И. 332  
 Рэнсон, А. 123  
 Саблин, Н. 280  
 Савчук, А.А. 452  
 Саломатин, А.Ю. 321  
 Самойлов, Д.С. 350  
 Самойлова, К.Н. 62  
 Самохвалов, А.Н. 151  
 Сараева-Бондарь, А.М. 442  
 Светлов, М.А. 280, 349  
 Свердлов, Я.М. 71, 143  
 Свиньин, А.Д. 38, 105, 136  
 Свиньина, Е.А. 38, 105-106, 136, 221, 232, 427, 436, 439, 440, 448, 449  
 Северьянов, М.Д. 452  
 Сейфуллина, Л.Н. 281  
 Селин, Л.-Ф. 156, 290, 441, 455  
 Селищев, А.М. 20  
 Семашко, Н.А. 81, 249, 399  
 Сенявский, А.С. 458, 459  
 Серафимович, А.С. 281, 283  
 Серж, В. 363, 464  
 Серов, С. 449  
 Сехчин, И.О. 113  
 Сидякин, И. 201  
 Сивере, А.А. 104  
 Симонов, Н.А. 84  
 Скворцов-Степанов, И.И. 212  
 Скиапарелли, Э. 157, 442  
 Скрыбина, Е.А. 26, 136, 181, 182, 190, 219, 220, 425, 439, 444, 445, 447  
 Скрыбины (семья) 181  
 Славин, Л.И. 42  
 Слезин, А.А. 169, 443, 446  
 Слепков, Вл. 449, 450  
 Слонимский, И.Н. 136  
 Смеляков, Я.В. 349  
 Смидович, С.Н. 144, 252-253  
 Смирнов, В.Е. 456

- Смирнова, Т.М. 5, 68, 431  
 Снопков, А.Е. 430  
 Снопков, П.А. 430  
 Соболев, М.А. 350  
 Соколовский, М.В. 288  
 Соловьев, В.А. 154  
 Сологуб, Ф.К. 195  
 Соломон, Г.А. 459  
 Солоневич, Е.М. 296, 456  
 Сольц, А.А. 143, 245  
 Сохань, И.В. 17, 425  
 Спесивцева, О.А. 200  
 Сталин, И.В. 60, 61, 157, 163, 179,  
 183, 223, 240, 243, 256, 315, 332,  
 333, 334, 344, 350, 371-372, 375,  
 418, 420, 452, 460, 462, 465  
 Стаханов, А.Г. 114, 290, 455  
 Степанов, З.В. 455, 456  
 Степанова, В.Ф. 125, 152  
 Струмилин, С.Г. 131, 255-256,  
 274, 427, 439, 452, 453, 454  
 Стяжкина, Е.В. 259, 452  
 Суворов, Н.С. 171, 443
- Т. (содержательница притона)  
 387, 390  
 Такала, И.Р. 325, 347, 459, 461  
 Таранов, Е. 437  
 Тарасова, А.К. 158  
 Тарновский, В.М. 400-402, 404  
 Твардовский, А.Т. 349  
 Твердюкова, Е.Д. 16, 428, 430, 461  
 Темкина, А.А. 224, 448  
 Тименчик, Р.Д. 457  
 Тимина С.И. 432  
 Тимофеев, М.Ю. 17  
 Тихонова, Н.А. 139, 439  
 Толстой, А.Н. 124, 140, 293, 438  
 Толстой, Л.Н. 283, 339, 341
- Трегубов, И.М. 341  
 Триоле, Э. 136  
 Трифонов, И.Я. 426  
 Троцкий, Л.Д. 72, 75, 186, 197,  
 227, 326, 368, 459  
 Трушков, В. 146  
 Трущенко, Н. 432, 433, 458, 467  
 Тупиков, П.Г. 280  
 Тургенев, И.С. 283  
 Тяжельникова, В.С. 464
- У(проститутка) 403  
 Ульянова, М.И. 71, 390  
 Успенский, Л.В. 280  
 Утесов, Л.О. 308  
 Утехин, И.В. 5, 67, 430  
 Уэллс, Г. 121, 123, 228, 438, 448
- Фатьянов, А.И. 349  
 Федоров, Г.Ф. 382  
 Фейгельсон, М. 425  
 Фейхтвангер, Л. 115, 159, 437, 442  
 Феллини, Ф. 296  
 Фельдман, Я.Л. 306  
 Фербенкс, Д. 292  
 Ферсман, А.М. 124  
 Филимонов, Н.А. 432  
 Филиппова, О.П. 61  
 Фицпатрик, Ш. 343, 422, 428, 462,  
 468  
 Фомин, И.Н. 199  
 Франкфурт, Л. 455  
 Фурманов, Д.А. 283
- Халатов, А.Б. 36, 57  
 Хальбвакс, М. 362  
 Хан-Магомедов, С.О. 425, 432, 441  
 Хармс, Д.И. 98, 141, 150, 435, 440,  
 441

Указатель имен

- Хартман, Э. 429  
Харчев, А.Г. 245, 451  
Хряков, А.Ф. 84
- Цветаева Е.М. 429  
Цейров, Ю.М. 61  
Цендровская, С.Н. 48, 51, 53, 98,  
160, 220, 303-304, 428, 429, 435,  
441, 442, 447, 457  
Цеткин, К. 234, 329, 383, 449, 460,  
465  
Цыперович, Г.В. 97
- Чавкина, М.А. 459  
Чарская, Л.А. 276, 278  
Чарушин, Е.И. 99  
Черненко, М.Б. 160, 442  
Чернова, Т.В. 224  
Чернышевский, Н.Г. 69, 226  
Чехов, А.П. 284  
Чистиков, А.Н. 321, 424, 457, 459  
Чичерин, Г.В. 39, 135, 277  
Чолахян, В.А. 431  
Чуковская, Л.К. 201  
Чуковский, К.И. 21, 101, 127, 128,  
137, 200, 207, 217, 330, 390, 425,  
435, 438, 439, 445, 446, 447, 460,  
466  
Чуковский, Н.К. 136, 439  
Чуриков, И.А. 339-341  
Чучелов, Н.И. 449
- Шаламов, П. 446, 466  
Шаляпин, Ф.И. 345  
Шамко, Д.В. 404-405  
Шверник, Н.М. 266  
Шелаев, Ю.Б. 443  
Шепилов, Д. 460  
Шефнер, В.С. 41, 48, 49, 50, 53,  
141, 148, 303, 373, 428, 429, 440,  
443, 457, 465
- Шитц, И.И. 44, 153, 256, 428, 441,  
452, 460  
Шкаратан, О.И. 453  
Шкаровский М.В. 169, 445, 446,  
448, 466, 467  
Шкловский, В.Б. 381  
Шклярчук, А.Ф. 430  
Шоломович, А.С. 358, 463  
Шолохов, М.А. 283  
Шубин, П.Н. 349  
Шульгин, В.В. 28, 31, 134, 299,  
386, 426, 439, 440, 457, 466  
Шульженко, К.И. 158
- Щеглов, Ю.К. 204, 426, 427, 429,  
440, 445
- Эйзенштейн, С.М. 293  
Эйнем, Т. фон 39  
Экштут, С.А. 462  
Элтонсон, Д. 160, 442  
Энгельс, Ф. 424  
Эренбург, И.Г. 149
- Ягода, Г.Г. 157, 240, 441  
Якобзон, Д. 456  
Яров, С.В. 438, 460  
Ярославский, Е.М. 212, 234, 278,  
368-369, 427  
Ярская-Смирнова, Е.Р. 5, 224  
Яцкевич, О.С. 317
- Berliner, J. 428  
Bourdieu, P. см. Бурдьё, П.  
Dunham, V. 461  
Engelstein, L. 450, 451  
Fitzpatrick, Sh.  
см. Фицпатрик, Ш.  
Gronov, Y. см. Тронов, Ю.  
Kinsdale, Y.M. 461  
Ledeneva, A. 428

## СОДЕРЖАНИЕ

О том же 15 лет спустя (вместо предисловия).....	5
Часть I. Нормы распределения (прямое нормирование повседневности).....	13
<i>Глава 1. Культура еды и насыщения:</i>	
<i>дисциплинирующие функции</i> .....	15
Вкус к необходимости.....	17
Белые булки нэпа.....	24
Общепит и Нарпит.....	30
«...Начали лучше питаться и почувствовали в себе душу» (А. Платонов).....	37
Заборные книжки, карточки, орсы, торгсины.....	43
«Песня о сое».....	50
«О вкусной и здоровой пище...».....	59
<i>Глава 2. Дискурсы и реалии советской     жилищной политики</i> .....	67
«В коммуне о(б)становка...».....	68
Слезы социализма.....	77
Коммуналка — нормы конструирования.....	89
Нэп и новая жилищная политика.....	96
Право на самоуплотнение.....	103
Коммунальный быт — практики и фигуры.....	106
Награждение жильем.....	110
Большой стиль: архитектура и жизнь.....	113
<i>Глава 3. Одежда как средство социального подчинения</i> .....	119
«Оставим буржуев в комнатных туфлях».....	120
Кожанка — мандат революции.....	127
Гимнастерки с «разговорами» и «халат, халат».....	130
Время новых вещей.....	134
Почти как в Европе.....	139
«Онэпивание».....	143

## Содержание

«Не облако в штанах, а штаны в облаках».....	148
Наряд для «девушки с веслом».....	153
Высокая мода большого стиля.....	157
Часть II. Нормы поведения (косвенное нормирование повседневности).....	167
<i>Глава 1. Секуляризация бытовых норм</i> .....	170
Крестить нельзя, звездить.....	171
«Почитать лишь... революционно-смелого отца».....	177
«Не пойду я в храм венчаться...».....	183
Брак под надзором НКВД.....	189
«Не поехать ли нам в крематорий?».....	192
«Обрядность красного огненного погребения...».....	202
«Коммунистово воскресение — 25 октября».....	206
От непрерывки к сталинской елке.....	217
<i>Глава 2. Советский гендерный уклад:</i> <i>стандарты и отклонения</i> .....	224
«Пришла проблема пола...».....	225
«Чубаровцы», «петровщина» и свободный развод.....	232
«Быт неотделим от политики».....	237
«Школы-уроды» и развод по-сталински.....	241
«В обстановке советских больниц...».....	246
«Навстречу многочисленным заявлениям трудящихся женщин».....	258
<i>Глава 3. Досуг в контексте государственного нормирования</i> .....	270
Свободное время — нормы объема.....	271
Красный Пинкертон вместо Лидии Чарской.....	276
Ромен Роллан и майор Пронин.....	282
Драма ТРАМа.....	287
Политизируя «великого немого».....	291
От «как в кино» до импорта неореализма.....	295
Каноны советского азарта.....	298
Песня: нормы и девиации.....	304
«Политическая подкладка» танца.....	310



## Содержание

Часть III. Традиционные отклонения в новом обществе (специфика и принципы конструирования).....	319
<i>Глава 1. Пьянство</i> .....	323
Антиалкогольная утопия большевиков.....	325
От рыковки к советской монополюке.....	332
«Его не вылечит, наверно, диспансер».....	337
«Пейте советское шампанское».....	343
Сталинские сто грамм, или «Выпьем за победу».....	347
<i>Глава 2. Ретретизм</i> .....	352
Наркотики.....	353
Самоубийства.....	361
<i>Глава 3. Проституция</i> .....	378
«Коммунизм — могила проституции».....	381
«Долой безобразников по женской линии».....	390
Надежды и крах советского милосердия.....	398
Воспитание по-свирски.....	407
Заключение.....	418
Примечания.....	423
Список сокращений.....	469
Алфавитный указатель.....	472

Наталия Лебина

СОВЕТСКАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ:  
НОРМЫ И АНОМАЛИИ

От военного коммунизма к большому стилю

Редактор *Л. Оборин*

Дизайнер *С. Тихонов*

Корректор *О. Семненко*

Компьютерная верстка *Д. Макаровский*

Налоговая льгота — общероссийский  
классификатор продукции ОК-005-93, том 2;  
953000 — книги, брошюры

ООО Редакция журнала «Новое литературное обозрение»

Адрес редакции:

123104, Москва,

Тверской бульвар 13, стр. 1

e-mail: [real@nlo.magazine.ru](mailto:real@nlo.magazine.ru)

сайт: <http://www.nlobooks.ru>

Формат 84 x 108 Уж. Бумага офсетная № 1.

Офсетная печать. Печ. л. 30,5. Тираж 1000. Зак. №

Отпечатано в ОАО «Издательско-полиграфический комплекс

"Ульяновский Дом печати"»

432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

[mirknig.com](http://mirknig.com)